

ГА • РЕДКАЯ КНИГА



РЕДКАЯ КНИ

ДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ

КНИГА • РЕДК

А • РЕДКАЯ КНИГА

РЕДКАЯ КН



ПОЛУДЕННЫЕ
ЭКСПЕДИЦИИ



ПОЛУДЕННЫЕ
ЭКСПЕДИЦИИ



НИГА
ДКАЯ
НИГА



«НАДО ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОЛДАТОМ, НУЖНО СУМЕТЬ ВОЙТИ К НЕМУ В ДОВЕРИЕ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬСЯ УВАЖАТЬ ЕГО! НАДО, ЧТОБЫ ОН НЕ БОЯЛСЯ ОФИЦЕРСКИХ ПОГОН, БЫЛ С ВАМИ ИСКРЕНЕН, И ТОГДА ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЭТОТ КУСОК ПУШЕЧНОГО МЯСА, ОДЕТЫЙ В СЕРУЮ ШИНЕЛЬ, — ЧЕЛОВЕК В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА И, КАК ЧЕЛОВЕК, СТОИТ ВЫШЕ НАС С ВАМИ...»

Александр МАЙЕР



ПОЛУДЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ



А.А. МАЙЕР, Б.Л. ТАГЕЕВ

Полуденные экспедиции

Очерки

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1998

Майер А.А., Тагеев Б.Л.

М14 Полуденные экспедиции: Очерки. — М.: Воениздат, 1998. — 351 с. (Редкая книга).

ISBN 5—203—01852—9.

В книгу вошли воспоминания участников походов русских войск в горы Копет-Дага и Памира в конце XIX в.

В своих очерках А.А. Майер рассказывает о штурме и взятии Геок-Тепе в январе 1881 г., о событиях тому предшествовавших. Немало страниц он уделяет «Белому генералу» — Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Воспоминания печатаются по изданию 1886 г.

В очерках и рассказах Б.Л. Тагеева повествуется об истории покорения Средней Азии, коварной политике Великобритании в Афганистане, боевых действиях русских войск на Памире в 1892—1893 гг. «Нет такой преграды, — утверждает автор, — через которую бы не перешел русский воин». Печатается по изданию 1900 г.

ББК 63.3(2)51

ISBN 5—203—01852—9

© Оформление. Воениздат, 1998

А.А. МАЙЕР

*Наброски и очерки
Ахал-Текинской
экспедиции
1880 — 1881*

Из воспоминаний раненого

*ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ «БЕЛОГО ГЕНЕРАЛА»
И ТОВАРИЩЕЙ, ПАВШИХ ПОД СТЕНАМИ ГЕОК-ТЕПЕ*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Взявшись за перо в минуту тяжелой хандры и чувства полного одиночества, я вскоре с искренней радостью заметил, что процесс приведения на память впечатлений моей боевой жизни заполняет пустоту моего прозябания... Длинной вереницей тянутся мысли одна за другою, сцена перехода по сыпучим пескам сменяется сценами боя, лица товарищей явственно представляются глазам, все это так живо, так рельефно!..

Незаметно для самого себя увлекаешься воспоминаниями, и в результате появляется изложение собственных чувств и мыслей, пережитых за одиннадцать месяцев похода. Поэтому, читатель, вы и не найдете в предлагаемых вашему вниманию очерках объективного взгляда на экспедицию, не найдете критической оценки действий того или другого начальника, не найдете характеристики, по крайней мере обширной, распоряжений и образа ведения всего предприятия покойным Михаилом Дмитриевичем Скобелевым. То, что вы прочтете, если хватит терпения, есть сумма личных впечатлений, вынесенных мною за время участия в экспедиции.

Будучи моряком, я мог быть вполне беспристрастным ко всем остальным родам оружия, что даже и в очерках, а не в историческом исследовании, все-таки играет значительную роль.

Проглядывающее в моей книге боготворение покойного «Белого генерала», по всем вероятностям, ни одному истинно русскому человеку не покажется удивительным — Скобелев был у нас один обладавший способностью привлекать навсегда сердца тех людей, кровь которых, по словам недоношенного критика Градовского, он так мало берег...

Выступая впервые на литературное поприще, я сознаю себя слишком слабым, чтобы бороться с вышепоименованным г. Градовским, автором известного пасквиля на покойного героя. Да, собственно говоря, борьбы и быть не может — действие этого пасквиля было совершенно обратное тому, что ожидал г. Градовский; всякий, прочтя его брошюру, проникался еще большим уважением к памяти великого покойника, забрызгать которого грязью не удастся не только одной, но и целой своре чернильных «мосек».

Впрочем, лично для меня брошюра г. Градовского кажется изданною не с целью «облаяния» памяти Скобелева, а с целью более практичною — финансовою.

У покойника было и есть много завистников, как у всякого выдающегося человека, особенно в числе разных, лыком шитых генералов и других непризнанных военных гениев. Эта публика раскупала брошюру рьяно, нет сомнения. Почитатели покойного Скобелева тоже покупали книжонку, чтобы собственными глазами убедиться, до чего может дойти характеризующее вообще нашу эпоху нахальство бумагомарателей... В результате — хороший «гешефт» для г. Градовского, который, будучи истинным героем нашего продажного времени, логично рассудил, что за тычком или обруганием гнаться не следует, а деньги — вещь хорошая!..

В моих воспоминаниях об экспедиции собственно Михаилу Дмитриевичу Скобелеву отведено мало места. Я выше уже говорил, что излагал главным образом собственные впечатления, произведенные на меня исключительною обстановкою степного похода. Всякий раз, когда передо мною являлся «Белый генерал» — он являлся в ореоле героя... Он производил на меня трудно-объяснимое впечатление... Много раз, например, у меня являлось страстное желание быть убитым у него на глазах, с какою целью — я могу себе отдать отчет... Его присутствие в бою производило особенный подъем всей нервной системы...

Чувствуя себя не в силах дать какую-нибудь характеристику для этого человека, бывшего всегда в моих глазах чем-то особенным, я и не брался за эту непосильную работу, а удовольствовался изображением наиболее выдающихся картинок экспедиции, для большинства читающей публики остающейся малоизвестною.

Александр Майер

Николаев, 1884 год

1. НА БИВАКЕ

Фельдфебеля к командеру!» — крикнул рыжий, весь в веснушках, солдат, старательно раздувавший голенищем дырявого сапога маленький нечищенный самовар с изломанной трубой, несомненно составлявший собственность «командера», сидевшего у входа в палатку и дымившего толстую папиросу из короткого обгрызенного мундштука. Вокруг ревели развьючиваемые верблюды, ржали лошади, гремел голос батарейного командира, разносившего какого-то унтер-офицера, на запыленной, медно-красной физиономии которого выражалась апатия в соединении с чувством удивления к необычайному красноречию усатого начальника, начинавшего, впрочем, уже исчерпывать свой лексикон ругательных выражений и закончившего таким словцом, что даже пехотный солдатик, поблизости протиравший винтовку, вполголоса произнес: «Ишь ты, ловко!»

Придерживая на бегу левой рукой гремевшую саблю, явился фельдфебель и истуканом стал пред «командером». Последний выпустил изо рта облако дыма и, глубокомысленно почесав кончик носа, изрек:

— Выставить немедленно аванпосты, да смотри у меня, назначить не по наряду, а людей посвежее. Как бы не было чего сегодня ночью...

— Слушаю, ваше в-родие, — рявкнул молодцеватый фельдфебель и, повернувшись налево кругом, сразу исчез в хаосе людей и лошадей.

Описываемая сцена происходила на одном из биваков колонны, шедшей из Чикишляра в Бами, в начале июля 1880 года.

Текинцы бродили шайками по степи, и поэтому действительно можно было чего-нибудь ожидать. Солнце собиралось заходить, длинные тени падали от всех предметов, и хребет Копет-Дага как бы удалялся от глаз наблюдателя, принимая все более и более темно-лиловые оттенки.

Синева безоблачного неба обещала скоро обратиться в черный свод, вся же степь окрашивалась в бледно-оранжевый цвет. Красноватые лучи солнца играли на кончиках штыков ружей, составленных в пирамиды и освещали причудливым образом фантастически одетых в разноцветные лохмотья верблюдовожатых, копошившихся около разведенного в стороне огня, на котором гото-

вился плов. Гортанные звуки их говора далеко разносились и покрывали собой голоса солдат, лежавших тут и там.

— Куда тебя черти несут? Не видишь нешто — человек лежит! — крикнул солдат казаку, несшему вязанку колючек и наступившему ему на руку.

— А ты чего идиолом разлегся на дороге, — степь, чай, узка тебе?

— Вот как накостыляю бока, тогда узнаешь, хохлацкая твоя образина! — отвечал солдат, разобидевшийся дельным замечанием казака.

— Нехай его бреше, сучий москаль, то чай стынет, — увещевал другой таманец товарища, собиравшегося отомстить солдату за название «хохлацкая образина». И оба казака побрели к большому костру, откуда слышался малороссийский говор и громкие окрики на лошадей, бивших друг дружку на коновязи.

Солнце село, и на месте заката оставались багровые полосы, золотившие на горизонте холмы.

Невыносимая духота дня сменилась приятною прохладой. Показались звезды и серповидный кусочек луны, которая скоро должна была скрыться. Послышались песни и смех солдат, позабывших об усталости дня.

Господа офицеры выползли из палаток и собрались пить чай. Денщики забегали с переметными сумами; зазвенели стаканы, явилась бутылка с водкой и классическая закуска офицера в походе — коробки с сардинками и колбаса, пригодная по своей твердости заменить картечь в критический момент боя. Вот на двух разостланных на земле бурках разместилось человек восемь офицеров: тут и пехотинцы, и артиллеристы, и два моряка, и казак — словом, все роды оружия.

Первое время не слышно ничего, кроме бульканья и покрякивания, — бутылка обходит компанию; с болезненною напряженностью следят взоры тех, до кого она не дошла, за количеством остающейся в ней влаги. «А вдруг мне не хватит?» — думается непившим, но все благополучно: всем хватило и выпить и закусить.

— А что, господа, не к ночи будь сказано, как бы эти черти, текинцы, не наделали нам хлопот, — сказал офицер, прожевывая кусок черного сухаря.

— Ну, вот тоже! — возразил усатый артиллерист, столь энергично разносивший недавно унтер-офицера. — Пускай явятся, узнают, что значит хороший картечный выстрел! — При этом он опрокинул в рот вторую порцию водки.

Артиллеристы в походе счастливейшие люди: у них всегда есть возможность набрать с собой массу закусок и вин, так как в зарядных ящиках может поместиться помимо смертельных гранат и шрапнелей много и других вещей. Начали пить чай, разговор принял оживленный характер.

Посыпались остроты, шутки; посмеялись добродушно над моряками, попавшими совершенно неожиданно не в свою стихию, поговорили о далеком Севере, и, как всегда в обществе офицеров, разговор перешел к скабрёзным анекдотам, причём каждый обязывался рассказать по одному. Между тем наступила полная темнота. Завыли шакалы, на душе становилось как-то жутко; чувствовалось, что в случае нападения неминуемо должна произойти, вследствие темноты, суматоха, могущая не особенно хорошо для нас кончиться.

Наступила тишина, прерываемая только чавканьем верблюдов, пережевывавших свою жвачку, да храпом спящих солдат; изредка на коновязи начинала ржать и биться лошадь, и тогда слышался полусонный окрик дежурного по коновязи, и снова все замирало, и в степи мелькала масса огоньков — глаза степных хищников, издававших звуки вроде плача маленького ребенка.

— Однако пора спать, — заявил кто-то из офицеров и, тяжело поднявшись с бурки, поплелся восвояси, натыкаясь на спящих и вполголоса ругаясь на темноту. Вся компания разошлась. Слышно было, как звали разных Иванов, Петров и других — это денщики должны были помогать своим господам ложиться спать. Затем, после неоднократного зова, слышалось зеванье, потягивание и неизменное: «Сейчас, ваше б-дие».

Бивак погрузился окончательно в сон, и только аванпосты зорко всматривались в темноту, ожидая нечаянного нападения.

2. ПЕРЕХОД В СТЕПИ

Жарко, душно... Губы и язык запеклись, глаза налились кровью, пот струится по исхудалым, обожженным лицам, оставляя грязные полосы. Ноги с трудом передвигаются, шаги неровные, колеблющиеся; винтовка кажется пудовой тяжестью и немилосердно давит плечо, а солдатик все идет, идет машинально, пока не завертится все в глазах, не покроется кровавым облаком и сотни молотов не застучат в виски; тогда представитель касты «пушечного мяса» закачается, взмахнет руками, берданка вывалится и с тихим, душу надрывающим стоном свалится он на горячий песок с закатившимися глазами, с пеной у рта. Немедленно являются «земляки», такие же измученные, едва движущиеся, приподымают товарища, льют ему в горло теплую мутную воду из баклажек, смачивают голову, освежают воздух, размахивая своими отрепанными фуражками, но «земляк» лежит без чувств; хриплое дыхание со свистом вырывается из его конвульсивно подымающейся груди, он скрежещет зубами, и пена с кровью течет по его обострившемуся подбородку на смоченную потом изорванную рубашку, в многочисленные дыры которой видны ребра, обтянутые смуглой кожей, давно не выдавшей бани. У солдатика солнечный удар — явление обыкновенное в Средней Азии. Но вот является представитель медицины — фельдшер — в большинстве случаев семитского про-

исхождения. С помощью нашатырного спирта больной приводится в чувство, и счастье его, если открывается кровотечение носом: жизнь спасена. Поддерживаемый товарищами, бредет он к ротному фургону, где уже сидит не один «слабый»; тут же помещается фельдшер, который через краткие промежутки времени мочит ему водой голову, забинтованную куском полотна, и старается мешать ему уснуть, так как сон после солнечного удара может иметь смертельный исход. Дремлющий возница понукает лошадей, и фургон торопится снова занять свое место в длинном ряду других повозок и фургонов.

Бесконечно желтою скатертью раскинулась степь. Как может обнять взгляд, видна только пустыня, изрезываемая кое-где блестящими белыми полосами, — это солончаки. Ни клочка зелени, ни деревца, ни холма — ничего, на чем мог бы отдохнуть глаз, утомленный однообразием этой, Богом обиженной страны.

На бледно-голубом небе нет ни облачка — да откуда бы, впрочем, могло оно взяться, когда нет воды для испарений? Удушливый воздух неподвижен, нет ни малейшего ветра, и это счастье! Сколько раз мне приходилось слышать от новичков в степном походе пожелание, чтобы задул ветер, и затем, когда желание это случайно исполнялось, какие проклятия посылались этому, столь нетерпеливо ожидаемому ветерку! Да и было за что. Представьте себе удовольствие в течение пяти и шести часов идти в облаке мелкого песку, не видя ничего в десяти шагах и пропитываясь пылью, набивающейся в нос, рот, уши. Слезы льются градом, веки опухают и краснеют от постоянного вытирания глаз платком. Очки мало помогают, и наконец на стекла насадет такой густой слой пыли, что через очки нет возможности ничего увидеть, и в довершение всего, ветер не приносит прохлады и производит на тело впечатление, сходное с тем, какое испытываешь в бане на полке при взмахах веника, пригоняющего на тело струю раскаленного воздуха.

Длинной вереницей тянутся верблюды, нагруженные провиантом, ротными хозяйственными принадлежностями, солдатскими и офицерскими вещами и патронами. На каждые шесть или семь штук полагается по вожатому. Вожатые разных национальностей: персы, туркмены, киргизы. Каждый из них сидит на горбе переднего верблюда, раскачиваясь с апатическим видом взад и вперед и мурлыча себе под нос далеко не музыкальную песенку. Остальные верблюды привязаны друг к другу за хвост или за седло. У многих из проткнутых ноздрей, куда вдет палочка на веревке, капает кровь, что служит доказательством дурного характера этого верблюда, желающего освободиться от своеобразной уздечки. На каждые десять верблюдов назначается солдат или казак, обязанность которого смотреть за вожатым и останавливать свою партию в случае потери какой-нибудь вещи, что случается довольно часто, так как веревки, коими привязывается груз, ослабляются от постоянно качающегося движения верблюда.

Версты за полторы или две видны отдельные группы наездников в три-четыре человека каждая — это наши казацьи разъезды. По временам один или два человека отделяются и рысью скачут в сторону осмотреть какую-нибудь балку или овраг и, не найдя ничего подозрительного, возвращаются на свое место.

— Дяденька, а дяденька! — робко обращается молодой солдатик-сапер к усатому ефрейтору, украшенному двумя крестами и шагающему с сосредоточенным видом и с каким-то озлоблением.

— Чего тебе? — еле повернув голову, спрашивает старый служака.

— Скоро ли «стой» сыграют? Просто моченьки нет, все ноги стер... — плаксивым тоном жалуется солдатик, и неподдельное страдание выражается на его молодом, безволосом и глуповатом лице.

— А ты... (тут почтенный ефрейтор употребил довольно сильное выражение) Кто виноват, что надел сапоги? Вот тебя еще в ночные надо назначить, чтоб слушался в другой раз; ведь есть поршни, а то сапоги надо! Деревня! — И ефрейтор сплюнул в сторону.

Солдатик замолчал и продолжал идти ковыляя, стараясь ступать больше на носки.

По наружности ефрейтора видно, что это не новичок в степном походе. Все у него пригнано так, что не стесняет движений. Сума с 120 патронами самодельная, из сукна. Снаружи сделано несколько гнезд, откуда виднеются шляпки патронов: это на случай быстрой, неожиданной надобности сделать несколько выстрелов. Сума на широкой перевязи через правое плечо, и перевязь проходит под поясной ремень, чтобы на бегу сума не хлопала по бедру. Сзади холщовый мешок, на котором ваксой написаны номер роты и начальные буквы имени и фамилии владельца. Мешок так приспособлен, что не шелохнется на ходу; большая деревянная баклажка с водой обтянута войлоком и помещается на правом боку очень удобно. Ноги обуты в поршни, то есть в баранью кожу, без каблуков, и по своей мягкости не оставляют желать ничего лучшего. На голове кепи с назатыльником из куска полотна, защищающего отчасти шею и затылок от жгучих лучей солнца. Одет ефрейтор в белые штаны и красную кумачовую рубашку, так как в походе в Средней Азии форма не соблюдается и какой-нибудь генерал прежних времен, наверное, умер бы от апоплексии при виде роты, одетой в самые комичные и разнообразные костюмы.

Шагах в пятидесяти перед ротой шагает верзила поручик с кавалерийским карабином на плече в сопровождении двух вольноопределяющихся, один из которых горец, уроженец Кавказа, обладает физиономией, способной в сумерках испугать и не очень робкого человека.

Поручик, пресимпатичнейшая личность, весь обросший бородой, с высоким, умным лбом, останавливается и поджидает свою роту.

— Что, ребята, устали небось? — спрашивает он солдат, и измученные солдатики сразу подтягиваются, подбадриваются и в один голос отвечают:

— Никак нет, ваше б-дие.

Эта черта характера нашего солдата постоянно мною замечалась: измученный, обессиленный, он всегда старается перед начальником показать себя бодрым и скорее заявить о своей усталости строгому, нелюбимому командиру, чем хорошему — «отцу, что называется».

— А ну-ка, Пузырев, затяни, брат, что-нибудь, — обратился поручик к широкоплечему малому, мурлыкавшему что-то себе под нос.

Во фронте роты произошло маленькое перемещение: человек пятнадцать вышли из рядов и сгруппировались на правом фланге.

Пузырев еще раз затянулся из своей коротенькой, почерневшей трубочки, откашлялся, сплюнул и высоким дискантом начал:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Хор подтянул. Лица солдат повеселели, а при припеве:

Ах вы Сашки, канашки мои,
Разменяйте вы бумажки мои... —

у многих совершенно произвольно зашевелились плечи и ноги. В соседней роте затянули плясовую, а какой-то солдатик выскочил и начал откалывать перед фронтом трепака, с винтовкой на плече и с полуторапудовым багажом на себе, подымая облака пыли, в которых мелькала его приседавшая и прыгавшая фигура...

А солнце жжет, немилосердно жжет... Лошади совершенно измучены и на понукания и удары нагайки отвечают размахиванием головою и хвостом, как бы желая сказать: «Ну, брат, мне теперь все равно, бей не бей, а скорее не пойду». Колонна сделала с утра двадцать четыре версты, и остановка была только два раза по полчаса; еще три версты — и привал на два часа. Боже праведный, да когда же наконец будет этот проклятый холм! Утром в четыре часа, при выступлении с последней станции, он казался так близок, а вот уже идем семь долгих часов и все еще не добрались до него! Впереди колонны едут несколько офицеров; среди них выделяется фигура седого майора, старого кавказца; он начальник колонны. Шагах в пятнадцати сзади едут два казака и горнист — комичнейшая фигура пехотного солдата на обозной лошади пегой масти, с винтовкой с примкнутым штыком за плечами, стремян нет, почему ноги болтаются

в воздухе и сам всадник каждую минуту подвергается опасности слететь со своего Буцефала.

Офицеры ехали молча, на физиономии каждого видно было утомление и желание как можно скорее добраться до места привала.

Майор оглянулся назад, посмотрел, далеко ли отстал арьергард, и велел горнисту сыграть «стой».

Горнист снял с перевязи горн, высыпал набившийся в него песок, поднес горн к губам, надул щеки, выпучил глаза — не тут-то было: из трубы вылетали облака пыли, но ничего похожего на сигнал. После нескольких минут усилий горн захрипел и издал нечто похожее на сигнал «стой». Колонна остановилась. Солдаты и офицеры сейчас же легли на раскаленный песок; во многих местах видны были фигуры, лежавшие на спине, поднявши ноги кверху, — лучшее средство, чтобы ноги отдохнули, так как при подобном положении прекращается прилив крови к наиболее уставшим частям тела. Некоторые из солдат жуют сухари, иные, наиболее утомленные, заснули тяжелым сном; артиллеристы улеглись под передками и зарядными ящиками, чтобы хоть немножко воспользоваться тенью; словом, каждый старался не потерять ни одной минуты кратковременного отдыха, пока подтянутся отсталые. К кружку офицеров, лежащих на бурке, подходит торопливо денщик, останавливается против одного из пехотных офицеров, выпучивает глаза и громко выпаливает:

— Лопнул, ваше благородие!

Барин его, сладко дремавший, при этом громком, странном восклицании быстро вскакивает.

— Кто лопнул? Что ты городишь такое?

— Тилимометра, ваше благородие! — При этом денщик вытаскивает из-за обшлага маленький сорокаградусный термометр Ремюра с лопнувшей трубкой.

Раздается гомерический хохот офицеров. Оказалось, что владелец термометра велел своему Санчо Пансе иметь термометр «под рукой», тот засунул его за обшлаг, и так как температура в этот день была около 47 градусов, то термометр и лопнул.

Горнист сыграл «подъем». С неохотой поднялись солдатики, выстроились и пошли бодрее, однако, так как давно желанное место привала было всего только в двух верстах. Еще полчаса — и там три часа отдыха, чай, суп...

Офицеры заранее отдали распоряжение денщикам насчет закуски, и всем стало казаться, что солнце вовсе не так сильно жжет, как прежде, и что вообще степной поход ничего себе, пока есть что закусить и выпить; таков человек: съест бочку дегтя и в предвкушении ложки меда находит, что и деготь не особенно дурен.

Но вот и холм... Ура, привал! Пьем, едим и спим.

3. УКРЕПЛЕНИЕ БЕНДЕССЕН И ОХОТНИКИ

Трудно решить вопрос: когда впервые появились охотничьи команды в русских войсках? История передала нам имена знаменитых начальников партизан Отечественной войны 1812 года: Фигнера, Сеславина, Дениса Давыдова и др. Были ли они основателями охотников или только расширили деятельность этих последних — не знаю, но мне кажется, что начало существования охотников во время войны восходит до глубокой древности. Во всякое время и везде были люди, мало дорожившие жизнью и ставившие ее на карту или из любви сильного ощущения, или для приобретения отличия; такие-то люди и положили краеугольный камень в основание охотничьих команд.

Но что такое охотники? — спросит, быть может, читатель, какой-нибудь мирный гражданин, трепещущий при слове «война» и видевший кровь только в мало прожаренном бифштексе.

Охотники, многоуважаемый читатель, — люди, идущие «охот-но» на смерть. Вам, может быть, это покажется смешным, и вы, пожав плечами, скажете: не понимаю людей, желающих рисковать жизнью из-за получения ордена, когда последний можно получить и за мирные отличия, и вы, быть может, с важным видом поправите орден Станислава, висящий на шее и полученный за просиженную в двадцать лет службы дюжину стульев в департаменте.

Представьте себе, многоуважаемый читатель, что находятся люди, подставляющие лоб даже не ради креста или чина, а ради ощущения: пылкая кровь бурлит у них в жилах, ударяет в голову и заставляет делать сумасбродно храбрые вещи. Подобные-то организмы, понятно, неиспорченные плесенью сидячей канцелярской жизни и поставляют главный контингент людей в охотничьи команды. Этими искателями сильных ощущений являются главным образом офицеры и вольноопределяющиеся, то есть люди образованного класса; солдатики же в большинстве случаев идут в «охотники» в силу присущего им фатализма или же из честолюбия — для получения «Егория»; попадают иногда и поистине отчаянные головы, нетерпимые в роте, но неценимые в охотничьей команде. Вообще же, как я замечал, охотники — народ развитой, ловкий, сообразительный, не теряющийся в минуты самой страшной опасности и наиболее способный обойтись в деле без указаний офицеров.

Но, может быть, читатель спросит, какая же обязанность охотников? Чем отличается их деятельность от деятельности обыкновенных регулярных команд?

Охотникам обыкновенно поручаются самые опасные предприятия: им поручается разведывание сил неприятеля, отыскание удобных мест для нападения на лагерь или укрепление; они обязаны тревожить неприятеля, уничтожать мелкие неприятельские команды, отбивать транспорты, узнавать движение неприятеля и мешать ему неожиданно напасть на наши главные силы;

но главное и наиболее почетное — это обязанность первыми идти на штурм.

Хороший охотник должен обладать качествами североамериканского дикаря: без шума, как змея, проползти через линию неприятельских аванпостов, все что надо высмотреть при случае, не производя тревоги, покончить с каким-нибудь чересчур внимательным часовым и вернуться обратно с необходимыми сведениями — вот что должен уметь исполнить каждый, претендующий на почетное название охотника. Для этого требуется известная подготовка или, вернее сказать, способность сбросить с себя цивилизованную оболочку и вернуться к тому доброму, старому времени, когда люди соперничали с дикими зверями в легкости движений и в изощрении органов зрения, слуха и обоняния.

Сообщив читателю общие, краткие сведения об охотниках вообще, я начну теперь описание укрепления Бендессен — главного местопребывания охотничьей команды Ахал-Текинской экспедиции — и познакомлю читателя с некоторыми типичными личностями маленького гарнизона этого важного пункта.

Бендессен лежит довольно высоко над уровнем моря — около тысячи футов — и господствует над долиной, находящейся между горами Копет-Дага. Долина эта представляет одно из немногих мест, на которых может успокоиться взор наблюдателя, утомленный однообразием глинистой или песчаной почвы так называемого Ахал-Текинского оазиса. Орошаемая ручейками, берущими начало из источников у подножия скал Копет-Дага, долина эта в первый раз предстала моим глазам, покрытая роскошной растительностью. Трава в некоторых местах превышала рост человека. Но, Боже мой, что случилось с этим плодородным уголком после основания в Бендессене верблюжьего лазарета или, вернее сказать, верблюжьего кладбища, так как из этого лазарета ни один верблюд не выходил живым! Но об этом после, вернемся к Бендессену. Само укрепление находится на вершине скалы и представляет почти неприступное место, для текинцев по крайней мере; только с тыла оно плохо защищено, так как здесь гора, на которой находится этот ахал-текинский Гибралтар, пологостью соединяется с близлежащими холмами и путем к Бендессенскому перевалу.

Укрепление Бендессен расположено на углу, образуемом двумя перпендикулярно пересекающимися путями; один из них, по долине, ведет в укрепление Ходжа-Калу, другой, по ущелью, в Бами — главный пункт стоянки наших войск с конца июня по ноябрь 1880 года. По другую сторону ущелья, в расстоянии шагов двести, находится крутая, господствующая над укреплением скала, где днем помещается пикет от бендессенского гарнизона в числе пяти или шести человек. Этот пикет обозревает долину на протяжении верст шесть или семь. Самое укрепление Бендессен состоит из полукруглой траншеи, обороняющей тыл, и из маленького редутика, в котором во время моего там пребывания нахо-

дились два медных четырехфунтовых орудия. Гарнизон — две роты: одна Самурского полка, другая Апшеронского; охотничью команду нельзя считать, так как она бывала почти всегда в разброде, в горах, на охоте за текинцами. Обе роты находились собственно в укреплении, то есть на скале, охотники же — внизу, у подошвы. Высота утеса над долиной саженной двадцать пять—тридцать; в углу его, на уровне земли, находится пещера, обращенная еще текинцами в род укрепления, а именно — сделана глиняная стенка с бойницами, защищающая эту пещеру с фронта, то есть со стороны ущелья, ведущего к перевалу.

Со стороны долины, у подножия утеса, протекает ручеек, затопляющий значительное пространство и одновременно оплодотворяющий почву и отравляющий воздух, так как гниющий в стоячей воде тростник и другие органические вещества порождают зловоние, обоняемое на далеком еще расстоянии от Бендессена. На берегу этого ручья расположена биваком охотничья команда. В недалеком расстоянии разбиты коновязи артиллерийских лошадей, находящихся в Бендессене на подножном корму. На ночь здесь же помещаются верблюды и бараны. Атмосфера вечером невыносимая. Теперь, когда я пишу эти строки, для меня непонятно, как мы не задохнулись в этом газометре углекислоты и сероводорода; присутствие последнего особенно чувствовалось в воде, сильно отсылавшейся гнилыми яйцами. А между тем сколько счастливых часов проводил я в этой атмосфере, на берегу этого ручья, в логовище армянина-маркитанта, в дружеской беседе с товарищами, за бутылкой скверного кислого вина, казавшегося тогда хорошим в пылу разговора о севере, о всем дорогом, что осталось дома, о предстоящих делах и штурме Геок-Тепе! Странное существо человек! Теперь, когда все миновало, телесные и душевные раны закрылись, когда находишься в иной, комфортабельной обстановке, пользуешься благами цивилизованной жизни, — тянет в эту дикую степь, к этим лишениям и к ставке жизни на карту. Сердце ноет и щемит при взгляде на бурку, на которой год тому назад лежал и при тусклом освещении огарка болтал с людьми, из которых осталось на свете меньше половины. Вспоминаются даже отдельные фразы, какое кто занимал место в кибитке, где чья шашка и револьвер висели; чайник без ручки, фляга, заткнутая бумагой вместо пробки, и глупая рожа денщика, являющегося с крышкой от кастрюли, полной дымящегося и шипящего шашлыка — все это я вижу как теперь, как будто это было вчера. Вижу доброе, симпатичное лицо прапорщика Усачева, задумчиво смотрящего куда-то вдаль, в неосвещенный угол кибитки, как будто предчувствующего свою преждевременную смерть на штурме. Вот смуглый Готто, подпоручик Апшеронского полка, барабанивший пальцами правой руки по надтреснутой тарелке, а левой рукой крутящий свои черные усы. Бедняга! Не думал я, что только эти черные усы будут признаком, по которому я узнаю его обе-

зображенный сабельными ударами труп после вылазки 28 декабря! Не смейтесь, читатель, над этим сентиментальным отступлением; бывают минуты, когда воспоминания о пережитом нахлынут в голову, и тогда, несмотря на всю дрессировку характера, становится тяжело и все это ощущение выливается на бумагу.

Человек, не бывавший в походе, не понимает, что значит связь между людьми, являющаяся следствием бивачной, боевой жизни. Весть о смерти людей, с которыми я сталкивался и жил вместе во время моей мирной жизни, не может так на меня подействовать, как смерть человека, с которым я был в походе. На биваке, под открытым небом, под пулями — нет этикета, нет правил церемоний и приличий, не позволяющих людям сближаться. Все это порождение нашей цивилизации остается в последнем цивилизованном пункте, и на место этого являются товарищеские, братские отношения, скрепленные стремлением достигнуть общей цели ценою крови и желанием той же дорогой ценой поддержать блестящую славу нашего оружия. Вот почему два человека, бывших вместе на войне, через много лет встречаются не как посторонние, а как друзья, как братья по крови, пролитой для общего дела. Воспоминания о пережитых вместе трудах и опасностях связали их навсегда. В походной жизни мало мелких интересов и интриг, да и трудно предположить, чтобы в виду смерти, грозящей каждому, являлось желание подставлять друг другу ногу, повредить один другому, что мы видим в мирное время в городах, где идет так называемая борьба за существование.

На войне, где эта борьба между национальностями достигает грандиозных размеров, где идея борьбы олицетворяется свистом пуль и потоками крови, нет места для единичной борьбы; там царствует товарищество в широких размерах, и воспоминания о пережитом остаются на всю последующую жизнь соединяющим звеном между повсюду раскинутыми знакомыми между собой соратниками.

После этого немного длинного отступления я введу читателя в укрепление Бендесен. Человек с самыми здоровыми легкими почувствует одышку, подымаясь на эту крутизну по извилистой, каменистой тропинке, вьющейся под углом градусов в сорок. С передышкой наконец мы с вами на вершине.

Вы видите не особенно большую площадку, ограниченную с трех сторон крутыми обрывами и занятую кибитками и палатками. Почти в центре — маленький редутик, где на солнышке прожигается артиллерист-часовой, оберегая два медных орудия и два передка. Передняя часть площадки, обращенная к долине, занята преимущественно офицерскими кибитками. Все кибитки поставлены фронтом и выравнены, как солдаты на параде. В центре офицерских кибиток находится комендантская. Но прежде чем ввести вас туда, читатель, я объясню вам, что такое кибитка.

Для человека, не бывшего на наших восточных окраинах, кибитка может представиться родом опрокинутого допотопного русского экипажа, как одна наивная барыня и предполагала. Кибитка есть круглое, переносное здание, настолько обширное, что в нем может поместиться более дюжины человек, спящих на земле по радиусам. Представьте себе четыре или пять решеток, высотой около сажени; решетки эти не прямые, а выгнутые. Составленные вместе, они образуют цилиндр, диаметр основания которого может быть различный; снаружи этот цилиндр обтягивается кусками кошмы, причем, чтобы ветер снизу не поддувал, к низу на пол-аршина присыпается земля. Крыша состоит из дуг, образующих полушарие и также обтянутых кошмой — вот вам примитивное жилище наших кочевников, а также и войск на походе в тех местах, куда Макар телят не гонял.

Теперь, читатель, когда вы, обладая некоторой долей воображения, представили себе, что такое кибитка, я введу вас к милому, что называется душе-человеку, подполковнику Генерального штаба В—ву, занимающему пост коменданта укрепления Бендессен и командующего войсками этого укрепления. Не пугайтесь громкого титула, обладатель коего встретит вас очень любезно.

Обеденное время, то есть полдень. Немножко жарко, иначе говоря, на солнце 46 градусов, в кибитке же всего 39 или около этого; несмотря на эту температуру на столе стоят бутылки со спиртом, водкой и коньяком наполовину пустые: вы попали как раз во время закуски, когда господа офицеры выпили «по второй». Пара коробок с сардинками и кусок сыра составляют для похода роскошную закуску. Сборные тарелки, всевозможных и невозможных видов ложки и ножи красуются на столе, ибо угощение от коменданта, но каждый является со своим прибором, так как больших сервизов в походе не полагается возить с собой. Так как дам нет, то хозяин и гости относятся довольно небрежно к своему туалету, иначе говоря, сидят без сюртуков, причем любезный читатель извинит, если заметит, что сорочки не первобытной белизны: виноват не недостаток чувства опрятности, а недостаток прачек.

Представляя вам, читатель, общество офицеров не буду, скажу только, что ребята всё славные.

— Ух жарко, — замечает совсем черный поручик с сильным восточным акцентом и вытирает лицо мохнатою рукой, похожею на лапу медведя.

— Ну, еще сегодня ничего, это тебе кажется от водки, — возражает сонный гардемарин флота, наливая, вопреки своим словам, полстакана какой-то мутной жидкости из бутылки с этикеткой «Столовое вино вдовы Попова». — Кряк!.. — Стакан опрокинулся в горло, страшная гримаса — и огромный кусок хлеба исчезает в пасти достойного сына русского флота, хватившего по ошибке вместо водки чистого спирта.

— Ну и глотка, — глубокомысленно замечает сотник Таманского казачьего полка, курящий перед обедом, вопреки всем правилам приличия, свою люльку и выпуская клуб дыма прямо в рот подпоручика артиллерии, собирающегося проглотить кусок сыра.

Последний начинает кашлять, давится сыром, слезы градом льются. На помощь является командир охотников, молодой капитан, и могучим ударом кулака в шею спасает сонного артиллериста от позорной смерти задушения. Общий хохот, причем пострадавший вознаграждает себя за претерпенное мучение хорошим глотком коньяку.

— Господа, суп идет, — восклицает гардемарин, видя входящего денщика с миской и начинает приводить в порядок тарелку, смахивая ее чем-то похожим и на салфетку, и на носовой платок, и на полотенце, но более всего на грязную тряпку. Крошки хлеба летят в лицо тому же злосчастному артиллеристу. Последний в негодовании вскакивает и наступает на лапу большого пса, смиренно лежащего под столом. Визг, лай; сделанный на живую руку стол наклоняется на одну сторону, падает одна из бутылок с драгоценной влагой, и содержимое выливается на красные кожаные туркестанские штаны коменданта.

— Ну, что вы расшалились, вот, ей-богу, малые ребята, — замечает добродушно комендант, вытирая пострадавшую часть котюма салфеткой.

Воцаряется спокойствие. Слышны только стук ложек, жеванье и неистовый шум, производимый мириадами мух. По временам энергичное восклицание кого-нибудь из сотрапезников, которому сразу упало в суп штук пять мух или, что еще неприятнее, одно из этих насекомых влетело в рот или ноздрю. Несмотря на жару, аппетит превосходный и тарелки с горячим, как кипятком, супом очищаются преисправно.

— Что на второе? — спрашивает хозяин у денщика, вытирая свои длинные русые усы.

Денщик, стоящий у дверей и с сосредоточенным видом вытирающий тарелки замасленным рукавом скюртука, глупо осклабляется и приятным тоном докладывает: «Бикштепс с рысом, ваше в-дие!» Является и это кушанье; но, Боже мой, читатель, что это за блюдо: объедение, да и только — черные обуглившиеся куски чего-то без подливки, прилипшие к крышке от кастрюли, и огромная миска круто сваренного риса. Но как это вкусно в походе! В мгновение ока все это исчезает в офицерских желудках — и является сладкое блюдо: плов с бараниной, изюмом и черносливом — и все это плавает в прогорклом масле. Это лучшее и любимое кушанье в Средней Азии представляет то удобство, что ни один денщик, он же и повар, не может испортить блюдо, так как хуже, чем оно есть, оно быть не может.

Офицерство сыто; закурены папиросы, трубки, люльки — все дышит и наслаждается кайфом. В это время за кибиткой слышатся странные звуки: пух, пух, пух... Это денщик или ординарец раздувает самовар. Вот наконец и чай на столе, и неизменный

клюквенный экстракт Мартенса, и коньяк, и даже — о роскоши! — английское печенье! Буквально сегодня пиршество. Несмотря на сорокаградусную температуру, любители чая выпивают стаканов по шести, по восьми; можно подумать, что находишься в обществе чревоуемистых московских купцов; оно, впрочем, и понятно — организм требует пополнения жидких веществ, теряемых в большом количестве через испарину при этой жаре.

После чаепития в обществе замечается сонливость. Шутки и остроты слышатся реже, не столь энергично уже отмахиваются от мух, и раздаются проклятия, посылаемые этому общему врагу. Гардемарин М—р деятельно занимается уничтожением крылатого противника, для чего насыпается на столе небольшая кучка мелкого сахара; мухи черной массой покрывают сахар, тогда на эту массу осторожно опрокидывается стакан дном вверх. Боже мой, что за содом происходит в стакане! Страдания несчастных крылатых пленников прекращаются после того, как под стакан осторожно просовываются две-три зажженные серные спички. Сера удушает мух, и они, одна за другой, падают бездыханными на сахар. Но и это занятие наконец надоедает нашему молодцу; изрекая глубокомысленно: так наказывается обжорство, он позевывая уходит. Через минуту слышится его сильный, грудной голос: «Хрящатый (фамилия матроса денщика), раздень меня!» И через пять минут из койбтки, где покоится молодой моряк, раздается храп; через несколько минут во многих местах слышится повторение этого храпа басом, дискантом или с присвистом: гарнизон укрепления Бендессен погрузился в послеобеденный сон.

Пользуясь этим общим сном, я расскажу читателю вкратце историю основания укрепления Бендессен и трагической кончины доктора Студитского, послужившую отчасти причиной к этому основанию.

Когда отряд проходил в половине июня из Ходжа-Калы в Бами, укрепления Бендессен еще не существовало. От Ходжа-Калы до Бами более сорока верст, и эти сорок верст обыкновенно составляли один переход. Уже тогда начальствующими лицами была создана необходимость устроить укрепление в Бендессене, которое, помимо важного стратегического пункта, лежащего на пересечении двух главных текинских дорог, должно было бы служить пунктом пастбы лошадей как единственное место, изобилующее травой; но все-таки тогда Бендессен не был занят, вероятно, по причине малого размера отряда, дробить который Скобелев не мог.

В это время около Бендессена постоянно шлялись текинцы более или менее значительными партиями. Несколько джигитов, то есть мирных туркмен, находившихся у нас на службе и употреблявшихся для почтового сообщения по военной линии, были убиты и ограблены, так что стало трудно заставлять джигитов исполнять возлагаемую на них обязанность. Стали посылать джигита вместе с казаком.

В последних числах июня случилось, что джигит вернулся без казака и сообщил, что последний убит и ограблен текинцами, а что он сам спасся благодаря быстроте своей лошади. Явилось подозрение в правдивости его слов и причастности его к убийству казака. Доктор Студитский, состоявший в распоряжении генерал-адъютанта Скобелева, был им командирован для вскрытия трупов и определения, если окажется возможным, в каком направлении и на каком расстоянии последовал выстрел, убивший казака.

Студитский поехал с конвоем из двенадцати казаков; конвоем командовал урядник барон Л—н. До Бендессена этот маленький отряд добрался благополучно, но здесь, повернув в долину, увидел несколько текинцев. Покойный Студитский, человек пылко храбрый, немедленно порешил напасть на них, но намерение это не могло быть приведено в исполнение, так как появились текинцы в числе около 300 человек. Казаки спешили, взвели лошадей на пригорок и залегли за камнями; позиция была не из хороших, но выбирать не было времени, оставаться же на открытом месте было равносильно немедленной гибели. Текинцы смело подошли на очень близкую дистанцию и были встречены дружным залпом, что сразу убавило у них храбрости. Тогда началось баснословное дело — борьба 12 с 300.

Текинцы начали заходить во фланг, и перестрелка уже началась на расстоянии нескольких десятков шагов, причем обе стороны использовали валуны как укрытия. Для того, чтобы читатель лучше понял условия боя, он должен себе представить цепь утесов, перед которой, шагах в ста расстояния, тянется небольшая цепь каменистых холмов.

Студитский со своими казаками засел с наружной стороны вершины одного из этих холмов, то есть со стороны, обращенной к долине; текинцы же пробрались в промежуток между главной цепью и холмами и заняли позицию по внутреннюю сторону, так что враги были разделены только вершиной холма. Большинство текинцев было вооружено бердановскими винтовками, отбитыми у нас при штурме Геок-Тепе в несчастную экспедицию 1879 года, в так называемую экспедицию трех гениальных сиятельных вождей: графа Берга, князя Долгорукова и князя Витгенштейна.

Наиболее смелые текинцы подползали на несколько шагов и падали жертвами своей смелости. Один был убит на таком близком расстоянии, что казак, протянув руку, взял ружье, оказавшееся нашей берданкой с вновь сделанной ложей, украшенной серебром. Этот неравный, невозможный бой продолжался с 9 часов утра до 4 вечера, причем замечательнее всего то, что текинцы не решались броситься в шашки, что было бы неминуемой гибелью для наших храбрецов.

Студитский стрелял из револьвера, а потом из отбитой винтовки и при всяком удачном выстреле произносил энергическое словцо. Казаки, по их собственным словам, останавливали его, а равно не

советовали высовываться; причем они мне сами говорили, что приписывают его смерть главным образом его невоздержанному языку. Надо знать религиозность казаков и вообще солдат. Они во время боя настолько же скромны в выражениях, насколько грубы и нескромны в обычной жизни; они считают громаднейшим грехом в деле браниться, боясь предстать на страшный суд с оскверненными устами, и человек, бранящийся в бою, по их мнению, наверняка становится жертвой пули. Привожу подлинные слова одного из казаков, рассказывавшего мне на самом месте смерти Студитского весь ход этого геройского дела.

«Убили их б-дие господина дохтура потому, что они ругались. Статочное ли дело в бою сквернословить? А они, как выпалят из ливолвера, увидят, что попали, сейчас в ладоши хлопают и говорят: а, так, говорят, тебя такого-сякого и надо. Мы им, ваше б-дие, говорили, что, мол, ваше б-дие, нехорошо ругаться, а они все... и потом совсем бесстрашные — высовываются поминутно из-за камня, одна проклятая и зацепила им ухо; они это отерли кровь и говорят: пустяк, плохо, брат, прицелился! Постреляли они еще, и стало им отселева стрелять неловко (указывает на большой камень, весь испещренный свинцовыми блестками — следами ударявшихся пуль), захотели они перейтить на другое место и только это приподнялись, как пальнет один оттудова (казак показывает на валун шагов в 20—25, где лежал выстреливший текинец). Они схватились за бок, упали и говорят: «Прощайте, братцы, кланяйтесь жене». Пошла у них ртом кровь и померли. Вот и кровь их, ваше б-дие». — И казак указал на большое темное пятно на камне и, сняв папаху, набожно перекрестился.

Замечателен также факт, что один казак с раздробленной нижней челюстью продолжал стрелять. Полученная им вторая рана в бедро не заставила его выпустить ружья из рук, пока пуля не попала в грудь; тогда он перевернулся на спину, перекрестился и отдал Богу свою мужественную, преданную отечеству душу. Велик русский человек в своей вере и умеет так умирать, как ни один другой народ!

Со смертью Студитского казаки почувствовали на половину уменьшение энергии. Барон Л—н, плохо говорящий по-русски, не мог их воодушевить, да и по своему характеру не мог быть начальником этой горсти храбрецов. К счастью оставшихся в живых, в пятом часу показалась рота, шедшая из Ходжа-Калы в Бами или наоборот — не помню уже теперь. Текинцы, не ожидавшие подобного сюрприза, обратились в бегство, но не настолько быстро, чтобы не успеть получить от роты приветствия в виде залпа.

Тела доктора Студитского и убитых казаков были отвезены в Ходжа-Калу, где и преданы земле со всеми почестями, причитающимися подобным героям.

Оставшиеся в живых получили по два знака отличия военного ордена: 4-й ст. от Скобелева и 1-й ст. от в Бозе почившего императора Александра II.

Весть о смерти Студитского сильно поразила Скобелева. Через несколько дней было отдано приказание занять Бендессен и устроить там укрепление на две роты во избежание возможности повторения несчастных случаев с джигитами или вообще небольшими отрядами, проходящими через наиболее любимое пристанище текинских шаек.

Теперь, читатель, я вас сведу вниз и покажу так называемый верблюжий лазарет. Отдавая справедливость гениальным военным способностям Михаила Дмитриевича Скобелева, я тем не менее должен сказать, что он во время приготовлений к началу военных действий следовал советам близких к нему людей, не вполне способных советовать. Характер Скобелева настолько увлекающийся, что он в первом порыве найдет совет хорошим и приводит его в исполнение, когда же позднее увидит, что теория с практикой не сходится, то отменять отданное распоряжение он не станет, следуя тому правилу, что раз отданное военачальником приказание свято должно быть исполнено.

Кто-то дал ему совет устроить в Бендессене верблюжий лазарет, а может быть, и самому ему пришла в голову эта идея, с первого взгляда вполне удобная для исполнения. Бендессен действительно изобилует травой и по своему местоположению представляет все удобства для охраны значительного количества скота, находящегося у подножия скалы под покровительством ружейного и оружейного огня с вершины этой скалы. Но мало устроить лазарет и иметь ветеринарного врача с фельдшером: надо иметь медикаменты и возможность не посылать на работу больных верблюдов; эти два последние обстоятельства были упущены из виду, и верблюжий лазарет стал общим посмешищем. Был даже начальник этого лазарета, исписавший массу бумаги, донося ежедневно о кончине такого-то и такого количества верблюдов. Теперь надо вам объяснить, читатель, чем страдали эти бедные животные, которым всем обязана экспедиция. В этих странах верблюд главное перевозочное средство, так как телеги ломаются ежеминутно и упряжные лошади не выдерживают пути; «корабль же пустыни» идет себе, переваливаясь, три-четыре дня без пищи и воды, неся на себе грузу около восьми пудов.

Главная болезнь этих животных заключается в поранении спины, являющемся следствием дурных седел и тяжелой нагрузки; это, впрочем, вполне понятно: если у верховых лошадей при превосходно пригнанных и укрепленных седлах очень часто «набивается» спина, то что же удивительного, что при раскачивающейся походке верблюда примитивно устроенное седло, лежащее на тонком, изодранном потнике и ничем почти не укрепленное на спине, с тяжелым грузом, постоянно ёрзает взад и вперед и в

конце концов сдирает бедному животному мясо на спине и боках. Климатические же условия таковы, что самая небольшая рана разбаливается от пыли и массы мух, не говоря о жгучих лучах солнца, способствующих воспалению и гниению; являются черви и, за недостатком медикаментов и ухода, остановить увеличение раны невозможно. Кроме того, верблюды, начинающие поправляться, посылаются на работу, отчего подживающие раны рас­травляются и животное, которое при пяти или шестидневном отдыхе выздоровело бы, тут околевает; но, выбирая между тем, что солдаты будут несколько дней сидеть без провианта или дров, или, что еще хуже, без патронов, или что околеет дюжина верблюдов, приходится жертвовать последними.

Итак, читатель, пойдем теперь с вами и посмотрим на этих бедных, страждущих «кораблей пустыни». Они теперь возвращаются с пастбища, и сейчас будет производиться так называемая перевязка. Вот впереди идет, покачиваясь, верблюд с сравнительно короткой мохнатой шеей и хохлом, падающим на лоб: это один из уроженцев киргизских степей, которые считаются самыми здоровыми и выносливыми. На горбу сидит вожак-перс в разноцветных лохмотьях и тянет какую-то невозможно дикую и унылую мелодию. Длинной вереницей двигаются пациенты, оглашая пространство скрипучим криком и заражая воздух отвратительным запахом гниющих ран. Наконец все явились и заняли четырехугольник, ограниченный широким, но мелким рвом; начинается укладывание их на колени, причем рев становится оглушительным: упрямые звери не хотят слушаться вожakov, причем не помогает самое энергичное дерганье за веревку, продетую в нос. Являются помощники-солдаты с поленьями и палками в руках; несколько добрых ударов по передним ногам — и верблюд хотя и с яростным ревом, но опускается на колени; большинство уложено, но вот один из наиболее сварливых неожиданно подымается, соседи следуют его примеру — и пошла потеха! Воздух оглашается ревом, руганью вожakov на непонятных наречиях и русскими крепкими словцами. Содом и Гоморра! Наконец пациенты успокоились и с самым глупым видом жуют свою вечную жвачку. Является фельдшер с каким-то сосудом, наполненным скипидаром; подходит к верблюду, которого за веревку держит вожатый, и льет скипидар на рану; верблюд ревет, хочет приподняться, не может и ограничивается тем, что с яростью выплевывает свою жвачку.

На рану накладывается тряпка, напитанная скипидаром, и прикрепляется двумя веревочками, проходящими под брюхо. Та же операция повторяется со всеми больными; но вот одному надо разрезать нарост, который, созревши, может образовать опасную рану, это одна из верблюжьих болезней. Верблюжий эскулап ставит бутылку со скипидаром на землю, с важным видом вынимает из кармана фельдшерский набор и собирается приступить к делу. Вожак, заинтересованный операцией, выпускает веревку из рук

и наклоняется посмотреть; фельдшер, для удобства взмопившийся на самого пациента, вонзает ланцет в нарост и быстрым круговым движением разрезает его. Верблюд с ужасающим, яростным ревом быстро подымается; оператор летит вверх ногами на землю, верблюдовожатый получает удар задней ногой в брюхо от неблагодарной скотины и от этого могущественного удара отлетает в сторону; слышится звон разбитого стекла, крик, и несчастный перс, с искаженным лицом, устремляется в ручей; он при падении уселся на бутылку и осколками стекла произвел себе поранение ниже спины, а скипидар еще прижег ему эти невольные раны. Верблюд, пользуясь обстоятельствами, бежит к мостику через ров и своим криком пугает лошадей, начинающих ржать и биться на коновязи. Артиллеристы и казаки устремляются их успокаивать, ругая верблюдов и давая на ходу пинки ни в чем не повинным верблюдовожатым, старательно связывающим передние ноги своим питомцам, так как дело идет к ночи. Наконец смятение утихает, верблюды жуют, неподвижно лежа на коленях, озаряемые розовыми лучами заходящего за горы солнца, и картина имеет самый мирный характер; но долго еще не умолкает хохот солдат, бывших свидетелями комичной сцены с оператором-фельдшером и персом.

Теперь, читатель, поднимемся снова на холм, так как пора пить чай, а после чая составится маленький штоссик. Приятная свежесть сменяет раскаленный зной дня; обитатели кибиток и палаток сидят у входа на складных стульях и курят, наслаждаясь *dolce-far-niente*. Темнота наступает быстро, и лиловые краски Копет-Дага и Персидских гор приобретают более темные оттенки.

Мысли невольно принимают сентиментальный характер под впечатлением хора солдат, затянувших заунывную песню. На темно-синем небе зажигаются одна за другой звезды, но луна еще не показалась из-за гор; вот, наконец, и царица ночи начинает слабо освещать верхушки хребта матовыми лучами, подымается все выше и выше и заливает своим бледно-голубым светом всю равнину, отражаясь в зеркальной поверхности ручья.

Глиняная башня, в полуверсте расстояния, кажется каким-то призраком в белом саване. Картина чудная, на душе и хорошо, и щемит сердце отчего-то. Внизу блестят огоньки костров, разложенных верблюдовожатыми, и гортанная речь их далеко разносится в ночной тишине. Нет-нет и на коновязи послышится ржание бьющихся лошадей и окрик артиллериста или казака: «Ну, легче, дуй-те горой» — и снова все погружается в тишину. Но вот слышится голос денщика коменданта: «Самовар подан, ваше б-дие». Подполковник В—ов, задумчиво смотревший на равнину, медленно подымается с походной табуретки и, захватывая ее с собой, приглашает нас выпить чаю. Но чай без водки и закуски немислимая вещь; в той же кибитке, где мы были ранее с вами, читатель, на столе стоит самовар и дымящийся шашлык: сначала закусим, а потом выпьем чайку; уютно, хорошо чувствуешь себя

в обществе славных товарищей; разговор вертится на разных случаях, на предположениях о движении вперед и на происшествиях дня.

Часов девять вечера.

— А что это транспорт не идет?.. Пора бы, — говорит молодой артиллерист, ни к кому в отдельности не обращаясь. Никто не успевает ему ответить, как дверь кибитки открывается, просовывается голова нашего ветеринарного врача, изрекающая: «Транспорт показался, господа». Вся компания бросает чаепитие и устремляется из кибитки встречать транспорт.

Великое дело в жизни гарнизона маленькой крепостцы приход транспорта! Есть надежда получить письма, газеты; являются арбы торговцев-армян с разными яствами и питиями; от начальника транспорта узнаешь разные новости из тыла или из передового отряда, смотря откуда двигается транспорт, словом — развлечение большое.

Версты три от Бендессена, по дороге в Ходжа-Калу, виднелось облако пыли, среди которого иногда выделялось нечто блестящее и затем снова пропадало: это луна играла на штыках роты, конвоировавшей транспорт. Слышался глухой шум массы двигавшихся животных и людей, и иногда чуть слышно выделялся скрипучий звук, но не было возможности отличить, крик ли это верблюда или скрип арбы. Уже совсем близко от Бендессена виднелись человек пять всадников, быстро приближавшихся рысью; у двух или трех фигур блестели погоны.

— А вот и еще партнеры для штосса, — заметил радостно Александр Иванович Сл—кий, командир охотников, храбрый офицер и страстнейший любитель азартных игр.

Фигуры подъехали к подножию холма, послышалось приказание подольше водить лошадей, и через несколько минут наши глаза узрели, кого посылает нам в гости судьба. Приехали два пехотных офицера и казак, за ними шел джигит-туркмен, привезший почту. Офицеры оказались знакомыми всем нам, и вот вся компания гурьбой вернулась к чайному столу, где вновь приезжие начали рассказывать новости и утолять свой голод и жажду. С нетерпением следим мы за распечатыванием комендантом большого пакета с почтой. Каждый интересуется получить весточку с далекого севера и узнать новости из газет. Вот и письма, месяца полтора или два путешествующие из России. Нарасхват берутся газеты и узнается, что творится в цивилизованном мире.

Наиболее интересное читается вслух, и неопишуемая радость выражается на лицах при известии, что буры поколотили англичан и что дела их в Кандахаре очень плохи. Несчастливцы, не получившие писем и не успевшие пожить газетам, спрашивают вновь приезжих о делах в тылу, узнают чекешлярские новости, справляются, как идут дела с доставкой провианта и войск

с западного берега Каспия и о том, когда, наконец, есть надежда двинуться под Геок-Тепе.

Но вот приезжие утолили наконец свой голод и жажду, главные газетные новости узнаны, предметы разговора истощились, пора наконец приняться за карты.

Я не принадлежу к числу людей, защищающих картежную игру, хотя и сам не прочь иной раз поставить «туза в цвет и в масть по рублю око»; бесспорно, азартная картежная игра развивает дурные инстинкты в человеке, разжигает его страсти и причуяет к мысли о возможности легкого обогащения, так как ни один истый игрок, садясь метнуть малую толику, не допускает мысли проиграть; итак, безусловно, азартная игра вещь безнравственная, но... Здесь читатель, наверное, подумает, а может быть, и громко скажет: «Ну хорош гусь: только что высказал ходячие истины о безнравственности игры и осмеливается еще ставить но!»

Да, читатель, не во гнев вам ставлю «но» и продолжаю далее.

В походе, там, где полный недостаток пищи для ума, где те же люди, случайно сведенные судьбой, составляют в течение долгих месяцев замкнутое общество, элементы которого не обновляются, где все давно переговорено, где каждый узнал привычки и характер другого до мельчайших подробностей, где поэтому царствует скука и невыносимая апатия, игра в карты, по-моему, не является таким пороком, как в центрах общественной жизни, в больших городах, где жизнь дает все средства развлекать ум, где исполнение обязанностей гражданина и семьянина не дает времени скучать, где, следовательно, карты являются приманкой для быстрой и легкой наживы. Всему свое место: в обществе людей, измученных однообразной жизнью, где никто не может поручиться за полтора часа дальнейшего существования, игра не является пороком и не производит на постороннего наблюдателя того чувства нравственного омерзения и негодования, которое должно являться при взгляде на толпу игроков, окружающих с искаженными страстью лицами рулетку в Монако, куда их привело желание легко и быстро нажиться. Итак, читатель, отнеситесь снисходительно к этому злу, общераспространенному повсюду: как в походе, под кровом палатки, где «гнется» офицерство, так и в Питере в чертогах знатных людей, «винтящих по высокой», и посмотрим на игру.

Со стола убраны все принадлежности закуски и чаепития. Две свечи поставлены на углах, и лежат чистые листы бумаги по числу играющих.

Публика рассаживается, распечатаны несколько колод карт.

— Ну, господа, кто же держит банк? — спрашивает усатый сотник, постукивая колодой карт по столу.

Ответом служит молчание.

— Если никто не хочет, я заложу, — отзывается молодой моряк.

— Нет, нет, господа, — говорит комендант, — это не модель. Вынимайте карты, и у кого младшая — тот банкومت; в банке не меньше двадцати пяти рублей серебром; сорвут — можете заложить еще раз, а затем банк переходит поочередно слева направо. Согласны?

Предложение нашего милого коменданта принимается с шумным одобрением. Жребий выпадает Сл—кому, командиру охотников. Пока Александр Иванович Сл—кий старательно мешает карты, я воспользуюсь свободным временем, чтобы обрисовать его наружность и характер, так как читателю этих очерков еще не раз придется сталкиваться с ним.

Высокого роста, широкоплечий, Александр Иванович имел вид молодого человека лет 19, хотя на самом деле ему было уже 24. Едва пробивающиеся белокурые усики мало гармонируют с погонами капитана армии. Серые глаза смело и даже вызывающе смотрят на свет Божий. На тонких губах почти всегда играет саркастическая улыбка; лицо бледно, но не имеет болезненного вида, и в минуты душевного волнения эта бледность сменяется нежным, ровным румянцем — а глаза темнеют и взгляд их становится пронизывающим. Описав наружность Александра Ивановича, перехожу к краткой истории его жизни.

Будучи по происхождению поляк, он воспитывался в одной из гимназий, откуда и был исключен, как говорится, «за громкое поведение и малые успехи в науках». Пребывание в нескольких других учебных заведениях окончилось столь же печально: резвая натура мальчика не поддавалась умерщвлению по правилам сухой педагогики, не входила в тесные рамки нашей убийственной школьной жизни.

Как раз в это время начиналась хивинская экспедиция.

Мальчик, не достигши еще 16 лет, пошел вольноопределяющимся и преодолел все трудности степного похода; пылкая, сумасшедшая храбрость его была вознаграждена двумя крестами и званием унтер-офицера, но и тут случился казус, испортивший карьеру молодого человека. Во время дела батальонный командир Александра Ивановича, какой-то бурбон, изволил себе выбрать его так, как у нас расходившийся старший офицер относится к матросу.

Бешено вспылчивый Сл—кий, не думая, что он делает и чем поплатится, приложился в своего свирепого командира и тррах...

Пуля, к счастью Александра Ивановича, попала в другое животное, а именно в лошадь, на которой восседал батальонный командир.

Военно-полевым судом Александр Иванович был приговорен к расстрелу, но генерал-адъютант Кауфман помиловал его и ограничил наказание разжалованием в рядовые с лишением двух знаков отличия военного ордена.

Два года тянул он солдатскую ляжку, наконец штраф был снят, и он получил право поступить в юнкерское училище. Два года пробыл он там и вышел перед турецкой войной с полными баллами по наукам, но с невозможной отметкой за поведение, что и лишило его возможности окончить по первому разряду.

В турецкую кампанию он командовал охотниками Елизаветпольского пехотного полка, был несколько раз ранен, получил чины подпоручика и поручика и орден Св. Владимира 4-й степени. В первую Ахал-Текинскую экспедицию Александр Иванович, состояв при князе Долгоруком, отбил десяток тысяч баранов с полусотней казаков. Не буду распространяться обо всех его подвигах, скажу только, что человек он безусловно храбрый, во время опасности находчивый и хладнокровный, в общечитии хороший товарищ, к сожалению, немного заносчивый и вспыльчивый. Когда я познакомился с Александром Ивановичем, он был уже капитан и получил за экспедицию 1879 года Станислава на шею и золотое оружие.

Само собой понятно, что у него была масса завистников, пользовавшихся малейшим поводом, чтобы чернить его и вредить ему в глазах начальства, а он своим вспыльчивым, заносчивым характером давал немало поводов к этому. Позже, описывая рекогносцировку аула Нухур, я сообщу вам, читатель, обстоятельства, заставившие Сл—кого выехать из отряда, не будучи даже награжденным за его блестящее дело на колодах Кара-Сенгер; случилось это вследствие особенной доверчивости генерал-адъютанта Скобелева, чересчур верившего словам и интригам казачьего полковника Ар—аго; впрочем, об этом впереди. Теперь, познакомив вас с личностью Александра Ивановича, буду продолжать рассказ далее.

— Господа, готово! — обращается Александр Иванович к играющим, вынимая из бокового кармана сюртука толстый бумажник и выкидывая на стол 25-рублевую бумажку.

— Ва-банк, — мычит свирепо казак, вытаскивая из колоды карту, оказавшуюся восьмеркой пик. Александр Иванович поворачивает колоду лицом вверх, и — о несчастный сотник! — восьмерка убита на срезке.

— Атанде, — еще свирепее рычит казак, — ва-банк на ту же карту.

Играющие придвигаются ближе: карта в 50 рублей серебром; Сл—кий хладнокровно мечет, на пятом абцуге карта сотника еще раз убита, и он шлет в банк 75 рублей серебром.

Начинается новая талия. Гардемарин, долго выбирающий карту, изрекает:

— Десятка бубен в цвете и в масть по полтиннику око.

— Ты знаешь ли, — обращается к нему артиллерист, — что эта карта может выйти очень большая?

— Знаю, — сердито отвечает моряк и впивается глазами в карты, равномерно падающие направо и налево.

— ...Шесть, семь, восемь, — шепчет он, считая абцуги.

— Да чего считать, на двадцатом абцуге направо в цвет и в масть, — говорит артиллерист.

— Типун тебе... да на! — вскрикивает гардемарин.

— Десять да одиннадцать абцугов — двадцать один, пять за круглое — двадцать шесть, в цвет — вдвое... Пожалуйста двадцать шесть рублей, — обращается он к Александру Ивановичу.

— Да вы запишите за мной и идите углом, — советует тот, тщательно раскладывая колоду четырьмя кучками и складывая потом кучки крест-накрест.

Как все игроки, он суверен и придерживается известных правил при тасовке, как-то: раскладывания на четыре кучки, снятия одной карты снизу и т. д.

Комендант, до этого времени сидевший и смотревший только на игру, выбрал карту, положил под нее что-то и, подвинув к банкомету, невиннейшим тоном заявил:

— Под картой фигура.

Публика пришла в оживление.

— Ох, брандера подпустил, — вздохнул Александр Иванович и начал метать.

Король упал направо, но В—ов покачал отрицательно головой; дама была дана, но и на этот раз на вопросительный взгляд банкомета последовал отрицательный кивок коменданта.

— Сойдите с карты, — предложил Александр Иванович.

— Что вы, Бог с вами, из-за чего я буду вам дарить, — возразил с улыбкой комендант.

— А вот я вас сейчас накажу за самоуверенность, — ответил банкомет и... положил валета налево.

В—ов, не торопясь, открыл карту, и Александр Иванович, к своему ужасу, узрел под картой портрет Екатерины Великой!

— Банк сорван, я думаю, — сказал гардемарин, — но я раньше получаю двадцать шесть рублей.

Тяжко вздохнув, подвинув банкомет кучку денег своему счастливому сопернику и полез в карман за новой двадцатипятирублевой.

Полковник В—ов отдал моряку двадцать шесть рублей и, подзвав вестового, подал ему десятирублевую бумажку с приказанием принести три бутылки пива; бутылка пива в это время стоила у нас в Бендессене три рубля. Цена хорошая, не правда ли, читатель?

— Ну-с, господа, новый банк, авось он будет долговечнее старого, — проговорил Сл—кий, приготовив карты.

— Ва-банк, — крикнул моряк.

— Ну и убьют, — философски заметил артиллерист, все время стоявший позади него.

— Вот зловещая птица! Понятно, если ты пророчишь, а сам не играешь, то добра не будет... Так и есть — убили, — с грустью добавил он и послал деньги в банк.

Второй банк оказалось сорвать труднее, чем первый.

Счастье буквально повернулось к понтирующим спиной, Александр Иванович бил беспощадно. В самое короткое время банк достиг рублей шестисот, так что не было надежды сорвать его, не рискуя сильно проиграть.

— Ну, господа, стоп пока, закусим, выпьем пива, а потом и будем продолжать, — заявил комендант.

Моряк сидел накупившись: он проиграл триста рублей, на которые собирался купить себе «текинского коня».

— Что, брат, продулся? — поддразнивал его артиллерист. — А вот завтра напишу Николаю Николаевичу, он тебя разнесет.

— Убирайся ты... видишь, человек в горе, а ты пристаешь, — вскипятился гардемарин и с ожесточением затыкнулся чуть не целой папиросой.

Сотник сидел тоже сумрачный: он проиграл рублей двести.

Не в характере моряка было долго грустить. Бросив папироску, он повернулся на одной ноге, дал так называемого киселя приятелю своему артиллеристу и, став среди кибитки, расставя ноги и засунув руки в карманы, докторальным тоном произнес:

— Судьба, сегодня проиграл — завтра выиграю.

— Эй, сотник, теперь фуражные деньги хорошие, о чем печалиться! Выпьем, душа-человек! — И, достав из-под кровати бутылку коньяку, будущий адмирал хватил прямо из горлышка и передал казаку. Последний сразу повеселел и, пробурчав что-то под нос, поднес бутылку ко рту и очень долго смотрел вверх, так что Александр Иванович, окончив считать выигранные деньги, нашел нужным отнять драгоценную влагу.

Посмотрев на свет и промолвив: «Ишь ведь, хохол, сколько выцедил», — он приложился в свою очередь и докончил бутылку, которую артиллерист налил наполовину водой и с невинным видом поставил опять на место.

— Вот и выиграл детишкам на молочишко, — заметил Александр Иванович, усаживаясь на постель коменданта.

— Все равно не впрок, проиграешься, — заметил сотник.

— А не проиграется, так ведь завтра пойдет в горы и все равно ухлопают, — промолвил прапорщик-самурец, тоже отдавший «со-тенную» Сл—кому.

— Чтoб вам пусто было! — вскричал Александр Иванович. — С какой стати ухлопают? На меня еще пуля не вылита.

Вошел комендант, выходявший посмотреть, как разместился вновь прибывший транспорт.

— Ну и темень, господа, — обратился он к офицерам, — и нужно же луне заходить так рано, как раз когда у нас внизу транспорт совсем беззащитный. Наверное, ночью пальба будет.

— Это совсем не кстати, — заметил Александр Иванович, — мне вставать в четыре часа утра, а тут еще ночью беспокоить будут.

— Я не понимаю, для чего вставать, — возразил артиллерист, — ведь каждому из нас известно, что стрельба в аванпостах не есть что-либо серьезное, а подползание отдельных текинцев, так из-за чего взбураживаться?

— Да, брат, с такую философией когда-нибудь и без головы останешься, — послышался голос моряка, улегшегося на двух табуретках в неосвященной кибитке, — десять раз это может быть вздор, а в одиннадцатый — серьезное нападение. Да и сам ты, брат, ведь только на словах беспечен, а помнишь, четвертого дня в потемках выскочил по одному только выстрелу из кибитки в полном неглиже, обалдел и схватил меня за шиворот с требованием картечи?

Общий хохот окончательно сконфузил бедного сонного артиллериста.

— Да что вы ему верите! — оправдывался он. — М—р был сам в одном сапоге и с переполоху шашку надел через левое плечо, а туда же смеется, что я в темноте принял его за фейерверкера.

— Что же ты так в одном сапоге и был во время тревоги? — спросил сотник.

— Понятно, нет, — отвечал гардемарин, — вижу, что все спокойно, крикнул Хряцатого и стал надевать другой сапог, а надеть впотьмах такую махину нелегко! — И он при этом показал действительно длиннейшие сапоги, четверти полторы выше колен. — В это время, — продолжал он, — с аванпостов раздалось выстрелов пять, а так как снимать легче, чем надевать, я снял оба сапога, схватил берданку и побежал с Кочв—м на аванпосты; изодрал ноги, как черт знает что, теперь не знаю, как пойду завтра в горы.

— Вот, охота пуще неволи, шляться по горам! — заметил, зевнувши, сотник.

— Ты, кавалерия, этого удовольствия не понимаешь, да потом и против цинги полезно; у меня, брат, ноги пухнуть стали.

— И для чего это моряков сунуло в степь? Решительно бесполезный народ на суше, — поддразнивал артиллерист.

— Решать этот вопрос не твоего ума дело, — огрызнулся моряк.

— Цыц вы, ребятишки, — шутивно крикнул комендант, — чем спорить, лучше выпьем, закусим, да и на покой.

На столе уже стоял сыр, холодная говядина и неизменные сардинки.

Комендант нагнулся и вытащил из-под кровати бутылку, в которой был коньяк, теперь замененный водой.

Артиллерист не выдержал и фыркнул. Сотник засунул оба свои громадные уса в рот и еще сдерживался. Гардемарин начал наду-

ваться от внутреннего смеха и ежеминутно готов был разразиться хохотом.

Комендант налил воображаемого коньяку в стакан и ахнул, но так комически, что вся публика разразилась гомерическим хохотом. Гардемарин, лежавший на табуретках, хохотал до того, что табуретка выскочила из-под ног и он слетел на пол; комендант, не знавший виновников опорожнения бутылки, переводил свой недоумевающий взгляд с одного на другого. Наконец публика успокоилась и трое виновных покаялись.

— Ну, что теперь делать? — спросил комендант. — Посылать поздно.

— Как поздно? — зарычал казак. — Всего половина первого, армяшка должен открыть, вы только скажите, что для вас, а не отпустит, так... — И казак dokonчил жестом, проведя рукой по нагайке, висевшей рядом с шашкой.

— Ну, так пошлем, — согласился комендант.

— Нет, господа, позвольте уж мне устроить маленькую пирушку, так как я сегодня в изрядном выигрыше, — отозвался Александр Иванович. — Я пойду к армяшке и притащу, что у него есть лучшего.

Предложение его было встречено общим одобрением.

— Черт знает что, как ни бьешься — к вечеру напьешься, — с видом покорности к предопределениям судьбы произнес артиллерист и вышел из кибитки вслед за командиром охотников.

Темная звездная ночь окутывала своим мраком все окружающее. В нескольких шагах от кибитки, в редуте, едва виднелся силуэт артиллериста-часового.

В воздухе царил мертвая тишина; только где-то далеко кричал шакал, подражая плачу ребенка; крик этот то приближался, то удалялся, смолкал на минуту и снова проносился в воздухе, раздражая нервы молодого человека, стоявшего на краю обрыва.

Под ногами у него, в долине, светился огонек потухавшего костра; он то вспыхивал и своим красным пламенем на мгновение освещал арбу, казавшуюся фантастически высокой, то потухал и едва выделялся светлой точкой в общем мраке.

Но вот до слуха артиллериста донесся голос Александра Ивановича:

— Ну вставай, что ли!

Как-то странно звучал этот голос из мрака, из глубины нескольких десятков сажен, доносившийся на вершину холма. Снова слышался тот же голос:

— Лучше вставай сам, а то подыму нагайкой! Ну же!

Прошло несколько времени, и до слуха подпоручика донесся короткий сухой звук: шшлеп, шшлеп и недоумевающе болезненное восклицание: «А-а, ой!» — это Александру Ивановичу удалось наконец разбудить армянина.

— Пойти разве, помочь ему нести бутылки, — пробормотал артиллерист и стал осторожно спускаться по крутой тропинке, извивавшейся в темноте беловатыми зигзагами. Он прошел уже добрые три четверти пути, как вдруг услышал издали донесшийся окрик аванпостного часового: «Кто идет?» Через мгновение тот же оклик, но уже повторенный беспокойным голосом и затем — тррах, тах-тах, тррах! — четыре выстрела гулко загрели в ущелье, перекатываясь по горам и повторыясь бесконечным эхом Бендессенских холмов.

— Начинается спектакль, — проворчал артиллерист, попробовал, легко ли вынимается из ножен шашка, и уже без всякой осторожности стал сбегать по тропинке.

Эти четыре выстрела произвели необычайную перемену в тихом, сонном лагере; повсюду слышны были крики: «В ружье!» Казачья труба неистово играла тревогу. Верблюды подняли рев, так как бесцеремонные солдатики, спеша на свои места, пробирались между спутанными «кораблями пустыни» и беспокоили их; лошади на коновязи начали биться и ржать, перепуганные верблюжьим ревом. Персы, не отличающиеся храбростью, стали взбираться на холм и своими гортанными криками увеличивали суматоху; двое из таких храбрецов, лезших гуськом по тропинке, на свое несчастье, натолкнулись на артиллериста и в мгновение ока полетели с двух сажень высоты в ручей, напутствуемые энергическими: кепе-оглы! (самое забористое татарское ругательство) — сердитого подпоручика.

Слышался звонкий голос Сл—кого, разносившего своих охотников за медленное выстраиванье фронта.

— Какие вы охотники, бабы! Вам, чертовым куклам, юбки надеть надо! Сто раз вам говорено: не одеваться, а брать ружье, подсумок и хоть голым становиться во фронт! Последний раз вам повторяю, а еще раз случится — вся команда простоит во фронте до утра. Пока разоитесь, да быть по первой команде готовыми, а то ползут, точно... — сделав очень нелестное для охотников сравнение, Александр Иванович исчез в темноте.

Артиллерист между тем уже подходил к аванпостам. Шагах в двадцати перед ним едва виднелось нечто двигавшееся.

— Кто идет? — крикнул ему темный силуэт.

— Солдат, стой! Что пропуск?

— Гайка!

— Проходи!

— Вы, ребята, стреляли? — спросил офицер.

— Никак нет, ваше б-дие, соседний пост, — отвечал старший в звене, беря на плечо.

— А вы ничего не видели?

— Никак нет, слышали, как что-то прошуршало перед нами, а видеть — ничего не видали.

— Посматривай хорошенько, ребята, а то ведь эти прохвосты подкрадутся, так и оглянуться не успеешь, как горло перехватят.

— Оно точно, ваше б-дие, больно уж ловкий народ.

— Что тут между вами и соседним постом, нет ям или рытвин? А то пойдешь да и свалишься.

— Никак нет, камнев только, ваше б-дие, много. Да позвольте я вас проведу. — И услужливый солдатик повел артиллериста к соседнему посту.

Здесь за старшего был вольноопределяющийся, хороший знакомый его, который и рассказал, что они слышали долгое время шорох и наконец явственный шепот, так что он и приказал выстрелить, после чего послышался легкий стон и шум катившихся камней.

Узнав, в чем дело, подпоручик отправился обратно и наткнулся на коменданта, шедшего в сопровождении прапорщика Коч—ва справиться о причине пальбы. Несмотря на уверения артиллериста, что все благополучно, комендант все-таки продолжал путь к аванпостам, а подпоручик полез на холм и в комендантской кибитке нашел Сл—кого, расставлявшего на столе разные деликатесы, приобретенные от так неделикатно разбуженного армянина.

Лагерь начал успокаиваться, и только в комендантском дворце было суетливое движение: готовился лукулловский ужин.

Не буду подробно описывать этого ужина; много елось, говорилось, но более всего пилось; и только когда вершины гор осветились мягким, розоватым светом зари, собутельники вышли из кибитки покурить на свежем воздухе. Было довольно холодно, и собеседники кутались в бурки.

— Однако пора собираться в дорогу, — промолвил, потягиваясь Сл—кий. — Что же, идем вместе или нет? — обратился он к гардемарину.

— Идем, — отвечал тот и скрылся в свою кибитку окачиваться водой и собираться в экспедицию в горы.

Через час внизу холма была выстроена охотничья команда во фронте. Солнце играло на штыках и освещало своими косыми лучами разнообразные, живописные костюмы охотников. Два казака держали под уздцы двух вьючных лошадей.

— Смирн-но! — крикнул фельдфебель, увидя подходящего Александра Ивановича. Он был в высоких сапогах, неизменных красных туркестанских кожаных штанах и сюртуке, в руках кавалерийский карабин.

Гардемарин, ему сопутствовавший, был в синей матросской рубашке, высочайших сапогах, с револьвером набоку и карабином на перевязи через плечо.

— На плечо! — рявкнул фельдфебель.

— Здорово, молодцы! — обратился Александр Иванович к охотникам, окидывая фронт опытным взглядом.

— Здравия желаем, — радостно крикнули головорезы, приветствуя любимого начальника.

— Песенники, на правый фланг! Рота направо! Ряды сдвой! Шагом марш!

Впереди шагал Александр Иванович с гардемаринном. Песенники затынули «Ах вы сени, мои сени!..», и охотники отправились на поиски приключений в горы. В одном из следующих очерков читатель узнает подробности об этих прогулках в горы, иногда кончавшихся нешуточными делами с неприятелем, а теперь пожелаем охотникам всего лучшего и поставим точку.

4. ПРАВОФЛАНГОВАЯ КАЛА

Первое — пли!..» Медное четырехфунтовое орудие изрыгает пламя, раздается грохот, звон откатывающегося орудия, свист удаляющейся гранаты и через несколько мгновений далекий гул разрыва. От выстрела сыплется земля с бруствера, и некоторое время в облаке пыли ничего нельзя разобрать, что делается около орудия. Но вот облако рассеялось и взорам наблюдателя представляется длиннейший поручик Берг, артиллерист, с самой свирепой наружностью, но с сердцем незлобивым, как у агнца. Расставя ноги, стоит он, высовываясь на полгруды из-за бруствера, и смотрит в бинокль на действие снаряда.

— Фу ты как разлетелась, ха-ха-ха, ишь улепетьвают! А два верблюда остались-таки на месте! Батюшки мои! Да они, нахалы, собираются их развьючивать! Второе готово? — спрашивает он фейерверкера.

— Точно так, ваше б-дие! — отвечает молодцеватый фейерверкер.

— Второе — пли!

Снова грохочет орудие, снова летит чугунная визитная карточка текинцам.

Так в послеобеденное время памятного 28 декабря занимались мы в правофланговой Кале.

Читателям надо объяснить, что это такое — Кала, и сообщить кое-что о ее обитателях.

«Кала» по-туркменски значит укрепление; правофланговой она называлась потому, что была последним пунктом нами занятым на правом фланге осадных работ против Геок-Тепе. Правее были сады Петрусевича, занятие которых обошлось нам дорого 23 декабря, когда был убит доблестный генерал, именем которого они названы, храбрый майор Булыгин, командир дивизиона драгун и есаул Иванов. Тогда же заступивший место начальника отряда полковник Арцышевский очистил сады, нами уже занятые, не подобрав даже всех убитых...

Правофланговая Кала представляет из себя, как все текинские крепостцы, четырехугольник из высоких глиняных стен, почти квадратный; после занятия нами этой крепостцы с фронта, обращенного к Геок-Тепе и садам Петрусевича, был вырыт ров, очень широкий и глубокий, и насыпан бруствер, за которым и были

поставлены два четырехфунтовых орудия и две морские картечи-ницы.

В Калу вела маленькая дверца в правой стене и другая — с тыла; на заднем левом углу была башня, в которой находился гелиографный станок.

Правофланговая Кала имела большое значение как наблюдательный пункт, с которого ясно было видно движение неприятеля в крепости. Тщательные наблюдения, производившиеся в Кале, были причиной отбития третьей вылазки неприятеля на левый фланг 4 января. Лейтенант Ш—н, бывший комендантом, перед вечером донес начальнику штаба о движении неприятеля к левому флангу; были приняты меры, и текинцы, ободренные двумя первыми успешными вылазками, понесли в этот раз страшные потери. Есть вещи, которые неизвестно почему проходят незамеченными, так и это обстоятельство осталось без особенного внимания...

В самой Кале были устроены у стен подмости, на которых помещались стрелки; таким образом, Кала представляла двухъярусную оборону, позиция была безусловно сильная, что и давало возможность, правда с риском, держать в ней очень малый гарнизон — человек 60—70, как это было во время нападения 28 декабря, в описываемый мной день.

Около одного из орудий, у самого бруствера, вырыта четырехугольная яма, очень напоминающая могилу: это квартира гардемарина М—ра, представляющая самое безопасное убежище; длину она имеет футов пять и в ширину фута четыре, глубиной около трех; на дне постлана кошма.

Рядом, прямо на земле, «живет» комендант — лейтенант Николай Николаевич Ш—н. Как начальник он свиреп безгранично, и случись родному отцу у него быть под командой — он и того бы за упущения «разнес» бы вдребезги; как человек и товарищ — превосходный.

Рядом с ним помещается вышеупомянутый поручик Берг, молодой офицер, храбрый до сумасшествия, которому особенное удовольствие доставляет постоянно служить мишенью текинцам; он всех уверяет, что пуля его тронуть не может, так как текинцы уже «продырявили» его один раз в неудачную экспедицию 1879 года: он тогда служил в ракетной сотне и участвовал в знаменитой атаке этой сотни, прорубившейся через массу текинцев и прикрывшей отступление.

В самой Кале стоит верх от кибитки, и там живут два пехотных офицера: штабс-капитан Юн—кий и прапорщик Ст—кин; первый командует ротой Самурского полка, второй у него субалтерном. Тут же помещается старик, лекарский помощник, эскулап, потерявший на охоте глаз, комичная, но храбрая личность. Вот вам и все интеллигентное общество правофланговой.

Часа четыре после обеда; текинцы изредка постреливают; наши солдатики кто отдыхает, кто чинит пришедшую в ветхость аму-

ницию; человека четыре сидят и... заранее прошу извинения у моих читательниц, если таковые найдутся, и, сняв рубахи, занимаются уничтожением «нечисти», грызущей несчастных воинов напрапалую.

— И откуда только они, проклятые, берутся? — удивляется солдатик артиллерист, чуть уже не полчаса сидящий без рубашки.

— Откуда? Известное дело, из грязи, — отвечает матросик, сидящий без сапог, один из которых у него в руках и подвергается починке.

— Ты думаешь, у их б-дий нет этой «нечести»? Я это давеча был в лагере, так их б-дие господин Г—ков аж сжечь приказал рубаху, потому скрозь вся ими покрыта!

— А что, земляки, не заварить ли чаю? — предлагает подошедший комендор-матросик.

— А дрова-то у тебя есть?

— Да вот земляки, поди, щепочек от снарядных ящиков дадут, — обратился он к группе артиллеристов.

— Ишь брат ловкий тоже, у нас у самих мало, не знаем хватит ли до завтра! Ах ты, пес тебя заешь, ишь как жаркнул. — Последнее замечание относилось к фальконетной пуле, с шумом шлепнувшейся в самый верх бруствера.

Жжи-шлеп! — еще одна взвизгнула и щелкнула в стенку.

Тах, тах, тах — затрещали ответные выстрелы в цепи.

— И чего это его под вечер кажинный день палить заставляет? — говорит матрос, вколачивая камнем гвоздь в подошву починаемого сапога.

— А это потому, братец мой, — говорит поручик Берг, подходя к брустверу с биноклем, — что под вечер солнце, как заходит, так нас лучше освещает, ему виднее, вот он и палит...

Шлеп, шлеп...

— Фу ты, дьявольщина, эти скоты читать не дают, — слышится голос рассерженного гардемарина, лежащего поджавши ноги в своей берлоге и читающего какую-то книгу, на которую, так же как и на фуражку, насыпалось порядочно земли от попавшей в бруствер пули.

— А ты не сердись, потому вредно, — замечает Берг и со вниманием что-то рассматривает в бинокль.

— Выпалил опять, ваше б-дие, — говорит молодой солдатик, осторожно высматривающий, что называется одним глазом, из-за бруствера, и при этом колени у него сами собой подгибаются и голова уморительно уходит в плечи.

Фьюить! — фальцетом запела пуля и шлепнулась в орудие, сильно зазвеневши от удара.

— Ах, земляк, земляк, — укORIZненно качает Берг головой, обращаясь как бы к выстрелившему текинцу, — и не стыдно тебе казенную вещь портить?

Солдаты хохочут; поручик их любимец: вечно веселый, разговорчивый, гуманный к солдатам, никогда не кланяющийся пулям, он стал солдатам особенно симпатичен.

— Да что ты все читаешь, Александр Александрович, брось, — обращает Берг к гардемарину.

— Ах не мешай, тут брат такой раздирательный роман: убийство на убийстве.

— Вот тоже голова! Восхищается убийствами в книге; да кабы ты не читал, так сам бы убил давно пару-другую текинцев! Посмотри только, сколько их выползло!

Как бы в подтверждение слов Владимира Александровича, завизжало несколько пуль, посыпалась глина со стены Калы.

Гардемарин выскочил из своей ямы, взял бинокль и подошел к брустверу.

— Посмотри левее, против дерева, видишь четыре папахи, — указывает Берг, — вот один выстрелил, видишь дым? Ах нахал, один в красном халате бежит к башенке...

Трах, та-та-тах — затрещали берданки стрелков впереди Калы.

— Ага, пропал, видно, убит... Нет опять, эх ушел за башню!

— Петров! — кричит гардемарин. — Берданку и патронов! Живо!

— Есть! — отзывается матросик.

Через несколько минут является матросик с требуемыми предметами.

— Сколько до башни? — спрашивает моряк у Берга.

— Двести сажень с хвостиком, — отвечает тот. — Ну, стреляй, я смотреть буду в бинокль.

— Подождите, подождите, господа, и я поохочусь, — слышится голос прапорщика Ст—кина, вылезавшего из низенькой двери Калы и идущего медленным шагом как раз по обстреливаемому неприятелем пути. Свистнуло несколько пуль, и прапорщик схватился за левое плечо.

— Кажется, зацепило, — проговорил он сквозь зубы и при этом посмотрел на пальцы правой руки, отнимая ее от плеча; нет ничего, крови не видать, значит, контузило только, и он пошел навстречу Бергу, бежавшему узнать, что с ним.

— Ну что? — спросил на ходу Берг.

— Пустяки, погон сорвало только. Эй, Наумов! Дай-ка винтовку да десятка два патронов, вот я им покажу, как пугать добрых людей!

— Ступайте живее, голубчик, — послышался голос гардемарина, — я уже нашел славную мишень для начала, только — чур не горячиться, стрелять с выдержкой, а то, как вчера, упустим!

— Слава Богу! Не первый день держу винтовку в руках и не первого человека подстреливать приходится, — немного обидчиво ответил прапорщик и подошел к гардемарину, зарядившему винтовку и в кого-то тщательно прицеливавшемуся.

— Ты в кого? — спрашивает Берг.

— А вот у завала, под деревом, какой-то хабрец высунулся по пояс. Ну смотри же хорошенько!

Медленно нажимает моряк на спуск. Тррах!

— Направление чудесное, но недолет, — говорит Берг, с вниманием следивший в бинокль: «кувырнется» текинец или нет.

Противник не замедлил ответить. Шмелем прогудела фалько-нетная пуля, и очень близко.

— Вот дурень-то, — замечает Владимир Александрович, — ты стреляешь, а он на меня сердится, чуть-чуть не убил, даже ветром в ухо пахнуло, так близко.

Прапорщик и моряк окончательно входят во вкус и посылают пулю за пулей халатникам.

— Вбили одного, ваше б-дие! — кричит солдатик из цепи. — Вот, видать, в крепость несут.

— Так что же вы, чертовы куклы, не стреляете?

Ответом служит перекатный залп стрелков.

— Ловко! Из несущих один упал, а другой бежит, так его, ребята! Жарь! Эх ушел-таки!

— Он, ваше б-дие, помирать пошел, наверно, уж его поранили, — острит матросик.

— Что за трескотня такая? — слышится голос коменданта, лейтенанта Ш—на, только что проснувшегося и подымающегося без фуражки со своего ложа.

— А ты фуражку-то надень, — советует пресерьезно Берг, — а то цель больно хорошая, — добавляет он, намекая на огромную лысину, украшающую голову почтенного коменданта.

Ш—н хохочет и поднимает свою фуражку, свалившуюся во время сна.

— Много, греховодники, отправили вы народу в Магометов рай! — обращается комендант к гардемарину и прапорщику, зорко всматривающимся вперед, держа винтовки на изготовку.

— Однако подвалили, с прежде бывшими — шестой.

Группа офицеров, с сверкающими на солнце погонами, привлекает внимание текинцев, и они начинают «угощать».

— Вот, бестии, пристрелялись, — замечает Ш—н, отмахиваясь от зыкнувшей мимо уха пули, как от надоедливой мухи.

— А что, Владимир Александрович, «успокой» их, — продолжает он.

— А и то правда! Прислуга, к первому орудью! Шрапнелью!

Трубка поставлена на должную дистанцию, и сам Берг садится на хобот и начинает наводить.

— Чутьчку вправо, еще... Много! Возьми влево, так... Стой!

— Первое!

— Пли! — добавляет фейерверкер.

Гулко хлопает четырехфунтовка. Вот против завала в воздухе появляется дымок молочного цвета, слышится слабый звук раз-

рыва шрапнели, и большой участок земли покрывается дымками пыли от падающих картечных пуль.

— Ну, теперь они надолго уgomонятся, — говорит Ш—н и, позевывая, идет осматривать свои владения.

Внутри Калы расположились пехотные солдаты, большинство лежит. Ружья составлены в козлы. Надо иметь особую ловкость, чтобы пройти, не наступив кому-нибудь на ноги или на голову, или не наткнуться на штыки, торчащие из козел; теснота страшная; у задней стенки отдельной группой сидят джигиты-туркмены, из кучки которых резко выделяется своей наружностью старшина Нефес-Мерген с четырьмя Георгиевскими крестами на халате — худощавый старик лет за шестьдесят, с реденькой седоватой бородой, крючковатым носом и пронизательными глазами, хитро высматривающими из-под нависших бровей. Нефес-Мерген из племени иомудов и всей силой своей восточной мстительной души ненавидит текинцев, вечных притеснителей и врагов его племени. Текинцы платят ему той же монетой, и немало между ними нашлось бы джигитов, готовых пасть в бою, лишь бы добыть голову старика, забывшего Аллаха и служащего гяурам — белым рубахам.

Нефес-Мерген сидит в центре кружка своих джигитов, тянет кальян и что-то рассказывает, вероятно, о своих боевых схватках, так как по временам глаза его сверкают и он характерно проводит кистью правой руки по горлу или же машет рукой по воздуху, показывая взмах шашки; возле него лежит драгунская винтовка Крынка, которой старик почему-то очень дорожит и ни за что не хочет взять вместо этого устарелого оружия берданку.

В этой Кале почти безопасно от пуль, разве какая-нибудь шальная, пущенная под очень большим углом возвышения, шлепнется в середину и станет нарушительницей общественного спокойствия; кто-нибудь выругается по поводу появления незваной гостьи, и все успокаивается снова.

Ш—н обошел кругом и вошел в желомейку ротного командира Юн—кого, который лежал на бурке, задрав ноги на переплет желомейки, и читал одну из книжек «Измурда» — собрания переводных романов.

При входе коменданта он опускает ноги, очищает возле себя место и предлагает присесть.

— Ну что, как у вас там? — спрашивает он лейтенанта, показывая по направлению к выходу из Калы, откуда слышатся отдельные выстрелы.

— Да ничего, пощелкивают по обыкновению, — отвечает, зевая, комендант, и разговор прерывается. Юн—кий крутит себе папироску.

— Не выпить ли чайку? — обращается он к Ш—ну. Последний утвердительно кивает головой.

— Да что вы такой задумчивый? — допытывается штабс-капитан, стараясь в глазах Ш—на прочесть причину его хандры.

— Так себе; думаю обо всем понемногу, а главным образом о Зубове, жаль его!

— Ну что же, с ним особенно дурного ничего не случилось, прострелили мякоть ноги, не опасно!

— Бог его знает, опасно или нет, а все жаль такую симпатичную личность.

— Да, хороший человек; хладнокровный в огне, только молчаливый чересчур, видно, многое переиспытал в жизни.

— Очень много, — подтверждает задумчиво Ш—н, затем быстро поднимается, как бы стараясь стряхнуть с себя неприятные мысли, и уже веселым тоном начинает будить лекарского помощника, немилосердно храпящего на бурке, посланной возле Юн—кого.

— Вставайте, пора! Пойдем чай пить.

— А, что? — вскакивает тот. — Ранили кого-нибудь?

— Типун вам на язык, — говорит Юн—кий. — Вот еще что прочит!

— Я думал, что я нужен, так как меня разбудили, — говорит одноглазый эскулап, снова собираясь заснуть.

— Нужны чай пить, вот зачем!

— А, ну это дело другого рода. — И старик начинает приводить в порядок свой туалет, натягивает теплые сапоги и, позевывая, достает коробку с табаком, чтобы утешить себя за прерванный сон.

Все втроем выходят из жаломейки и направляются к брустверу, где гардемарин и прапорщик сидят уже в яме, «квартире» моряка, и пьют чай, более похожий на желтоватую воду, из стаканов, сделанных из бутылок. Может статься, читателю никогда не приходилось видеть такой своеобразной операции, практикуемой солдатами в походе, поэтому я сообщу этот способ. Берут пустую бутылку и, смотря по желаемой длине стакана, накладывают в некотором расстоянии от горлышка один шлаг бечевкой, концы которой сильно тянутся в разные стороны руками одного из «фабрикантов», тогда как бутылка вращается руками другого, третий стоит наготове с кружкой холодной воды; когда от трения бутылка разгорячится в месте трения, льют воду на эту часть; затем достаточно небольшого усилия — и бутылка ровно ломается и вы имеете импровизированный стакан, обращение с которым должно быть тем не менее осторожно, так как очень легко обрезать губы.

Из такой-то «посуды» пили два юных офицера чай или нечто на него похожее, когда явилось новое трио и уселось около чайника.

— А ты что же, начальник артиллерии, не хочешь разве прополаскать горло? — обратился Ш—н к Бергу, возившемуся около орудия.

— Сейчас, братец мой, дай навести орудие по горизонту; ведь скоро стемнеет, а на ночь надо, чтобы орудие было готово к действию картечью. — И длинный поручик снова уселся на корточки у второго орудия и начал наводить «в горизонт».

Тени ложились все гуще и гуще на степь, кровавого цвета солнечный диск был на линии горизонта, покрытые снегом вершины Копет-Дага казались в пламени, тогда как подножие и середина гор были фиолетового цвета; стенки Геок-Тепе, окрашенные последними лучами заходящего солнца, казались в этом общем красивом пейзаже не столь страшными. Ружейный огонь прекратился с обеих сторон, и ничто не предвещало той страшной резни, которая должна была начаться через несколько часов и стоила жизни нескольким тысячам людей. Сколько жертв, не подозревавших своей участи, в это время наслаждались спокойствием после тревог дня!

Разговор не вязался как-то в кружке офицерства, кончившего чаепитие. Ни один из них не принадлежал к числу так называемых сентиментальных — кисло-сладких людей, но особенность обстановки и чудная картина природы на каждого производили свое действие. Наступил отдых, перестрелки не было; нервы, бывшие в напряжении целый день, стали приходить в нормальное состояние, и вместе с этим явилась способность думать и мечтать и дать волю своему воображению; у каждого из сидевших под бруствером, как и у всякого человека, было что-нибудь на сердце, особенно интересовавшее его, и мысль об этом-то и препятствовала оживлению разговора.

Комендант сидел, обняв руками колени, сдвинув на затылок свою морскую фуражку, и задумчиво смотрел в землю; его красивые глаза были утомлены, и глубокая морщина лежала между бровями, видно было, что невеселые мысли овладели им, да и может ли быть весело человеку, на котором тяжелым камнем лежит ответственность перед законом и собственной совестью за жизнь многих людей и сохранение важного пункта? А может быть, вспомнилось ему что-нибудь из далекого прошлого, из его плаваний и, как это часто бывает, необъяснимая грусть о невозвратном прошлом овладела бравым комендантом.

Гардемарин стоял, облокотившись грудью о бруствер, и смотрел на белевшие стены Геок-Тепе; трудно сказать, видел ли он в данный момент эти твердыни, или же направление его взоров было чисто машинальное и мысли были на далеком севере, где осталось все дорогое его сердцу, или же он думал о предстоящем штурме и хотел проникнуть в будущее, скрывавшее вопросы о жизни и смерти! Играла ли в нем молодая кровь или в голове рисовались картины боя, отличия и возвращения в Петербург с беленьким крестиком, предметом мечтаний всякого военного человека, или же ему представлялась сцена отчаяния его стариков при получении известия о смерти единственного сына?.. Бог его знает, что за

мысли роились в голове молодого моряка; читателям это не интересно, да и трудно узнать.

Длинный поручик Берг ходил от одного конца фаса до другого саженными шагами, звеня шпорами. Даже команда как-то приумолкла.

Совсем стемнело, наступила ночь хотя и звездная, но мрачная, в нескольких шагах стало трудно различать предметы, посвежело. Тишина была мертвая; где-то в крепости, далеко-далеко виднелся огонек, стрельбы не было ни с чьей стороны.

Офицерство поднялось со своих мест, ротный командир ушел в Калу, а субалтерн с унтер-офицером пошел осматривать аванпостную цепь.

Комендант прохаживался по наружному фасау, солдаты и матросы кутались в свои шинели и лежали у орудий, тут и там вспыхивали огоньки трубочек и папирос, из Калы доносились гортанные окрики джигитов на своих коней.

Вдруг на темном небе появилась полоса света, и бомба, медленно поднимаясь по кривой линии, опустилась в крепость; за ней последовала другая, третья... Прорезая темноту, понеслась ракета, весь горизонт осветился огнем. Послышался шум беспорядочных залпов и крики, вырывавшиеся из многих тысяч грудей... Стрельба участилась; сотнями летели в крепость снаряды, бомбы и ракеты, освещая ее внутренность красными вспышками разрывов.

Непрерывная линия огня, линия ломаная, показывала, что все наши траншеи левого фланга атакованы. Крики «Алла! Магомет!» явственно доносились до правофланговой, сомнения не было — текинцы сделали вылазку!

Все офицеры снова собрались у бруствера и с напряженным вниманием всматривались и вслушивались в то, что делалось на левом фланге... А залпы и орудийные выстрелы все чаще и чаще освещали темноту багровыми вспышками, весь воздух, казалось, наполнился треском и гулом и дикими криками...

— А жаркая драка идет там, — промолвил наконец Берг, — они ведь доберутся и до нас.

— Меня даже удивляет, что до сих пор нет нападения, — ответил комендант.

— Как будто стихает перестрелка, — заметил гардемарин, не выпускавший из рук бинокля.

— Плохой, брат, признак, значит, связались в рукопашную, а наших на левом фланге ведь немного, — ответил Берг.

Как раз против середины Калы, на гребне стены, у неприятеля вспыхнуло несколько огоньков, и над головами офицеров провизжало несколько пуль.

— Вот и у нас началось, — заметил лейтенант Ш—н и крикнул, — гарнизон — в ружье! Прислуга — к орудиям!

Все быстрее и быстрее замелькали огоньки перед Калой, больше и больше стало посвистывать пуля и шлепаться в стену Калы.

— Прислуге у орудий лечь, стрелкам не высовываться! — слышалась команда.

— Господам офицерам наблюдать, чтобы не было никаких разговоров, соблюдать полную тишину! — распорядился комендант, ухитряясь быть вездесущим.

Но вот будто целая сотня или тысяча шмелей прогудела над Калой. Послышалось шлепанье по стенам, по земле, поднялась пыль от стен Калы... В правофланговую был пущен залп своими же с левого фланга! Наступила гробовая тишина...

— Все целы? — слышался голос коменданта.

— Кажись, все, — раздалось с разных сторон.

Горизонт осветился снова... и снова раздалась эта музыка, оледеняющая нервы самого храброго человека — звук залпа, пролетающего над головой.

— Черт знает что, они нас переколотят, — шепотом сказал подошедший Берг.

— Значит, текинцы обошли нас, если наши стреляют в эту сторону и их залпы летят к нам, — заметил гардемарин.

Из темноты вынырнул солдатик и подошел к группе офицеров.

— Ваше б-дие, — обратился он к прапорщику С—кину, — на аванпостах лежать нельзя, потому свои пули сзади падают.

Офицеры переглянулись.

— А ты вели им, чтоб не падали, пошел на место! — крикнул прапорщик. Солдат сконфуженно повернулся налево кругом и исчез в темноте.

— Однако на солдат это производит очень дурное впечатление, если бьют своими же пулями, — проговорил комендант и хотел еще что-то сказать, но новый залп, посыпавшийся кругом, прервал его; текинцы тоже открыли усиленный огонь, и наступил в полном смысле ад. От свиста и шлепанья своих и чужих пуль не было возможности разобрать даже громкой команды. Прислуга лежала у орудий, свернувшись комочком; кто мог уместиться под передком или лафетом — залез туда. Аванпосты усердно отвечали неприятелю. Атмосфера переполнилась пороховым дымом. Офицеры как-то злобно расхаживали взад и вперед.

— Николай Николаевич, — слышался голос Берга, — на нас идут с двух сторон.

Комендант быстро подошел к поручику, стоявшему у бруствера, и, взяв бинокль, увидел черную двигавшуюся массу — текинцы шли с двух перпендикулярных сторон на правофланговую.

Орудийная прислуга без команды сама поднялась и стала у орудий.

Многие солдатики крестились.

— Ты, братец мой, в случае убьют меня, пойдешь в деревню, так не забудь снести жене поклон и деньги, — слышались фразы эти и такого же содержания, произносимые в разных местах вдоль

бруствера, где тесною стеною стояли пехотные солдатики, положив ружья на бруствер, готовые грудью встретить текинцев.

— Ребята, не шуметь и слушать команду, — раздался голос Ш—на. — Помните, что помощи ждать неоткуда, значит, надо драться до последнего. Неприятель не выдержит хорошего залпа, а кто и вскочит — того приколем! Помните, что отступать некуда, остается умирать на своих местах, будьте же молодцами!

— Постараемся! — грянуло в ответ из сотни людей, и это «постараемся» было не пустой фразой в устах солдат; по тону было слышно, что люди не робеют, а вполне понимают доводы начальника о необходимости не двигаться с места и умирать там, где приказано.

Наступила тишина, неприятель не стрелял по правофланговой, боясь перебить своих, подходивших все ближе и ближе к Кале. Свои русские залпы, так щедро сначала на нас сыпавшиеся, тоже прекратились; только на левом фланге продолжались глухие раскаты орудийных выстрелов и ружейная трескотня, бомбы и ракеты так же часто с посвистыванием прорезывали темноту и несли смерть в крепость, стены которой против левого фланга продолжали покрываться вспышками ружейных выстрелов; словом, там, в траншеях, повсюду царил битва, рассыпая смерть направо и налево, а в правофланговой царило ожидание смерти! Последняя вещь не сравненно хуже; в бою страх пропадает, так как нет времени бояться; ожидание же штурма, когда видишь в ночном мраке нечто черное, еще чернее самой ночи, движущееся тихо к тебе, знаешь, что это черное — масса врагов страшных, зверских, беспощадных, с которыми через несколько минут сцепишься грудью с грудью в ожесточенном и неравном бою; это ожидание производит впечатление ни с чем не сравнимое.

Комендант нервными шагами прохаживался по фасу, не сводя глаз с двигавшегося неприятеля. Поручик Берг сидел на хоботе правого орудия, готовясь немедленно повернуть орудие в сторону неприятеля.

У картечницы со вставленным питомником, полным патронов, стоял гардемарин, готовясь дать сигнал вертеть рукоятку и послать 500 выстрелов в минуту в эту грозную черную массу, шум от движения которой ясно уже доносился...

Но вот шум прекратился, и из мрака послышался голос, но послышался так близко, что казалось, говоривший или, лучше сказать, кричавший был в нескольких шагах; затрещало из мрака несколько выстрелов, раздался крики... и гарнизон правофланговой вздохнул свободно: текинцы не решились атаковать. Тщетно их предводитель, оставшийся перед укреплением, призывал Аллаха на помощь для борьбы с «уруссом» — все было напрасно: полная, грозная тишина, царствовавшая в Кале, навела на них ужас, и соблюдению этой тишины гарнизон был обязан своим спасением. Ничто не наводит такого страха на атакующего, как

готовность к бою противника, выражающаяся в этой подавляющей тишине; может, хватит духу пройти большое расстояние, не подвергаясь выстрелам неприятеля, но подойти к самому рву и здесь получить залп картечи и из винтовок — недисциплинированному неприятелю трудно; гробовая тишина атакуемого показывает, что это люди выдержанные, не пускающие выстрелов на воздух; текинцы поняли это и отступили...

Вдох облегчения вырвался у всех; да не подумает читатель, что в правофланговой Кале были люди робкие, трепетавшие при виде опасности, нет, наоборот, подбор офицеров был очень хороший; каждому из них приходилось много раз смотреть в упор в глаза смерти, каждый из них раньше или впоследствии своей кровью упрочил за собой почетное имя храброго, так что да не припишет читатель вдох облегчения радости труса, увидевшего, что опасность миновала — нет, это была радость при сознании, что правофланговая нами удержана; каждый из офицеров и нижних чинов понимал, что, перейди правофланговая в руки текинцев, наш левый фланг, уже атакованный, был бы окончательно снят и, Бог весть, чтоб из этого было!

Повсюду снова послышался сдержанный шепот и разговоры; солдатики зло подсмеивались над предводителем атаковавших, оставшимся solo.

— Ну и воинство, братец ты мой, — говорил пехотный солдатик, присевший на земле и раскуривавший трубочку, матросу, пользовавшемуся минутой затишья, чтобы погрызть сухарь, — и чего это они спужались?

— Чего? Известно нас! Ведь нешто они не знают, что у нас и пушки и картечницы есть, поди, чай, днем ведь видят, ну и ров тоже широкий, не перелезешь, вот и заворотили оглобли! — отвечал матросик с полным сознанием непоколебимой истины своих слов.

В группе артиллеристов слышалась беседа о плохой дисциплине неприятеля, выражавшаяся в очень нелестных для текинцев формах.

— Тоись взял бы их, прохвостов, всех да банником, банником, — горячился фейерверкер, — нешто это виданное дело, чтобы начальства не слушать? Он им кричит: «Пойдем, ребята, вперед, не бойсь», а они говорят: «не хотим» и в разные тоись сейчас стороны!

— Да ведь, дяденька, у них начальство не настоящее, потому они ведь не солдаты, — вставил словечко молодой солдат.

— Ах ты деревня, — прервал его фейерверкер, — да рази может быть, чтобы у них не было начальства? Где ж есть такая земля, чтоб не было солдата с начальством? У них все начальство в красных халатах, вот это и есть их самые офицеры!

— Шут тебя возьми! Слышь, как кричат доселева еще, — проговорил матросик у картечницы, подкладывая камешки под колеса, чтобы она от стрельбы не сдвинулась с места.

Действительно, в отдалении все еще слышался голос текинского «начальства».

— Ну и горло же, как он не охрипнет, кричит, кричит — все толку нет, — острили солдаты, продолжавшие стоять вдоль по брустверу.

— А как бы он не накричал чего-нибудь, — заметил Владимир Александрович Берг, — они, пожалуй, и вторично подойдут.

— Теперь, брат, не беда, страшен первый натиск, раз у них не хватило храбрости броситься без выстрела в шашаки — едва ли они повторяют нападение, — возразил гардемарин.

— Все-таки не мешает принять меры предосторожности, — сказал подошедший прапорщик С—кин. — Эй, солдатик! Принеси-ка, брат, уголька или лучинку посветить мне!

Через несколько времени солдат явился с пылавшей лучиной. Прапорщик вынул из кобуры револьвер и начал осматривать его, ворочая барабан и пробуя спускать курок, чтобы убедиться, можно ли его пустить в ход в критический момент боя; не успел он окончательно осмотреть его, как несколько пуль свистнуло очень близко около офицера и солдата, державшего лучину; последний от неожиданности выронил импровизированный светоч.

— Ты что, обалдел, что ли? — крикнул рассерженный С—кин.

— Вишь палит, ваше б-дие, — смущенно ответил хохол-солдатик, затаптывая ногой тлевшую лучину.

— А тебе какое дело до того, что он палит? В лучину он, что ли, тебе попал или в руку? Какой же ты солдат, коли боишься пули, когда она летит мимо! Смотри, брат, трусов всегда прежде всех убивают. Ступай на место!

Прапорщик вложил револьвер в кобуру, перелез через бруствер, и его фигура пропала в темноте в направлении, где лежали аванпосты. На левом фланге перестрелка то замолкала, то снова разгоралась. Артиллерийская стрельба не умолкала; бомбы летели в крепость целыми букетами по шесть, по восемь штук; ракеты по-прежнему на мгновение освещали мрак своим длинным хвостом и с шипением падали в крепость, где крики не уменьшались...

Правофланговая Кала пользовалась непродолжительным отдыхом: снова с двух сторон засвистели пули и послышались воинственные крики текинцев и снова повторилась описанная выше картина; грозная тишина панически действовала на неприятеля, и эта грозная масса отхлынула, несмотря на одобрение ее громкими криками вожаков и проводителей...

Не прошло десяти минут, как с новыми криками, при учащенной пальбе части неприятеля с другой стороны и со стороны крепости, текинцы атаковали правофланговую. Атака велась энергично, неприятель подошел ближе чем на сотню шагов, пришла пора открыть огонь. Послышался голос лейтенанта Ш—на.

— Открыть огонь по моей команде! Стрелкам дать по два залпа. Орудиям и картечницам начать действовать вместе с пехотой.

— Рота — товсь! Рота — пли!

Грянул дружный, согласный залп стрелков... Блеснув красным пламенем, рывнуло орудие, послышался пронзительный свист удаляющейся картечи, и весь этот шум покрылся отчетливым тактом картечницы: та-та-та... звуком непрерывных периодических ударов... Второе орудие изрыгнуло пламя, и при свете выстрела ясно было видны фигуры неприятеля; выстрел этот произвел, должно быть, страшное опустошение в рядах врагов: послышались крики, вопли... а две картечницы продолжали трещать, наполняя весь воздух свистом пуль... Второй залп прорезал мрак огненной линией, неся дождь пуль атаковавшим... Этого было чересчур много для текинцев... Крики стали удаляться, послышался шум бегущей толпы... Правофланговая отстояла себя.

— Окончить стрельбу, аванпосты на свои места, — послышалась команда лейтенанта Ш—на, произнесенная так спокойно, будто ничего особенного не случилось и все это происходило только на учении.

Длинный поручик, все время сидевший на хоботе орудия, уже вновь заряженного картечью, и наводивший его, встал, вытянулся во весь рост, зевнул, потянулся и из-под усов промычал:

— Ну, кажется, все кончилось, теперь бы и соснуть...

А крики все еще раздавались перед Калой... Особенно резко выделялся чей-то голос, звавший кого-то; солдатик-татарин на вопрос гардемарина: «Кто это кричит там и зовет кого-то так жалобно?» — ответил:

— Это он, ваше б-дие, кричит брата, где ты, говорит.

Очень и очень близко слышались переговаривавшиеся голоса; нет-нет и в ответ на разговоры сверкнет несколько выстрелов с наших аванпостов, все примолкнет на минуту — и снова послышатся гортанные звуки, кого-то зовущие. Какое-то странное, щемящее сердце впечатление производили в густом мраке ночи эти крики... Из крепости тоже доносились крики, обращенные, вероятно, к неприятелю, бродившему около нашей Калы...

Офицерство собралось у бруствера, сколько удовольствия слышалось в голосах говоривших! Оно и понятно — удачно отбитый штурм, без потерь с нашей стороны, представлялся громадным успехом для людей, уже собиравшихся умирать и хлопотавших умереть только «с шиком», не с тем гвардейским шиком, которым отличаются на паркет в Петербурге иные щеголи в раззолоченных мундирах, нет, с шиком «глубокого армейца», умирающего, не покидая вверенного ему поста, на груди убитых им врагов.

Все повеселели, и гардемарин даже загнул такой анекдот, что вся публика покатила со смеху и заявила, что таких анекдотов нельзя рассказывать даже и в степи... Все стали так близки друг другу после испытанной опасности, будто это были члены одной семьи, семьи дружной. Оживленная, страстная беседа, полная высказываемых откровенно друг другу впечатлений, велась в этой

кучке людей, много переживших в какие-нибудь полчаса; если пришлось бы встретиться через много, много лет двум из этого общества, то я убежден, что разговор начнется фразой: «А помнишь правофланговую?» — и польются воспоминания рекой...

Прошло с лишком два года, но воспоминания и впечатления этой ночи не изгладились у меня; так и кажется, что это было вчера! И жалко иной раз станет, чуть не до слез, что все это миновало и приходится вращаться в будничной среде, в пошлой светской обстановке, полной грязи и дрызг житейских... Хочешь найти что-нибудь подходящее к нравам и отношениям боевых товарищей и натыкаешься на буржуазные, мелочные типы... Душно, скверно становится, и поневоле углубляешься в самого себя и живешь воспоминаниями, вызываешь в своей памяти типы и лица с их лагерным отпечатком в характере и привычках, чуждых этому «отполированному» свету, где люди, вместе с полировкой, теряют свои лучшие качества.

Посмотришь повнимательнее на представителей разных слоев общества, проведешь параллель между нашими людьми, с которыми жил тревожной походной жизнью целый год, и невыразимое чувство омерзения вскипает на душе и так и тянет в степь, с ее песком и пятидесятиградусной жарой — там лучше, бесконечно лучше, нет ни Рыковых, похищающих миллионы, ни омерзительных кокодесов с одноглазкой, гуляющих по Невскому с целью попасть на содержание к какой-нибудь купчихе, ни прочей иной гадости...

Впрочем, увлекаться не полагается, оставляю на время параллель между светской и лагерной жизнью и возвращаюсь к описанию событий в правофланговой.

Текинцы, оказалось, не удовольствовались этим нападением: прошло несколько времени, и снова раздались выстрелы и крики, и снова неугомонный неприятель двинулся на Калу, безмолвно его ожидавшую...

В это время с левого фланга ясно раздались в ночной тишине мелодичные и торжественные звуки «марша добровольцев» и громкие раскаты «ура!»... Прошло мгновение, и неприятель бросился бежать, не выдержавши этого нового впечатления... В четвертый и последний раз правофланговая была спасена, текинцы ушли назад в Геок-Тепе.

Через некоторое время со стороны левого фланга послышался конский топот и прибежал солдатик доложить, что идет наша кавалерия. Генерал Скобелев прислал эскадрон драгун в помощь гарнизону правофланговой. Офицеры рассказали много печальных вещей о событиях на левом фланге.

Постараюсь передать читателям эти события насколько можно вернее и полнее.

В этот вечер наши саперные офицеры с несколькими рядовыми вышли из передовой, второй, параллели отметить место для зало-

жения новой, ближайшей к неприятелю траншеи. Едва они начали работу, как заметили какую-то черную массу, ползущую на них: текинцы без шума, без выстрела, делали вылазку. Офицеры бросились назад в разные стороны к нашим параллелям, преследуемые текинцами, которые, видя, что они замечены, перестали скрываться и с дикими криками бросились в атаку; молодой герой, саперный поручик Сандецкий, бежал на бруствер, крича: «Стреляйте, нас немного, сзади текинцы!» Солдаты в траншеях растерялись; неприятель вскочил в траншеи, где был 4-й батальон Апшеронского полка, и началась страшная резня...

Защищая свое знамя, легли на месте: батальонный командир князь Магалов, ротный командир поручик Чикорев, подпоручик Готто и батальонный врач Троицкий; из роты в сто с лишком человек осталось 8—10 нижних чинов... Все было изрублено, и святыня батальона — знамя — попала в руки неприятеля; знаменщик был найден в бесчувственном состоянии, покрытый сабельными ударами, и умер, не придя в себя и не рассказав подробности этой борьбы! Горное орудие, бывшее в траншеях, сделав несколько выстрелов картечью, попало в руки неприятеля, но brave артиллеристы все легли около: ни один из прислуги не оставил своего места...

Возле орудия пал смертью храбрых полковник князь Мамацов, начальник артиллерии левого фланга, и командир 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады; текинцы, изрубив все, что попало на пути, широкой рекой разлились повсюду, обирая мертвых, снимая с них даже платье. Большая часть бросилась во вторую параллель, некоторые же устремились на лагерь; прорвавшиеся во вторую параллель наткнулись на туркестанцев под командою полковника Куропаткина; хладнокровные залпы этой части заставили текинцев повернуть; и туркестанцы, к которым примыкали по дороге отдельные солдатики разбитых защитников 1-й параллели, шли очищая траншеи от неприятеля... Текинцы ушли в крепость, по которой открылась страшная канонада из всех орудий.

Вот вкратце описание этой страшной вылазки, так дорого стоившей нам, но еще дороже неприятелю. После отбития генерал Скобелев приказал играть оркестру и продолжать начатые работы; убитые и раненые были убраны, траншеи усиленно заняты войсками, и все вошло в обычную колею; воспоминанием о резне осталось только несколько сотен неприятельских трупов, лежащих повсюду и еще не прибранных, да земля, пропитанная кровью... На другой день в траншеях было найдено несколько женских трупов; у одной убитой в руках была длинная палка с насаженной на конце половиной ножниц; красиво разбросавшись, лежала эта текинская Жанна д'Арк с несколькими штыковыми ранами, сжимая свое импровизированное оружие в руке, с выражением ненависти на искаженном лице...

На другой день в лагере, около одного из наметов, собралась небольшая кучка офицеров, поочередно входивших туда, снимая фуражки; на полу стояло около десятка носилок, покрытых полотно; вошедшие приподымали полотно, и у многих навертывались слезы при виде обезображенного «нечто», которое несколько часов тому назад жило, думало, надеялось... Вот лежит Сандецкий с перерубленным горлом и без верхней части черепа, снесенного шашкой; открытые глаза потускнели, ничего не выражают... а недавно они еще блестели юмором, отвагой, добродушием... Вот Готто, красивый некогда брונет, которого нельзя узнать, так как семь шашечных ран обезобразили его лицо, и только усы, чудные, длинные усы заставляют его узнать...

Но опустим полу намета за собой и выйдем, перекрестившись за упокой души убитых храбрецов; им, может быть, теперь лучше, чем оставшимся в живых.

Война заставляет человека удивительно легко относиться к жизни ближнего; смерть производит только минутное неприятное впечатление, и затем снова все входит в свою колею.

Не дай вам Бог, читатель, быть на войне: скверно, очень скверно, сознаешь это сам, а все-таки вновь тянет и тянет, так как там только чувствуешь, что живешь, а не прозябаешь, как в наших городах, среди плесени и скуки мирной жизни!

Война зло, но зло увлекательное.

5. В ГОРАХ КОПЕТ-ДАГА

Для многих из моих читателей горный хребет Копет-Даг есть нечто новое, о чем когда-то давно, может быть, и трактовалось в географии, но затем это название совершенно исчезло из памяти, да и неудивительно, если и исчезло. Мыслимое ли дело помнить все названия малозначащих возвышенностей, озер и речек, которыми так изобилуют все учебники географии? Если уважаемый читатель не поленился возобновить немного в своей памяти географические сведения, в чем я охотно помогу ему, то я буду вполне этим доволен, так как неудобно рассказывать о событиях, происходящих для читателя в совершенно неизвестной местности, «где-то на поверхности земного шара».

К восточному берегу Каспийского моря примыкает обширная низменность, в южной части которой и приходилось действовать нашим войскам во время всех предпринимавшихся экспедиций против туркмен племени текинцев. Я не буду вдаваться в подробное географическое и этнологическое описание этого края, так как в отдельном очерке намерен ознакомить читателей с характером страны и ее обитателей, теперь же скажу только, что юго-восточная часть вышеназванной низменности изрезана несколькими горными цепями. От города Красноводска, по берегу залива, до песков Чиль-Мамет-Кум идет хребет Курямын-Кары; от этих песков на юго-восток тянется хребет Кюрян-Даг, продолжение которого до

разветвлений гор Ала-Даг в персидской провинции Ширвань носит название Копет-Даг или Даман и Кух. Этот хребет представляет собой юго-западную границу Текинского оазиса; с юго-востока служат границей пески; таким образом оазис представляет узкую полосу, изрезанную во многих местах ручейками и представляющую вследствие этого некоторые удобства для оседлой жизни. Читатель, интересующийся точнее узнать местоположение хребта Копет-Даг, соблаговолит обратиться к карте Закаспийского края, приложенной к февральской книжке «Морского сборника» за 1882 год; на этой карте нанесены все пункты, упоминаемые в моих очерках; а теперь, читатель, последуйте за мной в горы, где вы, взбираясь по скалистым тропинкам, спускаясь в зеленеющие долины и проходя мрачные, никогда не выдавшие солнечного луча ущелья, найдете много интересного и нового для себя.

Ранним, прохладным утром, в начале сентября 1880 года, дорога на Бендессенский перевал представляла чудный живописный вид. Громадные, нависшие скалы, покрытые темной зеленью кипарисов, освещенные бледно-розовым светом восходящего солнца пропадали в перспективе картины в безоблачном голубом небе... Извилистая тропинка то исчезала из глаз наблюдателя, спускаясь в глубокие провалы, то снова, уже далеко, вилась белой нитью, подымаясь в гору; далеко, далеко громадной стеной синелся главный хребет Копет-Дага; дорогу пересекал ручей, прозрачный, холодный, вился он блестящей нитью, пропадая на берегу обрыва, куда низвергался с мелодичным шумом, сверкая на солнце миллионами брызг и расходясь на несколько других ручейков, орошал дно этого провала, покрытого изумрудной зеленью травы, в которой пропадает для взора всадник вместе с лошадей. Красноватые голые утесы, образующие стены этого провала, составляли своею бесплодностью и обнаженным видом полную противоположность с этой чудною зеленью, покрывавшей дно обрыва; для наблюдателя эта котловина показалась бы замкнутой: нигде не было видно выхода; с трех сторон она замыкалась отвесными скалами около 800 футов вышиною, с четвертой стороны, обращенной к дороге на Бендессенский перевал, снова имела покатость и выступы с лежавшими в них камнями громадной величины, вероятно когда-нибудь оторвавшимися от утеса под влиянием вулканической работы почвы. Спуститься, казалось, невозможным в этот провал, а спуститься надо было той группе людей, которая в это утро собралась на берегу ручья на самом краю обрыва.

Здесь в самых разнообразных позах лежали, сидели и стояли субъекты, в которых, с первого раза, трудно было бы узнать солдат; царствовало полное смещение цветов в одежде: виднелись кумачовые рубахи, белые гимнастические, желтые ситцевые с разными разводами; штаны красные и зеленые, кожаные туркестанского изделия, казенные суконные с большими заплатами на коленях из кожи; на некоторых, очень немногих, виднелись выцветшие

мундиры, сделавшиеся зелено-бутылочного цвета, сквозь изобильные дыры которых виднелась смуглая, загорелая кожа. Обувь была так же разнообразна, как и платье: высокие сапоги, поршни из бараньей кожи, обращенные мехом вверх, лапти, сплетенные из ремешков самых разнообразных фасонов и т.п. Единственно по чему можно было догадаться, что перед вами находятся русские воины, а не сборище разбойников, это по фуражкам, околыши которых под слоем пыли и грязи нельзя было различить по цветам. Несколько человек было в папах, и верхнее платье их состояло из черкесок с подогнутыми полами, шляпки бердановских патронов выглядывали из газырей во всю ширину груди. Там и сям валялись скатанные шинели; винтовки не были составлены в козлы, а лежали возле сидевших или же растянувшихся на земле солдатиков и были в руках у стоявших или ходивших: мера предосторожности в случае нечаянного нападения. Шагах в четырехстах от этой группы, на вершине холма, виднелся силуэт часового, осматривавшего в бинокль окрестности.

Эта кучка людей представляла из себя половину охотничьей команды штабс-капитана Сл—кого; другая половина оставалась в укреплении Бендессен. Сам Сл—кий находился тут, равно как и гардемарин М—р, а также урядник барон Л—стерн. Все трое лежали на бурках, разостланных на берегу ручейка, шагах в десяти выше по течению от места расположения солдат, и пили чай из стаканов, сделанных из бутылок раньше мною описанным способом. Подойдем, читатель, поближе и послушаем, о чем говорит это трио, так как беседа их, быть может, объяснит нам присутствие охотников в этом месте и их дальнейшие намерения.

— Весь вопрос в том: имеет ли эта котловина выход, — говорил гардемарин, прихлебывая чай и выпуская облака дыма изо рта, — если нет выхода, то не стоит и спускаться туда, так как едва ли текинцы вздумают спуститься в такую мышеловку, откуда выбраться труднее, чем попасть туда...

— Совершенно согласен, но ведь следы крови довели нас как раз до этого обрыва; надо предположить, что текинцы убили джигита, но не успели его обобрат и, слышав шум приближающегося транспорта, стащили его до обрыва и бросили туда, рассчитывая потом воспользоваться своей добычей, спустившись в провал.

— Но они, вероятно, сейчас же и спустились туда, потому что казаки не видели ни одного из них, хотя лужа крови не успела еще высохнуть, когда они подъехали, значит, времени прошло очень мало, — вставил слово барон, говоривший по-русски очень неправильно и с сильным иностранным акцентом.

— Если они залезли только в эту яму и нет другого выхода, тогда им придется не особенно приятно, — с холодной улыбкой заметил Александр Иванович.

— Много ли их может быть? — спросил барон, ни к кому в особенности не обращаясь.

— Если бы было много, они напали бы на транспорт; даже если бы и не хватило у них на это храбрости, то все-таки большая толпа не могла так быстро исчезнуть, будто сквозь землю провалилась, — заметил молодой моряк.

— Чем больше — тем лучше, господа; не забудьте нас 37 человек, а барон со своими 12 казаками дрался 9 часов против 300 человек, значит, партия в несколько сотен не может представлять для нас опасности.

— Только бы не было там другого выхода, вот в чем вопрос, — добавил Сл—кий и заметил: — Не пора ли подыматься?

— Да оно лучше, пока не жарко, — согласился моряк.

— В ружье! — крикнул командир охотников. Солдатики засуетились. Скатанные шинели надеты, баклажки наполнены водой, вся амуниция приспособлена таким образом, чтобы не мешать ходьбе и не шуметь.

Фельдфебель выстроил команду.

Александр Иванович подошел к команде с неизменным бердановским карабином в руках и, остановившись на середине фронта, произнес:

— Ребята! Мы сейчас спустимся в эту яму, которую вы видели; спуск трудный, но таким молодцам, как вы, это нипочем, надеюсь; на дне, должно быть, сидят текинцы, убившие вчера джигита, придется подраться, смотри же, молодцы — не плошать! Без команды не стрелять и близко неприятеля к себе не подпускать, на шашках они дерутся больно хорошо; в плен ни одного человека не брать! Слышите, ребята?

— Постараемся, ваше б-дие! — рывкнули молодцы.

— Штыки отомкнуты! Полурота — товсь!

Защелкали замки берданок, патроны вложены.

— Курки на первый взвод!

— Напра-во! Ружья вольно! Шагом марш!

— Петров, Кузьмин и ты, Долбня, ступайте вперед, так шагов на четыреста от нас, да зорко смотреть; в случае чего — стреляй! — приказал Александр Иванович.

Два солдата и казак выделились из полуроты, вприпрыжку побежали к краю оврага и через несколько секунд исчезли.

Сл—кий шел впереди команды, сзади него трубач и один из рядовых.

Начался спуск, не было даже тропинки. Камни, большие и малые, были нагромождены в беспорядке; а в некоторых местах можно было поставить только одну ногу. Осторожно, опираясь плечом в отвесную стену слева и не смотря в пропасть глубиною саженой в тридцать, солдатики пробирались вперед; иногда из-под ног выскользал камешек, и вот, вот кажется смерть неминуема, но солдатик не терял равновесия и, отделавшись только испугом,

продолжал медленно подвигаться вперед; маленький отряд растянулся длинной лентой. Положение охотников было таково, что два текинца, поместившиеся где-нибудь за камнями с бердановскими винтовками, могли их перебить совершенно свободно; к счастью для смельчаков, текинцев не было видно, и отряд понемногу подвигался вперед. Но вот Александр Иванович остановился, солдатики стали один за другим собираться, весь отряд тронулся и, прижавшись к скале, ожидал объяснения, что значит эта остановка.

— Не растягивайтесь очень, ребята, и не шумите, — вполголоса обратился командир охотников к солдатам, с напряженным вниманием слушавшим его, — если невзначай по нас откроют пальбу, ложись, приседай кому как удобнее, а главное — на ветер патронов не выпускай! Ну, с Богом вперед! — И Александр Иванович снова пошел вперед, твердо и вместе с тем легко ступая по краю обрыва, слегка наклонившись в левую сторону; солдатики не отставали, обмениваясь между собой тихими фразами.

— Ну и дорога, неча сказать, — пробормотал молодой сапер-охотник, у которого из-под сдвинутой на затылок кепи крупными каплями катился пот, — и чего бы, кажись, не прислать сюда нашу роту расчистить эту чертову гору...

— Эка тоже сказал! — возразил идущий впереди апшеронец, не поворачивая головы в сторону говорившего. — Нешто можно кажинную горку расчищать! А кто бы стал на Бендессенском перевале работать, кабы вашу роту сюда послать?

Сапер, убежденный непреложностью суждений своего товарища, замолчал и только изредка усиленно сопел носом, когда непривычные к горной ходьбе ноги расползались и он рисковал полететь на дно обрыва.

Замыкал шествие вышеупомянутый барон Л—стерн, урядник Таманского казачьего полка. Он едва поспевал за отрядом, умирительно ковыляя. Его привыкшие к верховой езде ноги окончательно отказывались от горного похода; за ним шел его человек, латыш, сопровождавший его повсюду и служивший вьючной лошастью: он нес бурку барона, мешок с съестными припасами, смену белья для своего господина и всякого рода рухлядь. Этот современный Санчо Панса был действительно образцом слуг; навьюченный так безжалостно, он бодро шагал и перекидывался со своим барином по временам несколькими латышскими фразами, на которые барон отвечал угрюмым ворчанием; по временам из его уст вылетало восклицание вроде «доннерветтер!», и затем он снова с пыхтением торопился догнать шедших впереди солдат, от которых он отставал.

Личность барона настолько интересна, что я попытаюсь рассказать его историю читателю, не боясь, что он за чтением походов этого ахал-текинского Дон-Кихота соскучится.

Барон Л—стерн, немец *jusqu' au bout des ongles*; его фатерланд — Курляндия. Там находятся у него большие поместья, дающие ему около двадцати тысяч годового дохода. Воспитание барон, как прилично немцу, получил в одном из германских университетов; русский язык представляет для него камень преткновения, и прочесть письмо, написанное по-русски, будет для него труднее, чем разобрать какую-нибудь надпись иероглифами на древнем египетском обелиске. Понятия — самые феодальные; человеческим достоинством и чувствами обладают, по его мнению, только экземпляры немецкого происхождения, имеющие счастье ставить перед фамилией частичку «фон» или какой-нибудь титул.

Барону лет 27, но он никак не может получить офицерский чин, так как экзамен надо сдавать не по-немецки, по-английски или по-французски, а по-русски, изучение же «*dieser barbarischen Sprache*», как я говорил выше, барону не дается. Он служил в лейб-гвардии гусарском полку, участвовал в турецкой кампании 1877—1878 годов, но офицерского чина не получил. Рассердившись на подобную «несправедливость», он вышел в отставку и жил то за границей, то в имении. Прослышав про экспедицию, барон взял несколько тысяч рублей, своего Санчо Пансу и явился в отряд, где и был зачислен урядником в Таманский казачий полк. Он командовал двенадцатью казаками, составившими конвой доктора Студитского, когда на эту горсточку людей было сделано нападение, о котором я говорил в одном из предыдущих очерков. Несмотря на самые разноречивые слухи, ходившие в отряде о поведении барона в этом деле, я могу только заявить, что видел его в огне и в очень крупных схватках совершенно хладнокровным, так что его репутация как храброго человека не может быть оспариваема.

В высшей степени деликатный, предупредительный, обладающий светским лоском, барон, вероятно, может быть прекрасным собеседником в гостиной, но как походный товарищ — оставляет желать много лучшего; особенно бывает он невыносим, когда начинает жаловаться на недостаток комфорта в походе, на грязь, в которой приходится жить, на недостаток съестных припасов, на жару и прочие лишения; тут и без того тяжело, случается, что позабудешься, примиришься со своей судьбой — вдруг является барон со своими сетованиями и берedit самые чувствительные раны, хотя на минуту забытые. Я достаточно очертил этот редкий в походе экземпляр, теперь возвращаюсь назад, к маленькому отряду охотников, продолжающих спускаться, если не в преисподнюю, то, во всяком случае, в место очень на нее похожее.

Крутая и узкая тропинка приходила к концу, две трети пути были пройдены, отряд добрался до площадки, покрытой скудной растительностью, которая довольно крутым спуском, имевшим вид наклонной широкой плоскости, соединялась, или, лучше сказать, сливалась с дном оврага, манившим своею изумительной зеленью

измучившихся охотников. Солдатики посматривали вверх и покачивали головой: действительно, глядя снизу, не верилось, что с этой крутизны отряд только что спустился. Тропинки не было видно. Этот узкий карниз, извивавшийся спиралью по отвесной почти стене, исчезал для глаз в отдалении, и зритель, не совершивший с охотниками этого опасного спуска, мог бы биться об заклад на что угодно, что на гору подняться нельзя, а тем более спуститься.

— Ну и высота же, братец ты мой, аж поджилки трясутся, — говорил казак Фома, один из героев недавнего Бендессенского боя, потирая колени, которые заметно у него дрожали.

— Да, впору хотя бы и Капказу, — согласился фельдфебель, красное лицо которого и тяжелое дыхание показывали, что спуск и для него не был легок.

— И удивительное дело, отчего это у нас в Рассее нет этаких гор? — любопытствовал саперик, вглядываясь в самую вершину скалы.

— Оттого, что климат другой, тут, видишь ты, Азия, а там Рассея, — пояснил самурец, прислонивший ружье к громадному камню и набивавший тютюном трубочку.

— Таак... — протянул глубокомысленно сапер и стал что-то соображать.

— Видно, оттого, что здесь климат другой, ты и ружье бросаешь? — раздался голос унтер-офицера, и философ-самурец, только что с таким апломбом объяснявший происхождение гор, получил изрядную затрещину по затылку. Трубка у него выпала из рук, и он, сильно сконфуженный, повернулся к «ундеру» и робким голосом начал оправдываться:

— Да ведь я, Василь Петрович, на час его отставил, потому неприятелей тут нету...

— Нету? А вдруг ежели они, то исть, сейчас выскочут из-за камней, да тебе брюхо пропорят, будет у тебя время винтовку схватить? А еще солдат называется. — И унтер-офицер, дав оплошавшему солдатику так называемого киселя, отошел в сторону. Охотники, видевшие эту сцену, добродушно засмеялись.

— А и строгий же Василь Петрович, у-у! — промолвил самурец, получивший «внушение» и поторопившийся взять в руки винтовку. — Да и добрый! Другой, того и гляди, на часы упек бы, да еще ранец с песком надел бы, а он пихнет аль там ударит, и больше ничего!

Пока солдатики болтали между собой, Сл—кий в бинокль подробно осматривал окрестности; у самого конца спуска виднелись три человека, посланные вперед; вот они остановились сразу, снова сделали несколько шагов и, нагнувшись, начали что-то рассматривать. Прошло несколько времени, один из них отделился и повернул снова на гору, видно было, что он торопится: перепры-

гивая через камни, он рысью, с винтовкой наперевес, взбирался на площадку, где остановились охотники.

Командир охотников опустил бинокль и обратился к моряку, стоявшему возле него и закуривавшему папиросу:

— Наши молодцы что-то нашли, Долбня бежит сюда...

— Вероятно, следы текинцев, что же может быть другое?

— Я не мог хорошо рассмотреть в бинокль, камни мешают, но мне показалось, что они рассматривали какую-то массу; да вот сейчас узнаем. Долбня уж близко.

Действительно, бравый казак быстро приближался; папаха сдвинута на затылок, ручки пота текут по обгорелой физиономии, грудь тяжело подымается; еще несколько шагов — и он взобрался на площадку и, с трудом переводя дыхание, подошел к Александру Ивановичу. Несколько времени открытый рот не мог произнести ни звука, наконец он вдохнул в себя побольше воздуха и выпалил:

— Побитого трухмена нашли, ваше б-дие!

— Кого? Джигита, что ли? — спросил Александр Иванович, как видно, вовсе не пораженный этой новостью.

— Не могу знать, ваше б-дие! Только лежит это там человек совсем без одежды, голова разбита, весь побит, и грудь в двух местах прострелена аль проколота; так из себя трухмен, потому скрозь черномазый!

Командир охотников не мог удержаться от улыбки, слыша определение национальности найденного трупа, выраженное так своеобразно.

— А следов текинцев не видали? — спросил он Долбню, вытираваший пот рукавом своей черкески.

— Никак нет, не смотрел, потому торопился доложить вашему б-дию об убитом.

— Ну хорошо, там увидим! А теперь пойдем дальше. Вперед ребята, за мной!

Быстрыми шагами, почти бегом, стал спускаться маленький отряд. Наклонная плоскость, покрытая камнями, не раз заставляла людей спотыкаться, так как разошедшиеся по силе инерции ноги с трудом меняли направление при обходе встречавшихся ям или груд камня. Вот солдатик споткнулся, удержался, но как раз, на его несчастье, лежит большой камень; при всем желании обойти его он не может, ударяется коленями и летит через голову; винтовка со звоном ударяется о землю, баклажка с водой, подпрыгивая, катится, и сам обладатель ее, прихрамывая и ругаясь на чем свет стоит, подняв ружье, к счастью, не пострадавшее от падения, стремится догнать драгоценный сосуд, содержащий в себе запас воды, которой грозит опасность разлиться. Увы! Так и случилось: пробка выскочила и воды в баклаге нет ни капли. С неприятно грустным видом смотрит солдатик на пустую баклагу, из которой выбежали, когда он ее подымал, последние капли воды.

— Э-эх! Вот так беда, — говорит бедняга и по свойственной русскому человеку привычке почесывает затылок.

— Что земляк, без воды теперича? — соболезнует обгоняющий его товарищ.

— Да вот нелегкий попутал свалиться... — И солдат добавляет очень неместный эпитет врагу рода человеческого, по его мнению, виновнику его несчастья.

— Ну чего стали, аль прикладом подогнать! — слышится голос «ундера» Василия Петровича, и он, собственной персоной, является перед двумя солдатами.

— Да вот, Василь Петрович, вода пропала, — говорит солдатик.

— А ты, баранья голова, поможешь, что ли, коли будешь растопыря руки стоять? Да нешто ее мало там внизу? — И унтер показал на зеленеющую равнину.

Лицо солдатика повеселело сразу.

— Оно точно, я не подумал, Василь Петрович! — И оба солдатика вприпрыжку стали догонять товарищей, сначала искоса оглянувшись, не собирается ли их начальник привести в исполнение угрозу насчет приклада, но Василий Петрович мерной походкой опытного пехотинца спускался, не обращая на них больше внимания.

Спуск приближался к концу, ясно виднелась зеленая трава и тростник выше роста человеческого; так и манило к этой свежей зелени после степной пыли и горных камней.

В нескольких шагах от приближавшегося отряда стояли два посланные вперед солдатика. Александр Иванович шагов за десять еще скорчил гримасу и промолвил:

— Эк как воняет мертвечиной!

Запах этот происходил от какой-то потемневшей массы, в которой только по ближайшем осмотре можно было узнать человеческий труп; голова была совершенно раздроблена и представляла запекшуюся массу крови и мозга, из которой торчали осколки разбитых костей. Туловище было покрыто синяками и кровяными подтеками; во многих местах было вырвано мясо, которое висело лохмотьями; кисть правой руки висела на нескольких лоскутках кожи; из правого бока, совершенно разбитого, торчали осколки ребер; ноги, перебитые в нескольких местах, неестественно подогнулись под туловище. Зрелище было очень неприятное даже для людей, для которых вид смерти не был новинкой.

Преодолевая чувство брезгливости, Александр Иванович в сопровождении моряка подошел к трупу и, нагнувшись, начал рассматривать две маленькие ранки: одну под левой ключицей, другую в середине груди; не нужно было быть врачом, чтобы определить происхождение этих ранок — только пуля, пущенная на близком расстоянии, может произвести такую маленькую затянутую внутрь ранку. Объяснение других повреждений на трупе тоже не трудно было найти, так как близлежащий огромный камень был забрызган кровью и мозгом.

— Текинцы его убили наверху и сбросили сюда, я это и раньше думал, — промолвил Александр Иванович. — Он, падая, ударился сначала об этот камень и от него отпрыгнул уже сюда. Затем они спустились и здесь обобрали его, так как наверху им помешали казаки.

— Если отсюда нет выхода, то этих господ можно поздравить с большой неприятностью, — произнес гардемарин, отходя от убитого и внимательно всматриваясь в землю вокруг, будто ища чего-нибудь.

— На этой каменистой почве едва ли вы найдете следы, — послышался голос барона, угадавшего намерение моряка.

— Да это верно, ничего не видать, — согласился моряк и обратился к Александру Ивановичу. — Надо приказать зарыть этого беднягу, а то он распространяет таковое зловоние, что дышать невозможно!

— Фельдфебель! Прикажи людям, у кого есть лопаты, забросать труп землей, да камней набросать сверху, чтобы шакалы не отрыли!

Несколько человек отделились из числа охотников и, вынув коротенькие лопаты, так называемый линнемановский шанцевый инструмент, принялись забрасывать обезображенный труп, который скоро исчез под грудой пепла. Все охотники стали бросать камни, и таким образом в непродолжительное время образовался порядочный курганчик, навсегда скрывший под собой тело джигита.

— Ну, вот и похоронили, — сказал Александр Иванович. — Теперь, господа, — обратился он к моряку и барону, курившим в некотором отдалении, — попрошу вас составить со мною маленький военный совет.

Моряк и барон Л—стерн подошли к командиру охотников и, по его приглашению, опустились на бурку, которую догадливый человек барона успел уже разостлать.

— Что вы предполагаете теперь предпринять? — обратился Сл—кий к барону, как самому младшему из трех.

Барон подумал с минуту и затем медленно, коверкая слова, начал:

— Я думаю, господин капитан, пойти посмотреть, нет ли здесь неприятеля, только идти осторожно, чтобы не попасть в... в... как это! Hinterhalt! — обратился барон к гардемарину.

— По-русски это называется засадой, — перевел моряк, с трудом удерживаясь от смеха при взгляде на барона, который даже покраснел от усилия вспомнить это проклятое русское слово, а может быть, и оттого, что чувствовал устремленный на себя пристально сардонический взгляд Александра Ивановича.

— Да, да! Чтобы не попасть в засаду, — продолжал барон, — я думаю, лучше всего идти по ручью, — прибавил он.

— А ваше мнение, моряк? — обратился капитан к гардемарину.

— Если текинцы скрываются здесь, то, вероятно, где-нибудь между горами, чтобы не быть окруженными со всех сторон; отно-

сительно осторожности, которая должна быть соблюдаема, с бароном я вполне согласен, так как раз текинцы не могут выйти отсюда, то они будут драться со всей силой отчаяния!

— Никто из вас, господа, и не должен сомневаться в том, что будут приняты все меры предосторожности, хотя я не думаю, чтобы текинцы устроили засаду; мне даже пришла мысль в голову, что текинцев и след здесь простыл, так как выход из этого провала должен существовать, иначе ручей, который здесь протекает, разливался бы и образовал болото; значит, он пробирается между горами, раз здесь нет болота. Мы разделим отряд на две половины, — продолжал Александр Иванович, — я с одной половиной пойду под горами направо, а вы, моряк, с другой половиной — налево; когда мы осмотрим, тогда, соединившись, пойдем по ручью.

С этими словами командир охотников поднялся с бурки, взял свой карабин и крикнул фельдфебелю поделить команду пополам. Барон пошел с гардемаринном. Послышалась команда моряка: «Нале-во, шагом марш!» — и двадцать охотников двинулись в путь. Через несколько минут они вошли в зеленеющую полосу травы, держась шагах в ста от подошвы скал. Густая и высокая трава почти совсем скрывала эту горсточку людей, только штыки виднелись и сверкали на солнце, так как после спуска с горы солдатики их снова примкнули. Осторожно подвигались охотники, высматривая тщательно вокруг, насколько позволяла трава; подозрительного не было ничего. Солнце ярко сияло на голубом небе, красноватые скалы вздымали горделиво свои трещины, в зеленой траве заливалась какая-то пичужка и трещали кузнечики, обстановка была самая мирная, располагающая к мечтательности, а вовсе не к кровавой потехе, именуемой войной.

— Какое чудное место! — обратился моряк к барону, старшему не отставать от него и уныло повесившему голову.

— Да, очень хорошее, — согласился тот и, помолчав, продолжал, — вы не знаете, скоро мы сделаем привал? Ведь надо будет поесть...

— Часов через пять, не раньше, — ответил гардемарин и искоса посмотрел, какое действие произведут на барона его слова.

Физиономия последнего вытянулась, и он довольно комично вздохнул.

— Поход очень неприятная вещь, — начал он, — нет возможности вести регулярную жизнь, а это очень вредно отзывается на здоровье; и потом, эта вечная ходьба...

— Но согласитесь сами, что прогулка в такое прекрасное утро может принести только пользу, и аппетит будет лучше...

— О, это было бы все очень хорошо, если бы я имел верховую лошадь, но пешком... — И барон сделал гримасу.

— Вам надо приучиться ходить; я понимаю, что вы, как кавалерист, не привыкли, но раз поступили в охотники — надо уметь и ходить и бегать по горам; я, например, моряк, однако же

должен был приучиться к степной жизни, не имеющей ничего общего с нашей судовой.

Барон, казалось, не убедился этим доводом; он понурился, перекинул винтовку с левого плеча на правое и замолчал.

Отрядец продолжал двигаться. Полпути с лишком было пройдено. Трава становилась гуще. Зорко всматривались охотники в эту обманчивую зелень; какое-то беспокойство выразалось во взглядах, да оно и понятно — чувство страха перед неизвестной или, лучше сказать, скрытой опасностью всегда доступно самому отважному человеку. В эту-то минуту общего напряжения нервов с той стороны, куда пошли охотники под командой Александра Ивановича, грянул выстрел, повторяемый нескончаемым эхом гор...

Солдаты сразу остановились, и у многих винтовки невольно соскочили с плеча и были взяты на изготовку, лица стали серьезные — наступал важный момент...

Гардемарин и барон встали на правом фланге... Послышались два выстрела, один за другим...

— Взвод — товсь! — скомандовал моряк, щелкая сам затвором своей «магазинки».

В траве зашумело, будто бежала толпа людей, все ближе и ближе...

Звук стал походить на топот нескольких лошадей.

— Кавалерия, — прошептал кто-то во фронте. Быстро раздвигаемая трава шелестела... Вот близко, совсем близко... Сердца усиленно стучали у этой кучки людей, не знавших со скольким числом неприятеля придется им иметь дело...

Но вот последние ряды камыша и травы раздвинулись, и прямо на фронт выскочило штук восемь кабанов, которые при виде людей с трудом остановились с разбега и несколько мгновений с хрюканьем стояли. Изумление охотников, ожидавших врагов более опасных, было таково, что никто не подумал выстрелить; первый опомнился моряк и, крикнув: «Стреляй, ребята!» — приложился и спустил курок...

По фронту загремели выстрелы... Кабаны бросились налево, один подпрыгивал на трех ногах, один бился на земле, неистово хрюкая, взрывая ногами и клыками землю и злобно поводя вокруг своими маленькими глазами... Какой-то юркий солдатик побежал вслед за подстреленным и через несколько времени в траве послышался выстрел.

— Вот напугали, подлецы, — промолвил гардемарин, подходя к кабану, который перестал биться и лежал покойно на боку... Увидя подходящего человека, животное злобно хрюкнуло, сделало усилие подняться, но грузно упало и снова начало биться...

— Надо его пристрелить, — проговорил барон и, приложив дуло винтовки почти в упор к уху кабана, выстрелил; судорожно вздрогнул бедняга и протянул ноги.

— Вот вам барон и обед будет вкусный, — сказал моряк, наклонившись и рассматривая добычу.

— Лишь бы только капитан здесь сделал привал, а уж пообедаем мы на славу, — заговорил повеселевший барон.

В эту минуту послышались мерные шаги, и второй отряд вышел из чащи травы.

— Что, наделал я переполоху? — обратился с улыбкой Александр Иванович к моряку.

— Да, признаюсь-таки, и ваша стрельба и эти бестии, — моряк ткнул носком сапога в бок убитого зверя, — доставили нам несколько минут неприятного ожидания...

— Да, вам посчастливилось лучше нашего, правда, вы открыли беглый огонь, а мы сделали всего три выстрела, только тут кто-то отличился, выпалил так высоко, что пуля свистнула у нас над головами, да так жалобно...

— Это, значит, от рикошета, — заметил моряк и начал рассказывать, как охотники услышали выстрелы, как приготовились встречать текинцев и как кабаны набежали прямо на фронт.

— Ну что же, — в раздумье проговорил Александр Иванович, — надо здесь сделать привал, благо есть мясо... Боюсь я только, чтобы на желудках людей не отозвалась вредно свинина, — прибавил он.

— Да ведь помногу ли придется на брата, — возразил барон, которому стало страшно, что давно желанный привал не состоится. Он не успел окончить еще аполгии в пользу обеда из свинины, как появился солдатик, носивший на себе следы сильной борьбы.

Правая штанина была располосована, и на голом теле виднелось несколько кровавых царапин, штык был весь в крови и заметно согнут.

— Это что такое? — воскликнул удивленный моряк. — Где это тебя?

— Это все он наделал, ваше б-дие, — ответил с виноватым видом солдатик.

— Кто? — переспросил Александр Иванович.

— Свинья, ваше б-дие!

— Где? Какая?

— А этта, что в траву побегла; я за ней... пальнул... упала. Я подбег, а она как выскочит, да зубом в этто место, — и солдатик показал на царапину, — спасибо еще, что скользнул, зуб-то! Я ее штыком, шкура толстенная, не берет; еле-еле пропер ей бок, потому она вертится, вот штык только согнул. Она вот там и теперича лежит, — и солдатик показал по направлению к горам.

— Ну, молодец, — сказал Александр Иванович, — ты ногу то обмой да завяжи, а то разболится.

— Никак нет, ваше б-дие! Я этта поплевал да песочком присыпал, оно и засохнет. — И наш молодец с довольным видом направился к кучке солдат, по-видимому успокоившись, что порча штыка не подвергла его ответственности.

— Так как же, господа, подкрепим здесь силы? — обращается Сл—кий к моряку и Л—стерну.

Оба кивнули головой в знак согласия, и барон с нескрываемым удовольствием крикнул своему человеку разослать бурку и подать мешок с провизией и принадлежности для закуски.

— Послать ко мне фельдфебель, — обратился Александр Иванович к группе солдат, рассматривавшей кабана.

Явился фельдфебель.

— Здесь будет привал, — обратился Сл—кий к нему. — Вышли четверых людей на пикеты; один поставишь из двух человек на берегу ручья и по одному на той площадке, с которой мы спустились, и здесь, — при этом Александр Иванович показал на выступ скалы саженей десяти вышиной в недалеком расстоянии от бивака. — Людям варить себе пищу из убитых кабанов, унтер-офицерам смотреть за тем, чтобы люди не объелись; можно выпить по полкрышке спирта. За водой ходить с винтовками.

— Слушаю, ваше б-дие. — И фельдфебель пошел распоряжаться.

— Барон, а барон, — обратился моряк к Л—стерну, вынимавшему из мешка разные жестянки и бутылки, — а ведь обедать-то нам не придется.

— Как? Почему? — удивился барон.

— Да ведь, чтобы жарить и варить свинину, надо развести огонь из чего-нибудь, а я здесь не вижу ничего подходящего для этой цели!

Действительно, местность не только что не изобиловала горючим материалом, но его не виднелось совсем.

Барон возмущился:

— Черт знает что такое! И мясо есть, и времени сколько угодно, а поесть не удастся!

— Действительно, я не подумал об этом, — проговорил Александр Иванович, — видно, солдатам не придется пообедать; пусть отдохнут да поедят хоть сухарей.

— А может быть, и есть здесь где-нибудь колючка или сухой тростник, — заметил моряк, — позвольте послать людей поискать, — обратился он к Сл—кому.

— Пойдите, только не одного, а человек пять или шесть с винтовками; место незнакомое, еще нарвутся на кого-нибудь.

Гардемарин встал и направился к тому месту, где располагались солдаты на отдых; через несколько времени шесть человек отделились и, взяв винтовки и подсумки, направились разыскивать материал для варки пищи.

Моряк вернулся на место и, разлегшись на бурке, стал задумчиво курить, пуская кольца дыма вверх, в голубое безоблачное небо.

— А знаете что, господа, — обратился Александр Иванович к обоим молодым людям, — я убежден, что мы сегодня увидимся с господами текинцами.

— Почему вы так думаете? — спросил барон.

— Сейчас объясню. — Александр Иванович оперся на локоть, вытянул ноги поудобнее и начал: — Мы обошли кругом всего этого провала и нигде не видели признаков отдыха неприятеля. Как вам известно, джигит был убит вчера около полдня. Текинцы обобрали его и, не отдыхая, исчезли куда-то; до того времени, пока они добрались сюда, им пришлось пройти немало, так как шли они издалека. Вы спросите, почему я думаю, что они пришли издалека? Я заключаю это из того, что более десяти дней не было никаких случаев убийства и нападения, и только вчера первый попался этот бедняга, значит, шайки этой не было в окрестностях. После убийства их никто вчера не преследовал, но они побоялись остаться здесь и куда-то ушли; останавливались ли они ночью — трудно решить, вернее — нет. Ночью их тоже никто не тревожил, так что они теперь совершенно успокоились и, вероятно, целый день посвятили отдыху. Я позабыл вам сказать, что, обходя сегодня под горами, нашел ущелье, в которое течет ручей, но кабаны помешали его осмотреть, да и людям хотелось дать передохнуть; по моему предположению, этой дорогой можно выйти за Беурму, текинцы пошли этой единственной дорогой; в Беурме они не останавливались, так как там слишком часто бывают наши, значит, их надо искать около Беурминско-Арчманской дороги; в тех местах я знаю ущелье, где хороший родник и почти неприступный вход...

Рассуждение Александра Ивановича было прервано появлением солдат, посланных на поиски горючего материала; каждый из них нес по большой охапке сухого камыша, травы и кипарисовых сучьев.

Обрадованный барон встретил их появление радостным восклицанием; солдатики тоже были, видимо, довольны находкой своих товарищей.

— Где вы это раздобыли? — обратился Александр Иванович к одному из пришедших.

— А в ущелье, ваше б-дие. Там дальше больших деревьев много. Кленовые деревья — во какие. — И солдатик, желая показать обхват, распротер руки наподобие крыльев. — Ежевики этой самой страсть сколько, — добавил он; последнего он мог, впрочем, и не прибавлять, так как вся физиономия носила на себе следы близкого соприкосновения с этими ягодами.

— И спелая? — спросил гардемарин, большой любитель всех ягод вообще.

— Скрозь спелая, ваше б-дие, — ответил солдатик и приятно улыбнулся.

— Вам нужно еще дров? — спросил моряк.

— Как же, ваше б-дие, нешто этого хватит, — ответил один из солдат.

— Ну так и я с вами пойду набрать ягод, — сказал он подымаясь.

— Да вы, Александр Александрович, возьмите побольше людей, чтобы сразу набрать дров на всю варку, а то ведь до второго

пришествия будем возиться с этим обедом, — обратился к моряку Сл—кий.

— И то правда, — согласился последний и крикнул: — фельдфебель! Дай мне пятнадцать человек, десять без ружей в том числе!

Через несколько минут отрядец отправился за дровами. С трудом продирались люди через высокую траву, хлеставшую в некоторых местах по лицу; минут через десять дошли они до ручья, шириною аршина в два или три, молодецкими прыжками оставили его за собой и пошли к видневшейся шагах в двухстах расселине; только подойдя ближе, можно было заметить, что это узкое углубление было входом в ущелье, сразу расширявшееся и орошаемое ручьем, который, изогнувшись коленом, продолжал свое течение. Скалы были здесь хотя и очень высоки, но не круты и поросли искривленными, правда, но все-таки деревьями кипарисовой породы и пожелтевшей колкучкой.

— Где ежевика? — обратился моряк к солдатику, рассказывавшему о ягодах.

— Подалье, ваше б-дие, — последовал ответ.

Ущелье в самом начале делало изгиб; в этом месте две скалы так сблизились, что изображали из себя арку; высоко, высоко через отверстие между этими скалами, почти заросшее разным кустарником, виднелось голубое небо и солнечные лучи, попадавшие в этот природный грот, все-таки не могли осветить его вполне и оставляли в полумраке; приятная прохлада и мертвая тишина царили здесь; ручей исчезал, скрываясь под землей и там прорывая себе дорогу, так как каменная поверхность не представляла тут удобного русла. Люди приостановились на несколько секунд, с наслаждением вдыхая свежий, прохладный воздух.

— Вот бы где, ваше б-дие, привал устроить, — обратился один из солдат к моряку.

— Да, недурно бы, вот только, если бы тебя или меня укусила эдакая мерзость, так не поздоровилось бы, — прибавил гардемарин, показывая на очень приличной величины змею бурого цвета с черными пятнами, выползшую у него почти из-под ног и бесшумно скрывавшуюся за одним из камней в темном углу этого мрачного прохода.

Наконец вышли на свет Божий, ущелье представляло здесь обширную, цветущую и зеленеющую поляну; росло несколько групп кленов, по берегу ручья, здесь довольно широкого и глубокого, было видимо-невидимо ежевики и шиповника, аромат которого наполнял воздух; чириканье птиц слышалось повсюду. Моряк, в восхищении смотревший на эту, действительно редкую в Средней Азии, знаменитой своей бесплодностью, картину, вдруг насторожился и, махнув рукой солдатам, чтобы они замолчали, стал прислушиваться.

Ясно доносились звуки: квок, квок, кво-кво-квоок!

— Каменные куропатки! — прошептал он и, пригнувшись, быстрой рысцой направился в сторону, откуда доносилось кудахтанье.

По склону горы бегало штук двадцать птиц, носящих название каменных куропаток; они, видимо, не были знакомы со страшным действием огнестрельного оружия, так как подпустили моряка шагов на тридцать, и после выстрела из «магазинки» не полетели, а быстро побежали вверх по скату горы; второй выстрел был пущен в эту пернатую публику, и одна из птиц беспомощно забила крыльями, подлетела на пол-аршина вверх и упала мертвой.

Один из солдат побежал достать ее, а моряк отправился собирать в фуражку ежевику, очень довольный неожиданным прибавлением к обеду нового блюда.

Когда он возвращался к бивуаку, неся полную почти фуражку ягод и еще издали торжественно показывая убитую птицу, костер весело трещал уже, вода кипела в котелках, жарившаяся свинина за уже приятным ароматом давала о себе знать, а Александр Иванович и барон с нетерпением ждали его, чтобы совершить по «единопочию», то есть опрокинуть в свое молодецкое горло по доброй чарке доброго же коньяку. Появление его они приветствовали очень радостно, так как теперь ничто не мешало начать закусывать, а пяти- или шестичасовая ходьба развила-таки аппетит преизрядный. Сдав свою добычу Санчо Пансе барона, моряк уселся, крякнул и сказал: «Ну, теперь выпьем!» За словами последовало действие, немедленно повторенное его двумя товарищами.

Если вам случалось когда-нибудь, читатель, обедать на открытом воздухе где-нибудь в лесу или степи, на охоте, то вы поймете приятное чувство, которое испытывали наши молодцы во время простого, но веселого обеда.

Я лично предпочитаю подобный обед в обществе славных товарищей всякому другому пиршеству, где все совершается по правилам высшего этикета: кавалеры во всем черном или же в блестящих мундирах, не дающих свободно вздохнуть; дамы беспомощно расфранченные, затянутые в корсеты, так что ни один кусок не идет в горло; разговоры, вращающиеся на том, что было на рауте у *m-me la princesse X*, или на балу у *comte'a Z*, видимо, никого не занимают и говорящие так же мало интересуются заведенной ими беседой, как и остальные, а все это делается из приличия; дамы искоса посматривают одна на другую, запечатлевая в своих хорошеньких, изящно убранных, но, к сожалению, обыкновенно пустых головках мельчайшие подробности туалета других, чтобы потом целую неделю рассуждать о безвкусии *m-me* или *m-lle* такой-то, так как каждая из этих представительниц прекрасного пола твердо убеждена, что только она одна умеет одеваться со вкусом и к лицу; провозглашаются тосты, и случается, что любезно чокающиеся господа в душе желают друг другу вовсе не благ земных, а всевозможных бед, но на этих бесстрастных физиономиях представителей нашего *high-life'a* не выражается

ничего, и два важных сановника, кажущиеся сегодня, за этим обедом, в лучших отношениях между собой, завтра подставляют друг другу ножку!.. Все здесь ложно, стеснительно, скучно и бессмысленно!

Спорить о чем-нибудь неприлично, завести серьезный разговор тоже не принято, есть и пить вволю немислимо! Несчастные люди сами себя мучают этими противоестественными порождениями больного мозга, именуемыми великосветскими приличиями...

Рядом с этой картиной великосветского обеда в моей памяти рисуются воспоминания о других обедах, где речь льется рекой, спорят, рассуждают, пьют и едят без стеснения, не затянувшись во фраки или мундиры; голубое небо вместо украшенного живописью потолка, под рукой у собеседников винтовки, лежащие наготове, пирамиды составленных ружей виднеются вблизи, ходят назад и вперед солдатики с манерками — видна жизнь, а не прозябание! Хорошо, господа, ей-богу, хорошо там, сравнения нет с этой проклятой городской жизнью.

Сколько раз заикался я философствовать по этому предмету и каждый раз прорывалось! А ведь сам хорошо сознаешь, что в нашем положении и чинах «не должно сметь свое суждение иметь!» Еще в беду попадешь, чего доброго, итак — стоп машина! Перейду к дальнейшему описанию событий.

Довольно долго обедали наши три молодца и поели-таки немало; недаром мне приходилось слышать за границей отзывы о русском аппетите в следующей форме: русский съедает и выпивает столько, сколько вместе англичанин, два немца и три француза! Барон единственно чем походил на русского — это своим аппетитом.

Выпили чаю и закурили.

Александр Иванович вытащил из-за борта сюртука допотопные серебряные часы и, взглянув на них, промолвил:

— Всего четверть первого; останемся здесь до трех; в три выступим, в половине седьмого будем в Беурме, тут всего верст 12—14; там пообедаем, пока смеркнется, а затем пойдем к роднику. Если нет текинцев у родника — переночуем там.

— А если есть? — спросил моряк.

— Тогда подеремся, прогоним их и все-таки устроим ночевку.

— Пожалуй, кто-нибудь из нас заночует навсегда «холодным сном могилы», — продекламировал гардемарин.

— И это возможно; люби кататься — люби и саночки возить, — ответил Александр Иванович, — да нам что с вами, ну, помрешь и конец! Жены и детей нет, не о ком и беспокоиться.

— Это верно, — подтвердил и барон.

— Ну, вы-то не говорите, вам, поди, с двадцатью тысячами годового дохода только и жить, — возразил моряк. — Ну, скажите ради Бога, отчего вы не женитесь и не живете себе покойно в своем замке.

— Нравится бродяжническая жизнь, — ответил Л—стерн, — жениться поспею еще.

— Лучше камень на шею да в воду, чем посадить себе бабу на плечи, связать себя на всю жизнь! Тогда останется только сидеть дома да штопать чулки или раскладывать пасьянс. Трусом сделаться в конце концов, так как поневоле начнешь дорожить жизнью ради семьи! Нет, господа, не женитесь: ни одна женщина не даст вам такого счастья, как привольная, свободная жизнь! А тут пойдут неприятности, ревность, всякая гадость, и пропал человек ни за грош. — Всю эту тираду Сл—кий произнес очень горячо.

— Вы, значит, Александр Иванович, не признаете любви, — обратился к нему моряк.

— А вы признаете? — спросил командир охотников, насмешливо прищуриваясь.

— Еще бы не признать! Стоило ли бы и жить тогда, — вскипятился моряк.

— Ну, это пока вы не побывали в переделке у какой-нибудь бездушной кокетки. Вы хороший товарищ, поэтому я вам и не желаю ничего подобного, так как из этой переделки сплошь да рядом люди выходят с разбитой жизнью, озлобленные на весь мир! Из схватки с текинцами вы можете выйти победителем с перебитыми костями, может быть, но это пустяк в сравнении с нравственным страданием; отсюда следует, что я побегу перед одной юбкой и не побоюсь десятка текинцев!

Таким логическим выводом закончил Александр Иванович свое обвинение прекрасного пола; предоставляю читателям и читательницам разрешить, был ли он прав или нет, но, придерживаясь только строгой истины, должен заявить, что молодой моряк не поверил этому; а может быть, держись он высказанного капитаном правила, ему пришлось бы меньше страдать в жизни!

— Есть время вздремнуть, — произнес барон, глаза которого начинали слипаться.

— Да, не мешает, — согласились остальные два собеседника.

— Фельдфебель! — крикнул Александр Иванович. — Вот тебе часы, разбуди нас без четверти три! Слышишь!

— Слушаю, ваше б-дие!

Вскоре послышался храп трех господ, лежавших лицом вниз на бурке, сдвинув фуражки козырьком на затылок; солдаты тоже похрапывали, и только пять часовых не спали, пристально вглядываясь в окрестность — не идет ли неприятель, могущий неожиданно потревожить их товарищей и обратить их отдых в непробудный сон.

Солнце палило немилосердно спящих, но это не мешало им, и неизвестно, в котором часу проснулись бы они, вероятно, только ночью, если бы не промокли от росы. Ровно в половине третьего унтер-офицер, который не мог спать, исполняя обязанность разводящего на часы, подошел к фельдфебелю и стал его будить;

последний, спавший даже без фуражки, вскопчил немедля, зевнул несколько раз, не забывая при этом крестить рот, набрал в рот воды из манерки, полил себе из этого импровизированного ручной мойники на руки, сполоснул раза два лицо, обтерся рукавом шинели и, совершив таким образом свой туалет, принялся будить команду. Нехотя подымались солдатики, разоспавшиеся после сытного обеда и сильно пригретые солнышком.

Зевая, почесываясь и покрывая, стали они собираться снова в дорогу.

Шум, производимый ими, не разбудил, однако, господ, продолжавших сладко спать.

— Ваше б-дие! Вставать пора, — подошел фельдфебель к группе спящих.

Никто не шелухнулся.

— Ишь как здорово заснули! — обратился фельдфебель к «ундеру» Василию Петровичу, недалеко стоявшему и добродушно взирающему на эту сцену.

— Аль вы позабыли, Дормидон Тимофеевич, что их б-дие командер велел еще в Бендессене будить крикнумши: «тревога!» Они сейчас вскочат, вот посмотрите, — ответил «ундер».

— Тревога, ваше б-дие! — крикнул фельдфебель.

В один момент все спавшее трио было на ногах и схватилось за винтовки, подле лежавшие.

Увидя фельдфебеля, не могшего скрыть своей улыбки при виде такого быстрого действия его слов, и покойно собиравших свои пожитки солдат, Александр Иванович зевнул и спросил:

— Что, ничего не было особенного?

— Никак нет, ваше б-дие, — ответил фельдфебель.

— Поторопи людей собираться!

— Слушаю, ваше б-дие!

Пунктуально в три часа охотники выступили, запасливый человек барона сунул в мешок с провизией несколько кусков мяса от не вполне уничтоженного кабана.

Отрядец исчезал постепенно в высокой траве; несколько орлов-стервятников, давно уже маленькими точками кружившиеся на голубом небе, описывая громадные спирали в воздухе, спускались все ниже и ниже, собираясь полакомиться остатками вкусного обеда, так любезно предоставленного в их распоряжение «белыми рубашками»...

А эти последние шли по живописному и плодородному ущелью, где моряк набирал за несколько часов перед этим ежевику, но эта красивая дорога не обращала на себя их внимания — после сытного обеда ходьба довольно неприятная вещь, а тут еще во время сна на солнце всего распарило...

— Ишь ты печет как! — с недовольным видом говорил солдатик-апшеронец соседу своему казаку. — У нас теперь, поди, в деревне славно, не жарко, благодать — одно слово! А тут, почитай, и снега не увидишь, все такой солнцепёк будет и зимой!

— Ладно, брат! И ноги успеешь еще поморозить, — ответил казак. — Я, это, в прошлую зиму был в Дузлу-Олуме — таково холодно было, что и в Рассеи другорядь зимой теплее бывает!

— Ну-у? — удивился солдатик.

— Верно тебе говорю; снегу настоящего нет, правда, а перед рассветом утречком здорово холодно; у нашего сотенного трубочка эдакая была махонькая, стеклянная, мудрено он ее что-то прозывал, ну так он по этой трубочке все смотрел и аж удивлялся...

— Эвона что! Значит, на зиму выдадут бесприменно теплые сапоги!

— И полушубки дадут, — добавил казак.

— Лясы точить — точи, а растягиваться — не смей! — послышался голос того же Василия Петровича, заметившего, что оба собеседника, увлекшись разговором, уменьшили шаг.

— Он ничего не пропустит, — заметил казак, поспешно догоняя шедших впереди.

— Бедовый! — согласился солдатик. — Служака — первейший сорт! И в Хиве был, и на Капказе! Две раны имеет!

— Что и говорить! Второй десяток лет служит!

Ущелье вилось длинной лентой; скалы то суживались чуть не вплотную, оставляя самый неудобный проход, загроможденный камнями, где с шумом пробивался ручей, то снова расходились и глазам представлялась зеленеющая поляна...

Охотники прошли уже версты четыре или пять, как вдруг ущелье окончилось; самым неожиданным образом перед ними очутилась скала, почти отвесная, на которую нечего было и думать взобраться.

— Вот так штука, — промолвил Александр Иванович и начал пристально вглядываться, отыскивая какой-нибудь выход, но его не находилось.

— Ведь не могли же текинцы перепрыгнуть через эту гору, — промолвил моряк, — надо поискать где-нибудь около следов подъема...

— Какие вам следы на камнях, — с нетерпением ответил Александр Иванович, — на протяжении этих пяти верст, нами пройденных, есть очень много мест удобных для восхождения на эти скалы, так что нечего и думать найти естественный и вместе с тем единственный выход. Я думаю выбрать место поудобнее и сейчас же подняться на горы, пока не стемнело, может быть, и увидим еще что-нибудь. — И Александр Иванович, скомандовав «кругом», быстрыми шагами повел отрядец назад, все время отыскивая глазами удобное для восхождения место.

Быстрым шагом прошли охотники около версты, нигде не видя особенно удобного места, чтобы подняться на эти каменные громады, подымавшие свои вершины, увенчанные темной зеленью кипарисов, в голубое безоблачное небо!..

Но вот налево, по скату горы, зачернелось изгибами нечто вроде тропинки...

Послышалась команда «стой!».

— Надо здесь подняться, — обратился Сл—кий к моряку.

— Что же, подыдемся, — последовал ответ.

Александр Иванович, дав передохнуть солдатикам несколько минут, первым начал подъем. Крутая тропинка шла постоянными изгибами, обходя уступы и большие камни. Говор в рядах солдат замолк; слышалось прерывистое дыхание, вырывавшееся из сдавленных грудей; пот катился градом, ноги дрожали...

Изредка кто-нибудь останавливался перевести дыхание, глотнуть воды из баклаги и снова карабкался наверх, помогая себе опираться винтовкой. Сдвинутый камень катился, подпрыгивая с глухим шумом, и исчезал в ущелье, не будучи в состоянии остановиться на этой сорокапятиградусной крутизне. Можно было подумать, что дело идет о спасении жизни этих людей, так торопились они подняться, следуя за своим начальником, который, запыхавшись, облитый потом, едва дыша, с раздувающимися ноздрями, шел безостановочно, прыгая с камня на камень, цепляясь руками там, где было нельзя надеяться только на силу мускулов ног...

Что за смысл был, спросит читатель, этого стремительного подъема?

Очень простой. Стоило только остановиться на этом крутом подъеме на несколько минут, и силы оставили бы солдат; дрожавшие ноги потребовали бы очень продолжительного отдыха для возобновления этого подъема. Вероятно, каждому случалось, пройдя большое расстояние или долго занимаясь гимнастикой, по окончании движения почувствовать усталость в сильной степени, усталость, которая не замечалась почти совсем во время этого движения; все работавшие мускулы как бы налиты свинцом, в висках стучит, сердце хочет выскочить из груди, и снова приняться за ходьбу или гимнастику уже очень трудно после кратковременного покоя; или не надо отдыхать совсем или же только передохнуть, не позволяя своим мускулам и двух минут пробыть в бездействии... Достигли цели — отдыхайте вволю лежа на спине, подняв ноги кверху. Полчаса такого отдыха, глоток спирта или крепкого какого-нибудь напитка — и снова вперед! Вот лучшее правило в походе. Пишущему эти строки пришлось видеть, во время возвращения после рекогносцировки Геок-Тепе, 8 июля 1880 года, когда был сделан суточный переход в 42 версты по степи, по лодыжку в песке, без воды, при жаре более 45 градусов, людей, которые, споткнувшись, падали и, позволив пролежать себе несколько минут для отдыха, впадали в тяжелый сон вроде летаргического, и двигаться далее уже не могли! Преодолей же себя этот же самый индивидуум, подымись и иди дальше, и он мог бы пройти еще версты четыре, отделявшие его от ночлега. Я это говорю по собственному опыту. Малейшая потеря самообладания, желание предаться неге отдыха на пять минут и — баста! —

мускулы отказываются служить, к ногам привязаны пудовые гири, и вся сила вашей воли не подымет вас!

Александр Иванович, как сделавший уже четыре похода, хорошо знал это, да и солдатики уже по опыту не раз чувствовали, что остановка вредно отзывается на их ногах: «Сейчас, это, человек распарится и размякнет...» Поэтому не удивляйтесь, читатель, что охотники чуть ни рысью бежали на гору, а проклятая вершина была еще далеко, но уже три четверти пути было пройдено, когда одно обстоятельство показало, что случайно избранная охотниками дорога не ведет их по ложному следу: казак Фома вдруг нагнулся и поднял с земли кусок кожи, имевший вид грубой подошвы, и немедленно сообщил о своем открытии Александру Ивановичу, который, равно как и все охотники, признал в этом куске кожи подошву от одной из туркменских чук. Странное дело! А между тем эта пустынная с виду подошва, валявшаяся на горе, чрезвычайно подняла дух охотников; значит, текинцы действительно проходили здесь, значит, есть вероятность нагнать их, значит, будет дело — так рассуждал каждый из солдатиков и с новой энергией лез на эту проклятую гору, стремясь поскорее дорваться до этих «черномазых трухмён!».

— Еще немного, самую малость, ребята, понатужься, — говорит фельдфебель, по красному полному лицу которого струился пот, поминутно вытиравшийся рукавом рваного сюртука, — один пу-
стык остался, а там спускаться легко!

— А ведь он, ребята, теперича уж начал свою амуницию терять, еще нас не видавши, что же с ним будет, как мы «ура» гаркнем? — говорил солдатик-самурец, напоминая о найденной подошве.

Послышался искренний, веселый хохот в ответ на этот вопрос, и начались разные, очень нелестные предположения о дальнейшем поведении «его», то есть неприятеля. Эта странная особенность выражения солдат замечена, вероятно, не одним мною; солдат почти никогда не скажет: текинцы стреляют, неприятель идет и т.д., нет, он обязательно употребит местоимение третьего лица единственного числа!

Но вот подъем и кончился...

— Ну, ребята, ложись и задирай ноги! — гаркнул Александр Иванович, сам опускаясь на землю и подавая пример к исполнению отданного приказания. Бедный барон совсем без сил плюхнулся на землю, призывая на немецком диалекте проклятие небес на всю Ахал-Теке с ее природой, климатом и жителями...

— Ну и подъем, — проговорил гардемарин, прося барона жестом передать флягу со спиртом, в которой последний пытался найти утешение за испытанные при восхождении муки. — Я соглашусь десять раз на любом корвете пробежать через салинг, чем еще раз подняться на эту чертову гору! До сих пор жжет в груди, а сердце выскочить хочет!

— Да это не от спирта ли? — промолвил Александр Иванович.

— Какой от спирта! От спирта ощущается только приятная теплота, а тут что-то в дыхательном аппарате неладно, еще горловую чахотку наживешь!

— Тогда вам надо будет постараться быть сегодня же убитым, чтобы не умирать от такой скверной болезни! — пошутил Александр Иванович.

— А вы думаете, что будет-таки дело?

— Почти уверен после этой находки; текинцам негде быть, как в ущелье за Беурмой, около маленькой разрушенной крепостцы.

— А что, если они засядут за стены этой крепостцы? Ведь ночью их неудобно будет выбивать оттуда!

— Ну вот, тоже выдумал! Да разве был хоть один пример, чтобы небольшая партия сопротивлялась серьезно? И выбивать не придется, после первых наших выстрелов сами удерут на почтительное расстояние и разве уже тогда откроют огонь!

Александр Иванович с моряком встали и начали осматриваться вокруг, так как, поднявшись на гору, они прямо опустились на землю, ни на что не глядя.

Оказалось, что отряд очутился на плато, и плато очень обширном, с этой высоты ясно виднелся главный русский лагерь в Бами — налево и Беурма — направо; охотники находились почти в равном расстоянии и от того и от другого места, верстах в шести; верстах в двенадцати по направлению к Бендессену виднелись высокие Персидские горы, подернутые синевою дальности.

Картина степи с панорамой Бами и Беурмы с высоты птичьего полета была дивно грандиозна.

Необозримое желтое море расстиралось перед глазами наблюдателя; правильные гряды песка, последствия сильных осенних ветров, еще более увеличивали сходство этого пейзажа с морем; отливая золотом и серебром, сверкали солончаки на краях этого песчаного моря, уподобляясь пене; бархатистой зеленью выделялся клочок земли, удобренный при деятельной работе тысячи рук и обращенный в бахчу и огороды; на желтизне степи резко выступали наметы и палатки Бами; десятки рассеянных повсюду белых глиняных башенок, белые стены старого Бами и Беурмы, далекие лиловато-синие гиганты, высоко вздымающийся над всем этим конусообразный Демавенд, тонущий своей вершиной в бледном голубом небе, прозрачный воздух, раскаленный до дрожания, производящий мираж и приближающий все предметы, — вся картина, облитая жгучими лучами почти тропического солнца; под ногами — почти отвесная пропасть и внизу роскошное ущелье, зеленеющая котловина и тонкой серебряной струйкой бегущий ручей — все вместе производило за душу хватающее впечатление. Подобные картины не забываются, и много раз в жизни является непреодолимое желание взглянуть снова на них...

— Разве такая чудная картина не производит на вас желание постоянно шляться по походам? — спросил Сл-кий моряка, не могшего оторвать глаз от этого песчаного моря.

— Да, я любитель природы и никогда не откажусь от представляющейся мне возможностью вырваться из города на волю; человек делается лучше при подобной обстановке...

— Это заметно по нас с вами, — саркастически ответил Александр Иванович, — созерцаем красоты мироздания, а через несколько часов будем резать таких же людей, как и мы... Однако миндальничать тут нечего, пора и в дорогу!..

Отряд направился по плато в сторону Беурмы. Отдохнувшие солдатики дружно поспешили за своим богатырски шагавшим командиром. Плато медленно понижалось; совершенно ровная поверхность почвы была покрыта мелкой колючкой, высушенной и пожелтевшей; идти было очень удобно. Солнце нижним краем своим касалось уже горизонта, когда маленький отряд спускался по отлогому скату, соединявшему это плато со степью. В какой-нибудь версте расстояния виднелась Беурма, облитая розовыми лучами заходящего солнца...

— Вот и добрались, — промолвил моряк.

— Пока еще не совсем; я опасаясь, как бы нас на этой проклятой степи не увидали с гор, текинцы ведь не близоруки!

— А в Беурме их нет, как вы думаете, капитан? — спросил подошедший барон.

— Если бы были, то теперь уже начало бы посвистывать у нас мимо ушей! Оттуда бы все повысыпало встречать непрошенных гостей! Ведь они нас могли бы уже заметить полчаса тому назад... Фельдфебель, вышли пять человек порасторопнее вперед! Живо!

Через минуту два казака и три солдата рысцей направлялись в аул, за ними, развернутым фронтом, двигался отряд.

Сумрак наступает чрезвычайно быстро в южных странах; там нет наших белобрых петербургских ночей! Когда двое из пяти посланных вперед людей вернулись с докладом, что Беурма совершенно пуста, начинало темнеть. Отряд вошел в аул и расположился на прекрасно убитой глиняной площадке, некогда служившей текинцам для молотбы. Вокруг этого своеобразного гумна были наклеплены круглые ясли для лошадей в виде высоких глиняных цилиндров с выемкой внутри. Масса саклей (домиков) виднелась повсюду — все из глины, без малейшей примеси дерева; каждая сакля была вышпной в рост человека и настолько обширна, что внутри могло лежать рядом не более четырех человек, — словом какие-то клетушки. Крыши обвалились, заброшенные арыки (канавы) не проводили уже воды — повсюду царила картина полного разрушения и безлюдья...

Наступала ночь, сумерки сгущались, небо загоралось ярко блестящими звездами, точно привидения в разных фантастических позах резко выступали из мрака белые стены, башенки и ограды глиняной крепостцы... Степь, покрывшаяся мраком, безмолвовала...

Все вместе производило какое-то странное, не то хорошее, не то тягостное впечатление; поддаваясь ему, солдатики приумолкли...

Александр Иванович, моряк и барон сидели, прислонившись спиной к стене одной сакли, и молча покуривали. Наконец гардемарин прервал молчание, спросив:

— Долго мы пробудем здесь?

— Около часа, — ответил Александр Иванович, и снова водворилось молчание.

Послышался голос барона, звавшего своего человека; следствием обмена между ними несколькими латышскими фразами явилась переметная сума, и затем послышалось бульканье — фляга обходила это молчаливое трио; закусили козьим сыром с черным сухарем.

— Вы ночью не ошибетесь дорогой в ущелье? — спросил барон Александра Ивановича.

— Скорее ошибусь найти свой карман, чем это ущелье, да и труда нет особенного — оно третье отсюда, идя под холмами.

— Далеко ли приблизительно? — любопытствовал барон.

— Днем — час ходьбы без предосторожностей, ночью — более полутора, так как ущелье очень узкое, каменистое, в некоторых местах заросшее ежевикой и шиповником; если нет часовых у входа, то мы можем пробраться в ущелье, но там придется ползти довольно долго, в иных местах по воде; выходит оно на красивую и плодородную поляну, а на пригорке, против входа в ущелье, разрушенная крепостца; текинцы, вероятно, расположились около крепостцы. Будь вместо моих охотников кавказские милиционеры или пластуны — я мог бы подобраться так близко, чтобы без выстрела броситься в штыки или шашки, но ведь наши солдаты, безукоризненные относительно мужества и других качеств, здесь не выдерживают сравнения даже с казаками; каждый из них наделает больше шума, чем 20 текинцев, подползающих к нашему лагерю в Бами!.. Вот еще что, господа, я теперь же дам вам краткую диспозицию: подойдя к ущелью, если вход не занят, я с десятью отборными, ловкими людьми поползу вперед; если вы, моряк, хотите, можете идти со мной; вы, барон, командуете остальными людьми и следуете за мной, ползком же, шагах во ста. Чем ближе мне удастся подойти, тем лучше, но во всяком случае ваши люди не должны стрелять ранее моего залпа, после которого я брошусь в штыки; добежав до нас, они могут открыть огонь, иначе в такой крошечной темноте перестреляем друг друга... Если у входа часовые или секрет, то мы, расправившись с ними, пойдем прямо в ущелье, оставив у входа пять или четыре человека... Главное — не горячитесь, а в особенности это касается до вас, сухопутная рыба, — обратился Александр Иванович к моряку. — Ну, а теперь пора и подыматься!

Отдав фельдфебелю приказание к подъему без шума, Александр Иванович прочел выстроившимся охотникам наставление о том, как они должны вести себя. Отряд тронулся.

Неприятная вещь, читатель, идти ночью по незнакомой местности в неприятельской стране, где из-за каждого камня, оврага или прямо с земли может подняться враг, враг страшный своею ловкостью, с знанием местности и, главное, неожиданностью своего появления.

Нервы в таком напряженном состоянии, что малейший шум, шум собственных шагов или камня, покотившегося из-под ног, заставляет вздрагивать человека, днем совершенно покойно идущего в огонь, в рукопашный бой и на тысячу других опасностей!

Главную роль, по моему мнению, играет сознание, что враг, при своей изошренности чувств, видит, чувствует меня, я же не знаю о его близости! Случалось не раз, что испытанные солдаты ночью открывали огонь, огонь неудержимый по воображаемому неприятелю; сильное напряжение нервов ведет к галлюцинациям; довольно одному принять какой-нибудь камень за неприятеля и выстрелить, чтобы открылась беспорядочная пальба неизвестно по ком, куда...

Голос офицера не слышится в этой трескотне, и иногда много выпускается патронов солдатиками, для которых в такие моменты стрельба составляет нравственную поддержку против воображаемого врага.

Отряд подвигался очень медленно, точно в царстве теней мелькали безмолвные, черные силуэты; нигде не вспыхивал веселенький огонек закуренной папиросы, изредка слышался шум оступившегося человека, звяканье дрогнувшего оружия, нечто вроде сердитого ворчанья — и снова все смолкало, и медленно, осторожно двигалась эта темная кучка вперед... Моряк, шедший рядом с Александром Ивановичем, вдруг почувствовал, что последний крепко сжал его левую руку, дергая вниз. Оба остановились и стали вслушиваться. Мертвое молчание царило в степи, и вместе с тем можно было различить много звуков в этой тишине; люди, часто бывавшие по ночам или днем в лесу или в степи, поймут меня, о чем я говорю. Воздух наполнен звуками, объяснить появление которых трудно; эта абсолютная тишина степи вместе с необъяснимым, странным происхождением вечного, непрерывного голоса природы, является чем-то особенно поэтическим, особенно сильно действующим на душу!..

Командир охотников и моряк не были новичками в распознавании этих постоянных звуков от случайных, являющихся иногда нарушителями торжественного молчания безлюдных степей, гор и лесов... Едва слышно, как легкое дыхание или шелест ветра, донесся до их слуха шум... Солдаты, видя остановку обоих офицеров, тоже стали и старались даже остановить дыхание, чтобы не мешать слушать. Сознание обстоятельства, что этот шум может только исходить от врага, делало их бдительность из ряда вон

выходящей... Снова послышался этот же звук, и Сл—кий шепнул моряку: «Ржание лошадей!» Последний не обладал таким тонким слухом и с видом сомнения покачал головой. Александр Иванович прилег на землю, гардемарин последовал его примеру, и между ними завязался чуть слышный разговор:

— Откуда могут быть лошади? Значит, мы наскочили на другую шайку?

— Вероятно... Интересно знать, донеслось ли ржанье из ущелья или же из степи? То есть в движении ли отряд неприятеля или на бивуаке? Если в движении — то нам удобнее дожидаться его здесь, прилегши; если же ржанье из неприятельского бивуака, то надо двигаться! — С этими словами Александр Иванович приложил ухо к земле и стал слушать...

Прошло около минуты, показавшейся моряку очень долгим промежутком времени...

— Ничего не слышать, — прошептал, подымаясь, командир охотников. — Пойдем дальше, вход в ущелье близко, там увидим.

Снова бесшумно начали двигаться эти люди, так настойчиво преследовавшие свою цель. Жутко было на душе! Каждому казалось, что неприятель, быть может, с теми же предосторожностями движется на них; до боли в глазах всматривались люди вперед, судорожно сжимая свои винтовки!

Наконец впереди послышалось журчание ручейка — верный признак близости ущелья, составлявшего исходный пункт этого тяжелого ночного странствия! Шагах в ста вправо чуть виднелось темное пятно входа в ущелье, более резко выделявшееся, чем мрачная линия гор, параллельно которой двигался отряд.

Казак Фома с другим товарищем по оружию и с саперным солдатом, следуя шепотом отданному Александром Ивановичем приказанию, двинулись ползком вперед по берегу ручья к темному пятну, скрывавшему, быть может, последний час их жизни...

Вечностью тянулось время для их лежавших товарищей, ожидавших с минуты на минуту, что мрак озарится молнией выстрелов и безмолвная степь наполнится криками и шумом борьбы...

Послышался шорох, и косматая папаха вернувшегося невредимым Фомы коснулась уха Александра Ивановича.

— У входа никого нет, ваше б-дие, а дальше, в ущелье, должно, текинцы, потому как будто огонь просвечивает и шум слышать...

— Ты далеко заползал в ущелье?

— Шагов с пятьдесят; трудно очень ползти, камня и шиповник мешают! Огонь только ясно видать, да далече, ваше б-дие!

Охотники двинулись, значительно успокоенные, вперед. Главная опасность миновала — вход не был занят.

Вот наконец и вход в ущелье, узкий, наполовину заросший; журчит вода, громадные каменные стены исчезают в вышине из глаз, мириады мигающих звезд льют свой слабый свет в это, подавляющее человека своею дикостью место; на каждом шагу

камни, острые, угловатые, шиповник, рвущий платье и тело, холодная вода, по которой в иных местах приходится ползти, — вот обстановка, в которой находился отряд, двигавшийся вперед, после того как четыре охотника остались у входа. Точно искра мелькает впереди огонек, даже, кажется, и не один... Чу! Теперь совершенно ясно послышалось ржание лошади, на которое отозвалось еще несколько и... гортанный, хриплый — несомненно человеческий — окрик! Совершенно невольно кто-то из ползших вздрогнул, и проклятое ружье звонко ударилось о камень... Сердце замерло, как будто все окоченели...

Услышали, наверное, услышали!.. Вот сейчас бросятся в ущелье... Нет, все тихо по-прежнему... И снова ползут охотники, сдерживая дыхание, боясь, что стук собственного сердца выдаст их, а оно, как назло, стучит громко, громко... Не от страха, нет, а из боязни спугнуть эту человеческую дичь! Если в числе моих читателей найдется завзятый ружейный охотник, он без сомнения поймет это ощущение, испытанное им много раз, хотя бы на охоте за дикими козами, когда много часов в горах приходится гоняться и подползать, еле дыша, против ветра к этим чутким животным. Ощущение совершенно одинаковое: опасность на заднем плане, страсть охотника преобладает над всем остальным!

Вот наконец ущелье расширяется, оно делает поворот и... глазам охотников представляется поляна, на которой среди десятка костров сидит неприятель; до него еще далеко: шагов триста, пожалуй, будет, стрелять нечего и думать; подползти всему отряду тоже немислимо, услышат.

Двадцать пять человек оставлены под командой барона, а Александр Иванович с моряком и одиннадцатью нижними чинами продолжает двигаться с тысячью предосторожностей... Проползши какие-нибудь пятнадцать шагов, останавливаются и лежат не шелохнувшись... Счастье, что огонь освещает только небольшое пространство, а охотники по опыту знают, что текинцам неосвещенное пространство должно казаться от близости огня еще темнее. Немалое спасибо и лошадям, которые довольно часто отвлекают внимание неприятеля в другую сторону своим ржанием...

Близко, совсем близко подползли... Ясно видны лица девяти человек, сидящих около довольно плохо горящего костра; косматые бараньи шапки и халаты освещаются вспышками пламени; вот один встал, видна кривая шашка, болтающаяся на боку... Неужели в эту сторону?.. Один из охотников кладет уже руку на замок берданки, собираясь взвести трубку... Нет, текинец остановился и, нагнувшись, шарит что-то на земле, где виднеется не то седло, не то переметная сума... Вернулся назад, что-то говорит товарищам... У других костров слышны разговоры, курят трубки, пекут чебуреки (лепешки)... Охотники подвинулись еще немного... Меньше ста шагов было до неприятеля, а прицелиться все-таки трудно, проклятой мушки не видать!.. Командир опять пополз

вперед; один из охотников зацепился патронной сумкой за камень и зашумел... Два текинца у ближайшего костра повернули головы и смотрят... Один приподнялся даже и прислушивается... И смотрит бестия прямо так-таки в глаза, думается зашумевшему солдату, лежащему как пласт. Нет, успокойсь, слава тебе Господи!.. Да что же это командир не целится? Ведь он сказал что шепнет, когда стрелять, ведь этак до того дотерпишься, что и прицелиться нельзя будет — руки ходуном будут ходить от волнения...

Ну, наконец-то командир бесшумно приподнял локоть левой руки с винтовкой, нажимая спуск, взвел курок на второй взвод, чтобы не щелкнул, и скорее вздохнул, чем сказал — целься! Вот и моряк приподнял свою «магазинку» и наводит в живот старика текинца, потому на близком расстоянии здорово вверх бьет ружье!..

Сердце окончательно хочет выскочить... Но вот Александр Иванович крикнул: «Пли!» Звон в ушах, толчок в плечо, затем крик «ура-а!», и с штыками наперевес ринулись охотники к первому костру... Вся поляна как будто охнула и застонала... Из ущелья слышались голоса бегущих на подмогу охотников барона; крики: «Урус, урус! Алла, Магомет!» — смешивались с нашим «ура!» и криками: «Коли!» Но текинцы не любители штыка, все это продолжалось несколько мгновений; когда барон прибежал с людьми и мог открыть огонь, то залп им был сделан во мрак, на звуки топота и криков удиравшего неприятеля; из мрака сверкнуло несколько ответных выстрелов: штук пять пуль где-то далеко жажужжало в вышине; одна щелкнула близко в землю, взвизгнула и улетела в пространство...

У костра лежало четыре тела; один лежал ничком и вздрагивал плечами: правая нога равномерно то вытягивалась, то подбиралась, руки запустил в землю и храпел тяжело, бессознательно... Фельдфебель вынул из кобуры револьвер, приложил ему к затылку и выстрелил. Нога перестала двигаться, плечо конвульсивно вздрогнуло, одна рука вытянулась... искра жизни потухла!

Старик текинец упал в костер головой, и неприятный запах жженных волос и мяса распространялся вокруг, ворот халата тлел... Солдатики оттащили тело за ноги в сторону... Шагах в пятнадцати от потухавшего костра виднелась темная масса — текинец, зарубленный Фомой, ударившим его шашкой наотмашь слева направо по горлу... Фома теперь вытирал свою шашку о полу халата убитого им текинца... Впечатление всей картины было дикое, заставлявшее трепетать непривычного человека, но охотники относились очень равнодушно к этому зрелищу; многие уже жевали недопеченные чуреки, вытащенные ими из золы и, быть может, обрызганные не одной каплей крови только что убитых... Охотники рассеялись по поляне и шарили около костров; текинцы оставили много разного добра: несколько переметных сум, с дюжину седел, три ружья, в числе которых оказалась наша берданка с переделанной на турк-

менский манер ложей и с двумя подсошками для стрельбы лежа на земле; все было собрано в одну кучу; Александр Иванович все переписал, седла отдал для поддержания огня в потухавших кострах, затем лично расставил посты, отдал приказания фельдфебелю и, исполнив все свои обязанности, приняв все меры предосторожности, чтобы маленький отрядец не подвергся в свою очередь участи текинцев, с видимым удовольствием опустился на бурку, на которой лежали уже барон и моряк в облаках табачного дыма, вознаграждая себя за долгий пост в отношении курения.

— Сравнительно удачно подползли, — заговорил моряк.

— Мне кажется, что убитых больше, чем четверо, — сказал Александр Иванович, — ведь наш первый залп был из двенадцати винтовок по девяти текинцам, кучкой сидевшим, да и с близкого расстояния; не может быть, чтобы мы угостили только четверых; были, наверное, и раненые, может быть, даже опасно, но эти дьяволы до невозможности выносливы и живучи; успели добраться до лошадей и были таковы! Авошь потом восчувствуют!

— Я другого мнения, — возразил моряк, — те четверо, что остались на месте, были лучше освещены огнем костра, поэтому все выстрелы и были в них направлены; конечно, на этом расстоянии бердановская пуля пробьет и двух навывлет, но ведь это будет случайность — убить двух одним выстрелом! Если текинцев до завтра не зароят, то стоит посчитать раны на убитых.

— Весьма возможно; только не стоит возиться с этой падалью! Я их приказал оттащить шагов за полтораста и бросить; завтра рано уходим и зарывать не стоит; шакалы и орлы займутся и без нас похоронами и дезинфекцией!

— Может быть, товарищи убитых вернутся похоронить их, — заметил барон.

— Пусть возвращаются, лишь бы не сегодня, то есть не ночью — людям отдых нужен. Однако, господа, не мешало бы закусить малую толику!

— Я уже распорядился, — ответил барон, — у нас есть кусок свинины, коробка сардинок, еще кое-что найдется. Чуреков много осталось после текинцев, я велел три штуки хорошенько допечь, и десерт нашелся в одной переметной суме — сушеный инжир и абрикосы.

— Черт возьми! Вот так пиршество, — вскричал гардемарин. — Еще бы бутылочку вдовушки Клико распить по поводу победы нашей, и тогда не осталось бы желать ничего лучшего.

— Ну, этого-то нет, а бутылочка кахетинского красного вина найдется, я его нарочно приберег для этого торжественного случая...

Через двадцать минут около бурки, где закусывали три офицера, пылали с треском два изрубленных текинских седла и веселый говор далеко разносился вокруг. Солдатики лежали у костров,

жевали чуреки, запивая их чаем, и посторонний зритель никогда бы не подумал, что час тому назад здесь разыгралась кровавая сцена — так мирна, добродушна была картина... Чудная, теплая ночь; мириады звезд южного неба кротко лили свет на эту поляну, где живые подкрепляли свои силы, готовясь к тяжелому завтрашнему походу, а мертвые отдыхали вечным сном, избавившись навсегда от трудов походной жизни...

Кончили закусывать, разговор становился менее оживленным, веки опускались на утомленные глаза — усталость начинала сказываться.

— Ну можно теперь Богу помолиться, да и спать, — проговорил Александр Иванович, подымаясь с бурки и потягиваясь. — Горнист! На молитву!

Охотники выстроились, и звук горна, быть может, впервые огласил эту поляну...

— На молитву! Шапки до-лой!

Далеко в ночном воздухе разносилось пение сорока голосов...

Торжественно лились звуки молитвы в мертвой тиши долины и отзывались эхом в горах... Набожно крестились солдаты, не зная, переживут ли эту ночь, увидят ли когда-нибудь свою родину или нет...

Нигде нельзя быть так расположенным к молитве, как в пустыне...

В величественных храмах, под громадными сводами, перед богато убранными иконостасами, в разнокалиберной толпе ваше внимание отвлекается, и религиозное чувство до известной степени парализуется; в пустыне же, под небесным сводом, горящим миллионами звезд, в мертвой тишине необозримой степи или в виду гигантских гор, после боя или перед боем — человек сознает себя таким маленьким, ничтожным, жизнь его так ненадежна, что душа его, его ум — все преклоняется перед грандиозностью природы, и он молится, молится горячо...

Окончилась молитва. Послышалась команда:

— На-кройсь!

Александр Иванович подошел к фронту своих «головорезов».

— Спасибо вам, молодцы, за сегодняшнее дело!

— Рады стараться! — понеслось по поляне, отдаваясь эхом в горах.

— Я передам генералу, как молодецки вы себя вели, и буду просить о наградах.

— Покорно благодарим! — загремело в ночной тишине.

— Ну а теперь разойтись и ложиться спать!

Костры потухли, изредка слабо вспыхивая; поляна погружалась во мрак, силуэты двух равномерно движущихся часовых то сближались, то расходились; слышалось похрапыванье, в некоторых местах тихий разговор еще не уснувших, вспыхивал огонек папи-

росы или трубочки; в наступившей тишине журчанье ручья явно доносилось до ушей еще бодрствовавших людей, число которых все уменьшалось, и вскоре ручей напевал свою непрерывную, мелодическую песенку для одних часовых, продолжавших свою прогулку взад и вперед...

Едва только вершины гор были освещены нежно-розовым светом восходящего солнца, а поляна еще расстилалась в сумраке, в ожидании момента, когда дневное светило выглянет из-за хребта Копет-Дага и зальет ее ярким светом, как охотники поднялись и стали собираться в дорогу, на поиски новых приключений... С песнями оставили они место вчерашнего боя, потянулись по ущелью, вышли в степь, с которой подымался легкий туман, разгоняемый лучами солнца, и повернули по дороге к Арчману... Славно было идти «белым рубахам» на утреннем свежем воздухе... Трубочки дымились во рту у солдат, слышались остроты и шутки, и едва ли кто помнил, что за собой они оставили на поляне четыре убитые жизни, для которых уже не светило это яркое солнце, не зеленели кипарисы на вершинах гор и открытые, стеклянные глаза которых не видели этого чудного голубого неба!.. Впрочем, недолго смотрели эти мертвые глаза... Вокруг по скалам расселись громадные орлы-стервятники; в нерешимости сидели они, опасаясь приблизиться к этим, в странных позах, лежавшим людям. Но вот один, посмелее, слетел и опустился на песок шагах в сорока, и хочется ему узнать, в чем дело, — и страшно! Подошел поближе, грузно переваливаясь на своих коротких, сильных, с громадными когтями, ногах... Нет, не шевелятся... Подождал и, взмахнув крыльями, налетел и клюнул в это потемневшее запрокинутое лицо с зияющей раной на горле... Через минуту орлы рвали свою добычу...

Наступит ночь — шакалы докончат работу этих пернатых разбойников, останутся, быть может, на поверхности кости, которые через несколько времени занесутся песком, и ничто не будет напоминать о том, что на этой поляне отданы четыре жизни в борьбе за свою землю и свободу... Сколько бы подобных историй могли рассказать вершины гор Копет-Дага, от которых не укрывается благодаря их высоте никто и ничто, но они молчаливо прячут свои вершины в голубом небе, стараясь не видеть «урусса — белую рубашку», шаг за шагом проникающего в эти долины и ущелья, составлявшие еще недавно неотъемлемую собственность храбрых сынов степей и гор — текинцев! Пройдет десяток лет, и в местах, где прежде только паслись стада джейранов, пройдут безопасные дороги и Копет-Даг потеряет свою дикую прелесть... Бог с ней, с этой цивилизацией, особенно когда она распространяется при помощи картечи и штыка и выражается созданием станковых, урядников и кабаков!..

6. НОЧЬ В ЭГЯН-БАТЫР-КАЛА

Босфор, обливаемый голубым светом луны, отражает в себе белые минареты и залитые огнями фасады дворцов великой столицы Востока. По зеркальной поверхности бесшумно скользят кайки, оставляя за собой фосфорически блестящий и переливающийся след; чудным рубиновым светом горят огни Леандровой башни; гиганты пароходы выделяются черной массой, и их высокие мачты, дрожа в зеркале воды, тянутся как фантастически длинные руки к этому городу — предмету корыстных желаний многих наций, который чудной панорамой раскинулся на необъятную длину по проливу... Террасами поднимаются изящные, легкие постройки в разных стилях и сверкают огнями; рядом с ними минареты, тонкие как иглы, белыми линиями резко выделяются на фоне южного неба... Мраморное море омывает белые стены Серала в Стамбуле, переливаясь серебром под лучами луны, заглядывающей в этот дворец — жилище многих сотен красавиц, так поэтично воспетых лордом Байроном в его «Дон-Жуане».

Но вот... слышится голос вахтенного унтер-офицера.

— Ваше б-дие! Полночь!..

Замечтавшийся вахтенный начальник, хотя бы, к примеру, ваш покорный слуга, встрепенулся, все иллюзии пропали, и он отдает распоряжения, соответственные наступившему моменту. Через минуту, сдав вахту, он спускается вниз, в кают-компанию, куда из трех кают доносится самый прозаический храп товарищей. Внизу душно, в каюте едва можно вытянуться, не спится ему, а тут еще луна засматривает в иллюминатор и широкой голубой полосой освещает шкаф... Мысли одна за другой наполняют голову, самые разнообразные воспоминания стесняют одно другое. Ни с того ни с сего в памяти вырастает, как живой, обезьяноподобный учитель латинского языка, а вслед за ним вспоминается вчерашняя неудача с отяжкой, брошенной вместо палубы за борт, при спуске брамреи... А луна все еще заглядывает в иллюминатор... Мысли невольно обращаются снова к этой чудной ночи, и, виденная незадолго перед этим картина с точностью фотографии воспроизводится в воображении... По логической связи мыслей является воспоминание о других подходящих картинах природы; как наяву вырастают перед глазами темные своды леса, через густые ветви которого тут и там серебристой змейкой пробивается луч луны, фантастически манящий наружность куста, наполовину им освещенного, из которого льются соловьиные трели, сливающиеся с мелодичным шумом вечно торопящегося в море Немана. Воображение работает как калейдоскоп: лес пропал — уже его место заступили гигантские Альпы, вершины которых горят и искрятся тысячами переливов снежной поверхности, ярко залитой светом полной луны... Под ногами серебряной струйкой извивается Эч; замок Габсбургов, разрушенный беспощадным временем, но горделивый даже в развалинах, как белое привидение выступает на краю бездонного обрыва...

Исчезли и Альпы... Вот разворачивается перед глазами степь — безграничное ровное место; справа — линия высоких, мрачных гор, из-за которых показывается как бы зарево... Оно все расширяется, растет, вот уже виднеется блестящий серп — еще минута и царица ночи выплывает из-за Копет-Дага, озаряя своим матовым, голубым светом всю степь, сверкая на солончаках и белых глиняных башенках, освещая кучку людей в белых рубахах, с винтовками на плечах, молчаливо и сосредоточенно куда-то пробирающихся... Вспомнилась эта картина — и померкли перед ней все остальные... Снова встает в памяти вся походная жизнь с ее лишениями, опасностями и увлекающей прелестью, и картина за картиной рисуются в голове... Я уже не в душной каюте, нет, я на просторе... Снова веду задушевные беседы с боевыми товарищами, я снова в горах подстерегаю текинцев, снова слышится свист пуль в пороховом дыму и музыка и стоны раненых, льется кровь... И страшно и хорошо! Сердце усиленно бьется, и мечты прошлого принимают размеры галлюцинаций... Но вот резкий звон колокола разрушает все очарование — бьет пять склянок — два с половиной часа пополуночи. Опять я в каком-то ящике; луна уже светит, в каюте темно... и пора спать, читатель! Впрочем, ранее чем предаться отдыху, не мешает вам объяснить, для чего я так издалека начал этот рассказ. Какая нужда была мне описывать картину Босфора и сообщать нить воспоминаний, доведшую меня снова в Ахал-Теке? Сделано это мною для того, чтобы выяснить, насколько можно, тот психологический процесс, который совершается внутри человека и заставляет его при созерцании какой-нибудь картины вызывать в памяти многие другие, пока воображение не остановится на чем-нибудь особенно интересующем этого субъекта, и тогда является уже последовательное, законченное воспоминание... Я, о чем бы ни думал, чтобы ни видел, но все-таки почти всегда закончу приведенным себе на память той эпохи моей жизни, которая является для меня исполненной высшего интереса и увлечения — похода, очерками которого я, вероятно, уже успел изрядно вам надоесть и намерен надоедать еще и теперь; итак, вооружитесь терпением и мужеством и последуйте за мной в те благодатные места российского государства, куда Макар телят не гонял, но где происходили события довольно интересные...

В укреплении Бама царствует какая-то особенная суматоха, проявляющаяся главным образом в бегании взад и вперед офицеров, таинственно шушукающихся между собой, в волнении размахивающих руками, с нетерпением сдвигающих белые шапки на затылок, чтобы удобнее утереть рукой обожженное, вспотевшее лицо и снова торопливо устремиться куда глаза глядят, до встречи с новым товарищем, когда снова начнется оживленный разговор, дополняемый жестами...

Около глиняной стенки, огораживающей маленький садик, где стоит кибитка «Белого генерала» — Михаила Дмитриевича Ско-

белева, сформировалось несколько групп офицеров, разговор ведется вполголоса.

— Так вы говорите, что генерал при вас сказал «деду», что завтра пойдем? — спрашивает казачий сотник в белой папахе артиллерийского капитана с красивым худощавым лицом, оттеняемым длинными черными усами.

— Да, да... только я не разобрал куда, — отвечает капитан, вглядываясь через пролом в стене внутрь дворика, где между ординарцами и вестовыми произошло какое-то движение.

— Кажется, генерал выходит, — послышался говор между офицерами, и многие стали машинально оправляться.

Тревога оказалась фальшивой: вышел не генерал, а один из его офицеров — казачий офицер. Он моментально был окружен со всех сторон офицерством и засыпан вопросами:

— Голубчик К—лов, кто идет завтра? Мы идем? Кто остается? На сколько дней брать провианта? Пойдет генерал до самого Геок-Тепе?..

Несчастный хорунжий походил на зайца, нагнанного сворой собак: один держал его для привлечения к себе внимания за шашку, другой за кинжал; товарищ его, казачий сотник, с легкостью и нежностью медведя старался повернуть его лицом к себе, держа за левое плечо, в то время как ротный командир Самурского полка добродушно ломал его правое плечо, добываясь узнать, пойдет ли вперед его рота. Казалось, что бедному молодому человеку суждено погибнуть не от вражеского оружия, а от излишнего припадка любопытства своих же товарищей, но он употребил всю хитрость.

— Тише, господа, генерал идет! — испуганным тоном проговорил он... Это подействовало, и его отпустили, чем он немедленно воспользовался, чтобы ускользнуть и исчезнуть между палатками и кибитками.

— Господа, пойдемте выпить водки, все равно ничего не узнаем теперь, чего же торчать на жаре! — предложил артиллерийский капитан.

Все согласились, и скоро перед двориком не осталось никого; солнце поднялось уже высоко и жгло невыносимо, так что все попряталось по палаткам, откуда и доносились оживленные споры о предполагавшемся движении и о будущих делах с неприятелем.

Надо пожить, читатель, не один месяц в палатке на походе, чтобы уметь понять то волнение, которое ощущается при известии о давно желанном движении навстречу неприятелю! При одной мысли, что можешь не попасть в экспедиционный отряд, человек начинает бесноваться и считать себя самым несчастным созданием. Является скверное чувство зависти, желчь бушует; оставляемый хорошо сознает, что ведь это необходимая мера, что сколько ни волнуешься, а этому не поможешь, что товарищи, идущие вперед, перед ним ни в чем не виноваты, но он зол на них и немало нужно времени, чтобы успокоиться бедняге.

А в данном случае рекогносцировка имела особенный интерес: быть в первый раз в деле под командой великого «Белого генерала», так прославившего себя в турецкую войну! Поэтому читатель может себе представить волнение, царствовавшее в лагере и те оживленные, страстные разговоры, которые велись в палатках между задыхающимися от жары офицерами, сидевшими почти в костюмах Адама и закусывавшими чем Бог послал...

Начальники частей, шедших на рекогносцировку, бегали насколько хватало сил и с азартом разносили своих подчиненных, считая это лучшим средством для прибавления им энергии; множество верблюдов было собрано за лагерем в ожидании появления офицеров из каждой части для забрания известного числа «кораблей пустыни» под выюки; верблюдовожатые приводили в порядок седла или же с самым апатичным видом лежали на раскаленном песку...

В походных кузницах кипела работа; вереницей тянулись лошади, оглашавшие воздух ржанием, слышались удары молота, подковавшего ноги этих четвероногих, не всегда спокойно переносивших эту надоедливую для них операцию, слышался топот, окрики солдат...

В артиллерийском парке шла выдача патронов и снарядов; парковый офицер метался как угорелый, спеша удовлетворить требования своих многочисленных посетителей; у интендантских складов была давка, слышались возгласы, обращенные к интендантскому поручику, с которого пот лился уже в три ручья и который бежал от одних весов к другим с записною книжкою в руках, не обращая внимания на эти отчаянные возгласы!

— Поручик! Ради Бога, велите мне выдать поскорее восемь мешков сухарей! Мне еще надо патроны принимать, некогда! — зывает прапорщик-сапер.

— Послушайте, что же это такое! Мне вместо муки дают ячменя! — кипятится самурец, красный от жары и от волнения, как вареный рак.

— Ваше б-дие! Батарейный командир просили выдать поскорее сена! — лезет с запискою усач фейерверкер...

Содом и Гоморра! Сотни солдат тащат и волокут кули и мешки, верблюды тянутся вереницей; лошади, приведенные в недоумение такой суматохой, бьются и ржут на коновязях, начальство ругается, а проклятое солнце злорадно жжет и палит физиономию и тело, которое зудит от массы мелкого песка, столбом стоящего в воздухе!..

Штабные офицеры бегают с кипами бумаг под мышками, снуют взад и вперед; писаря, посланные из своих частей выписать приказы и диспозицию на следующий день, сломя голову мчались в штабную канцелярию, торопясь раньше занять лучшее место в кибитке, которая скоро оказалась битком набитою...

Офицеры и солдаты тех частей, которые должны были остаться в Бами, угрюмо посматривали на эту суматоху, и на их лицах выражалось желание принять участие в этой лихорадочной деятельности, но, по воле судьбы, они должны были оставаться только

зрителями! До поздней ночи длились эти приготовления; наконец все утихло, измученные люди предались покою, кое-где только, в офицерской палатке, сквозь полотно, просвечивает огонь свечки, при свете которой пишется письмо, может быть, последнее, или же в записной книжке отмечаются впечатления дня, а может быть, и нечто прозаичнее — количество принятых сухарей... Но вот огонь потухает, и, не раздеваясь, положивши под руку шашку и револьвер, бросается усталый офицер на койку и в ту же минуту засыпает как убитый... В походе бессонницы не бывает — целый день труда заставляет пользоваться каждой минутой отдыха и дорожить ею больше, чем в городе, где обращают день в ночь и ночь в день!

Наступило утро 1 июля; чуть свет поднялись все в лагере — надо было еще многое допринять, а главное — навьючить верблюдов! На долю денщиков в подобных случаях выпадает мученический венец: надо все увязывать, готовить вьюки и вместе с тем давать своим господам умываться, приготовить им и чай и что-нибудь поесть!.. Действительно, каторга! Ну и ругаются же они в это время! Просто не подходи! Самое меньшее что услышишь:

— Не разорваться же мне, ваше б-дие! — а то, пожалуй, пробормочет что-нибудь и хуже — и ничего не сделаешь, потому что сам сознаешь, что человек, как говорится, «высочил» из себя!

Перед каждой частью расположены ряды вьюков; тут виднеются патронные ящики, связанные вместе по несколько штук, ротные котлы и разная кухонная посуда, мешки с провиантом, связки с топливом... Верблюды лежали рядами и меланхолично пережевывали свою жвачку в ожидании нагрузки; из кибиток и палаток поминутно выбегали солдатики с разными вещами, волокли тюки... Слышались громкие приказания офицеров и фельдфебелей — словом, совершались последние приготовления к походу.

— Ты куда бежишь? — кричит молодой артиллерийский поручик гардемарину, куда-то сильно торопящемуся.

— Папирос, брат, нет, бегу к маркитанту!

— Да уж все разобраны, не достанешь!

— Вот тебе и раз!.. Что же мне делать теперь?

— А ты попроси у Петра Васильевича, он тебе наверное уступит штук триста или четыреста — у него очень много запасено.

— Спасибо, брат, за совет! — кричит моряк и рысью направляется занять папирос — вещь крайне необходимая, в походе в особенности, для всякого курящего.

Через десять минут он, как бомба, выпрыгивает из кибитки вышепоименованного Петра Васильевича Полковникова, командира 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады, с большим свертком под мышкой и стремительно направляется, лавируя между спящим взад и вперед людом, к вытанувшимся длинной шеренгой лавочкам маркитантов. Здесь буквально столпотворение вавилонское!

Все маркитанты — армяне. Относительно высасывания денег жид-ростовщик, беруший десять процентов в месяц, является

мальчишкой в сравнении с армянином! Да не подумает читатель, что я преувеличиваю цены, существовавшие в походе — ничуть; я придерживаюсь строгой истины. Бутылка пива — 3 р., фунт ветчины — 2 р. 50 к., маленькая бутылка лимонада — 1 р. 50 к., бутылка водки — 4 р., бутылка коньяка самого худшего достоинства — от 8 до 10 р., фунт сахара — 1 р., фунт свечей — столько же, тысяча папирос 2-го сорта — 20 р., и т.д. Словом, армяне брали до двухсот—четырёхсот процентов чистой прибыли!

В этот день в лавчонках этих кровопийц не было места, такая масса покупателей наводнила их... Впрочем, я выразился не совсем точно: тут главный контингент составляли потребители, которые, сидя на земле, лежа на прилавках, прислонившись к разным ящикам — пили и ели, так как каждая палатка маркитанта представляла вместе с тем и ресторан. Офицерство оставляло здесь почти все свои деньги — да и к чему в самом деле деньги человеку, который не сегодня, так завтра отправится, может быть, туда, где «нет ни болезни, ни воздыхания»?

Сегодня пьют особенно много: идущие на рекогносцировку — от радости, остающиеся в Бами — с горя!

Носатые восточные «человеки» с подбострастием подают и убирают бутылки — малейшее замедление может вызвать катастрофу; армяне видят по разгоряченным лицам офицеров, что сегодня шутки плохи, ибо воинственный жар их может проявиться неприятным для мошенников-торговцев действием; у каждого офицера на рукоятку шашки или же на поясе, или же прямо в голенище высокого сапога имеется инструмент, именуемый нагайкой, с употреблением которого спины маркитантов имеют очень близкое знакомство! Спасительное средство! Сколько раз случается, что чувство алчности сдерживается в границах взимания всего четырехсот процентов при взгляде на нагайку! Хочется армянину приписать лишнюю бутылку на счет подвыпившего офицера, ужасно хочется! Но вот взгляд его случайно падает на торчащую из сапога рукоять нагайки, ему уже чудится свист ее в воздухе, и, несмотря на сорокапятиградусную жару, мороз продирает по коже — армянин сохраняет неприкосновенной свою честность и спину, а офицер — несколько рублей.

Средство негуманное — но, безусловно, полезное.

Когда гардемарин вошел в одну из кибиток, попойка была в разгаре.

— А, моряк! Тебя-то, брат, и не хватало! — слышались восклицания.

— Ты идешь в первый раз в дело, надо выпить непременно, — заявил казачий офицер, шрам на физиономии которого показывал, что он сам нюхивал пороха.

— Ну, конно-горно-водолазная артиллерия, опрокидывай живее, а то стаканов мало, — говорит штабс-капитан артиллерии, поднося чайный стакан портера с шампанским к губам гардемарина.

— Ради Бога, что ты! — взмолился тот. — Я еще и водки не пил и не закусывал...

— Пей, не рассуждай; чинопочитание прежде всего, ты гардемарин, а я Государя моего штабс-капитан!

Делать нечего, пришлось моряку натошак хватить стакан этой, с ног сбивающей бурды.

— Ну, теперь закусывай; вот тебе сардинки, балык, икра, ветчина — только червивая...

— Это ничего, брат, я съел добрый фунт, и только на последнем куске заметил здоровенного червяка, — утешил казак, бывший уже сильно на взводе.

— Нет, ты пойми, ведь это обида, оскорбление!.. — слышался пьяный голос, как будто из-под земли.

Моряк нагнулся за прилавок и увидел двух пехотных офицеров, лежавших на бурке. Около них стояло блюдо с остатками шашлыка и две опорожненные бутылки водки. Один из них беспомощно тыкал вилкой в блюдо и никак не мог уловить кусок мяса; с самой печальной и обиженной физиономией жаловался на свою судьбу — он во время рекогносцировки должен был остаться в Бами.

— И за что, за что? Был я в Ташкенте, в Хиве, в Коканде, под Карсом; ранен в ногу, сейчас вот сниму штаны и покажу — вот какой шрам. — И он развел руками на аршин. — Что же я, трус, что ли? За что же такая обида? Нет, ты мне скажи — трус я или нет? Вот какая рана — и вдруг меня оставляют!

— Ишь ведь нализался, — глубокомысленно промолвил казак и в это же время опрокинул бутылку коньяку на тарелку гардемарина. Произошел потоп. Коньяк попал на сетовавшего на свою судьбу пехотинца.

— За что же это вы меня обливаете? И в поход не берут, и коньяком обливают, да что же это такое? Трусом не был, ранен в ногу и вдруг!..

Бедняга заплакал, а товарищ его продолжал невозмутимо тыкать вилкой в блюдо, где теперь вместо мяса был уже коньяк.

В лагере между тем навьючивали верблюдов; шум был страшный: четвероногие «корабли пустыни» оглашали воздух скрипучим ревом, солдаты ругались, ибо, как известно, русский человек не может усердно работать без употребления энергичных выражений; верблюдовожатые перекрикивали весь этот шум своими гортанными голосами...

— Ну, чего стал? Веди верблюдов, видишь, чай, что дорогу загородил! — кричит саперный унтер-офицер вожатому-персу, который, несмотря на все усилия, не может заставить подняться верблюда, которого усердные солдатики слишком тяжело навьючили. Сколько он ни щелкает языком, сколько ни тянет за веревку, прдернутую в ноздри, верблюд не подымается и только яростно ревет и плюет.

Подбежал солдатик и довольно сильно кольнул животное штыком: верблюд заревел, сделал усилие, поднялся и снова упал.

— Ишь ты, проклятая животино! Нечего делать, видно, надо развьючивать. Эй, наши! Подь сюда.

Явились саперики, сняли с верблюда его вьюк, который весил по меньшей мере пудов двенадцать, тогда как верблюд был из слабых и поднять более шести пудов ни в каком случае не мог.

Постепенно вытягивались вьюки на равнину перед лагерем.

Вот вытянулись фургоны Красного Креста, несколько арб с штабными вещами. Люди были готовы к походу и ожидали приказа становиться в ружье. В артиллерии лошади были уже обамуничены, осталось только их запрячь...

Нещадно нахлестывая нагайкой лошадь, промчался ординарец генерала, передавая на ходу приказание выводить лошадей.

Сначала двинулась пехота и заняла указанное место около анаоя, где находился уже священник в полном облачении. Артиллерия, тяжело громохкая и звеня, выстроилась на другом фесе, оставив место для казаков, которые тоже не замедлили явиться. Солнце ярко освещало ряды солдат и сверкало на штыках винтовок и меди орудий... На заднем фоне вздымались голубые вершины Копет-Дага, впереди серебряным блеском выделялись на необозримой желтой степи солончаки.

Послышалась команда:

— Смирр-но!

Из лагеря галопом выскочила кучка всадников. Впереди, на белой лошади, в белом кителе, в белой фуражке, выделяясь из среды всех своей чудной, непринужденной посадкой, галопировал «Белый генерал», незабвенный Михаил Дмитриевич Скобелев. Сзади следовали адъютанты, штаб и конвой осетин, один из которых вез темно-фиолетовый бархатный штандарт с золотыми кистями.

Приняв рапорт, генерал встал поблизости анаоя.

Все головы обнажились, и начался молебен. С искреннею верою и теплою молитвою осеняли себя крестным знамением солдатики перед походом, в котором, быть может, многим придется сложить свои головы... Да, я думаю, и люди, безразлично относящиеся к религии, чувствовали в это время, при этой особенной обстановке, настроение необыкновенное, щемящее за душу.

Молебен окончился; по рядам прошел священник, кропя святой водой эти смуглые, загорелые лица, с благоговением пред ним склонявшиеся!

Скобелев начал обходить войска, далеко слышался его голос, немного картавивший, здоровавшийся с людьми; каждой части он говорил что-нибудь о ее прежних боевых заслугах, о надежде его, что и теперь солдаты покажут себя достойными славы, приобретенной их прежними товарищами.

Обойдя все войска, генерал приказал выстроиться в порядке походного движения; грянул хор музыки, и отряд двинулся мимо «Белого генерала» навстречу неизвестным опасностям и приключениям. Поднялось облако пыли, понемногу скрывшее из глаз Баами и толпу товарищей, остававшихся там с горьким чувством людей, заветные мечты которых не осуществились...

Не нужно было быть особенно искусным наблюдателем, чтобы по выражению лиц офицеров маленького отряда узнать, кто из них идет в дело в первый раз: сияющая от радости физиономия, глаза горят, выражение напряженного ожидания на лицах, желание придать себе молодцеватый, воинственный вид — все эти признаки бросаются в глаза, сразу видно новичка, некуренного порохом!

Кровь кипит при звуках марша, присутствие знаменитого «Белого генерала» подзадоривает молодого воина, в его воображении рисуются картины боя: вот он видит себя окруженным врагами, он отбивается, убивает одного, другого, третьего... Генерал видит это, замечает храбрость, вот он уже с беленьким крестиком на груди, на погонах одна или две лишние звездочки...

Мечты уносят новичка в пространство... Рисуются картины самые несбыточные, сердце стучит усиленно в груди, и окружающей обстановки для него уже не существует...

Бог с ним! Пусть себе помечтает; не надо ему мешать и разочаровывать его, пусть он представляет себе человеческую бойню покрытую розовою дымкою романтизма! Завтра же, быть может, шальная пуля за версту расстояния от неприятеля перебьет ему руку или ногу, тогда он увидит, как забавны были его мечты об отличиях в рукопашном бою, о храбрости, геройстве и пр. и пр. Когда он увидит потоки крови, когда из раздробленной головы рядом стоящего солдата брызнет ему мозг в лицо, когда послышатся крики и раздирающие стоны раненых, — тогда только составит он понятие о войне и поймет ложность ранее увлекавших его воображение картин... Пока же пусть помечтает, оно хорошо в том отношении, что переход становится незаметным и наш мечтатель не чувствует усталости, а устать есть с чего!..

Нет такого красноречивого пера, которое могло бы своим описанием похода в песчаной степи дать читателю вполне истинное понятие всех мучений, испытываемых человеком! Только пребывание и личное участие могут заставить почувствовать все те страдания, которые приходится выносить! Описание вяло, бесцветно, как бы оно ни было искусно, в сравнении с истиной!

Вы, читатели, жители городов, тратящие на умывание количество воды, достаточное напоить полуроту солдат, никогда не поймете чувства человека с пересохшим, воспаленным горлом, с потрескавшимися губами, мечтающего о ложке воды, только об одной ложке!..

Когда, переходя улицу, вы попадете случайно в облако пыли, несущейся из-под метлы какого-нибудь несвоевременно ревностного дворника, вы начинаете чихать, кашлять, протирать глаза... Представьте же себе положение человека, идущего сорок верст в облаке мелкого, жгучего песка, затмевающего солнце. Рот полон песка — он хрустит на зубах, слезы льются из глаз от режущей в них боли, все лицо горит как в огне, и ноет, и щиплет!

А ноги? По щиколотку в песке, с трудом двигаются, расползаются, как будто пудовые гири привязаны к ним; они отекли,

подошвы болят, масса песку набралась в сапоги, от этого кожа воспалена и в ссадинах, образовался не один пузырь. А идти надо! Да еще идти, неся на себе вьюк по крайней мере в пятьдесят фунтов весом! И все это под аккомпанемент жгучих сорока пяти градусов среднеазиатского солнца! Как тяжелый кошмар являются теперь воспоминания о пережитом и перенесенном. Кажется, что это был другой человек, а не я...

В довершение всех этих физических страданий природа еще иронизирует над бедным, замученным человеком!

Вот горизонт прояснился, показалась голубая линия, все расширяющаяся и наконец принимающая вид моря...

Прозрачная влага ясно переливается, берега усеяны кустарником! Воображение заставляет вас испытывать муки Тантала, вы хорошо знаете, что это мираж! Вода вас манит: то кажется, что это голубое море разливается и движется к вам, то снова отступает за горизонт... Вот оно уменьшается, уменьшается... пропало, и снова желтая беспредельная равнина и бледно-голубое, раскаленное небо дают своим однообразием...

Но вот наконец жара и усталость производят свое действие; человек движется, но он наполовину в летаргическом сне, он теряет способность мыслить — это автомат. Глаза ничего не выражают, рот полуоткрытый, шаги колеблющиеся... Он слышит, что делается и говорится вокруг него, но отдать себе полного отчета не может. Пять раз вы ему можете что-нибудь сказать, он услышит, но его мускулам трудно сразу подчиниться действию воли...

Состояние трудно передаваемое и еще труднее физиологически объяснимое, для меня, по крайней мере.

Можно пройти такое же расстояние даже при более трудных физических условиях, если только перед вашими глазами меняется ландшафт, если вы сами замечаете по смене окружающих вас предметов, что вы движитесь.

Сколько раз мне приходилось с величайшими усилиями взбираться на горы: трудно, очень трудно, но усилия эти вознаграждаются чудным видом, открывающимся с этих головокружительных высот.

Где-нибудь над головой виднеется выступ, и к нему хочешь пробраться, и вот начинаешь подыматься и видишь, как он все приближается и приближается... Вид этот поддерживает энергию и дает новые силы, необходимые для достижения цели.

В степи не то: уставшие ноги дают вам знать, что вы прошли уже не один десяток верст, глаз же ваш не замечает этого; повсюду та же желтая скатерть, то же бледно-голубое небо, и вы не знаете, сколько вам осталось идти и сколько уже пройдено!

Да, господа, тяжелая вещь степной поход!

Одoleвает смертельная скука, но вместе с тем и разговор не вяжется — лень отвечать и спрашивать, полная апатия овладевает человеком, голова тяжела и с трудом соображает что бы то ни было; единственная у всех мысль — поскорее добраться до привала, хотя и привал тоже не представляет большой радости, так как

жгучее солнце все равно будет безжалостно продолжать жарить измученных воинов...

Вот если бы ночлег поскорее — это так; тогда, растянувшись на бурке в ночной прохладе, у ярко пылающего костра, под покровом темного неба, усеянного мириадами звезд, в беседе с товарищами, сразу позабудутся все дневные труды и невзгоды, и веселая речь польется рекой...

Но до ночлега далеко, а пока зной становится все удушливее и удушливее... Все ротные фургоны и свободные верблюды уже заняты ослабевшими солдатами, которые шли до последней возможности, и, только упав и не будучи в состоянии подняться без чужой помощи, были посажены на фургоны. Замечательная черта нашего солдата в походе. Он никогда не притворится больным или ослабевшим, пока есть хоть капля силы у него — он идет не жалуясь, не ропща; не будет места на фургоне — он упадет на землю и будет лежать, оставаясь в жертву неприятеля или диких зверей, и вы не услышите от него жалобы, нет! Единственно, что он скажет: «Прощайте, братцы, не поминайте лихом, придете в Россию, кланяйтесь родным». И это все: ни жалоб, ни отчаяния, ни слез! Безмолвно будет он смотреть вслед удаляющимся товарищам, пока в облаке пыли не пропадут последние блестящие штыки, и покорно будет ждать своей участи! Полный фатализм, полная покорность велениям судьбы — вот одна из характернейших черт нашего солдата, черта, составляющая главную его силу. И дай Бог, чтобы он подольше был фаталистом и не знал того, что каждый из нас сам так или иначе устраивает свою жизнь и что влияние судьбы, которой он так слепо подчиняется, не есть обязательное вмешательство в наши дела, а является изредка, так сказать, сверх абомента!

Надо поближе познакомиться с солдатом, нужно суметь войти к нему в доверие, чтобы научиться уважать его! Надо, чтобы он не боялся офицерских погон, был бы с вами искренен, и тогда вы убедитесь, что этот кусок пушечного мяса, одетый в серую шинель, — человек в полном смысле слова и, как человек, стоит выше нас с вами.

Полировка, поверхностного образования и воспитания у него нет, это правда, но зато эта полировка не стерла его хорошие нравственные качества! Он ничего не знает, но зато у него прямое и великодушное сердце: сознавая свое полное во всем незнание, он не имеет, таким образом, возможности ни на кого наводить тумана верхушками повсюду нахватанных сведений; здоровый рас-судок заменяет ему его образование, как я уже сказал, он сохраняет в неприкосновенной чистоте свою веру в Провидение и, благодаря этой вере, чисто младенческой, он делает подвиги, на которые можно только смотреть с удивлением! А мы с вами, читатель? Дрессировка, называемая образованием и воспитанием, что она нам дала? Больше пользы или вреда? С горьким чувством гово-ришь — да, больше вреда! Ничего фундаментального мы не пол-

учили, а лишились многого, скрашивающего жизнь солдата. Вера пошатнулась, и взамен ее нам не дано ничего!..

Вы скажете чувство долга? Заставит вас чувство долга заслонить свою грудь вашего начальника от неприятельского удара? Не думаю! А солдат, спасший на штурме Геок-Тепе таким образом своего ротного командира, сделал это из чувства веры в судьбу — виноватого, мол, найдет!

Что нас заставляет, людей, с позволения сказать, образованных, лезть на смерть? Желание получить орден, отличиться и составить себе карьеру... Я слышу, как вы возмущаетесь и говорите — неправда, это сознание своего долга! Виноват, не верю, сколько бы вы не драпировались тогой истинного гражданина! Долг — это громкое слово, как-то даже странно звучащее в наш продажный, не признающий ровно ничего век. Если не из-за креста, то из-за самолюбия, чтобы не показаться трусом перед другими, подставляете вы лоб! Если и не это — то вам надоела жизнь и вы хотите сделать ее более прямой, ища сильных ощущений, точь-в-точь как люди, от излишества потерявшие вкус и аппетит, повсюду в кушанья сыпят перец и приправы, раздражающие их нервы.

Солдат же, перекрестившись, идет в огонь покойно, опять же под влиянием той же веры в Провидение, которая нас с вами едва ли подвинет на что-нибудь; он совершает подвиг, который приводит в изумление всех окружающих, но сам он не сознает этого — для него это вещь обыкновенная, ничуть не выходящая из ряда явлений его жизни, так как его внутренний голос говорит ему, что иначе и поступить было нельзя!

Приведу в пример героя в серой шинели, заурядного, плюгавенького солдатика, о котором едва ли кто знает. Взятый в плен вместе с пушкой, в числе прислуги которой он находился, он подвергается самым страшным пыткам, которыми его хотят принудить открыть неизвестный текинцам способ обращения с орудием незнакомой им системы. И вот ему последовательно режут все пальцы на руках и на ногах; наш серый герой крепится, призывает на помощь свою веру и молчит! Вырезают ремни из спины — тоже молчание; полуживого поджаривают — он умирает, не сказав ни слова! Фамилия этого малоизвестного мученика и героя — *Никифоров*, канонир 6-й батареи 19-й бригады!

Никифоров не один, все наши солдаты таковы; к сожалению, мы не стараемся ближе узнать их, впрочем, оно и лучше, пожалуй; от этого сближения ведь не будет добра наивному солдату, который примет на слово, не будучи в состоянии оценить мораль, выработанную нашим современным обществом, и пропали тогда все его добрые качества! Пусть остается таким, каким он был во времена Суворова и войны 1812 года, когда весь мир с удивлением и уважением взирал на него, и каким он остался и до сих пор почти без изменения. Пусть это будет наивная, прямодушная, верующая каста; не надо нам германских солдат, этих автоматов на службе и политиков вне службы, сидящих в пивных с газетами в руках и рассуждающих о могущей быть войне или распевающих во все

горло «Wacht am Rhein»; не нужно нам и подвижных, пылких, сумасбродно храбрых французских солдат; у нас выработался свой тип, далеко превышающий своими нравственными качествами всех солдат в мире! Одна забота — не испортить этот тип...

Только теперь я заметил, что уклонился чересчур от нити моего рассказа; впрочем, читатель, это как раз случилось, когда отряд остановился на привале. Пойдем с вами снова и посмотрим, что делается на месте этого давно желанного отдыха.

В отряде все лежат, начиная с начальства и кончая даже верблюдами. Прежде всего поразит вас число индивидуумов, лежащих на спине, поднявши вверх обе ноги (я говорю о людях, ибо еще ни разу не видел верблюда или лошадь в таком положении).

Это положение — самое удобное для пешехода, сделавшего переход верст в двадцать пять; кровь отливает от ног, и уже чувствуется облегчение минут через десять такой позы; рекомендую вам испытать, читатель, если вам придется побегать много даже и не в походе, а в богоспасаемом городе Кронштадте. Нескольким человеком занималось варкой чая, по преимуществу это были денщики, господа которых группами лежали на бурках; артиллерийские солдатики, чтобы скрыться от жары, позалезали под орудия и зарядные ящики, но тени и там было немного! Иные, окончательно задыхаясь от жары, вырывали руками *ямы в песке* и прятали в них лицо, воображая, что дышат более прохладным воздухом.

Несмотря на духоту, офицерство с живостью набрасывалось на чай, как только он готов, зная, что ничто так не утоляет жажды, как горячий кипяток; действительно, можно пить сколько угодно воды и вам хочется пить все больше и больше, причем ощущение жажды продолжает оставаться, стакан же горячего чая, особенно с лимоном или экстрактом клюквенной кислоты, сразу освежает вас.

Но вот подается сигнал к подъему; утомленные солдаты, обожженные и скорее измученные, чем отдохнувшие от этого лежания на раскаленном песке, с трудом поднимаются.

Снова навьючиваются верблюды, снова садятся ездовые на лошадей, пехота выстраивается; снова подымается облако пыли и отряд двигается в глубь Ахал-Текинского оазиса, очень мало похожего на оазис.

Но вот наконец косые лучи солнца перестают так жечь; становится прохладно, температура понижается до 28—30 градусов, солдаты идут бодрые; где-то впереди затянули песню, вот грянул и припев — сотни голосов подтянули, и раскатилась русская молодецкая песня по этой голой песчаной пустыне, являясь как бы провозвестником нашего здесь владычества и могущества!

Вот, подымая пыль высоко взбрасываемыми ногами, пустился в пляс бравый солдатик; физиономия его остается невозмутимо спокойной, как будто он и не танцует, как будто он и не причастен

ко всему этому пению и грому бубна, который он лихо перебирает и подкидывает в руках!..

Как-то хорошо и весело становится на душе под звуки этой разухабистой песни, далеко разносящейся в свежем воздухе.

Взгляните на этого офицера, едущего верхом впереди роты, и вы увидите на его физиономии счастливую, довольную улыбку: он только слышит звуки этой привычной, родной песни, но мысль его далеко, она теперь там, на родине, где он впервые услышал эту песню и при других обстоятельствах... Как будто что-то сжимает сердце, хочется кому-нибудь высказать все, что накопилось на душе, хочется, словом, и плакать и смеяться!.. Непонятное, необъяснимое ощущение... А бубен смолкает, и песня едва слышно раздается; сотни голосов издают меланхолические, грустные тоны...

Но вот снова грянул бубен и полились громкие, полные бесшабашного и залихватского веселья звуки! Плечи начинают сами собою подергиваться, руки и ноги приходят в движение, кровь быстрее обращается в жилах.

Я, читатель, не поэт, поэтому и не берусь передавать состояние души человеческой, я хотел только попытаться передать вам то, что бывало со мной в степи на походе при звуках песни в непривычной для меня обстановке. Если вам случалось когда-нибудь испытывать то же самое — вы поймете меня, если нет, то я только могу пожалеть о вас, значит, у вас будет в жизни одним светлым впечатлением и воспоминанием меньше! Как тяжело было идти раньше, так легко проходились теперь эти десять или двенадцать верст, остающиеся до места ночлега.

Вот уже показались белые стены глиняной крепости Арчман; заходящее солнце своими розовыми, угасающими лучами освещает их. Видна и мечеть, своим куполом превышающая глиняные мазанки, лепящиеся одна к другой, видны виноградники и отдельные деревья, зовущие к себе на отдых...

Казаки, составляющие авангард, нагайками подгоняют своих измученных лошадей и, выхватив винтовки из мохнатых чехлов на случай встречи с негостеприимными хозяевами, влетают по единственной узкой и кривой улице, огороженной высокими глиняными стенками... Пешеходу невозможно заглянуть за них, только всадник, приподнявшись на стременах, может удовлетворить свое любопытство, и тогда глазам его представляется цветущий сад с зеленеющей травой и фруктовыми деревьями.

Иногда высокая стенка сменяется очень низенькою, и за нею виднеется обширное пространство, покрытое еще недозревшей кукурузой и изрытое массой параллельно идущих канавок, предназначенных для орошения этого участка земли.

Но вот поперек улицы широкая лужа, арык (ручей) с шумом вливает в нее свои прозрачные воды, которые здесь от соприкосновения с черноземом являются уже в образе чернил. Осторожно едут казаки, так как грязь доходит до брюха лошади... В эту минуту на стене, выдающейся углом на улицу, что-то сверкнуло, показались две высокие бараньи шапки и почти одновременно

грянуло два выстрела... Стройный красивый казак, стегавший в этот момент лошадь, на секунду остался с поднятой вверх рукой, покачнувшись в седле, упал лицом на шею поднявшегося на дыбы коня и грузно шлепнулся в грязь, разлетевшуюся брызгами во все стороны... Другой хватился за левое бедро с каким-то испуганным видом, и короткий болезненный крик: ох! — вырвался у него из груди... Какая суматоха поднялась! Сразу более десятка человек марш-маршем перелетело эту глубокую лужу... Вот уже трое лезут на стену, подсаживаемые товарищами, с винтовками в руках; сотенный командир, с головы до ног забрызганный грязью, с револьвером в руках, громовым голосом приказывает горнисту играть сбор, направо в виноградниках грянуло уже несколько гулких, сухих выстрелов наших берданок...

Раненный в ногу казак лежит под стенкой и прерывисто стонет от боли; под ним образовалась лужа крови, обгадряющей молодую траву и кажущейся особенно красной при пурпуровых лучах солнца... Товарищ его, убитый наповал и только что вытащенный из арыка, лежит в нескольких шагах, весь облепленный грязью и облитый кровью, льющей из черной раны на лбу... Казаки все прибывают и с лошадой бросаются в виноградники, где уже не слышать шума; отдельные выстрелы доносятся издалека едва слышным щелканьем... Оставляя за собой облако пыли, мчатся двое казаков назад по улице, чтобы дать знать остальному отряду о случившемся... Но там уже слышали, и одна из рот бегом вступает в аул. Отряд перестраивается в боевой порядок, ожидая серьезного дела... Напрасно: выстрелы прекратились, трубач играет сбор, из всех стенок показываются возвращающиеся казаки, а те два врага, сделавшие выстрелы, уже получили возмездие и обливают своей кровью свою же родную землю, на которой они предпочли пасть, чем оставить ее во владение «белых рубах»... Казаки же довольны, что сквитались за своих товарищей, и приятное сознание отмщения вызывает улыбку на страждущее лицо раненого, мечущегося от боли в перебитой ноге...

Скоро в ауле подымается шум и царит лихорадочная деятельность: отряд готовится на ночевку. На обширной площади, где несколько дней тому назад текинские старшины творили суд и расправу, сидя на корточках перед разноцветными кальянами и поглаживая свои длинные выкрашенные в красную краску бороды, располагаются верблюды, оглашающие воздух своим скрипучим криком; зеленеющие деревья, под которыми искали убежища еще не так давно красавицы текинского оазиса от палящих лучей солнца, с треском падают под топором «белых рубах», для которых они послужили топливом для варки пищи... Глиняные стенки, предмет трудолюбия многих десятков людей, служившие для разграничения полей, разрушаются, чтобы за ними не могли найти себе защиту хозяева аула, могущие вернуться в эту ночь на свое родное пепелище с целью прогнать непрошенных гостей. В некоторых же стенках проделаны четырехугольные амбразуры, и из них сверкают медные пасти орудий, готовые изрыгнуть картечь на

нарушителей спокойствия. Десятки солдат толпятся около арыка, наполняя свежей водой свои кошелки и манерки... Никогда еще этот аул не видал такой деятельности!

Смеркалось. Десятки костров запылали повсюду, взад и вперед двигаются тени солдат и офицеров; везде варится суп и чай, артелями садятся солдатики на землю и за ужином забывают усталость; чудная, южная ночь своим звездным покровом облагает весь аул; звезды горят каким-то особенным желтоватым светом в беспредельной высоте темного неба, млечный путь матовым блеском привлекает взгляд наблюдателя; соловьи переливаются в садах, и душа переполняется хорошим, добрым чувством — забываете ли вы на минуту, что в этот чудный, благоухающий уголок внес с собою убийство, разорение...

Но вот отряд поутихнул. Понемногу шум прекращается, все спит, измучившись сорокаверстным переходом; но как бы ошибся неприятель, если бы он вздумал сделать нападение, пользуясь этим общим сном: как из-под земли вырос бы секрет и встретил его метким залпом!

Знаете вы, читатель, что называется «секретом»? Я не говорю о слове в его общеупотребительном значении, так как каждому известно, что секретом называется обстоятельство, чаще всех других становящееся всем и каждому известным способом, в особенности если одна из вас, многоуважаемые читательницы, посвящена в дело, должностующее быть секретом; нет, я говорю о значении военного этого слова, где подразумевается действительно тайна, то есть неизвестное неприятелю расположение маленького сторожевого отряда.

Если вы любитель сильных ощущений, то советую вам при первой возможности постараться попасть в секрет в темную ночь, вы останетесь довольны! Маленькая горсточка людей должна в случае нападения рассчитывать только на свои силы, так как секрет устраивается обыкновенно вдали от лагеря, чтобы весь отряд имел время приготовиться к отражению нападения, пока неприятель пройдет пространство, отделяющее секрет от лагеря.

В случае отступления после перестрелки секрет легко может подвергнуться огню, открытому своими.

Я это говорю о случае нападения, скажу теперь несколько слов о самом лежании в секрете, о нравственном состоянии человека в это время.

Обыкновенно секрет отправляется на свое место сейчас же после захода солнца, причем командующий им должен подробно осмотреть все вокруг и сориентироваться. Затем все ложатся и до наступления должны быть безгласными и неподвижными, напрягая только зрение и слух.

Представьте же себе, читатель, положение человека, прошедшего около сорока верст за день, измученного жарой, которому приходится еще целую ночь не спать и на следующий день идти столько же? Да еще, лежа на голой земле и камнях, нельзя ни шевельнуться, ни закуриты! Вокруг мрак, в трех шагах все сли-

вается с землей... напряженно слушают солдаты, держа винтовки наготове; не слышно ничего, кроме необъяснимых ночных звуков, так хорошо знакомых всем, кто проводил ночи в лесу или степи!.. Вот солдатик прикладывает ухо к земле — нет, ничего... Отяжелевшая голова не хочет подняться снова; он борется со сном, с усталостью и мало-помалу приходит в забытьe... Он не спит, он сознает все окружающее, и вместе с тем он погружается в сновидения, кратковременные, продолжающиеся, может быть, минуту или две. Затем он снова бодрствует...

Эх, трубочку бы выкурить! — думается ему, и он представляет себе весь процесс закуривания, дым уже щекочет его горло и ноздри, он курит... Шум... Глаза раскрылись, и солдат нетвердо убежден, что он не курил сейчас, что это была полудремота... Прямо против него во мраке светится несколько точек; ярко горят они и движутся, их становится все больше и больше, весь горизонт усеивается этими фосфорически сверкающими точками... Причина услышанного им шума сейчас же становится понятной для солдата при виде этих блуждающих огоньков.

— Ишь проклятые шакалы, опять повывлазили, — ругнулся про себя солдатик, и снова в глазах у него начали составляться какие-то странные фигуры из этих движущихся блесток; он понимает ясно, что это дремота одолевает его, и старается не закрывать глаз, но вот он моргнул раз, другой, а на третий раз веки его оказались закрытыми. Он хочет открыть их, и не хватает силы... Он напоминает, что говорил им сегодня их ротный, что ежели хоть на минуту вздремнуть, так наверняка останутся без головы, потому, что текинцы бродят около, и вот он мысленно убеждает себя, что он спать не будет, а только отдохнет... Протяжный вой, вроде детского плача, послышался совсем близехонько; солдатик сразу приходит в себя и внимательно вслушивается. Плач этот повторяется, но уже в другом месте; еще несколько голосов присоединились, и вся степь огласилась обычным ночным концертом, задаваемым шакалами...

— И чего это они воют? — размышляет солдатик, сонное расположение духа которого значительно разогнали эти звуки. Он вглядывается вперед и... странное дело! — воображение это или действительность? Какая-то масса будто двигается с левой стороны, а может, и не двигается, думается ему. — Должно быть, камень, — успокаивает он себя.

Но сомнение уже овладело им, и он не может быть покоен.

— А что, ежели это «он» ползет? — рука судорожно приподымает винтовку. — Пальнуть или нет? — Кровь приливает в голову, и вот уже несколько темных пятен показываются нашему солдатику.

Едва слышным голосом спрашивает он рядом лежащего товарища: «Петров! Видишь?» — «Где?» — «Налево». — Проходит минута, другая томительного ожидания... Сердце так и бьется, нужна в эту минуту большая сила воли, чтобы не спустить курок... «Ничего нет», — слышится ответ — на душе стало легче. «Показалось?» — думается солдатику, но он уже теперь взволнован.

Прилив крови к голове иной раз заставляет слышать воображаемый шум или разговор... Случается, нервы не выдерживают и... мрак прорезывается огненной вспышкой выстрела; пущенная на воздух пуля со свистом улетает в пространство, испуганные шакалы с воем удирают во все лопатки, в лагере суматоха, и причиной всего — разыгравшееся воображение солдата, которого вы ни за что не уверите, что он стрелял в продолжение своей фантазии, он убежден, что действительно «подползали».

Я знаю случай, когда наш и неприятельский секреты пролежали целую ночь в тридцати шагах расстояния друг от друга, не предполагая, ни тот ни другой, о такой близости врага! Можете себе, значит, представить, какая тишина соблюдалась и нами и ими! И только утром обе стороны увидели друг друга и в первый момент были поражены таким изумлением, что не сразу обменялись свинцовыми визитными карточками.

Непривычного человека ночь, проведенная в секрете, сильно взволнует и покажет ему истинную крепость его нервов; я не говорю — его храбрость, так как можно быть очень храбрым в бою: не кланяться пулям, гулять с папироской в цепи, рассказывая под аккомпанемент свистящих пуль скабрзные анекдоты своим товарищам, идти первым на штурм, но вместе с тем можно, будучи ночью в секрете, бояться всякого шороха и стрелять в воздух; это покажет только, что этот человек — слабонервный, днем он, при видимой опасности, владеет достаточно своей нервной системой, ночью же — нет.

Вообще понятие о храбрости очень и очень относительно. Абсолютно храбрых людей на свете нет; имя храброго носит тот, кто меньше других трусит; это вовсе не громкая фраза, читатель, не парадокс, нет, это — истина. Не верьте никогда никому, кто вам скажет, что он не боится в бою, что свист пуль для него ничего не значит, — он лжет; он боится, но умеет скрывать это чувство страха, так как самолюбие заставляет его делать это. Ни сознание долга, ни любовь к родине, ничто не играет роли в этом выказывании храбрости, единственный стимул — чувство самолюбия. Это чувство двигает нами, людьми развитыми, когда мы пренебрегаем опасностью и сами лезем на нее! Нет храбрых людей на свете, все это более или менее хорошие актеры; каждый из этих актеров, когда видит, что нет публики, перед которой бы нужно было играть свою роль, делается вполне естественным и... спрячется куда-нибудь в канаву! *Amicus Plato, sed magis amica-veritas!* Если вы, читатель, бывали в делах, то, прочтя эти строки, припомните ваши тогдашние ощущения и скажите сами себе, наедине, что это верно; я не требую публичного признания, зачем ставить себя в неловкое положение, а в душе признаться можно и даже следует!..

Вы можете на это возразить, что если действительно всяким человеком в бою овладевает чувство страха, то, значит, невозможно и желание вновь пойти в бой, желание, которое очень многие совершенно искренно высказывают, доказывая это на деле. аргу-

мент, по-видимому, действительно очень веский, но, к сожалению, обращающийся против вас же самих.

Если ощущение человека во время дела было бы равносильно тому, какое он испытывает, выпивая стакан чая, то его бы, вероятно, не тянуло снова попасть под огонь; в том-то вся и сила, что чувство боязни за жизнь так вас волнует, равно как и чувство самолюбия.

Мне приходилось говорить со многими людьми, не раз бывавшими в опасностях, о чувстве страха, испытываемом в бою, и я заметил, что человек, откровенно говорящий о том, что он струсил в бою, передающий с величайшей точностью свои впечатления о том, как ему казалось, что всякий дымок неприятельского выстрела будет предвестником пули, предназначенной именно для него, рассказывающий о страстном желании лечь в яму во время перестрелки, всегда в конце разговора с искренним чувством сожаления вспоминает об этом невозвратном прошлом.

Если вы взгляните попристальнее в такого человека, поближе его узнаете, то вы убедитесь, что этот человек — нервной организации, горячий, впечатлительный; таким-то натурам и нравится эта непрерывная борьба воли с естественными инстинктами...

Я уклонился еще раз от нити моего рассказа, но это делается невольно, так как в описании впечатлений походной жизни постоянно наталкиваешься на вещи, требующие подробного анализа, вследствие того, что они не имеют ничего сходного с вашей обыденной жизнью. Многие имеют совершенно неправильные взгляды на состояние души человеческой в такие ненормальные моменты, как старательное истребление себе подобных, вот мне и желательно было бы выяснить это душевное состояние, руководствуясь собственным опытом и наблюдениями над товарищами; поэтому да не будет читатель в претензии за частое вливание рулем и уклонение с курса моего рассказа!

Ночь в Арчмане прошла спокойно. До восхода солнца оставалось еще с добрый час, когда затрещали барабаны, подымая разоспавшихся солдатиков. Если бы вы только могли себе представить, читатель, то страстное желание еще соснуть хотя бы десять минут, которое ощущается после тяжелого перехода. Измученные ноги едва начали отдыхать, вы чувствуете себя еще наполовину разбитым, глаза слипаются, голова не хочет подняться с бурки, к тому же еще вокруг вас мрак, располагающий продолжить пребывание в мире сновидений... А вставать надо...

Солдатики, зевая, начинают готовить себе чай; подкладывается топливо в полуугасшие костры, снова начинается шум и суматоха в лагере. Сон живо разгоняется приготовлениями к движению вперед, и обычная деятельность царит в маленьком отряде. Ничего нет легче как неопытному человеку в такой сумятице потерять свою часть, которую с большим трудом приходится потом разыскивать. Совершенно незнакомое место ночлега, раскинутое на большом протяжении, плохо освещенное кострами, перерытое массами канав и ям, делает очень неудобным отыскивание места

расположения какой-нибудь роты. Поэтому во мраке постоянно слышатся возгласы приблизительно следующего содержания:

— Земляк, а земляк!

— Чего тебе?

— Здесь 3-я Самурская рота? Записка к командиру есть!

— Нет, тут апшеронцы, ступай налево, все прямо.

— Спасибо!

Посланный идет «налево, все прямо» и натывается на артиллерийского часового, окликающего его. Оказывается, что это не самурцы, а горная батарея, и ему велят идти направо, а потом налево. Проклиная свою судьбу, плетется бедняга обратно и по дороге не раз попадает в ямы и высохшие арыки, не раз натывается на людей, спотыкается на верблюдов, злобно ревуших при этом и оплевывающих его, словом, нет возможности исчислить все бедствия им претерпеваемые. Но вот наконец рота розыскана, но... солдатик не найдет дорогу назад.

Еще было совершенно темно, когда отряд тронулся в путь. Подобные движения в высшей степени опасны, если имеется вблизи неприятель, так как в это время невозможно сохранить порядок.

Самые несчастные люди в этом случае артиллеристы: страшных усилий стоит вытаскивать орудия, колеса которых поминутно попадают в рытвины. Движение остальных частей задерживается, призываются всевозможные проклятия и громы небесные на головы бедных артиллеристов; высшее начальство разносит батарейного командира, этот — офицеров, последние — ездовых, взводные вымещают злость на ни в чем не повинных лошадях, которых начинают бить...

Сзади — скопление фургонов, арб, верблюдов, старающихся как-нибудь пробраться вперед, чему препятствует узость дороги, ограниченной по обеим сторонам канавами или же глиняными стенками.

— Куда тебя дьяволы несут, видишь орудия стала! — благим матом кричит фейерверкер на фургонщика, пролезшего вперед.

— Велели вперед ехать, — кричит тот с высоты козел.

— Пошел назад, говорят тебе, — неистовствует фейерверкер, и удары нагайки сыплются на лошадей фургона, которые начинают биться и чуть не опрокидывают этот доверху нагруженный экипаж. Задние колеса напирают на сбившихся в кучу пехотных солдат, которые, понятно, не желая быть раздавленными, сторонятся и двое или трое падают в канаву.

— Что ты людей давишь, чертова кукла! — вступает за своих солдат пехотный офицер, и фургонщик ощущает неприятное прикосновение нагайки...

— Кто распорядился остановить отряд? — горячится один из штабных офицеров, летя верхом в эту сумятицу.

— Без всякого распоряжения, колеса засели в канаве, — слышится чей-то ответ.

— Подымайте штыки, крупа серая, — негодуют казаки, ухитряющиеся пробираться по краю канавы верхом, морды их лошадей натыкаются на штыки ружей, взятых «вольно».

— Ишь кошемники, подождать не могут, — отвечает «крупа», недолголюбивающая казаков. Начинается ругань.

— Ну артиллерия! То исть одно несчастье с ей, — философствует кто-то, усевшись в канаве.

— А все потому, что не смотрят! Статочное ли дело орудие в канаву завести? Теперь, знамо, не вытащить! Ведь в ей пуд с тридцать будет! И сиди тут до света!.. Э-эх, горе!

И неприятно и смешно слушать все, что говорится вокруг, самое лучшее вооружиться терпением и ожидать.

Наконец колеса вытащены и все двинулось вперед, хотя долго еще потом идет переругивание, так как никто не хочет признавать себя виновным в этом казусе, да и действительно, строго говоря, виновны только — темная ночь да рытвины, попадающиеся на дороге.

Но вот отряд вышел в степь, все части заняли свои места, и движение совершается в порядке; надо пользоваться прохладой и пройти как можно больше до наступления жары...

Все дни переходов очень однообразны, поэтому, читатель, я не буду вас утомлять описанием следующих трех дней похода; была та же убийственная духота и пыль, те же привалы и ночевки в крепостях, покинутых жителями. Перехожу к описанию событий 5 июля, когда отряд подошел к Эгян-Батыр-Кала, большой крепости в тринадцати верстах от Геок-Тепе.

Еще с самого восхода солнца весь отряд с нетерпением всматривался вперед, ожидая увидеть этот передовой форт Геок-Тепе, который, по мнению всех офицеров, можно было взять только после горячего боя. Вот наконец около шести часов утра на горизонте показалась темная линия виноградников и белые стены крепости.

Все бинокли направились туда, отыскивая присутствие врага.

Отряд остановился, давая арьергарду время подтянуться.

До Эгян-Батыр-Кала оставалось верст около семи.

Как сейчас помню я восклицание молодого офицера, первый раз делавшего поход, который в бинокль увидел две маленькие черные точки, показавшиеся из-за Калы и медленно двигавшиеся по желтой равнине, приближаясь к нам.

— Слава Богу, вот и текинцы!

Это восклицание звучало такой искренней, неподдельной, чистой детской радостью, что все от души засмеялись. Тут выразилось все нетерпение молодой пылкой природы изведать ощущение боя, выразилось желание показать себя молодцом!

Отряд тронулся в боевом порядке. По мере приближения к Кале в песках, налево от колонны, стали показываться текинцы, шедшие почти параллельно с нами верстах в трех.

Все ближе и ближе становится к нам Кала; уже ясно видны обширные виноградники и ярко белеющие стены укрепления, но

врагов вблизи не видно, не видать ни одного дымка выстрела, не слышно свиста ни одной пули.

Полусотня казаков со всевозможными предосторожностями приблизилась к Кале; через минуту уже мчался один из них назад к отряду с известием, что укрепление покинуто неприятелем.

Отряд подошел к Кале, и взорам его открылась обширная равнина, на горизонте, на юге, виднелся холм — Геок-Тепе.

Вся равнина была усеяна всадниками, казавшимися издали микроскопичными; число их доходило, по мнению самого Скобелева, до двенадцати тысяч. Они скакали в разные стороны, не приближаясь к нам ближе пяти верст. Высокий бугор под горами был сплошь покрыт пешими, казавшимися муравьями, копошащимися в своем конусообразном жилище, когда их потревожит неприятель...

— Ишь ты, повысыпали как, аж вся степь черная, — обращается один из матросиков к своему товарищу, лежащему на песке.

— Много! Это они встречать нас вышли, потому матросов никогда не видывали в песках.

— Да их, поди, еще в крепости несметная сила, — отзывается ездовой артиллерист, грудь которого украшена Георгием, полученным за экспедицию прошлого года.

— Этак и патронов не хватит их всех перестрелять, — отзывается унтер-офицер морской артиллерии.

— Так они тебе и дались, попробуй-ка перестрелять!! Тоже ведь, поди, охулки на руки не положат.

— Здорово они теперича злы на нас! Тоже ведь бросать свои дома-то не очень приятно им! Наверняка тут все собрались из аулов, которые мы прошли, — замечает боцманмант, с любопытством вглядывающийся в эту новую для него картину громадной степи, покрытой массами людей, которых ему завтра придется убивать, рискуя и самому представить из себя под их шашками котлету...

— Генерал идет! — послышалось со всех сторон.

Михаил Дмитриевич Скобелев, окруженный своим штабом, проехал по рядам и выехал вперед; он несколько минут осматривал площадь, покрытую неприятелем, затем обратился к начальнику штаба Николаю Ивановичу Гродекову и сказал ему несколько слов; последний подозвал одного из осетин и что-то приказал ему. Осетин хлестнул нагайкой своего поджарого коня, который прыгнул и, вытянувшись, помчался к 4-й батарее, стоявшей в некотором отдалении развернутым фронтом. Немедленно после нескольких слов, переданных им батарейному командиру капитану Полковникову, одно из орудий рысью тронулось с места и стало на позицию впереди всего отряда.

— А ну-ка, Полковников, пугните этих любопытных там, на холме! — обратился Скобелев к бравому черноусому капитану.

— Слушаю, ваше превосходительство! — последовал ответ.

Орудие заряжено шрапнелью, молоденький поручик Томкеев лично его наводит, сидя на хоботе... Вот он отходит в сторону,

громко командует: «Первое!» Фейерверкер добавляет громовым голосом: «Пли!» Все окружающие жмурятся и подбирают поводья лошадей. Первый номер порывисто дергает к себе шнур. Воздух потрясается грохотом выстрела, орудие подпрыгивает и откатывается со звоном, пороховой дым щекочет ноздри и горло присутствующих, внимание которых сосредоточено на холме, покрытом неприятелем, так как там-то именно и разразится сейчас результат этого выстрела. Действительно, через три или четыре секунды над этим муравейником людей появляется в воздухе белый дымок... Боже мой, что за суматоха поднимается там! В бинокль ясно видно, как все это задвигалось и побежало с холма! Через несколько минут там уже никого нет, но зато видны всадники, скачущие в разные стороны по степи от холма.

— Кажется, перенесли, — заметил генерал, внимательно смотревший в бинокль.

— Точно так, — ответил батарейный командир, тоже заметивший, что разрыв шрапнели был по ту сторону холма.

— Я думаю, они никак не ожидали, что орудие хватит туда, — добавил Михаил Дмитриевич.

— Для них дальнобойные орудия новость, ваше превосходительство, — ответил капитан. — В прошлую экспедицию наши полевые четырехфунтовые не доносили так далеко; они потому так спокойно и оставались на холме.

— Ну, довольно с них сегодня и одного выстрела, — заметил генерал.

— Николай Иванович, займись размещением отряда, — обратился он к начальнику штаба.

Какое наслаждение для уставших людей расположиться в этих тенистых, прохладных виноградниках, зная, что целый день отдыха перед ними! Воды сколько угодно, топлива в излишке, да и ко всему этому есть еще и полуспелый виноград!

Быстро расположились солдатики по указанным местам, и скоро в неподвижном воздухе стали подыматься к небу столбы черного дыма от повсюду разложенных костров, на которых жарилась и варилась баранина... А в нескольких верстах, в степи и песках, также продолжали двигаться текинские наездники, со злобой и ненавистью в душе смотревшие на этот дым, на эти «белые рубахи», хозяйничающие в их Кале и оскверняющие своим присутствием их свободную землю... В виноградниках слышались удары топора, треск падающих тутовых деревьев, ломающегося кустарника, говор и смех солдат, снующих взад и вперед с трубочками в зубах и с манерками полными воды... Сквозь темную зелень роскошной растительности яркими блестящими сверкают солнечные лучи, играющие на штыках винтовок, составленных в козлы там и сям... Повсюду разносится запах готовящегося обеда... Веселая, оживленная картина бивака, которая врезывается навсегда в памяти каждого, хоть раз ее видевшего.

Но в мире всегда случается, что рядом с радостью непременно находится и горе; так и здесь: возле костров, где солдатики,

довольные и счастливые продолжительным отдыхом, оглашают воздух разговорами и искренним смехом, стоят одноколки Красного Креста, откуда доносится иной раз тяжелый стон, вызванный нестерпимой болью; это больные лихорадкой и кровавым поносом, в числе их находится командир морской батареи лейтенант Ш—н; его энергическая, подвижная натура не выносит долгого лежания, он встает, вылезает из одноколки, пройдетя, посмотрит на батарею, которую заведует гардемарин М—р, но слабость и боль заставляют его лечь... Голова горит, боль в глазах, сухие губы потрескались, но это все пустяки в сравнении с нравственным мучением: неотвязчивая мысль мучает его, что завтра дело, первое дело, в котором он должен участвовать, и ему не придется быть там! Мысль эта сверлит беспощадно лихорадочно разгоряченный мозг бедного моряка, и он вне себя! Ему представляется, что его новые товарищи по походу могут заподозрить его в трусости, могут подумать, что болезнь эта — только способ отделаться от участия в бою, тогда как храбрый лейтенант только и мечтает о возможности попасть в огонь! Сколько проклятий посылает бедный Николай Николаевич судьбе, виновнице этой болезни! Наконец он решает вопреки всем советам докторов идти завтра в дело и на этом решении успокаивается.

Солдаты, плотно пообедав, располагаются на отдых под деревьями и кустарниками, там, где больше тени. Минут через двадцать повсюду слышится храп, как будто раздающийся из-под земли, так как густые виноградники совершенно закрывают спящих.

Не спят только офицеры штаба, готовящие к завтрашнему дню диспозицию для рекогносцировки; обливаясь потом в духоте кибитки, сидят за бумагами адъютанты и писаря. Поминутно вбегают рассыльный с требованием кого-нибудь из офицеров или к генералу или к начальнику штаба: с ворчанием натягивает офицер сюртук, кажущийся в эту жару истинно Божеским наказанием, и отправляется на зов; через несколько минут он снова возвращается с кипой бумаг, которую начинает или сам просматривать или же передает для переписывания одному из писарей, которым действительно приходится тяжело от страшной жары и массы мух, мешающих работать.

Наступил вечер, прохлада сменила зной. В главной Кале идет деятельная работа по приведению ее в оборонительное состояние, так как в ней должны на время рекогносцировки остаться вышки всего отряда, повозки Красного Креста и вообще все предметы, могущие стеснить маленькую колонну во время завтрашнего движения к крепости. Гарнизонам остаются: полурота Красноводского местного батальона, две картечицы под командой гардемарина М—ра, доктор Цвибек и комендантом — войсковой старшина Александр Васильевич Верецагин, брат нашего знаменитого художника, служивший ординарцем у Михаила Дмитриевича Скобелева во время турецкой войны и тяжело раненный в ногу на Зеленых горах.

На площадке башни идет прорезание двух амбразур для картечных; молодцы матросы, мастера на все руки, взяв у саперных солдат ломы и линнемановский шанцевый инструмент, с рвением выбивают куски глины, наполняя весь воздух пылью, лезущей в рот и в нос гардемарина, присматривающего за работами, что заставляет его чихать, кашлять и поминутно выражаться не совсем изящным слогом...

Вдоль всех четырех фасадов Калы устраивается парапет для стрелков, для чего со всех сторон тащатся бревна, насыпается земля; верблюды вереницей тянутся внутрь Калы, неся на себе вещи, которые должны здесь остаться, уже немало фургонов и арб нашло себе здесь убежище. Комендант, одаренный как будто крыльями, носится повсюду, повсюду следит за работами, отдает приказания, полученные от начальника штаба, записывает в свою книжку; пот льется с его загорелого худощавого лица градом, он поминутно вытирает его рукавом своей полинявшей, запыленной черкески, отчего грязные полосы придают очень комичный вид его физиономии.

— Скорее, скорее ребята, — понукает он солдат и казаков, являющихся все с новыми и новыми партиями вьюков.

— Что, еще много там осталось фургонов? — спрашивает он унтер-офицера, назначенного вводить их в Калу и показывать места.

— Много еще, ваше высокоблагородие! — отвечает тот, к небольшой печали коменданта, начинающего чувствовать потребность в отдыхе, которому нечего и думать предаваться, пока Кала не будет приведена в оборонительное состояние, так как каждую минуту может прийти генерал, сам не знающий отдыха и требующий от других добросовестного исполнения своего долга.

До глубокой ночи возился гарнизон этого укрепленьица со своей работой. Наконец все было готово; выход был засыпан землей и наглухо заделан. Кала была отделена от всего остального мира своими высокими стенами, за которыми блестели штыки часовых, расхаживавших по парапету. Все улеглось наконец; слышался храп солдат, лежавших где попало вповалку, полусонный рев верблюда, которого мимоходом задел унтер-офицер, кто-то бормотал во сне и потом тяжело вздыхал, снова все смолкало и воцарялась тишина. Где-то далеко слышался перерывистый лай собаки, и временами два часовых, ходивших по двум перпендикулярным между собою парапетам, встречаясь на углу, перебрасывались тихими словами и снова начинали с точностью маятника свою невольную прогулку, всматриваясь в степь, посеребренную взшедшей луной...

Солнце еще не взошло, когда отряд, шедший на рекогносцировку, выступил с бивака. Оставшиеся в Кале с живым чувством любопытства и участия следили за этой темной массой, постепенно исчезающей с глаз в предрассветном сумраке.

Стало уже светло, прошло около часа после выступления отряда, когда до гарнизона Калы донесся первый звук оружийного выстрела.

Облако пыли скрывало наш отряд из глаз, но звук этого выстрела показал, что дело началось. Как бы по команде обнажились головы офицеров и солдат маленького гарнизона, творивших крестное знамение с безмолвной молитвой о помощи нашему отряду. Все чаще и чаще потрясался воздух гулом орудий, по-видимому, бой был не на шутку. В песках, где не было пыли, виднелись массы неприятельской кавалерии, спешившей в Геок-Тепе. Если вас интересует, читатель, быть свидетелем перипетий этой кровавой драмы, я вас сведу туда, к этому маленькому отряду, окруженному кольцом текинских наездников, которое становится все уже и уже. Кажется, что эта едва приметная кучка людей в белых рубахах неминуемо должна исчезнуть и быть поглощенной этим морем разноцветных халатов, окружающих ее со всех сторон...

Весь воздух наполнен пороховым дымом и непрерывным гулом и треском. Текинцы все суживают свое кольцо; простым глазом можно различить черты лиц этих диких наездников, в карьер подскакивающих к нашей цепи и стреляющих из винтовок, после чего они снова отскакивают, чтобы зарядить оружие... Отряд остановился и, повинувшись громкой команде самого Михаила Дмитриевича, приостановил стрельбу для того, чтобы через минуту грозным единодушным залпом заставить содрогнуться воздух и землю...

Все вокруг окуталось дымом... Кольцо, составленное текинцами, прорвалось и расширилось... Убитые и раненые лошади и люди валялись на песке, а живые мчались вдаль от «белых рубах», не ожидая второго залпа... Но шрапнель догоняла их и наводила новый ужас... Хор грянул марш, и снова отряд двинулся вперед; цепь шла по бокам, непрерывно отстреливаясь от неприятеля, дымки от выстрелов которого расстилались повсюду. Пули со свистом пронеслись над головой или же шлепались в песок, подымая пыль...

Цепью командует мой приятель — поручик Самурского полка, гигантского роста, с громадной бородой, с энергической и очень симпатичной физиономией; он стоит, вытянувшись во весь свой рост, и скручивает папироску между загорелыми пальцами и изредка поглядывает вперед, где степь чернеет неприятелем и откуда летят все эти пули, свистящие и жужжащие около него, как шмели...

— Опять ты кланяешься, Васильев! — обращается он к солдату соседнего звена, который, полусогнувшись и боязливо моргая глазами, вынимает из подсумка патрон...

Солдат конфузится и молча заряжает винтовку, вскидывает ее к плечу и, видимо, не целясь, спускает курок...

— Поди сюда, Васильев! — снова обращается к нему поручик. Солдатик подбегает и берет на плечо.

— Ну, как же тебе, братец, не стыдно стрелять зря? Ведь ты не целился, скажи по правде?

— Никак нет, ваше б-дие! — отвечает солдат, которому, видимо, очень жутко быть в огне.

— Ты сколько уже выпустил патронов? Поди, штук сорок или больше, а ведь, наверное, не убил ни одного текинца!

— Не могу знать, ваше б-дие, — отвечает солдат, и действительно видно по его физиономии, что в данный момент он ровно ничего знать не может, так он взволнован этим проклятым свистом вокруг.

— Покажи ружье, — продолжает неумолимый поручик.

Солдатик с видимой дрожью в руке передает командиру винтовку.

— Ну, так и есть, прицел не поднят! Ты знаешь ли, дурень, что ты все время стрелял на двести шагов, а до неприятеля добрая тысяча; все твои пули даром пропали, не долетели и текинцы, поди, смеются теперь!

Поручик подымает прицел, устанавливает его на тысячу шагов и, велев хорошенько целиться, а не стрелять на воздух, отсылает солдатика к своему звену.

— Унтер-офицерам осмотреть прицелы в цепи, у всех ли на тысячу шагов! — слышится его команда, заглушающая трескотню выстрелов.

Пойдем дальше по цепи и посмотрим, что делается в авангарде. Там приходится жутко: сильный перекрестный огонь текинцев направлен сюда; взвод орудий непрерывно обстреливает котловину, откуда неприятель более всего поддерживает огонь. Пехотная цепь лежит, чтобы не подвергаться напрасным потерям; вот где-то поблизости затрещала картечница, отчетливо отбивая свое непрерывное та-та-та... Другая тоже ее поддерживает. Молчавшее несколько времени четырехфунтовое дальнобойное орудие бухнуло, как бы говоря: почему же и мне не подать своего голоса.

Со звоном ударились фальконетная пуля в шину колеса картечницы, отскочила и шлепнула в ногу рядом стоящего матроса Петрова, бравого малого, исполняющего в батарее и во всем отряде обязанности парикмахера, повара, печника, портного и т.д.

Сей уважаемый энциклопедист крикнул и присел...

— Сильно зацепило? — обратился к нему батарейный командир лейтенант Ш—н, сидящий верхом на лошади, которая никак не хочет стоять на месте и поминутно бросается в сторону, пугаясь свиста пуль, летающих в изобилии. Бравый лейтенант опасается не без основания, что он может во время этого «аврала» слететь со своего подвижного «мостика».

— Крови нет, ваше б-дие! Должно, только одна «конфузия», — отвечает, подымаясь и хромая, матрос. — Да вот и она самая! Ишь проклятая какая здоровая, да смятая! — И он подает лейтенанту полуфунтовую фальконетную, сплюснутую о колесо пулю.

— Ну и кости же у тебе, Петров! — хохочут командор и прислуга картечницы. — Ишь ведь как пуля смялась!

— Черти! Вам смешно! А мне аж всю ногу разломило! Страсть как больно! Хорошо, что она сначала в орудие вдарилась, а как бы прямо по ноге хватила!

Петров, хромая, снова становится к картечнице.

В это время в цель галопом вскакивает Михаил Дмитриевич Скобелев со своей свитой. Рядом с ним начальник артиллерии полковник Вержбицкий — семидесятилетний старик, прошедший всю свою службу на Кавказе и участвовавший более чем в сорока делах!

Генерал весело поздоровался с моряками и начал осматривать неприятельскую позицию в бинокль. Текинцы направили на него ожесточеннейший огонь. Михаил Дмитриевич не обращал на это никакого внимания и обернулся назад только при звуке пули, ударившейся во что-то мягкое... Трубач начальника артиллерии, молодой солдат, потерял стремя и неуклюже шлепнулся, как мешок, на землю. Маленькая струйка крови окрасила его губы, и он остался неподвижным на песке... пуля пробила сердце. Явились санитары с носилками, подняли его и унесли... Одним человеком стало на свете меньше, и никому не было дела до этой преждевременно, насильственно угасшей жизни, да и возможно ли обращать внимание на всех убитых!..

Может быть, и сжалось болезненно чье-нибудь сердце при мысли, что и его ожидает такая же участь, но это было на мгновение и мысли потом приняли снова другой оборот...

Не буду описывать продолжения боя, так как описание это было бы однообразно. Долго еще гремели орудийные выстрелы, застилая степь облаками дыма; трещали берданки, посылая тысячи пуль в массы текинских наездников, не раз охватывавших подвижною волною наш маленький отрядец и снова отхлынувших, не имея достаточно мужества броситься в шашки... Долго еще лилась кровь, пока отряд дошел до стен Геок-Тепе на такое расстояние, что можно было снять план с этого укрепления, что и было сделано нашими топографами под градом пуль... Самое художественное, правдивое описание не даст вам читатель того ощущения, какое охватывало, опьяняло участников этого дела. Смешиваясь с громом выстрелов, музыка непрерывно оглашала степь воинственными звуками марша и эта кучка людей в восьмьсот человек, окруженная десятками тысяч беспощадных, рассвирепевших врагов, сыпавших пулями, стройно, как на параде, двигалась под знойными лучами солнца, ярко освещавшего эту эпическую борьбу... Только один незабвенный герой — «Белый генерал» — мог своим высоким гением довести назад этих людей через массу неприятеля... Минута смущения, минута нерешимости, и отряд бы погиб... Но смущения не было. Равняясь под музыку, шли солдаты, воодушевленные духом своего геройского вождя, и неприятель расступался перед этой гордой фалангой «белых рубах», грозным молчанием отвечающих на сыпавшиеся пули... Но вот колонна останавливается, развертывает фронт, который сразу

окутывается клубами дыма; меткий единодушный залп гремит как один выстрел. Воздух наполняется свистом пуль...

Снова играет хор музыки, снова стройно тянутся ряды «белых рубах», солнце сверкает на штыках, и текинцы с озлоблением начинают сознавать, что выше их сил помешать «уруссу» делать, что он хочет...

Я хочу вам теперь, читатель, рассказать два эпизода, характеризующие покойного Михаила Дмитриевича Скобелева и давшие ему между офицерами и солдатами ореол недосягаемого геройства. Мой рассказ не прибавит к славе покойного генерала ни одного лепестка, я это знаю, так как его имя так уже возвеличено в сердцах русского народа, что сделать его выше невозможно; я хочу только рассказать эти два эпизода, чтобы выяснить причину того нравственного обаяния, которое производил покойный на всех своих подчиненных и которое было его главной силой, ведшей его по пути громких, достославных побед повсюду, где он, этот легендарный наш современник, появлялся во главе русских солдат!

В самом начале дела генерал заметил, что массы текинской кавалерии готовятся сделать на отряд атаку. Зная, что против среднеазиатской кавалерии наилучшее средство ракеты, наводящие своим шумом панический ужас на лошадей, покойный Михаил Дмитриевич приказал отряду остановиться, вызвал на позицию ракетную сотню и велел открыть огонь, сам стоя в интервале между двумя станками, верхом. Казак приложил фитиль... Понеслось шипение... Масса огня и дыма вырвалась из станка, который грузно шлепнулся на землю... Ракета не пошла... Каждую секунду надо было ожидать разрыва гранаты, помещенной в ракете и самого станка... Все окружающие пригнулись и зажмурились... Незабвенный наш герой дал шпоры лошади, храпевшей и бившейся от страха; она высоко взвилась на дыбы и заупрямилась, новый удар в бока — и лошадь одним прыжком очутилась над станком... Грянул оглушительный взрыв... Звеня и свистя разлетелись осколки... Облако дыма скрыло на минуту Михаила Дмитриевича из глаз окружающих, пораженных его поступком...

Черная пелена рассеялась, и он предстал всем нам целым и невредимым, с самым покойным выражением лица... По бокам и брюху его белоснежного коня текли струйки крови из трех или четырех ран... В нескольких шагах по земле катался в предсмертных судорогах казак с пробитой грудью и животом.

Я не берусь описывать чувство энтузиазма, охватившее всех присутствовавших... Загремело ура! Полетели вверх фуражки... Хотелось всем и каждому броситься к этому великому человеку, хотелось расцеловать его, обнять, прикоснуться только хотя к его платью...

Хотелось чем-нибудь выразить свое благоговение, свой восторг! Этим геройским поступком генерал поднял дух окружавших, потерявшихся от этой непредвиденной катастрофы.

Не медля ни минуты, по отданному сотенным командиром приказанию, первый номер второго станка приблизил левой рукой

фитиль, сотворив правой крестное знамение... С шипением вылетела ракета и угодила как раз в толпу текинцев, немедленно рассеявшихся. Казак на месте же получил Георгиевский крест.

В этом же деле Михаил Дмитриевич заметил, что Краснодарская местная рота, вооруженная винтовками Карле, отличающимися скверным боем и с прицелом всего на 600 шагов, должна была залечь против превосходящего числом неприятеля, вооруженного берданками, отбитыми у нас 28 августа 1879 года. Нравственное состояние бедных красноводцев было далеко не завидное при виде своих пуль, падающих на половине расстояния до неприятеля, в то время как сотни бердановских и фальконетных пуль щелкали и визжали мимо ушей.

Результатом явилась деморализация, выразившаяся в том, что, когда ротный командир, поручик Владимиров, приказал дать сигнал к подъему, чтобы перейти ближе к неприятелю и залечь в более удобном месте, рота не поднялась. Ни приказания, ни убеждения не действовали...

Покойный Михаил Дмитриевич, от орлиного взора которого ничего не ускользало, заметил это замешательство и, не взяв с собой ни одного ординарца, поскакал по сильно обстреливаемой местности к роте. По его команде: «Встать!» — рота поднялась. Выстрелы со стороны текинцев еще более участились при виде этого поднимающегося длинного фронта. Генерал проделал несколько ружейных приемов, вызвал затем песенников на правый фланг и повел людей лично на несколько сот шагов вперед, под звуки какой-то разухабистой солдатской песни! Куда девался и страх и замешательство! Осыпаемые пулями, прошли, как на учении, люди шагов шестьсот, и, странное дело, с того момента, как подъехал Михаил Дмитриевич, потерь больше не было. Текинцы при виде такого мужества не выдержали и отошли!..

В боевой деятельности покойного героя подобные факты насчитываются сотнями; теперь понятно то чувство боготворения, которое испытывали видевшие его в деле, понятно, почему он был героем народа, не чаявшего в нем души; понятно также, отчего его ненавидели многие, добравшиеся до высоких степеней военной и общественной иерархии при помощи не личной храбрости и талантов, а благодаря проискам, хлопотам бабушек, тетюшек и поступкам, где приносилось в жертву и самолюбие, и самостоятельность, и совесть...

Покойный Михаил Дмитриевич был вечно для них ненавистным примером того, что можно сделать, обладая качествами, которых не было в их гаденьких душонках! Этот гигант давил их величием своих подвигов и своей души, и не было той грязной клеветы, которую бы не бросали эти господа в покойного героя. Но те, кто знали его, всегда будут чтить память этого преждевременно отнятого смертью у России истинно русского человека и великого полководца! Пройдут тысячи лет, и имя его будет в народных песнях, в народном эпосе занимать то же место, что имена Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Владимира Красного Солнышка!

Спи спокойно в своей могиле, обожаемый нами герой! Тебе уже не придется помериться силами с врагом, борьба с которым была твоей заветной мечтой, но твой дух будет жить в груди тех людей, которые под твоим начальством проливали кровь на благо страстно любимой тобою России...

Измученные, запыленные, закопченные порохом, едва движущиеся, добрались наконец солдатики, после 12-часового непрерывного боя, до Эгян-Батыр-Кала. Но физическая усталость искупалась тем радостным настроением, которое ощущает человек после боя, выйдя из него победителем, искупалась сознанием своего честного поведения, своего самопожертвования! Чудные минуты, наслаждение ни с чем не сравнимое!

Оставшийся в Эгян-Батыр-Кала гарнизон приготовил для своих товарищей еще заранее дрова, чтобы не пришлось им заниматься этой утомительной работой.

Весело затрещали костры, на которых варилось кушанье для проголодавшихся солдат. Некоторые в ожидании обеда чистили винтовки, другие поправляли обувь.

Повсюду велись оживленные разговоры по поводу только что оконченного дела, и имя Михаила Дмитриевича слышалось во всех устах. Часть саперов быстро выравнивала парапеты для орудий на случай ночного нападения. Отряд был расположен между виноградников, за глиняными стенками вышиной футов в пять. В стенках были прорезаны для орудий амбразуры, пехота же могла стрелять через банкет.

Текинцы, таким образом, для нас же создали укрепление, которое и помогло, как увидит дальше читатель, выдержать страшно неравный ночной бой.

Начинало уже смеркаться, когда были закончены работы и генерал пошел их осмотреть с начальником штаба.

— Теперь девятый час, — обратился он к капитану артиллерии Петру Васильевичу Полковникову, — два часа будут текинцы ужинать, два часа совещаться, да около двух часов времени нужно им добраться сюда от Геок-Тепе; так приблизительно в третьем часу ночи сделают они на нас нападение, не забудьте же зарядить орудия на ночь картечью!

Покойный генерал удивительно знал обычаи всех этих «халатников». Он не ошибся и тут!

Наступила темная ночь. Измученные солдаты спали как убитые, в лагере повсюду слышался богатырский храп, бодрствовали только аванпосты, оберегавшие сон товарищей. Все было тихо впереди внимательно всматривавшихся во мрак часовых. Но, обладая они глазами дикой кошки, они увидели бы шагах в четырехстах перед собой и на флангах сотни и тысячи фигур, ползущих бесшумно по земле или едущих верхом на лошадях, копыта которых обернуты войлоком. Фигуры эти лезли в разных направлениях, обхватывая кольцом маленькое укрепление Эгян-Батыр-Кала; скоро все окружающие виноградники были наполнены этими фигурами, которые, как тени, бесшумно прятались в кустах, все ближе и

ближе подвигаясь к месту стоянки «белых рубах». Гнев и месть клокотали в их груди при воспоминании о сегодняшних жертвах, которые теперь грудами лежали в Геок-Тепе, окруженные рыдающими женами, матерями и сестрами! Вот ползет старик в изодранном халате, он потерял свою папаху, но не чувствует свежести ночи; голова его горит, рука сжимает ствол тяжелого «мултука», он ненавидит всей силой души своей этих, Аллахом и Магометом проклятых, собак... Сегодня его дитя, его любимец, джигит Ахмет был ссажен с коня разрывом этой проклятой штуки, выдуманной гяурами, которая лопается в воздухе и сыплет сотнями пуль... Старик видит перед собой это окровавленное лицо, судорожно искривленное, видит это богатырски сложенное тело, передергивающееся в предсмертной агонии, и ненависть душит его... Рука впиивается в холодный ствол ружья, и горе той «белой рубахе», на голову которой опустится приклад этого пудового, старинного оружия...

Совсем близко от аванпостов лежит что-то темное, камень, быть может, а то и куча песку, в темноте разобрать мудрено... Нет, это не камень, и не куча песку, это человек, тоже пришедший отомстить «уруссам» за две молодые жизни, безжалостно ими разбитые, — за свою молодую жену и грудного ребенка! Он, как храбрый джигит, одним из первых вышел сегодня утром из крепости встретить непрощенных гостей... Двенадцать часов носился он в вихре пуль и снарядов на своем горячем скакуне... Близко подскакивал он к «белым рубахам» и стрелял из берданки, у них же в прошлом году взятой... Довольный собой, возвращался он в крепость, как вдруг у самого входа встретил его брат и сообщил, что «огненная змея» (ракета) разбила его кибитку и разорвала на части его красавицу жену и грудную дочь... Храбрый джигит и виду не показал, что его сердце облилось кровью и что рыданье остановилось с трудом в груди; только складка легла между бровями да рука с нагайкой опустилась на круп недоумевавшего коня, сделавшего отчаянный скачок... Въехал джигит в крепость и... Аллах! Аллах! — невольно сорвалось с уст его! Повсюду кровь, тела, разбитые кибитки, дымящиеся войлоки, стон и рев раненых верблюдов, визг и вой собак... Там, где еще утром стояла его кибитка, где он оставил свою молодую жену, всего одиннадцать месяцев тому назад украденную им в Асхабаде, этот перл между красавицами оазиса, подарившую ему месяц тому назад славную девочку с быстрыми глазенками, там находит он куски решеток от кибитки, полусгоревшие ковры, громадную лужу крови и разбросанные останки дорогих ему существ... И все это наделал «огненный змей», брошенный сюда «белыми рубахами»... Он оборачивается на восток, губы его что-то шепчут, воспаленные глаза мечут молнии — он дает Аллаху обет в эту же ночь отомстить гяурам! И вот теперь он лежит близко от «белых рубах», и смертельная ненависть заставляет громко, громко стучать его сердце... Горе тебе будет, солдатик, если прозеваешь врага... Образ

жены и дочери, убитых твоими, сделали текинца беспощадным, и его шашка одним ударом разрубит тебя до пояса...

И целые сотни и тысячи подобных мстителей подползли к стану «белых рубах»... Но вот один из них не выдержал... Показалось ли ему, что он сквозь мрак ночи различает фигуру аванпостного часового, долженствующего сделаться первой его жертвой, или же им самим овладело чувство страха при этом безмолвии в давящем окружающем его мраке, только рука судорожно нажала спуск мушкетона... Сверкнуло красноватое пламя выстрела, раскатился по степи отрывистый гул и грохот... Молчавшая до сих пор ночь как бы только этого и дожидалась, чтобы огласиться беспорядочной стрельбою и криками... Тысячи пуль засвистали по всем направлениям!.. Огоньки вспыхивающих выстрелов засверкали повсюду, прорезывая мглу мгновенной вспышкой красного пламени... Мирно спавшие «белые рубахи» вскочили и, схватив винтовки, выстроились за глиняными стенками, в которые все чаще и чаще начинали шлепаться пули... Пронзительный свист конических пуль и басовое жужжанье фальконетных раздавались над головой... Изредка прогремит отрывистый выстрел берданки одного из стрелков, рассыпанных по стенке, которому уже стало невтерпеж быть мишенью и который посылает текинцу ответ на огонь его выстрела... Офицеры удерживают солдат от беспорядочной траты патронов... Вот старый боевой капитан, много раз бывший уже в переделках и похуже, ходит перед фронтом своей роты, кутаясь в бурку и от души проклиная этих непрошенных гостей, помешавших ему выспаться; ему и горя мало, что около шлепаются пули: страшная зевота овладевает им, а не вовремя прерванный сон еще более заставляет чувствовать ночную прохладу!

Недалеко виднеется искорка папиросы — это бравый капитан Полковников покуривает в ожидании того момента, когда его четырехфунтовкам надо будет «приснуть» картечью.

С какой-то особенной, неестественной развязностью прохаживается молодой гардемарин перед взводом своих картечниц — он в первый раз в деле, и на душе у него скребут кошки. Будь посветлее, можно было бы заметить его бледность, но, к счастью для его самолюбия, мрак скрывает этот признак боязни... Вот он остановился в интервале между орудий, и как раз в этот момент против него сверкнуло несколько огоньков... Он зажмурил глаза... «Прямо в меня», — мелькнуло у него в голове... Теперь «она» уж близко... Неужели! Где-то очень высоко прогудели эти пули, предназначенные, как он думал, для него... Фу, какая гадость! Можно ли так трусить! — злится сам на себя молодой моряк и нервно отходит от стенки... Едва он делает несколько шагов, как в ушах у него раздается болезненный крик... Какой-то казак получил пулю в живот... Как будто чем-то холодным повели по спине у гардемарина... Никогда ему еще не хотелось так жить, как теперь... С ним начинала делаться нервная дрожь... Зубы стучали... В голове носились обрывки мыслей... Убьют или ранят!

Вот еще две свистнуло... Стой я там — и кончено... Нет, буду уж лучше тут... Неужели этот капитан не боится?.. Счастливец!.. Ишь, дьявол, как близко шлепнулась! Убьют, наверное, убьют!.. В сердце или в голову!.. Ох, как страшно... Притвориться раненым? Нельзя, узнают... Проклятые руки не слушаются, так и трясутся, точно в лихорадке. Положить разве портсигар на грудь... Кого-то спасло... Нет, не пойду больше на войну!.. Бедняга, как он кричит... И я так буду...

— Ваше б-дие! Командир вас требуют! — послышался сзади гардемарина голос одного из матросиков.

— Где он? — спросил молодой моряк, стараясь придать своему голосу выражение твердости, что ему, впрочем, плохо удалось.

— А вот тут, сейчас налево. Они с начальником штаба разговаривают.

Гардемарин быстрыми шагами пошел по указанному направлению, поклонясь по дороге раза два свистнувшим мимо пулям.

— Вы останетесь здесь с вашим взводом картечных, я же иду к ставке генерала со своими двумя орудиями; надеюсь, что в случае чего будете действовать молодцом — такими словами встретил его лейтенант Ш—н.

Эта фраза, произнесенная покойным голосом среди страшной трескотни и свиста пуль, подействовала на необстрелянного юношу успокаивающим образом. Важную роль играло сознание того, что он теперь остается самостоятельным командиром; боязнь исчезла наполовину, в уме мелькнула мысль — едва ли попадут, темно ведь совсем!

— Будьте покойны, Николай Николаевич, распоряжусь как можно лучше, — ответил гардемарин уже твердым голосом.

— Главное — не горячитесь, в случае атаки неприятеля подпускайте ближе и тогда уже открывайте непрерывный огонь! Прикрытие у вас надежное, словом, не теряйте бодрости!

Лейтенант пожал руку молодого моряка и исчез в темноте с двумя своими картечными, лихо подхваченными на лямки бравои прислугой...

Пули сыпались все чаще и чаще... Крики раздавались ближе... В виноградниках засел неприятель, и оттуда летел свинцовый дождь... Жутко становилось «белым рубахам»... Куда ни взглянешь — повсюду мрак прорезывается вспышками выстрелов... Нет, нет и поле горизонта осветится красноватым пламенем, и над головой пронесется точно туча пчел или шмелей... Сначала неприятель стрелял издали, теперь же гром его выстрелов становился все ближе и ближе. Крики: «Алла, Мамет, ур, ур!» — стоном стояли в ушах маленького отряда! Тяжелое сознание своей полной изолированности от всего остального мира камнем ложилось на грудь! Ближайший пункт, где были наши, — это Бами, в 126 верстах, значит, помощи неоткуда было ждать — оставалось пробиться через это кольцо освирепевших врагов!

Со стороны виноградников неприятель подвинулся значительно вперед, меньше сотни шагов было расстояние до этой воющей и

ревушей толпы... Отдельные голоса кричали ругательства, угрозы... Солдаты-татары переводили, что они кричат о том, что собак гяуров немного и что они запаслись уже веревками, чтобы перевязать всех... Наступал критический момент... Несколько минут еще — и вся масса этих диких зверей ринулась бы на отряд и задавила бы его своей численностью... Ни храбрость, ни усовершенствованное оружие не помогли бы выдержать эту неравную борьбу одного с тридцатью... Закусив губы до крови, с напряженными мускулами, готовились «белые рубахи» встретить эту массу, которая должна была все задавить, но предварительно узнать тяжелым опытом, что «урусс» продает свою жизнь за дорогую цену...

Покрывая собой трескотню выстрелов и гам текинцев, раздался резкий голос самого «Белого генерала», не терявшего ни в какие минуты своего хладнокровия!

— Ну, ребята, я сам скомандую залпом! Да смотрите у меня, чтобы залп был, как говорится, орех раскусить! Роты — товсь! Роты — пли!..

Единым выстрелом раскатился по степи грохот единодушного залпа!..

В виноградниках послышался страшный треск ломаемых сучьев: будто ураган пронесся в этой чаще... Крики ярости, бешенства, неожиданности, стоны раненых наполнили воздух; слышно было, что враг подался назад... Прежде чем он опомнился, надо увеличить панику... Еще раз сверкнула длинная огненная линия залпа... Снова затрещали кусты и деревья, пронизываемые пулями... Ответом был рев и проклятия текинцев, но тон уже изменился — это не был вызывающий крик врага, собирающегося броситься в рукопашный бой и сознающего свою силу, — нет это был крик ярости массы, признающей свое бессилие...

Засвистела картечь... Топот бегущих слился с шумом перестрелки... Отдельные крики продолжали раздаваться, но в них не было уже ничего способного навести на солдат ужас; кучка «белых рубах» спаслась...

Темнота начинала рассеиваться, на горизонте небо принимало более светлые оттенки; еще недолго, и должен был явиться могущественный союзник «урусса» — дневной свет! Первый луч солнца — и вся эта масса врагов будет уже не страшна: картечь и огонь берданок будут держать их в почтительном расстоянии...

Текинцы понимали это и хотели сделать еще попытку под прикрытием мрака ночи задушить своей численностью кучку дерзкого врага, забравшегося в недры их привольных степей...

Но пока они собирались с духом и тратили время на обсыпание нас пулями, на востоке явилась розовая полоса утренней зари — предвестницы того, что через несколько минут вся степь будет озарена яркими лучами дневного света.

Как говорится, призраки боятся утреннего пения петухов — так и текинцы испугались зари... Выстрелы стали отдаляться, пули уже проносились в воздухе одиночками, а не массою...

Солдатики могли вздохнуть полной грудью... Все чаще и чаще защелкали сухие выстрелы наших винтовок, посылая пули в силуэты неприятеля, сделавшегося заметным и торопившегося уходить... Наконец появился краешек солнца, озаривший зеленые вершины Копет-Дага нежным розовым светом... Тяжелая ночь прошла, и чувство радости охватило всех...

С первыми лучами солнца из лагеря вышла рота саперов уст-раивать через топкое место мостик. Неприятель рассыпался по всей степи и в особенности сосредоточился под горами...

«Белые рубахи» должны были ожидать хороших проводов, но это их уже не пугало — солнце ярко светило, и впечатления ночи успели уже изгладиться. Изредка со стоном пронесется в воздухе пуля и вызовет шутливое замечание кого-нибудь из солдат... Отдано приказание варить чай, и во многих уже местах подымается к небу голубая струйка дыма... Аванпосты выведены на места и от скуки занимаются постреливанием по чересчур близко подскакивающим наездникам... Вот командир батареи в бинокль заметил толпу пеших под горами, собирающихся в овраге; немедленно заряжено орудие шрапнелью, и утренний воздух потрясается громом пушечного выстрела; на синеве неба далеко, далеко показывается клубочек молочного цвета дыма, и из оврага, как испуганная стая птиц, выскакивают разноцветные халаты и разбегаются по степи, увеличивая собой громадное количество черных точек, рассыпанных на протяжении нескольких верст. Иногда одна из этих точек начинает вдруг приближаться, увеличивается, превращается в всадника, подскакивающего все ближе и ближе; вот видна его черная шапка, длинный мулдук, который он держит, уперши в седло. Аванпосты открывают огонь, лихой джигит подскакивает еще ближе; вдруг на полном скаку он прикладывается — белый дымок скрывает его на момент, пуля свистит над головами стрелков или шлепает в нескольких шагах перед ними. Вся линия нашей цепи трещит, взрываема падаящими пулями пыль закрывает всадника; пыль рассеивается — ропот удовольствия пробегает по цепи: джигит лежит на песке, а конь его с перебитой ногой старается ускакать от этого рокового для него и хозяина места. Солнце подымалось все выше и выше... Чай уже сварен, солдаты спешат закусить перед походом... Повсюду идет оживленный говор. Славно теперь погрызть сухарь и выпить дымящегося чайку... Не будь изредка слышно ружейных выстрелов да не доносились стоны раненых, которых перевязывает наш бравый эскулап Минкевич, никто бы не подумал, что отряд только что выдержал кровопролитное дело и что до сих пор еще он окружен врагами...

В нескольких шагах от кучки пьющих чай матросов лежит только что раненый казак Таманского полка; какая-то, неизвестно откуда взявшаяся пуляхватила беднягу в правый бок и засела внутри. Доктор осматривает его и, должно быть, причиняет сильную боль, так как это атлетически сложенное бронзовое тело вздрагивает и бьется... Бородатое загорелое лицо передергивается судорогами, побледневшие губы шепчут:

— Больно, ой! Ой! Жжет! Смерть моя пришла! Братцы, жжет! Пить! Нутро горит!

Один из матросов подходит с стаканом чая; раненый делает хлопок, и крик вырывается у него... Он мотает головой, показывая, что не может больше... Доктор безнадежно покачивает головой и накладывает перевязку на рану — едва заметное черное отверстие, из которого выступила капелька темной крови... Казак тяжело дышал, и губы окрашивались у него розовой пеной... Глаза смотрели из-под полуопущенных век, и в них выражалось и страдание и желание жить... Тяжело, читатель, умирать в светлое свежее солнечное утро... Хотя небесный свод и манит к себе своей чудной, глубокой синевой, но все-таки не хочется переселяться туда навеки... Как ни скверно на земле, а страстное желание жизни проникает все существо и смерть кажется чем-то чудовищным, невозможным, невысказанным в этом общем оживлении природы, обливаемой горячими лучами яркого солнца... Солдаты закусали... Начали навьючивать верблюдов... Текинцы уже более не беспокоили выстрелами, но, собравшись в почтительном отдалении, ожидали выхода отряда с места ночевки... Но вот проскакал один из ординарцев генерала, сообщая начальникам отдельных частей приказание выстроить солдат, так как генерал намерен объехать отряд и поблагодарить его за молодецкое дело этой ночи... В мертвой тишине, растянувшись длинным фронтом, ожидали «белые рубахи» появления своего боготворимого вождя... Вот и он, как всегда блестящий, покойный, выделяющийся из всех своей мужественной красотой... Далеко пронесся по степи его громкий, звенящий, немного картавящий голос, здоровающийся с солдатами... Загремело по фронту радостное, единодушное: «Здравия желаем ваше пр-ство».

Теплыми, задушевными словами благодарил Михаил Дмитриевич своих молодцов, и этой благодарностью воодушевлял их на новый бой, на новые опасности...

Генерал закончил словами: «Теперь, ребята, помолимся за упокой души наших товарищей, честно исполнивших свой долг, павших за Веру, Царя и Отечество и получивших уже свою награду перед престолом Создателя...»

Священник, в полном облачении, начал служить панихиду... И все эти загорелые, закопченные порохов головы набожно склонились на грудь, принося теплую, полную веры молитву за вечное успокоение душ своих товарищей, которым промысл Божий судил навсегда остаться в этих раскаленных песках вдали от своей родины... Священник окропил святой водой кусок земли, которая должна была принять в свои недра павших героев, тела их осторожно опущены в могилу... и страшный залп потряс воздух... залп, понесший сотни пуль текинцам, недоумевающим, что делает «урус»...

Последняя почесть была оказана... Музыка заиграла марш, и отряд «белых рубах» стал медленно выходить из того места, которое благодаря гению великого «Белого генерала» не сделалось

его могилой!.. Текинцы издали открыли огонь, совершенно безвредный, но сделать нападения не решились... Они расступались перед этой горстью с бешенством и яростью в душе, сознавая свое бессилие... Изредка гремело орудие и дождь шрапнели сыпался на кучку смельчаков, слишком близко подскочивших к отряду... А солнце начинало уже сильно жечь и напоминало о предстоящем тяжелом переходе... Но «белые рубахи» под впечатлением одержанной победы легко и беззаботно шагали, как будто это не их головы и спины подвергались действию жгучих лучей солнца... Музыка играла безостановочно, и отряд все дальше и дальше оставял за собой белые стены Эгянь-Батыр-Кала... Скоро они совершенно исчезли в море желтого песка, но не исчезло из памяти людей, проводивших эту ночь в Эгянь-Батыр-Кала, воспоминание о пережитом и пережитом за время боя семисот с двадцатью тысячами... И когда нахлынут воспоминания, из них самое яркое — личность покойного героя, богатыря Михаила Дмитриевича Скобелева, который только один мог вывести и спасти этот отряд; будь же на его месте один из генеральчиков, считающих себя гениями и бросающих грязью в покойного, — отряд бы погиб...

Впрочем, незачем этого и доказывать — 28 августа 1879 года достаточно показало, что могут сделать наши высокопоставленные, титулованные полководцы, мнящие себя гениями... Однако довольно; не надо, чтобы желчь подымалась; воспоминание о деле 6 июля слишком хорошо, чтобы его портить приведением себе на память фактов трусости и бесчестия... *Sapienti sat.*

7. ОСАДА И ШТУРМ ГЕОК-ТЕПЕ

Однажды в Петербурге попал я на вечер «с генералами» — не с щедринскими действительными статскими советниками, нет, с настоящими генералами — с лампасами и со всеми прочими принадлежностями... Со скромностью, пропорциональной моему маленькому чину, уселся я в угол и весь обратился в слух... Были тут генералы боевые и мирные, были генералы большие и маленькие (насколько генерал может быть вообще маленьким), были почти что Суворовы и были только что оперяющиеся полководцы; были генералы едва-едва цедающие слова сквозь зубы и были говорящие плавно, мерно, торжественно целые тирады в два или три столбца мелкой газетной печати, с блаженством прислушивающиеся к журчанию собственной речи, так и просящейся в хрестоматию образцов русской словесности... О, зачем я не стенограф!..

В воздухе скрещивались гармоничные — «ваше превосходительство!», повторяемые на разные тоны, порой слышалось и «excellence!». Словом, все до того было проникнуто «превосходительным духом», что я, совсем маленький человек, вдруг вообразил, что обладаю уже необходимой частью туалета — с лампасами...

Когда в разговоре вся Европа была покорена присутствовавшими полководцами, причем на долю каждого досталось по крайней мере по одному сражению, а иным и по несколько (в зависимости от чина) — виноват, впрочем, один старый, почтенный полководец не одержал ни одной победы, так как все время мирно всхрапывал в укромном уголке, тогда дело дошло и до Азии! Не успел я мигнуть, как «их превосходительства» уже делили Китай; через минуту один молодой «генерального штаба» генерал (в Германии такие юнцы не всегда и ротой командуют) занес уже ногу, чтобы перешагнуть Гималаи и собирался провозгласить себя покорителем Ост-Индии, как вдруг кому-то пришла неудачная мысль вспомнить о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве и о только что окончившейся Ахалтекинской экспедиции! Мой Создатель, как все вострепнулись! Через пять минут я, прошедший весь оазис, бывший во всех делах, знающий мельчайшие обстоятельства приготовления к экспедиции и ее исполнения, получил такие сведения из уст собравшегося генералитета, что окончательно обомлел; я не мог себе уяснить, нахожусь ли я в обществе русских, которые, как мне кажется, должны радоваться всякому успеху родного оружия, или же я попал в общество ненавидящих нас немцев или венгерцев, злорадно отрицающих все, чем может гордиться Россия. Я с необычным удивлением узнал, что текинцы самый покойный и мирный народ, что отряд пребывал все время не в пустыне, а в настоящем Эдеме, что вода там лучше нашей нельской, что если бы мы захотели, то взяли бы Геок-Тепе без выстрела, что потери наши людьми, а равно отбитие у нас знамени и двух орудий было устроено с намерением, чтобы показать небывалую силу неприятеля, что... впрочем, зачем передавать читателю все измышления, которые может породить мелкая злоба и зависть. Перлом всей беседы был вопрос, предложенный одним из присутствующих, будущих Суворовых и Наполеонов:

— Э... что текинцы... Э... вооружены огнестрельным оружием?

К чести остальной почтенной ассамблеи должен заявить, что ответ последовал утвердительный, хотя немедленно же было дано ложное сведение, что большинство ружей — фитильные. Пишущий эти строки имел груды текинского оружия, но ни одного фитильного мултука.

Чем окончилась беседа, не знаю; во избежание разлития желчи я незаметно исчез... Последние, донесшиеся до меня слова были: «Фи! Какие-то халатники... Вдруг салют, выход во дворец!.. Чес-речур!..»

Злость меня душила... Душила до того, что если бы я, повинувшись первому впечатлению, вернулся назад и захотел бы высказать этой публике истину о ее суждениях, то не мог бы вымолвить ни слова... Да оно и лучше, что не вернулся!

Читатель, наверное, подумает обо мне: какой неблаговоспитанный молодой человек! Осмеливается так критиковать старших, заслуженных уже людей!

Сознаю свою вину, но заслуживаю снисхождения...

Когда эти строки выливаются из-под моего пера, перед моими глазами портрет покойного героя — «Белого генерала»...

Не отнесись я так строго к его врагам и завистникам, людям, не годившимся быть в его войсках даже субалтерн-офицерами, — мне бы постоянно чудилось, что эти холодные, обыкновенно бесстрастные глаза моего боготворимого генерала смотрят на меня с немым упреком, обвиняя меня в измене его памяти...

Итак, в тот памятный вечер компетентные судьи наши порешили, что вся наша экспедиция не стоила и гроша медного, что чествование в Петербурге взятия Геок-Тепе было вовсе неуместно, что об этой экспедиции кричали больше, чем следует, и т. д. Пусть будет, по мнению наших доморощенных Наполеонов, это и верно, я же, со своей стороны, нарисую читателю исторически верную картину двадцатитрехдневной осады и штурма «глиняной крепости безоружных халатников»! Авось читатель найдет, что это действительно прибавляет новый лепесток к лавровому венку покойного героя, да и сподвижникам его служит к чести, а не к позору.

Насколько может обнять взор на север, запад и восток — желтая, песчаная равнина... На юг — длинная линия гор, вершины которых посеребрены снегом...

На этой равнине, верстах в пяти от подошвы гор, временами показывается между облаками дыма какой-то длинный неправильный четырехугольник из белых глиняных стен... Близко от него, едва приметны для глаз, тянутся по поверхности земли линии насыпей, по которым непрерывно перебегают дымки... Во многих местах поднимаются большие клубы молочного цвета дыма, слышатся глухие раскаты, заставляющие содрогаться землю... Это и есть Геок-Тепе...

Издали нет ничего страшного, думается наблюдателю, воображение которого настроено рассказами в ближайшем от Геок-Тепе пункте — Эгян-Батыр-Кала, лежащем в двенадцати верстах. Посмотрим поближе.

Вот, как раз идет транспорт под прикрытием роты и полусотни казаков, присоединимся к нему и отправимся в лагерь, а оттуда — в траншеи...

Грязно... Утром шел снег, а теперь градусов 25 жары и от снега нет и следов, только глинистая почва размокла и на ногах бедных пехотных солдат по пуду глины... Ничего, скоро дойдем, если только на дороге не прихлопнут... Вы с недоверием смотрите? Да, могут и прихлопнуть и даже очень близко отсюда; видите этот мост через арык? Шагах в трехстах отсюда? Ну-с, так вот у самого этого моста нас поподчуют текинцы ядром, и хорошо направленным, за это ручаюсь, так как уже пять раз имел удовольствие слышать его гудение перед самым носом! Вы сдерживаете коня? Не бойтесь, авось и мимо...

Ох, близко проклятый мост!.. Пустили подлецы! Вижу дым орудийного выстрела на стене... Вот оно... Вж-жи... Шлеп... Близко... Что это? Забрызгало глиной физиономию?

Ничего, утретесь рукавом, здесь дам нет.

Что — неприятное ощущение? Будет и хуже... Еще минут 15 ходу, и пульки начнут посвистывать... Они хуже, потому что их больше, да и визжат уж очень несимпатично, чересчур дискантом, так и кажется, что нервная барышня взвизгнула над ухом...

А смерть витает очень близко от нас, видите впереди двое солдатиков несут носилки — вероятно, или убитый, или тяжело раненный; легко раненные обыкновенно сами добираются до перевязочного пункта. Интересно их догнать и спросить: наши здесь уже владения, можно безопасно отделиться от колонны, не рискуя попасть в лапы текинцев?

— Кого, ребята, несете?

— Солдатика, ваше благородие, сейчас убило, так в лагерь его несем.

— Где убило, в траншее?

— Никак нет, вот тутотко — близко! Он из лизервных был, помогал, значит, ротному кашевару, и только он это, нагнувшись, подложить хотел полено, как ему вдарит пуля в эфто самое место, — рассказывающий указал себе на темя, — так он, значит, сейчас и помер.

— Ну, бери на себя больше, — обратился он к товарищу, и они оба снова пошли тяжелою походкою вперед, и убитый снова начал раскачиваться с носилками. В его фигуре не было ничего страшного: побледневшее лицо сохранило самое спокойное выражение, полуоткрытые глаза не выражали ровно ничего — видно было, что человек кончил жизнь самым неожиданным образом и что этот сюрприз не произвел на него дурного впечатления — так был быстр переход от жизни к смерти... Завидная участь в сравнении с теми, которым приходится отправляться к праотцам с постели... Постно-торжественные физиономии окружающих, стереотипные утешения, что еще смерть далека, когда сам умирающий уже чувствует ее ледяное дыхание, пичкание разными произведениями латинской кухни, только увеличивающими агонию, обязательные фразы напутствия, что, дескать, «там» лучше, когда, может быть, сам субъект, «туда» отправляющийся, находит, что здесь, на земле, гораздо лучше... Все это очень неприятно и злит страшно. Нет, что может быть лучше смерти мгновенной, неожиданной! Я молю судьбу послать мне кончину в бою или за зеленым полем — когда объявлю большой шлем на бескозырях и буду брать последнюю взятку — тогда пусть кончится мое земное поприще! Блаженная кончина!

Вот и лагерь наконец. Масса кибиток, большинство врыто фута на четыре в землю и снаружи обложено мешками с землею, чтобы обезопасить их обитателей от пуль, щедро направленных сюда текинцами. Особенно много их сыплется около наметов (больших палаток) Красного Креста; дня не проходит, чтобы не убили или не ранили кого-нибудь из лазаретной прислуги или из числа же раненых и больных. Обидная вещь! Является легко раненный с простреленной рукой или ногой, вдруг через несколько времени

влетает неожиданная гостья и... хлоп! В грудь или в бок! Понятно, приходится умирать...

Один бедняк фельдшер получил пулю в бедро в госпитале во время перевязки раненого; волей-неволей пришлось лечь вместе с пациентами; на другой день бердановская пуля пробила ему на-вылет легкое, фельдшер и тут крепится — не умирает, да и только; наконец, под вечер третьего дня, ему перебило шейные позвонки, тогда только этот здоровяк порешил, что этого для одного человека слишком уже много, и скончался...

Николай Николаевич Яблочков, инженер строительной части, был ранен утром 30 декабря в грудь, а 2 или 3 января получил в лазарете другую пулю в руку. Доктор Малиновский во время консилиума или какого-то заседания медицинского персонала в лагере был ранен в бок...

За лазаретом тянется довольно длинная линия кибиток армян-торгашей. Торговля идет оживленно. «Хоть накануне смерти поем да выпью чего-нибудь», — думают воины, забежавшие на минутку из траншеи в «магазин» какого-нибудь Карапетки. Карапетка же думает: «Авось не убьют, так с капиталом вернусь в Тифлис или Нахичевань» — и дерет страшно, непозволительно дерет! Как покажется, читатель, заплатить за бутылку пива пять рублей серебром? Действительно, ведь это только, когда смерть на носу, можно смотреть на деньги как на лоскутки какой-то бумаги, не имеющей значения! А смерть тут как тут, в этой самой лавчонке, где теперь сидят трое офицеров и пьют какую-то бурду, именуемую хакетинским вином, но ни цветом, ни запахом, ни вкусом непохожую на это божественное произведение зеленых виноградников лучшей части Кавказа! А ведь каждый стакан этой смеси уксуса с ваксой стоит два рубля серебром самое меньшее. Довольно этим беднякам иллюзии, что они пьют вино и им подкрепляют свои силы, довольно и этого после пяти бессонных ночей, проведенных под пулями в траншеях, в липкой грязи, под дождем, среди томительного ожидания вылазки и резни!

Карапет сделал из своей кибитки нечто вроде каземата броненосца — кажется, ни одна пуля не пробьет уложенных до самого верха мешками стен его лавочки. Много их шлепает в верх кибитки, да те не опасны — никого не заденут, разве шальная, пущенная под углом в шестьдесят градусов к горизонту, ухитрится упасть в середину кибитки, отстоящей от неприятеля на 600—700 шагов, словом, покоен Карапет, покойны его гости...

Вдруг с дребезжащим звоном слетает с полки почти пустая жестяная коробка английских печений, падает стоящая на ней бочка с сельдями, падает и сам Карапет к ногам удивленных офицеров, только что собравшихся еще потребовать бутылку дорожной смеси! Бедняга катается в судорогах по полу кибитки, ударяясь головой и ногами о бочонки, заменяющие стулья...

Кровь заливает его черкеску; пуля как раз угодила на вершок выше его кожаного, усаженного металлическими пуговицами кушака... Офицеры хотят его поднять — он отмахивается руками и

страшно стонет, умоляя оставить его в покое... Лучшее украшение его армянской физиономии — полуторааршинный нос побледнел. Близка твоя смерть, Карапет! Вот тебе и деньги твои! Так себе и пропадут все эти кипы засаленных бумажек, спрятанные тобой так тщательно в землю под мешком с сушеным инжиром! Хорошо, если кто-нибудь из твоих сородичей знает твой секрет и хоть десятую долю их доставит твоей семье, а то ведь пропадут все плоды твоего обмана и мошенничества.

Один из офицеров кладет около хрипящего армянина десятирублевые бумажки — плату за выпитое вино, и все трое выходят из кибитки. Группа солдат сидит за мешками в нескольких шагах от кибитки; солдатики провели несколько дней в траншеях и теперь отдыхают, если можно назвать отдыхом сидение в грязи под свистящими пулями... Один наигрывает на гармонике...

— Ребята, тут вот в кибитке ранило маркитанта, снесите его в Красный Крест, — обращается один из офицеров к солдатикам...

Через минуту глухо стонущий Карапетка уже покачивается на руках четверых солдат, а его товарищи маркитанты наводнили кибитку...

Пропал Карапет, пропал его товар...

Сегодня убили его, завтра кого-нибудь другого — пройдет 5—6 дней, и ни одна душа уже не будет помнить, что такой-то существовал когда-то, у каждого слишком много забот о целостности и сохранности собственной шкуры...

Вот кибитка артиллеристов 4-й батареи 20-й бригады, заглянуть разве туда?

Предварительно надо согнуться в три погибели: черное отверстие, именуемое дверью, будто сделано только для входа кошек, а не для людей, даже небольшого роста. В довершение неудобства вход закрыт кошмой. После нескольких попыток ваш покорнейший слуга пролезает в кибитку.

— А, моряк, здорово! Откуда Бог принес? — слышится из разных углов.

Народонаселение кибитки очень густое; здесь собрались почти все офицеры 4-й батареи. Представлять их вам, читатель, всех затруднительно, познакомлю вас только с лихим командиром этой батареи — капитаном Полковниковым, который за экспедицию, благодаря своей храбрости и разумному командованию своею частью, получил чин подполковника в 27 лет, Георгиевский крест и золотую саблю. Он — любимец фортуны, пули его не трогают, имеет большой успех у женщин и удивительно счастливо играет в карты — два последних обстоятельства обыкновенно, судя по пословице, не совпадают, но Петр Васильевич в этом случае редкое исключение.

— Ты из траншей к нам забрел? — обращается он к вновь пришедшему моряку.

— Нет, только что вернулся из Самурского (так названо было укрепление Эгян-Батыр-Кала в 12 верстах от Геок-Тепе). — Надо было забрать пожитки людей и посмотреть, что подделывают там

наши, оставленные с одним орудием. А что, господа, водки и легкого пыжа у вас не найдется?

— Как не найтись, есть понятно! Эй, Иван! Дай господину моряку водки и пыж, какой найдется!

Для мирного читателя наша, выработанная походом терминология может быть не совсем понятна. Пыжом называется всякая закуска, ибо, как заряд пороха отделяется от пули пыжом, так, обыкновенно, и одна рюмка отделяется от другой куском чего бы то ни было — в крайнем случае сухарем.

Через минуту гардемарин зарядил себя стаканчиком живительной влаги и крепко прибывал этот стаканчик пыжом из сардинок и колбасы.

— Ну, что хорошего видел в Смурском? — спросил Петр Васильевич, видя что моряк прибил уже как следует заряд и принялся крутить папиросу.

— Да ничего интересного! Скучают там бедняки, сильно рвутся сюда, завидуют нам!

— Ну, завидовать-то нечему, — заметил молодой, высокого роста красивый поручик Сущинский, подымаясь с постели и потягиваясь; он направился к столу, где стояла еще бутылка водки и коробка сардинок. Едва он сделал шаг, как все сидевшие в кибитке вздрогнули: что-то сильно шлепнулось в верхний переплет, облако пыли и осколков дерева разлетелось повсюду, и большая, полуфунтовая фальконетная пуля упала к ногам поручика...

— Ну, они подлецы, решительно замышляют меня отправить на тот свет, — проговорил поручик, наклоняясь и подымая эту безобразную, призматическую, сильно сплюснутую пулю. — Нынешнюю ночь всадили мне пулю в пальто, которое я свернул и подложил под голову, сегодня же чуть не залепили в голову...

— Да она бы не убила тебя, — сказал совсем молоденький прапорщик, взяв пулю и рассматривая ее.

— Покорно благодарю, если бы щелкнула в голову... Ведь, если даже прямо упала с этой высоты, и то сильно ушибла бы, а то ведь, кроме того, сила еще сохранилась... Нет, это, пожалуй, рана была бы изрядная...

— Зато первого разряда, в голову, — сказал моряк, выпуская клуб табачного дыма ртом и носом.

— Вчера был интересный случай, — заметил, подымая глаза от книги, которую прилежно читал, один из офицеров 19-й бригады, — прохожу я около траншеи перед лагерем, а там выстроена рота, назначенная на ночь на смену туркестанцам в Великокняжескую Калу. Фельдфебель, такой бравый из себя, с двумя крестами, делал расчет людям. Дошел уже почти до середины фронта, солдаты откликаются: первый, второй, первый, второй — вдруг откуда-то шальная пуля хлопнула прямо в переносье одного во фронте уж из числа рассчитанных, и не пикнул — слетел с ног! Фельдфебель сплюнул, выругался и говорит: «Ишь проклятая, только расчет испортила!» — Я его готов был за такое хладнокровие расцеловать...

— Действительно, молодчина, — согласились все.

— Ну, однако, засиживаться-то у вас не приходится, — заметил моряк, подымаясь и подтягивая кушак с висевшей на нем кобурой, откуда торчало ложе револьвера.

— Ты куда? — обратился к нему Петр Васильевич.

— Да к себе, в Охотничью.

— Что, поди, у вас там посвистывает?

— Изрядно-таки, пристрелялись, подлецы, здорово! Да и близко ведь — всего восемьдесят шагов. Приходится на ночь бойницы в стене затыкать — стреляют на огонь, который просвечивает. На башне уж трех моих стрелков уложили — в глаз каждого... Как только выставишь дуло винтовки, так и начинают пули щелкать около бойницы; сам замечашь, как они ложатся все ближе и ближе, каждый раз ожидаешь, что влепят тебе в зрачок прямо... Но все-таки у вас в лагере хуже, там по крайней мере на ночь уляжешься себе под стеной, ближайшей к неприятелю, и дрыхни сколько угодно...

— Сегодня утром жаловался Гештель, что наши осколки от бомб падают к вам, — сказал поручик, чуть было не получивший в голову текинского презента.

— Это верно, — подтвердил гардемарин. — Как только увидишь вечером над головой букет этих свистящих и светящихся шариков, так и ожидаешь, что посыпятся осколки в Калу... Неприятно они жужжат, пули куда лучше... Однако, господа, пора мне и к себе. — И моряк крепко пожал протянутые ему руки.

Быстрым шагом прошел он открытое место до кибиток апшеронцев. Но как ни быстро шел молодой моряк, а все-таки около него свистнуло две пули и одна шлепнулась в двух шагах перед ним.

— Ишь подлецы, это ведь для меня специально предназначались, — пробормотал сквозь зубы гардемарин и поторопился завернуть за ряд кибиток, ибо молодой моряк не чувствовал никакого желания быть убитым так себе, ни за что ни про что.

— Пойти разве переодеться, — пришла ему в голову мысль, и он повернул налево, к тому месту, где виднелись три отдельно стоявшие кибитки. Еще не доходя шагов сорок, он крикнул во всю мочь:

— Абабков!

Из одной кибитки высунулась голова матроса; увидя гардемарина, обладатель головы показался весь и немедленно перебежал в другую кибитку, в которую вошел и молодой моряк.

— Здорово, Абабков! — поздоровался он с матросом, на физиономии которого выразалось искреннее удовольствие видеть своего барина целым и здоровым.

— Здравия желаю, ваше благородие, — ответил Абабков и прибавил: — а нам сказали, что вы, ваше благородие, будто уж ранены были ночью...

— Наврала, брат Абабков, целехонек, как видишь. Текинцы-дураки еще не отлили для меня пули... А вот дай-ка мне переодеться да Расскажи, что тут у вас делается.

— Вы как, ваше благородие, скрозь будете переодеваться?

Вероятно, выражение «скрозь» было уже знакомо молодому моряку, так как он с улыбкой отвечал:

— Да, скрозь переоденусь.

Абабков вытащил из переметных сумм разное белье и начал его готовить к переодеванию своего барина. Пока он этим занимается, я отрекомендую его читателям.

Николай Абабков — матрос 1-й статьи одного из кронштадтских экипажей. Он уже старослуживый — кончает десятый год своей службы. Бравый матрос, при этом не дурак и выпить. Отношения его к гардемарину чисто отеческие: проиграется, например, молодой моряк в штосс — Абабков делает ему внушение; вернется ли с товарищеской попойки, переливши за галстук не в меру, — тот же Абабков пристыдит его на другой день. Пользуясь нетрезвым состоянием своего барина, этот образец слуг отбирает деньги, и часть их немедленно идет на пополнение истаскавшегося в походе костюма, и гардемарин к своему изумлению и удовольствию через несколько времени находит новую блузу, заменившую его прежний китель, представлявший уже из себя одну большую дыру, неподдававшуюся больше никакой починке. За эту заботливость Абабков считает себя вправе курить господские папиросы и, в торжественных случаях, надевать галстуки и сорочки своего барина. В праздник Абабков является с неизменным вопросом:

— Ваше благородие, позвольте идти гулять?

— Ты напьешься сегодня, Абабков? — спрашивает его молодой моряк.

— Точно так, ваше благородие, напьюсь, коли только я вам не нужен.

— А деньги есть?

— Коли дадите, ваше благородие, все лучше, потому водка эта самая два с полтиной бутылочка.

— Ну, возьми себе. — И Абабков получает какую-нибудь бумажку в зависимости от состояния финансов гардемарина.

К вечеру Абабкова приносят в истерзанном виде и в состоянии невменяемости; он начинает бушевать.

— Абабков успокойся, не то будешь связан, — слышится из кибитки голос строгого командира—лейтенанта III—на. Абабков успокаивается, но усиленно ворчит.

Проходит несколько минут, и снова слышится в матросской кибитке шум, драка и возня.

— Дежурный по батарее! — кричит лейтенант.

— Есть!

— Связать Абабкова, а будет ругаться — заткнуть рот!

— Есть!

Наступает тишина — Николай Абабков уснул.

Утром он является с пасмурной физиономией, иногда даже украшенной парой знаков, известных почему-то в общежитии под названием фонарей, хотя знаки сии вовсе не освещают физиономии, а скорее придают ей мрачный вид.

— Нагулялся, Абабков? — спрашивает гардемарин, ежась под буркой и не решаясь подняться с пригретой постели. Абабков молчит.

— И не стыдно тебе, старому матросу, так напиваться, что тебя связывают?

— А вам, ваше благородие, не стыдно позавчера было, когда вас принесли благородие, господин лейтенант, на плечах, да еще вам уши оттирали, потому вы как мертвый были?

Начинаются взаимные укоры.

Кончается тем, что Абабков получает на опохмеление некоторую сумму, а сожители гардемарина долго еще хохочут над сценой взаимных упреков.

Этот-то Абабков и собирался теперь переодевать своего барина, действительно сильно нуждавшегося в смене белья, так как, заранее прошу извинения у моих читательниц, все белье обратилось в зоологический сад...

— А что, брат, — обратился гардемарин к своему Санчо Пансе, — не найдется ли воды помыться, не очень горячей, а так — потеплее?

— Никак нет, ваше благородие! Коли угодно вам холодной, сейчас принесу.

— Ну, валяя холодной.

Через минуту молодой моряк, фыркая и ежась, обливался ледяной водой в кибитке. Подобные вещи сходят даром для здоровья только в походе; попробуйте выкинуть такой фокус в обыденной жизни и, наверное, получите тиф или воспаление легких или что-нибудь в этом духе, и получите, пожалуй, даже от силы воображения, что я, мол, простудился. Под выстрелами же неприятеля, жертвами которых на ваших глазах становятся сотни ваших товарищей, вам уж никак не взбредет в голову мысль, что вы можете отправиться к праотцам от другой причины, а не от одной из этих свистящих мимо пуль. Скажи кто-нибудь гардемарину, что он рискует протянуть ноги от этого мытья холодной водой, он расхохотался бы и заявил, что это невозможно. Да и смешно, действительно, бояться простуды в том месте, где пули сыпятся и щелкают о землю градом...

— Вчера у нас, ваше благородие, Тарсукова ранили, — заявил Абабков, старательно вытирая своего барина какой-то тряпкой, некогда бывшею, кажется, чайным полотенцем или салфеткой.

— Опасно? — спросил гардемарин, стараясь расчесать кусочком гребешка волосы, свалявшиеся на голове чуть ли не в колтун.

— Нет, так себе, в ногу наскрозь! Он ставил самовар и только это вышел пощипать лучину, а она его как зыкнет... Спужался, бедный, сильно.

— А что, Абабков, хочется в Кронштадт?

— Известное дело, ваше благородие, хочется! Здесь-то есть настоящая Азия — ничего нет, кроме этих черномазых... Да и дорого все до страсти; виданное ли дело, чтобы бутылка водки четыре рубля стоила. Скажешь землякам, так вить рассмеются

все, не поверят! Да и донимают уж очень, ваше благородие, эти самые трухмены — и ночью палят и днем палят — ни минуты, значит, не дадут покояствия.

— А ты очень боишься, Абабков? — спросил гардемарин, оканчивая свой туалет.

— Как же не бояться, ваше благородие? Разве кому приятно свою жисть окончить, да и еще в чужой стороне?

— А знаешь пословицу: пуля виноватого найдет? — спросил гардемарин, собираясь выходить из кибитки.

— Знаю, ваше благородие, да знаю и другую: береженого Бог бережет; вы не очень высывайтесь, ваше благородие, оно вернее...

— Стыдно, Абабков, старый матрос и говоришь такие вещи! А еще в претензии, что тебе Георгия не дают! Я ведь видел, как ты высунул голову из кибитки и не хотел выходить, пока не увидел, что я тебя зову! Ну, прощай, Абабков, да смотри не трусь у меня...

— Счастливо оставаться, ваше благородие, — последовал ответ, и Абабков стрелой перелетел в свою кибитку, опасаясь представить собой мишень для текинцев...

Вечерело. Косые лучи заходящего солнца отливали пурпуром на белых стенах Геок-Тепе, на которых уже реже начинали вспыхивать дымки выстрелов; из траншей тоже как-то ленивее начинали стрелять — обе стороны хотели отдохнуть. Но все-таки нет-нет и пуля с пронзительным свистом пролетит над лагерем или вопьется в какой-нибудь мешок с глухим шлепаньем...

Гардемарин направился по траншее к Великокняжеской Кале. Задумчиво шагал он по узкому пути; по дороге попадались траверсы, которые он обходил совершенно машинально, — мысли его были совсем не в Ахал-Теке, не в этих траншеях, начинавших уже окутываться сумраком вечера... Витал ли он мыслью в море, вспоминая разные эпизоды бурного плавания, или голова его была занята приведением на память прошлого, для него дорогого, — не знаю, знаю только, что он очнулся и пришел в себя, столкнувшись носом к носу с первыми людьми какой-то роты, возвращавшейся на отдых в лагерь. Прижавшись насколько мог к брустверу, всматривался молодой моряк в лица двигавшихся мимо солдат. Видно было, что люди утомлены, что нервы напряжены до крайности; с какой-то суровой молчаливостью проходили они мимо, звякая штыками винтовок, часто цеплявшихся в этой тесноте друг за друга.

Осунувшиеся, потемневшие, закопченные лица мелькали в глазах гардемарина... Казалось, каждое лицо выражало желание или скорее покончить эту тяжелую осаду, или присоединиться к тем многим сотням товарищей, которые уже успокоились под покровом этой желтой необъятной степи...

Рота прошла, и моряк поторопился добраться до входа в Великокняжескую Калу.

Едва держащиеся, все простреленные стены окружали четырехугольник, переполненный солдатами всякого рода оружия.

Во многих местах были костры. Вправо от входа шла небольшая стенка, с проделанными в ней амбразурами для двух картечных и двух горных орудий. Неподалеку стоял верх от желомейки, человек пять матросов лежали около картечных. К ним-то и направился гардемарин, выйдя из траншеи, ведущей в эту Калу.

— Где господин Голиков? — обратился он к одному из матросов, обтиравшему патроны, приготовленные на ночь.

— Здесь, ваше благородие, под верхом, — отвечал матросик, указывая на верх желомейки, из отверстия которой действительно торчали чьи-то ноги, как теперь заметил гардемарин.

— Сейчас вылезу, подожди, — послышался замогильный голос. Ноги пришли в движение и начали понемногу показываться из этого своеобразного жилища; показалось туловище, облеченное в какую-то куртку шоколадного цвета с обрывками мичманских погон на плечах, наконец явился на свет Божий и затылок с надвинутой фуражкой. Фигура стала на четвереньки, поднялась и сделала пируэт.

— Вот и я собственной персоной, дрожайший камарад, — приветствовала эта особа, выползшая из своего жилища ракообразным способом.

— Пришел вас проведать, — сказал гардемарин, обменявшись крепким рукопожатием со своим товарищем по оружию.

— Ничего, живем еще, пока не убили... Не хотите ли рюмочку божественного напитка? А? С холоду не мешает ведь? — И, не дожидаясь ответа, Евгений Николаевич Голиков нырнул под верх и явился с бутылкой «божественного напитка».

— Стаканчика-то нет, еще сегодня был, да какой-то милый армеец, с ловкостью молодого гиппопотама, танцующего в посудном магазине, раздавил его своим седалищем... Ну, да не беда, душа меру знает, можно и из горлышка. Я как хозяин покажу вам пример. — К словам присоединилось действие, и послышалось довольно продолжительное бульканье...

— Ваяйте... Преполезно, я вам скажу, от всех болезней помогает... Вот вам и сухарь на закуску. Теперь вы рассказываете, где были, что делали, куда направляетесь.

Гардемарин сообщил вкратце о своих приключениях. От внимательного взгляда Евгения Николаевича не скрылось, что его молодой товарищ чем-то озабочен.

— Что, батенька, с вами? — спросил он, похлопывая своей широкой ладонью по плечу товарища.

— Глухая хандра какая-то напала, сам не знаю с чего... Устал я от этой жизни... Каждый день резня, резня... Каждую секунду нервы в страшном напряжении... Ежеминутное ожидание смерти — все это доведет до апатии, до хандры...

— Вот те на! От вас ли я это слышу, гард? Вчера или третьего дня еще целых пять часов сам же сидел под бруствером без обеда, чтобы подстрелить пару-другую текинцев, а сегодня пустился в миндальничание! Плюньте вы на свои нервы и будьте мужчиной.

Ну, убьют — опять же наплевать! Взгляните на меня — всегда я весел бесконечно...

— Пойду завалюсь-ка я спать, — порешил гардемарин и, противясь с Голиковым, направился по стенке в свою Калу.

Совсем стемнело. На темном небе зажигались мириады звезд, но их матовый блеск не мог рассеять мрака южного вечера... Приходилось идти очень осторожно, чтобы не споткнуться о глыбы глины, валявшиеся повсюду. Моряк шел от костра к костру, руководясь их мерцающим и неровно вспыхивающим пламенем как светом маяка. Вот он дошел до кибитки Алексея Николаевича Куропаткина, начальника Туркестанского отряда. При свете свечи, вставленной в бутылку, этот талантливый, всеми любимый молодой начальник рассматривал какие-то кроки и вместе с тем писал записки с приказаниями, переходившие сейчас же в руки двух его адъютантов.

Отдельные выстрелы за все это время не умолкали; гул их становился резче и резче по мере приближения гардемарина к траншее, соединяющей Охотничью Калу с Великокняжескою. Вот, наконец, и стена с выходом и траверс, устроенный на месте, где текинцы положили своими выстрелами немало-таки народу, в том числе и подполковника Николая Николаевича Яблочкова. Удушливый пороховой запах так и ударял в нос; в пространстве, окруженном стенами близлежащих укреплений, выстрелы особенно резко отдавались. Вдоль всей линии бруствера темнели силуэты наших стрелков; солдатики тихо переговаривались между собой.

Совсем близко виднелась вправо белая линия стен Геок-Тепе, нет-нет да и вспыхнет несколько огоньков поверх этой линии, раздастся в воздухе над головой свист или шуршанье пули и одновременный треск нескольких ответных выстрелов из траншеи...

— Кто это? — раздалось над ухом гардемарина, уже подходившего к концу траншеи — к мостику через Великокняжеский ручей, отделяющий Калу этого имени от Охотничьей.

— А, да это моряк, — послышалось затем, и от бруствера отделился силуэт командира роты Ширванского полка Лемкуля.

— Здравствуйте, поручик, — поздоровался моряк. — Вам эту ночь не спать?

— До спанья ли тут! Сейчас будут занимать наши плотину, как бы текинцы не сделали вылазки!

— Кто будет занимать? — спросил гардемарин.

— Наша 9-я рота, а 11-я будет прикрывать рабочих, строящих редут впереди Охотничьей Калы...

Гардемарин быстро перешел мостик и очутился перед дверью в Калу, дверь эта представляла из себя низенькую, проломленную в стене арку; молодой моряк пригнулся и прошел эту арку, но у входа в Калу дорогу ему загородил штык, направленный часовым в грудь.

— Стой! Кто идет?

— Свой, офицер! — последовал ответ.

Часовой отступил на шаг, и гардемарин очутился наконец в давно знакомом маленьком четырехугольнике. Все пространство освещалось несколькими кострами, около которых толпились солдатики, не занимавшиеся варкой пищи, а пользовавшиеся светом пламени для осмотра винтовок и патронных сумок.

Заметно было оживленное движение, охотники подпоручика Воропанова были выстроены во фронт, и сам их командир, одетый в черкеску верблюжьего сукна, с бердановскими патронами в газырях, говорил им, по обыкновению заикаясь, речь:

— Э... чтобы того вы, э... не палили у меня, э, э... зря... команду слушать, э... А то перебью, э, э... сам как собак, э!.. Да не шуметь... того... Разойтись, пока!

Гардемарин подошел к поручику, который, распустив команду, оперся о стену спиной и чиркал о черкеску спичкой, не желавшей никак загореться...

— Э... моряк, э... дайте огня, — обратился он к гардемарину.

— Гребенщиков! — крикнул молодой моряк.

— Есть! — донеслось откуда-то из пространства.

— Принеси уголек закурить!

Через минуту молодой матросик в шинели в рукава бежал к двум офицерам, перекидывая из руки в руку раскаленный уголь.

— Э... Э... вот молодец... — похвалил Воропанов, закуривая.

— Рад стараться, ваше благородие! — вытянулся матрос и исчез немедленно во мраке.

— А... А... вы знаете, моряк... э... что вы будете... э... э... сегодня комендантом Охотничьей... э... Калы?

— Нет не знаю, да и это невозможно, — ответил удивленный гардемарин.

— Ку-Куропаткин говорил мне! Э... э... Да вот и он! Пойдите к нему...

Алексей Николаевич Куропаткин стоял в середине Калы и разговаривал с инженерным капитаном Масловым.

— При такой темноте текинцы почти наверняка попытаются сделать вылазку и уничтожить наши работы, — говорил Алексей Николаевич. — Нам поэтому важно занять сначала плотину, откуда уже можно будет сильным ружейным огнем оборонять вновь закладываемый редут.

— Когда же двинутся наши на плотину? — спросил Маслов.

— Через десять минут, самое большое. Одновременно с ними пойдут и охотники поручика Воропанова, которые должны залечь вправо от нашей Калы за стенками, шагах в пятидесяти от неприятеля... А, вот и вы, — обратился Куропаткин к гардемарину, уже несколько времени стоявшему около в ожидании конца беседы начальника отряда с капитаном Масловым.

— Вам сегодня поручается защита Охотничьей Калы, так как комендант ее, поручик Воропанов, идет со своей командой для прикрытия работ; вы останетесь вместо него комендантом.

— Есть! — ответил гардемарин.

— Оставшимися у вас людьми займите все выходы и оберегайте в особенности эту полуразрушенную стену. — И Куропаткин указал на левую стену, в которой наши снаряды во время занятия Калы 29 декабря понаделали массу пробоин и наполовину обрушили ее. — Никого не впускайте в Калу, единственный вход — это передний; наблюдайте, чтобы не было суматохи в Кале, а главное — не позволяйте людям, стоящим по бойницам, бестолку стрелять!..

Команды, назначенные занимать плотину и прикрывать рабочих, уже выстроились... В Кале стало тихо... Выстрелы неприятеля очень редко нарушали тишину... Небо горело мириадами звезд... Полупотухшие костры освещали вокруг себя небольшое пространство мерцающим красноватым пламенем... Ожидание начала дела теснило грудь. Вот Воропанов вполголоса скомандовал своим охотникам: напра-во! шагом марш! И люди, один за другим, нагибаясь при выходе, стараясь не зацепиться штыками, стали исчезать в темной арке стены... Куропаткин отправился в траншею перед Калой.

Чтобы читатель понял ход работ и боя этой ночи, необходимо объяснить местоположение Охотничьей Калы.

С восточной стороны Геок-Тепе, ближе к южному углу, текинцы выстроили в ста шагах от главной крепостной стены два небольших четырехугольных укрепления, шагах в полтораста одно от другого; если встать лицом к Геок-Тепе, то левое называлось Охотничьей Калой, а правое Туркестанской — по имени отрядов, штурмовавших это укрепление 29 декабря.

За этими укреплениями находилась Великокняжеская Кала, в которой всегда помещались на ночь резервы и которая была главной квартирой начальника правого фланга — Алексея Николаевича Куропаткина. Эти три укрепления соединялись между собой траншеями. В ночь на 5 января решено было занять место перед Охотничьей Калой, чтобы возвести редут, из которого можно было бы начать вести минную галерею под неприятельскую стену. Следовательно, приходилось окапываться в шестидесяти шагах от неприятеля, а пока окопаешься, приходилось рассчитывать на угощение многими тысячами пуль, что на таком близком расстоянии равнялось расстреливанию. Правда, перед Калой были глиняные стенки, но очень невысокие — фута три — печальная защита!

Когда охотники ушли и Кала опустела, в уголке, при свете нескольких фонарей, расположились с носилками санитары. Два доктора и несколько фельдшеров приготавливали перевязочные средства, перекидываясь между собой отрывочными фразами... У бойниц и в угловых башнях молча стояли фигуры солдат с берданками наготове...

Гардемарин ходил вдоль стены, обращенной к неприятелю, и какое-то тоскливое чувство сжимало его сердце...

С каждым выстрелом ему чудилось начало кровопролитной схватки.

«А может быть, текинцы и не заметят наших, — успокаивал иногда себя моряк, — ведь теперь они уже должны залечь».

Как будто горстью гороха ударили в стену, мимо которой нервными шагами ходил гардемарин; несколько пуль с визгом пронесли над Калой... Еще и еще... Гулко начали хлопать громадные текинские мултуки, вмещающие заряды чуть ли в полфунта пороха... Наперерыв затрещали наши берданки... Щелканье пуль в стены Охотничьей Калы напоминало собой сильный град, барабанный в окна...

Глиняные стены обладают удивительным резонансом, поэтому в Кале выстрел действовал оглушительно, а тут гремели тысячи выстрелов... Глина летела глыбами со стен, сбиваемая фальконетными пулями... Пороховой дым начинал наполнять крепость... Моряк бежал по всем фасадам и, не переставая, кричал: «Без команды не стрелять, своих перебьете!..»

Но вот над Калой как будто чья-то гигантская рука ударила по воздуху и привела его в содрогание и надавила вниз — все почувствовали толчок в голову, в ушах зазвенело от шума прогудевших полудюжины девятифунтовых снарядов; в крепости грянуло почти несколько одновременных разрывов, звук которых покрылся криками и стонами... Вдруг вся Кала озарилась ярким светом, послышалось невыразимое шипенье и свист, повсюду полетели искры, и ракета с верхушки Охотничьей Калы угодила в неприятельский ров и там разорвалась... Мортирная батарея сделала залп... Земля задрожала от этого страшного удара, и на темном небе быстро начали подыматься шесть светящихся и посвистывающих шариков... Вот они остановились как раз над головой моряка, наблюдающего за их полетом... Одно мгновение они были неподвижны, но вот начали опускаться и, кажется, прямо на голову... Ниже, ниже, быстрее и быстрее, наконец быстрота уже такова, что не видно светящейся точки, а полоса света... Слышен где-то близко за стеной крепости звук падения тяжелых тел на землю... Несколько секунд ожидания... Бум-бум... Начали рваться... А тут уже и новые точки появились на небе, помрачая своим светом яркие звезды, с недоумением смотрящие на землю, где люди вместо того, чтобы наслаждаться созерцанием чудной ночи, рвут друг друга на части...

А перед Охотничьей Калой действительно рвали друг друга на части в ожесточенном рукопашном бою... Под самой стеной Охотничьей Калы сотни голосов заревели: «Ура! Ура! Магомет!»

Гардемарин невольно отшатнулся... Рука машинально выхватила из кобуры револьвер, курок щелкнул... Нервная дрожь пробежала по телу... Стрельба на мгновение замолкла... Вдруг у переднего входа послышались нечеловеческие крики и шум... Гардемарин и человек десять солдат бросились туда и увидели толпу, в паническом страхе толкающуюся у входа... Какой-то солдатик в припадке безумного страха вырвался из этой давки, сбил с ног одного из солдат, старавшихся удержать эту толпу, ничего не видя от ужаса наскочил на угол стены, упал и снова

поднялся и, спотыкаясь, помчался по Охотничьей Кале что-то крича... В узком проходе масса народу давила друг друга... Чей-то голос, озлобленный, бешеный, ревел:

— Что вы делаете, мерзавцы!.. Трусый!.. Назад, назад...

Слышались страшные удары не то нагайкой, не то шашкой плашмя...

— Бей их прикладами, — крикнул гардемарин окружавшим его охотникам, старавшимся остановить эту толпу, рвавшуюся назад в Калу...

Человек двадцать проскочило еще, а затем начали уже по три, по четыре появляться у входа, но тут встречали их или штык охотников, или дуло револьвера молодого моряка, ставшего в проходе...

Показалась какая-то фигура, страшно ругавшаяся и хромавшая, — моряк по голосу узнал подпоручика Гринева, сапера.

— Ты откуда, что с тобой?

— Эти мерзавцы рабочие бросились бежать, сбили меня с ног, я попал в ручей, и они перебежали через меня... Паника страшная. — С этими словами подпоручик снова вернулся назад — в это море оружейного огня... На левом фланге, шагах в восьмистах от Охотничьей Калы, раздавался залп за залпом...

— Ох, ох... — крикнул кто-то над ухом моряка, и мимо него промчался, отчаянно махая правой рукой, его приятель Абадзиев, ординарец Михаила Дмитриевича Скобелева.

Два осетина подхватили молодого прапорщика под руки и повели к перевязочному пункту.

Моряк пошел туда же... У него начинала кружиться голова от этой страшной трескотни в атмосфере, пропитанной пороховым дымом...

В углу, между стенами, сидел на носилках, без сюртука, Абадзиев, мертвенно-бледный; правая рука истекала кровью, лившейся из двух отверстий... В правой стороне груди — маленькая черная дырочка, и под левой ключицей такая же... Пуля раздробила ему правую руку и пробила грудь... Его окружали осетины из конвоя генерала, его соотечественники... По этим черным, зверским, бордатым физиономиям катились слезы. Один схватил бутылку вина и вместо воды вылил ему на голову... Другой, желая поддержать, опрокинул ящик с хирургическими инструментами... Абадзиев — их любимец, и вдруг смертельно ранили... Так, по крайней мере, все думали...

Пули жужжали и в этом уголке... Одна разбила фонарь... Другая шлепнулась в спину санитару, глухо вскрикнувшего и свалившегося ничком... Доктора с поразительным хладнокровием перевязывали раненых...

— Что тащишь сюда мертвых? — с нетерпением крикнул одному из санитаров молодой доктор, указывая на убитого в лоб солдата, принесенного на носилках...

— Да он еще хрипел, ваше благородие, как мы его несли, — возразил солдатик-санитар, — значит, теперь только скончался...

— Ну, убирай его, не загораживай дороги...

Приторный запах крови смешивался с пороховым...

Гардемарин остановился над носилками, с которых слышалось удушливое храпение...

Лежал на них унтер-офицер Ширванского полка... Лицо потемнело, глаза закатились, левая рука прижата к горлу, и из-под пальцев сочилась кровь, казавшаяся в этом полумраке совсем черной... Правая рука царапала кожу носилок.

Моряк отошел в сторону и начал прислушиваться к шуму утихавшей свалки... Крики доносились уже из крепости, вылазка была отбита... С нашей стороны гремели непрерывные залпы... Ракеты освещали Калу и, оставляя во мраке длинную красную полосу, то ударяли в ров, то летели по стене... Воздух был наполнен криками, стонами, ревом верблюдов и ишаков, пронзительным детским плачем...

— Генерал идет, — послышалось сзади моряка, и в нескольких шагах от него показалась стройная фигура Михаила Дмитриевича, одетого в коротенький белый полушубок... С ним шел начальник штаба Гродеков и два ординарца...

Генерал прошел в арку и направился во вновь возведенный редут, в котором обкладывали бруствер мешками.

— Здорово, ребята! — донесся голос генерала в Калу.

Как на учении отчетливо грянуло:

— Здравия желаем ваше превосходительство!

Умолкнувшие было текинцы тоже приветствовали приход генерала тучей пуль, зацелкавших в стену Калы...

— Прапорщик Ушаков! Дайте мне знак отличия военного ордена, я хочу наградить наиболее отличившегося... Ребята, кому вы присуждаете крест?

После нескольких секунд молчания послышались голоса:

— Крупенкову, ваше превосходительство... Крупенков больше всех заслужил... Он двоих заколол... Рука порублена, и с нами остался... Крупенкову следует...

Вытолкнули вперед Крупенкова, которому генерал и навесил крест, приказав идти на перевязочный пункт, так как у храброго солдата сильно было разрублено левое плечо и недосчитывалось что-то трех пальцев на той же руке...

Цель была достигнута — впереди Охотничьей Калы возвышался грозный редут, из которого можно было начать вести минные работы.

Из Великокняжеской Калы явился оркестр музыки... Через десять минут, под самым носом текинцев, в шестидесяти шагах от стены, раздавались звуки из «Боккачио»... Некоторым диссонансом являлись стоны и оханья подбираемых раненых, но... на войне на это не обращается внимания! Дух солдатиков легче всего поддержать таким путем, бравлируя опасность или уменьшая ее в их глазах...

Много раз меня занимала мысль, какое впечатление на нашего полудикого врага производила эта музыка, появлявшаяся немедленно после всякого дела?.. Я думаю, что у них непременно должно было явиться сознание о нашем превосходстве... Для текинцев,

как для всякого восточного народа, театральность обстановки играет большое значение, поэтому звуки музыки, раздающейся в бою, должны возвышаться в их мнении «белых рубах», умеющих умирать так эффектно...

Часам к десяти вечера все вошло в свою колею; только залпы двух рот из траншеи через каждые четверть часа напоминали текинцам, что бдительность наша не ослабла; в Охотничьей Кале солдатики примащивались на покой, завернувшись в шинели, позевывая и крестя рот; у едва тлевшего костра два солдатика что-то ковыряли в своих сапогах, и один из них рассказывал какую-то историю...

— И вот, братец ты мой, значит, он пришел в деревню и проведал об этих самых делах, и почал же он ее, значит, колотить... И-и как!..

* Из жаломейки доносились голоса гардемарина и прапорщика Морица, игравших в пикет:

— Кварт от дамы...

— Не годится — кварт мажор!

— Три туза...

— Не годится — четырнадцать десятков!

— Чтоб тебя подстрелили!.. Постоянно игру отобьет...

Из кибитки саперов слышался звон бутылок — Михаил Дмитриевич прислал своим «кротам», как он их называет, несколько коробок консервов и пару бутылок вина подкрепить свои силы...

Наконец все успокоилось... Вот откуда-то очень издалека донесся звук горна — протяжное «Слу-шайте все!»

Это казачий или драгунский обоз подает сигнал своим, чтобы в темноте не быть принятым за неприятеля... У текинцев же долго не умолкает шум в крепости, долго слышатся крики, иногда даже можно ясно различить плачущие и причитающие голоса женщин... Много сегодня погибло храбрых джигитов, и кровь их вопиет о мести; и вот седобородые муллы проповедуют собравшимся около них мрачным, закопченным пороховым дымом старшинам, что Магомет должен помочь своим правоверным сынам, что «белых рубах» немного, что зарядов им не может еще хватить надолго, что они истомлены осадой; припоминают поражение, какое им было нанесено полтора года назад под этими же стенами; снова воскрешается надежда в груди вольных детей пустыни, и они деятельно начинают чистить свои винтовки, переснаряжать стреляные гильзы берданок, точить свои кривые шашки или распределять порох между истрелявшими... Много раздается в ночной тиши проклятий «уруссу», много молений возносится Аллаху о помощи, а в землянках, где спрятаны жены и дети, много слез льется об убитых и израненных близких...

* * *

7 января был серенький, довольно теплый день...

Как всегда, пощелкивали выстрелы, гудели орудия... Особенного ничего не предвиделось, разве дежуривший в траншее с ротою офицер, которому было скучно и холодно, начинал сам по себе

«предвидеть», что штурм должен быть назначен-таки скоро, так как просто невтерпеж становится...

Славно спалось гардемарину после обеда... Закрывшись с головой буркой, свернувшись калачиком, покоился он в нижнем этаже левой башни, и гром непрерывных выстрелов берданки его приятеля прапорщика Морица, «практиковавшегося» по текинцам из бойницы этой же башни, ничуть не мешал его розовым сновидениям... Он бы, пожалуй, проспал до вечера, если бы вдруг Мориц не подскочил к нему еще с дымящейся от последнего выстрела винтовкой и, стащив бесцеремонно бурку, не начал бы толкать его под бока. Со стороны гардемарина послышалось ворчанье...

— Да вставай-же, черт тебя подери, текинцы белый флаг выкинули! Сдаются, должно быть!

— Ну и пускай себе, спать хочу, — пробормотал доблестный сын флота.

— Да пойми же ты, текинцы вышли из крепости, они около наших траншей... Да вставай же!

Моряк приподнялся, зевнул во всю пасть, протер глаза и все-таки, видимо, не пришел совсем в себя.

Мориц приподнял его под мышки и встряхнул раза два.

— Оставь, я проснулся... В чем дело?

— А вот посмотри, — и прапорщик подвел его к бойнице, из которой он минут десять назад стрелял.

Должно быть, то, что увидел гардемарин, было действительно интересно, так как он мгновенно выскочил из башни, даже оставив там свою бурку, которую он берег всегда пуще зеницы своего ока.

Вся крепостная стена была усеяна текинцами, даже не усеяна, а битком набита... Старые, молодые, большие и малые, женщины с детьми на руках толпились на стене. Вся эта публика была одета в самые разнообразные халаты, поражавшие своею пестротой. Многие спускались в ров и выходили из него на пространстве между траншеями и стенами.

Гардемарин обратился к одному из нескольких офицеров, взобравшихся на бруствер Ширванского редута, с вопросом: что значит эта картина?

— Перемирие для уборки тел, — ответил тот.

Общее внимание наших было привлечено каким-то видным красивым текинцем пожилых лет, ходившим с копьём в руках по стене и что-то кричавшим народу, глазевшему на «белых рубах».

Обратились к солдатику-татарину за переводом.

— Это он, ваше благородие, говорит своим, что, ежели, говорит, кто из вас только выпалит теперь по русским, так тут, говорит, ему сейчас и смерть будет... Запрещает, значит, стрелять!..

Подполковник Гомудский, главный переводчик штаба, вышел из траншеи и вступил в беседу с двумя старшинами... Все уселись на равном расстоянии как от рва, так и от траншеи на корточки и начали разговаривать...

Текинцы подбирали мертвых и уносили их в ров. Подбирали иных небрежно...

Как сейчас, помню одного здорового молодца, который схватил труп за обе ноги, просунул их себе под мышки и, медленно ступая, поволок тело, бившееся о неровности головой...

Многие трупы текинцы оставляли необранными; когда кто-то из переводчиков спросил, отчего они их не подбирают, то получил в ответ, что это собаки, которых они не хотят погребать. Впоследствии мы узнали, что трупы эти принадлежали к числу жителей одного аула, которые, не желая выносить всех тяжестей осады и потеряв большое число убитыми на неудачной для текинцев вылазке 4 января, оставили Геок-Тепе и ушли в Мерв.

Какое-то странное чувство овладело при виде этих людей, которые несколько минут тому назад стреляли по нас и в свою очередь не могли высунуть носа из-за стены, не рискуя получить дюжину пуль, и которые теперь прогуливались, подходили к нам на несколько шагов, разговаривали с солдатами-татарами и нашими джигитами-туркменами как ни в чем не бывало...

Правда, были между ними и субъекты, смотревшие на нас очень враждебно.

Два каких-то молодых текинца, одетые в шелковые халаты, бережно пронесли тело старика с совершенно седой длинной бородой; тело это лежало у самого нашего бруствера, так что текинцы не могли его взять сами, вследствие условия перемирия не подходить к брустверу ближе пятнадцати шагов; два солдата выскочили за бруствер, подняли старика и отнесли тело на определенное расстояние. Сейчас же подскочили два вышеупомянутых текинца, бережно подняли тело и понесли мимо наших траншей.

Проходя мимо группы офицеров, рассматривавших их, один кинул такой вызывающий, надменный и вместе с тем полный ненависти и злобы взгляд на нас, что всякому одновременно пришла в голову мысль о неудобстве попасться ему в лапы...

Вдруг текинцы на стене пришли в движение, большая часть их устремила взоры на северо-восточный угол — там, выйдя за бруствер, стоял Михаил Дмитриевич Скобелев со своим штабом. У многих екнуло и сжалось сердце... Вероломство восточных народов слишком известно и вошло даже в поговорку... А вдруг? Но на стене все было покойно; неприятель только рассматривал «ак-пашу». Впрочем, текинцы понимали, что один выстрел с их стороны — и все зрители, толпившиеся на стене, будут сметены картечью...

Из лагеря было наведено 22 орудия шрапнелью на всякий случай. Войска в траншеях были тоже готовы!

Я, впрочем, не хочу отнять у текинцев их вполне рыцарской чести, проявившейся во время этого перемирия.

Уборка тел кончилась. Наш переводчик, полковник Гомудский, разговаривавший со старшинами, медленно возвращался к своим траншеям; он еще не дошел до бруствера, а флаг был уже спущен. Все текинцы спрятались за стену, так что сами не подвергались опасности. Кто-то из них крикнул ему:

— Скорее уходи и прячься, будем стрелять! И только тогда, когда он исчез за бруствером, грянул с угла фальконетный выстрел, бывший сигналом общего залпа, окутавшего всю стену пеленой дыма и наполнившего воздух свистом, шипением и жужжанием разнокалиберных пуль...

Снова началась перестрелка, снова живые люди стали обращаться в трупы до будущей уборки...

— Так вы говорите, что генерал был очень не доволен на гардемарина, что он не взорвал мину? — спрашивал лейтенант Ш—н кого-то из офицеров в траншее.

— Страшно не доволен! И рвет и мечет; говорит, что надо было броситься в штыки, не разбирая числа людей неприятеля, работавших в это время во рву.

— Да ведь с гардемаринком было всего десятка два людей!

— Генерал не обращает на это внимания; ему не дает покоя мысль, что брешь до сих пор не готова и что, пожалуй, артиллерия не будет в состоянии пробить ее...

— Да вон идет и генерал, — и офицер рысью побежал к своей роте, чтобы встретить Михаила Дмитриевича на своем месте.

Лейтенант пошел навстречу генералу, здоровавшемуся с частями, расположенными в траншее.

— А, здравствуйте, моряк! — обратился Михаил Дмитриевич к лейтенанту, приложившемуся под козырек. — Вы ведь переведены сюда из правофланговой? — продолжал генерал, не останавливаясь, обращаясь к идущему рядом с ним лейтенанту.

— Точно так, ваше превосходительство, только что прибыл с двумя картечницами.

— А ведь ваш гардемарин осрамился вчера. Слышали?

— Слышал, ваше превосходительство; много было народу во рву, вот он...

— Пустяки! И он и Богославский прямо струсили! Я ведь так надеялся на этот взрыв пироксилином. Вы возьметесь взорвать? — быстро повернулся Скобелев к лейтенанту.

— Возьмусь и считаю это великой честью для себя, — ответил Ш—н, и краска удовольствия бросилась ему в лицо при мысли об удачном исполнении этого безрассудно отважного предприятия.

— Так пойдете, я вам покажу хорошее и безопасное место, откуда можно будет осмотреть стену и выбрать подходящий пункт для взрыва, — и генерал ускорил шаги...

День был очень ясный, солнце заливало своими лучами всю степь... Текинцы пользовались хорошей погодой, и стрельба шла ожесточенная... Из траншей дружно отвечали...

Генерал шел медленно, не сводя глаз с длинной линии белой стены, на которой вспыхивали тут и там дымки... Вот он вышел в соединительную параллель между Великокняжеской и Охотничьей Калами. В одном месте бруствер был осыпавшимся, так что проходящие были видны до плеч. Текинцы не преминули

пустить несколько пуль, провизжавших около головы генерала в расстоянии фута, а может быть, и меньше.

— Хорошо пристрелялись, — заметил он и вошел в Охотничью Калу, пройдя которую, не останавливаясь, вышел в Ширванский редут и подошел к минному колодцу, из которого как раз вылезал вымазанный в глине саперный унтер-офицер.

— Кончаете, братцы? — обратился к нему генерал.

— Почитай, что все кончили; завтра и заряжать можно будет, ваше превосходительство, — ответил браваый сапер.

— Ну, помогай вам Бог!.. Весь исход дела в этом минном взрыве, — обратился Михаил Дмитриевич к начальнику штаба. — Он должен произвести страшную панику.

Генерал подошел к самому брустверу, отстранил одного из стрелков и начал смотреть в промежуток между мешками, рядом с ним поместился и лейтенант III—н.

— Вот видите эту большую трещину? Вправо от угла? Вот здесь можно, по-моему, заложить мину, и результат должен быть хорош; главное — надо закопать ее поглубже.

— Было бы хорошо подвесить ее, — заметил лейтенант.

— Ну, эти технические подробности я представляю на ваше усмотрение; мне главное необходимо, чтобы взрыв был — это облегчит артиллеристам пробитие бреши... Я не могу примириться с мыслью, что взрыв мог быть уже совершенным в эту ночь... Так вы, моряк, взорвете! Я надеюсь на вас!

— Сделаю все, что смогу, ваше превосходительство!

— Спуститесь в ров во что бы то ни стало! Если он будет занят неприятелем — выбейте его оттуда штыками. Возьмите с собой роту, две, три!.. Сколько вам надо, вам дадут, но только исполните это предприятие — оно очень важно...

Несколько пуль щелкнулось в мешок очень близко от отверстия, в которое смотрел генерал... Одна ударила в верх бруствера и обсыпала присутствующих землей...

— Ваше превосходительство, — обратился к генералу полковник Козелков, начальник левого фланга, — уйдите отсюда! Текинцы пристрелялись так, что очень часто попадают в бойницу, ведь до стены семьдесят шагов с небольшим!

— Вечно вы, полковник, боитесь за меня, — с неудовольствием ответил генерал и снова начал рассматривать стену, вспышки выстрелов на которой продолжали перебегать так же часто.

— Да как же не бояться за вас, когда вы рискуете своею жизнью, как простой рядовой... Уйдите, ваше превосходительство!

— Да оставьте меня в покое! — рассердился генерал.

— Так вы идите сегодня же ночью! — снова обратился генерал к лейтенанту, смотревшему прямо через бруствер и представлявшему таким образом прекрасную мишень для неприятеля, открывшего сильный огонь.

— Точно так, думаю отправиться после полуночи.

— Ваше превосходительство! Если вас убьют, кто же поведет нас на штурм, — не унимался Козелков.

— Ну хорошо, сейчас уйду! До свидания, моряк! Приходите через час ко мне, выпьем кофе и поговорим еще о взрыве!.. — И генерал направился на левый фланг.

Лейтенант Ш—и остался на месте и еще несколько времени смотрел на стену, запоминая местность и делая в голове разные расчеты.

— Что это вы тут подделываете? — обратился к нему подошедший капитан инженеров Васильев.

Моряк в кратких словах рассказал ему о предприятии, предполагавшемся быть произведенным в эту ночь.

— Так пойдемте со мной, может, мне удастся вам сделать полезные указания... Мне помнится, я видел тут место, подходящее для взрыва, а главное — ползти легко, идет канава близко от неприятельского рва...

Оба офицера пошли по траншее, весело болтая о разной разности.

— Вот отсюда можно рассмотреть удобно; видите вы эту канаву, идущую наискосок к траверзу? Доползти до нее, затем по ней, а там и ров близехонько...

— Мне надо взорвать поближе к углу, — возразил лейтенант.

— Так вы можете пройти неприятельским рвом; еще сегодня ночью в ров забиралось четверо охотников и пролежали там часа два! Однако до свидания, тороплюсь в лагерь к полковнику Рутковскому, — и Васильев рысцой направился к левому флангу.

Моряк порешил, что осмотр удовлетворителен.

— Надо взглянуть на свою батарею, — подумал он и повернулся, чтобы идти в Великокняжескую Калу; сделав несколько шагов, он вспомнил, что надо еще раз взглянуть на место предполагаемого взрыва, чтобы определить приблизительное расстояние этого пункта от угла.

Лейтенант остановился около бруствера и, высунувшись по грудь, начал рассматривать интересовавшее его место... Только что он повернулся, чтобы продолжать свой путь, как сильный удар в левую руку, сопровождаемый жгучей болью и мгновенным онемением предплечья, заставил его перевернуться вокруг самого себя...

Он почувствовал, как что-то горячее потекло по руке... Захотелось поднять руку — плечо поднялось, а рука ниже плеча вершка на три перегнулась со страшной болью, от которой в глазах потемнело...

«Кость раздроблена!» — мелькнуло у него в голове, и почему-то вспомнился чей-то пустой, болтавшийся рукав сюртука...

Подхватив раненую руку правой, лейтенант быстрыми шагами пошел к перевязочному пункту, находящемуся в Великокняжеской Кале...

Кровь каплями текла по пальцам, приклеивая рубашку к телу... Ломота увеличивалась... Каждый шаг отдавался во всей руке тупой болью...

«Ну вот и Красный Крест», — обрадовался моряк.

— Доктор, я ранен, — обратился он к какому-то медику, сидевшему на бурке.

Тот немедленно вскочил, подбежали санитары, фельдшера.

Лейтенанту помогли снять пальто с правого плеча, начали стаскивать с левой руки, и она в перебитом месте перегнулась... Моряк охнул... Стащили рукав...

— Да вы и в грудь ранены? — с беспокойством спросил доктор, увидав отверстие с правой стороны груди в сюртуке.

— Не чувствую, — ответил Ш—н.

Начали раздевать. Оказалось, что пуля вошла с правой стороны, пробила пальто, три фуфайки, скользнула по груди, не задев ее, и, раздробив левую руку, вылетела.

Сделали перевязку, и через несколько минут лейтенант, лежа на носилках, сдавал батарею мичману Голикову, велел перенести себя в ту часть Великокняжеской Калы, где была главная квартира этого офицера. Сдав батарею, лейтенант приказал выпустить двести пуль по крепости из картечицы в отместку за свою рану, и его понесли в лагерь, где уже были в госпитале два раненых моряка — капитан-лейтенант Зубов и подполковник Яблочков.

У бравого лейтенанта во всю дорогу не выходила из головы мысль, что он теперь поставлен в невозможность делать взрыв, и эта мысль вызывала у него слезы на глаза, заставляя даже забывать боль в раздробленной руке...

* * *

Темно... Грязно... Ветер налетает порывами, свистит в ушах у солдатиков, врывается под шинели, оледеняет бедняков и мешает им глядеться во мглу, откуда нет-нет и сверкнет огонек выстрела и зажужжит пуля под аккомпанемент завывания ветра... Небо покрыто тучами, по временам сеющими мелким дождем...

Скверно в это время в траншеях... Укрыться некуда... Глина размякла, прилипает к ногам... С каждым шагом ожидаешь полететь, до того скользко... Руки, держащие винтовку, окоченели от холода железа ствола и мокроты... Вода льется за шиворот, и чувствуешь, как сорочка понемногу прилипает к телу... Долго стоять на одном месте нельзя — ноги начинают везнуть... А в голове роятся мысли одна другой безотраднее... Невыносимое чувство неизвестности давит всей своей тяжестью... Долго ли будет все это тянуться? Как кончится? Что ожидает меня в недалеком будущем? Копшатся вопросы в голове — вопросы, остающиеся без ответа... Чтобы развеяться немного, начинаешь пристально вглядываться в темноту, прислушиваться, считать число вспыхивающих на неприятельской стене выстрелов... Надоедает наконец и это... Воспоминания о прежнем нахлынут в голову... Вся жизнь начинает проходить перед глазами, как в стереоскопе... Все, что было наиболее выдающееся, является панорамой, как бы только вчера это миновало... Но вместе с тем все это как будто в полусне, как будто в представлениях волшебного фонаря видишь самого себя... Наконец является благодетельная дремота! Как хорошо

переселиться в мир сновидений хоть на несколько минут!.. Все окружающее так нехорошо, так тягостно!.. Минута забытия, минута радужных снов придаст снова силы переживать все это наяву... Но спать нельзя... Не потому, что чувство сознания долга мешает спать, нет, а потому, что внутреннее состояние человека мешает ему забыться хоть кратковременным, тяжелым сном...

А вдруг вылазка?.. Может быть, в эту самую минуту, когда дремота смыкает глаза, неприятель ползет и через минуту ринется на нас с диким криком, рубя все направо и налево?..

Снова всматриваешься в густой мрак до боли в глазах... Снова бред сонного человека начинает мешаться с действительностью... Картины детства, беззаботного веселья перемешиваются с картинами боя, и звук выстрела выводит вас из этого полудетаргического состояния... Прикосновение рукой к мокрой, липкой глине напоминает вам, что вы в траншеях вблизи от неприятеля, и образы минувшего и пережитого исчезают из вашего мозга — остается действительность, тяжелая, но имеющая все-таки свою прелесть...

В чем же эта прелесть? Удивится, наверное, читатель, на которого предыдущее описание, вероятно, не произвело впечатления чего бы то ни было прелестного.

Прелесть в том, что эта обстановка заставляет вас чувствовать, что вы живете, а не прозябаете; вы сознаете, что, какой бы маленький человек вы ни были в общественной иерархии, тут вы становитесь большим, так как вы в этот момент собираетесь и готовы отдать жизнь — то есть принести величайшую жертву на алтарь общественного благосостояния...

В вас подымается энергия, какой обыкновенно может быть и не бывает, а вместе с тем является и чувство внутренней гордости при мысли, что сейчас, может быть, сцепившись грудь с грудью с врагом, вы покажете свою удачу, свою непоколебимость...

Не знаю, будут ли понятны читателю эти чувства, особенно если строки эти попадутся на глаза какому-нибудь буржуа, сидящему в хорошо натопленной комнате, когда самовар поет на столе, в то время как на улице воеет и свистит ветер и дождь хлещет и барабанит в окна... Пожалуй, читатель тогда потянется в кресле, прихлебнет глоток чайку и, пустивши кольцо табачного дыма, скажет про вашего покорнейшего слугу: «Идеалист! Пылкая голова или же напускает на себя оригинальность».

Со своей точки зрения вы, может быть, будете правы, читатель! Не все люди созданы по одному масштабу, иному величайшее наслаждение пользоваться комфортом, жить понемножку, полугоночку, принадлежать к золотой середине мирного буржуа, находить наслаждение в игре определенных шести роберов винта и затем также покойно и мирно сойти с арены жизни, как и действовал на ней!

Другому нужна лихорадочная деятельность, нужны сильные ощущения, ежеминутно напоминающие ему, что он действительно живет, нужна борьба, которая могла бы поглощать избыток его сил; «золотая середина» этому человеку кажется болотом. Или

выдвинуться вперед с целью приложить свои способности, которые в «золотой середине» сгниют, или сложить свою голову, не परिवаривающей будничной жизни...

Большинство обладателей таких темпераментов не бывают цезарями, а обращаются в горсточку земли, потерянную где-нибудь на поверхности земного шара без всякого следа, без памятника, какие воздвигают себе буржуа с целью увековечения имени субъекта, бывшего «добрым» и безобидным только потому, что не хватало способностей быть злым!

Прожить 30—40 лет на свете, пройти школу отчаянной борьбы, чувствовать, что живешь всеми нервами своего организма, всеми фибрами — и затем сгореть, оставив огненный след своего существования — вот завидная, желательная, идеальная судьба человека, по моему понятию!

А так как жизнь в походе исполняет некоторую, правда незначительную, часть программы желательного для автора этих строк существования, то поэтому и не должно быть удивительного восхищения той обстановкой, которая людям с другим характером не покажется привлекательной.

Возвращаюсь к моему описанию.

Ночь на 12 января 1881 года принадлежала к числу ночей, картину которых я только что нарисовал.

В передовой траншее левого фланга часов в одиннадцать вечера замечалось особенное суетливое движение. В разных местах соби- рались группы офицеров, оживленно разговаривавших, проходили саперы с фашинами, собирались апшеронцы, которым делался расчет; инженерный капитан Васильев бегал взад и вперед, иногда перепрыгивал через бруствер, исчезал в темноте, откуда слышался его шепот, заглушаемый ударами лопат в землю, плеском воды и шумом бросаемых фашинов.

— Николаев! Где Николаев? — слышался чей-то голос.

— Здесь, ваше б-дие!

— Не забудь запалы!

— Никак нет! В кармане у меня, ваше б-дие!

— То-то же! Да двух людей поздоровее назначить нести динамит!

— Назначил уже... Скоро и пойдем уж, ваше б-дие?

— Будьте готовы... Вот как только кончат саперы мостик, и двинемся с Богом!

Вся эта суета, все разговоры, приказания и совещания касались предприятия, сильно всех волновавшего и интересовавшего, — взрыва нашими охотниками стены с целью проделывания бреши.

Поручик 1-го железнодорожного батальона Остолопов и гардемарин М—р вызвались пролезть в неприятельский ров, заложить под стену три пуда динамита и три пуда пироксилина и взорвать эти мины; в прикрытые охотников на случай вылазки неприятеля была дана целая рота Апшеронского полка; всем предприятием командовал флигель-адъютант, войсковой старшина граф Орлов-Денисов.

От передовой траншеи до неприятельского рва было около трехсот шагов, охотникам предстояло перейти ручей, протекавший

по этому месту и дойти до так называемой подковки, то есть полукруглой траншеи, лежавшей шагах в пятидесяти от неприятельского рва и соединенной с ним узенькой и маленькой канавкой, постепенно углублявшейся и спускавшейся на дно рва.

В этой подковке должна остаться гальваническая батарейка для взрыва пироксилиновой мины и часть команды. Остальным надо было спуститься в ров, выкопать углубление под стеной, которая начиналась прямо со дна рва, эскарпа не было, заложить в это углубление мину, на случай недействительности или порчи батареи зажечь фитиль Бикфорда и выскочить изо рва.

Промежуток между местами заложения пироксилиновой и динамитной мины должен был быть шагов 12—15.

Прикрытие минеров — апшеронцы — должны были во время работы частью лежать на краю рва, частью залечь в ров по обеим сторонам работающих и в случае нападения драться до последнего, давая выиграть время до окончания работ...

— Скоро ли кончат эти саперы со своим мостом? — с нетерпением обращается граф Орлов к гардемарину, который занят стягиванием своей персоны поясным ремнем поверх полушубка и ощупыванием, на должном ли месте револьвер, чтобы не мешал ползти.

— Да, пора бы и кончить!.. Мокро, холодно... Я думаю, будет трудненько ползти по глине, которая совсем размякла...

— Зато вам будет легче работать под стеной... Удары ломом и киркой по мокрой земле не будут так слышны, — возразил на сетования гардемарина граф Орлов.

— Лишь бы не было текинского секрета в подковке, раз она занята неприятелем, придется начать целое дело...

— А вам сколько надо времени для работы?

— Не менее получаса, чтобы основательно закопать мину.

— Я думаю, что если текинцы не заметят нашего подползания, то работу услышат... Вопрос только, сделают ли вылазку или ограничатся одной стрельбой...

— Сейчас саперы окончат мост, ваше сиятельство, — сказал подошедший поручик Остолопов.

— Вы совсем готовы?

— Совсем.

— Начальник штаба идет сюда, — послышалось из мрака... Граф Орлов пошел в ту сторону, откуда слышалось приближение нескольких человек, между собой разговаривавших.

— Если можете, выдвигайте понемногу людей из траншеи, дайте только минерам выйти вперед, — послышался голос начальника штаба полковника Гродекова. — С Богом, ребята, будьте молодцами и помните, что в случае насядут на вас текинцы, вас выручат, не бросят!..

Вот на бруствере обрисовалась одна фигура, немедленно исчезнувшая, за ней другая, третья... Послышался сдержанный шепот:

— Динамит-то подавай легче! Ну, принимай на себя!

— Что, минеры вышли? Не урони ящика с батареями!.. Передай катушку с проводниками! Не шуми, ребята!

Как призраки исчезли одна за другой темные фигуры...

Особенное ощущение, читатель, когда выходишь за бруствер, покидаешь эту надежную защиту и знаешь, что теперь окончательно открыт для неприятельских выстрелов! Ни зги не видать... Вот тут, налево, должно быть, мостик... Пригнувшись идут люди... Ручей... Остановились...

— Чего стали? — слышится шепот.

— Вперед, не задерживайте... — доносится голос графа Орлова.

— Сюда, ребята, вот мостик. — Ведет капитан Васильев передовых. Штыки звякнули один о другой, кто-то залез в воду и зашлепал сапогами.

— Тише, леший!

Там, где впереди чернеется что-то темнее окружающего мрака, сверкнул красный огонек, один, другой... Пуля ударилась в воду, и несколько капель брызнуло в лицо Остолопова, идущего рядом с ящиком динамита.

Мысль, как молния, мелькнула в голове — а что, если бы в ящик? Ощущение чего-то холодного пробежало по спине... Фашины хрустят под ногами... Наконец все перешли мостик...

— Ложись! — доносится приказание графа Орлова.

— Ползи за мной, не растягивайся, ребята! — шепчет гардемарин и с одним из осетин конвоя Скобелева бесшумно направляется на четвереньках к едва приметной черной точке — подковке... В нескольких шагах за ним — минер унтер-офицер Забелкин и матрос Гребенчиков...

Руки уходят в размокшую, холодную, липкую глину... Двигаться приходится со страшным трудом... Сердце стучит усилено... Кровь приливает от неестественного положения к голове, звон в ушах... От пристального напряженного всматривания в темноту начинает предстать какое-то движение в мраке... Вот снова сверкнул огонек... Раскатился звук неприятельского выстрела... Второй...

— Должно, увидали нас, — шепчет один из охотников.

Прилегли... А дождь, проклятый, моросит... Заливает за шиворот... Руки коченеют...

— Ваше б-дие! Что это как будто чернеется влево? — шепчет Забелкин на ухо гардемарину.

— Где? — спрашивает тот, сразу чувствуя какое-то особенное ощущение в сердце, определяемое выражением: сердце упало!

— А вот — смотрите, ваше б-дие, по руке!

Действительно, напрягая зрение моряк видит вблизи от себя что-то темное... Вот и еще...

— Должно, люди... Люди и есть, — слышится вокруг шепот.

— Лежать пока смирно, я поползу осмотреть!

Моряк переворачивается на левый бок, расстегивает кобуру, вынимает револьвер, засовывает его за борт тулупа на груди и ползет. Осетин не отстает с кинжалом в зубах... Вот уже близко эта черная масса... Нет сомнения — контуры человеческого тела...

— Стрелять или нет? Пусть первый выстрелит...

Осетин дергает за руку... Легли вплотную к земле... Фигура неподвижна... Подползли ближе... Осетин вынимает кинжал из рта и берет в руку...

Но вот моряку попадает что-то под руку...

Холодное, скользкое, разбухшее и мягкое... отвратительный запах мертвечины... Гардемарин отдергивает руку; как ни коротко было прикосновение, но моряк убедился, что это была нога трупа... Чувство гадливости охватило его до мозга костей... Он начал вытирать руку о землю, о тулуп... Осетин что-то проворчал... Дальше влево виднелось еще несколько темных силуэтов убитых... Тут только моряк вспомнил, что все это пространство покрыто трупами неприятеля, оставшимися после вылазки 4 января...

Поползли далее... Все более и более обрисовывается силуэт подковки... Есть ли там кто-нибудь? Мертвая тишина не нарушается никаким звуком!.. И выстрелы даже прекратились... Тучи начали расходиться — стало немного светлее... шагах в тридцати виден бруствер подковки... Вдруг эта темная линия озарится светом залпа? Осетин пополз бесшумно вперед... Прошло несколько мгновений ожидания... Моряк также двинулся.

— И я с вами, — послышался голос графа Орлова, заставивший от неожиданности вздрогнуть моряка.

Вот и бруствер... Затаив дыхание, поднимаются оба офицера на него и свешивают внутрь голову, держа наготове револьверы... В тот же момент черная папаха лезет им навстречу... Быстрее молнии опускаются два дула... Секунда — и грянули бы выстрелы...

— Это я, — говорит гортанный голос осетина.

Невольно глубоко, с чувством облегчения вздохнул моряк и опустил револьвер.

— До самого рва нет никого, — прошептал осетин.

Через несколько минут вся команда была в подковке.

Внутри этот редутик представлял из себя довольно узенькую полукруглую траншею. Земля из середины не была вынута, и таким образом на высоте груди человека была плоскость в виде стола. Немедленно воспользовались этим обстоятельством, поставили сюда ящик с динамитом, открыли крышку и вложили между динамитными патронами запал с гремучей ртутью и со вставленным в него куском фитиля Бикфорда, длина которого была рассчитана на две минуты горения. Минер Забелкин расположился в траншее на земле с батареей.

В это время небо начало очищаться от облаков. На горизонте стало светлеть — признак скорого появления луны. Надо было торопиться. Стена ясно виднелась, раза два или три послышались голоса текинцев...

— Ступай ты, Остолопов, со своими минерами вперед, иначе вы можете мне оборвать проводники, — прошептал гардемарин.

Два человека подняли ящик с динамитом и, пригнувшись, двинулись по траншее...

За ними медленно потянулись, шаг за шагом, и другие... Оставшиеся в подковке с замиранием сердца вглядывались в по-

степенно исчезающие во мраке фигуры... Со стены не было сделано ни одного выстрела.

— Пора и нам... Смотри же, Забелкин, не замыкай тока раньше, пока я не крикну «готово»! А теперь дай больше слабину катушке, я сам возьму проводники, смотри, чтобы не заело на катушке...

С этими словами гардемарин взял в руку концы проводников и, пригнувшись, быстро направился по траншейке в ров...

Проводники свободно тащились за ним.

Вот уже близко ров... Слышен шепот охотников Остолопова... Вот кончается и траншея... Дно рва ниже немного — фута на два... Легко спрыгнул моряк, но все-таки зашумел... Сердце упало... На стене кто-то кашляет... Вот какая-то гортанная фраза, к кому-то обращенная... Разговаривают... На стене шорох... Моряк, ни жив ни мертв, прислонился к стене... Прижался к сырой глине, как бы желая вдавиться совсем в нее... Шорох прекратился, но разговор ясно слышен...

Вот подходит Остолопов и едва слышным голосом спрашивает, пора ли закладывать мину и не пойти ли посмотреть начатую брешь.

Оставив команду, прижавшуюся к стене, оба офицера бесшумно крадутся к темному пятну шагах в двадцати левее выхода из траншейки в ров...

Еще не доходя до бреши, оба офицера споткнулись несколько раз о валявшиеся обломки глины... Вот, наконец, и груды осыпавшейся земли... Довольно пологий подъем... С сильно бьющимся сердцем поднялись, крадучись, Остолопов с гардемаринком... Земля осыпается под ногами и с шумом падает вниз... От волнения шум этот кажется способным разбудить мертвых... Вот и вершина бреши... Голова моряка на уровне стены... Он приподымается и заглядывает внутрь крепости... Полный мрак. Где-то далеко блестит огонек... Собака залаяла внизу... Направо в нескольких шагах от него, на стене, разговор текинцев — слышно каждое слово... Шорох, шаги...

— Хорошо бы вскочить неожиданно на стену... — шепчет Остолопов.

Вместо ответа моряк сползает назад по бреши... На дне рва его поддерживают дюжие руки одного из охотников... И кстати... От волнения ноги дрожат, из-под козырька фуражки катятся капли холодного пота...

— Начнем работать, — говорит Остолопов.

— Пора, пора... — шепчет прерывающимся голосом моряк и идет влево от бреши, Остолопов — направо.

— Вот тут, ребята, — указывает гардемарин. — Ну, начинай ломом... У кого лом?

— У меня, ваше б-дие...

Раздается глухой удар в основание стены.

— Чего ты лезешь?.. Мне их благородие приказали начать, не тебе!..

— Пошел вон! Я — матрос... Раньше с их благородием служил... А ты что!..

— Не шумите, черт бы вас подрал... Давай лом... — И гардемарин начал осторожно ударять в глину, стараясь выворачивать побольше куски... Удары глухо раздавались по рву...

На стене смолкли голоса, но послышался шум у самого края парашета, и несколько кусочков глины упало около работавших... Должно быть, обеспокоенные шумом текинцы заглядывали через парашет...

Работа приостановилась... Вот снова раздался говор на стене... Но ни тревоги, ни выстрела... Опять заработали ломы и кирки... Гардемарин передал лом одному из охотников и, прижавшись плечом к стене, следил за работой... Как-то невольно часто подымались глаза его наверх, где он ожидал увидеть силуэт врага, перегнувшегося через парашет... Но все было покойно... Углубление под стеной увеличивалось...

— Ваше б-дие! Почитай, уж довольно, — обратился к нему матросик Гребенщиков.

Гардемарин стал на колени и ощупал рукой углубление...

— Нет, ребята, еще мало... Валяй теперь лопатой... Выгребай всю мелочь оттуда и еще немного подкопай...

— Ну, как твои дела? — послышался тихий шепот Остолопова, вынырнувшего из мрака.

— Сейчас буду закладывать... А ты?

— У меня тоже кончают... Не забудь же крикнуть, когда будет готово...

— А где граф Орлов?..

— Во рву, около моей мины. — И поручик исчез.

— Ну довольно, ребята... Закладывай мину... Где она?..

— Вот...

Как перышко поднял один из охотников объемистый трехпудовый медный цилиндр и засунул в углубление...

— Осторожно, не порви проводников или фитиля...

— Никак нет, ваше б-дие!..

— Ну, ребята, хорошенько теперь замните весь промежуток кусками глины...

Гардемарин нагнулся осмотреть, хорошо ли вложена мина, и убедился, что весь цилиндр скрылся под землей... Фитиль Бикфорда выдавался на пол-аршина из обломков глины, которыми была сделана забивка мины...

— Ребята, уходите все по траншейке... Живо!.. Ты, Гребенщиков, беги к поручику Остолопову и скажи, что сейчас буду зажигать фитиль, и вместе с его людьми выскакивай изо рва... Слышишь?..

— Есть, ваше б-дие!..

Гардемарин остался один... Дрожащими руками вынул он коробку спичек, кусок фитиля и фальшфейер из кармана полушубка... Чиркнул спичкой... Загорелась... Стал зажигать кусок фитиля — не горит... Руки ли чересчур дрожат, или фитиль отсырел... Снова зажег спичку... Фитиль затлелся наконец... Распластырил фальшфейер, размял смесь... Вот в стороне работы Остолопова — шум... Слышно, как бегут люди... Доносится крик

«готово!». Над головой на стене шум, говор многих голосов... Огненная точка фитиля коснулась фальшфейера... В момент яркий, дневной почти свет залил весь ров... В глазах зарябило... На секунду моряк ослеп... Загремели над головой выстрелы... Крики... Посыпались около комки глины... Пламенем фальшфейера дотронулся моряк до конца фитиля Бикфорда, торчавшего из мины... Каучук фитиля затрещал, что-то вспыхнуло, и фитиль, зашипев, начал выбрасывать сноп искр...

Крикнув «готово», быстрее молнии бросил гардемарин фальшфейер на мокрую землю, затоптал ногой и... очутился в полном мраке, мраке страшном, беспроглядном...

Он бросился прямо вперед и наткнулся на эскарп рва... Хотел влезть по этой почти отвесной стене... Судорожно хватавшиеся пальцы встречали мокрую, скользкую глину, оставшуюся комками в горстях... Обернулся назад — фитиль выкидывает красную ленту искр... «Сейчас взрыв», — мелькнуло в голове моряка... Он бросился влево... Споткнулся о что-то... Упал... Поднялся и побежал, ощупывая руками бок рва, — везде сплошная глина — следов выхода нет... Отчаяние сдавило горло... Разум уже перестал руководить им... В такие минуты человек или сидит, или ходит с ума... Из ста человек в девятнадцать тупое отчаяние заставляет даже не следовать инстинкту самосохранения...

Молодой моряк оглянулся еще раз назад... Искры вылетают из-под стены... Он сделал еще несколько шагов и почувствовал справа пустоту... Выход в траншейку изо рва нашелся...

Невозможно описать ощущения его... Волна радости охватила все его существо — он не думал о граде пуль, сыпавшихся со стены, не слышал страшного треска непрерывных выстрелов, гремевших на стене... Одна мысль овладела им, одно сознание наполняло его голову — возможность спастись от взрыва, избежать этой неминуемой, ужасной опасности...

Вот он шагнул одной ногой, уперся руками и уже взобрался во вход траншейки... В этот момент что-то со страшной силой ударило его в спину и голову, мрак озарился красным светом, открытый рот тщетно пытался набрать воздуха... Миллионы красных и зеленых кругов явились перед глазами; он почувствовал, что сверхъестественная сила подняла его и бросила... Он летит, летит и... сознание исчезло...

* * *

— Ваше б-дие, живы?..

— Что?.. Где я?.. Ты кто?..

— Гребенщиков, ваше б-дие... Вы здесь лежали, должно, взрывом ошеломило...

— Да где я?..

— Около подковки, ваше б-дие... Наши отступают... Пожалуйста руку, я вас доведу...

Гардемарин поднялся... Все вертелось перед глазами... Что-то теплое текло из левого уха на щеку... Вкус крови чувствовался во рту... Он ступил несколько шагов — кровь хлынула носом...

На левое ухо он ничего не слышал... Голова страшно ныла, спина одеревенела...

— Правее, ваше б-дие, тут ров; вот впереди наши охотники; я уж доведу вас в целости!

В траншеях гремело «ура!». Вся неприятельская стена опоясывалась огнем; пули летели градом, посвистывая на разные лады, в темноте слышался голос графа Орлова, отдавшего приказание отступать в порядке и идти в ногу.

Гардемарин шел, поддерживаемый матросом, не отдавая себе вполне отчета, что он делает.

Вот наконец близко и ручей. Не отыскивая мостика, люди идут прямо по воде, еще несколько шагов и траншея...

— Ой, убило! Ой, смерть моя, — раздается болезненный крик, заглушающий и шум перестрелки и командные слова. — Ох, братцы, тошнехонько, — кричит кто-то, и в этом крике слышится нестерпимая боль.

— Возьми его под руки, Матвеев! Чего стоишь!

— Ружье-то, ружье захвати — потеряет ведь... Эх вы, народ! Ну, тащи, что ли!

— Не суетись, ребята! Все поспеете, все будете за бруствером, — доносится голос графа Орлова.

Возвращающиеся охотники входят в траншею, начальник параллели, седоусый кавказский полковник выстраивает их во фронт.

— Все ли вернулись? Где поручик Остолопов, где гардемарин М—р? — звучит всем знакомый голос «Белого генерала», Михаила Дмитриевича Скобелева.

— Здесь, ваше превосходительство, — отвечает Остолопов.

Моряк же еще не может выговорить ни слова и молча подходит к генералу, окруженному толпой офицеров.

— Спасибо, господа, за честно исполненный вами долг! С такими офицерами не может быть сомнения в удаче завтрашнего штурма. Я доведу до сведения государя о вашем сегодняшнем подвиге и убежден, что Его Императорское Величество не оставит вас без награды, так доблестно вами заслуженной! Ребята! Кричите «ура» нашим героям-охотникам! Ура! Ура! Ура!

Громовое «ура» раскатилось по траншеям, подхватываемое во всех параллелях, перебиваемое трескотней залпов и выстрелов неприятеля.

Генерал крепко, крепко пожал руки обоих офицеров, отошел несколько шагов, вернулся снова, еще раз пожал им руки, видимо ища слов, чтобы выразить свою признательность, но гремевшее «ура», выстрелы из мортир и непрерывная трескотня картечных не давали возможности выслушать его.

Гардемарин стоял опьяненный радостью!

Его идеал, его Бог, на которого он взирал с особенным благоговением, так сердечно благодарил его и назвал героем! Находясь еще под впечатлением взрыва, выбросившего его изо рва, он сразу подвергнулся еще впечатлению такого внимания человека, бывшего для него выше всех, человека, один взгляд которого был для него радостным лучом, способным разогнать все нравственные тучи, смягчить все физические страдания! Для молодого моряка это было слишком уже много: нервы его сдали, он поторопился завернуть в пустую полупараллель, чтобы скрыть слезы, лившиеся градом по закопченному, выпачканному грязью и кровью лицу!

Кто никогда не проливал таких слез, тот не испытывал полного счастья на земле! Эти слезы очищают, поднимают человека; эти слезы не ложатся на грудь тяжелым гнетом скорби, нет — они облегчают, освежают душу; выплакавшись, человек приобретает небывалую бодрость и снова готов к самопожертвованию, к борьбе, снова готов на подвиги во имя общего блага, снова готов идти на зов долга...

Перестрелка умолкла, траншеи погрузились в тишину; моряк перевязал себе мокрым платком голову, завернулся в бурку и улегся на мокрой глине в траншее; все спало вокруг, кроме дежурной роты, вытянувшейся вдоль бруствера; гардемарин лежал закрывши глаза, в ушах звенело от страшной контузии, голова ныла, но он был счастлив, счастлив так, как никогда потом не был да и не будет...

Сквозь страшный звон, наполнявший его уши, ему чудилось, что он слышит голос Скобелева, благодарящего его; правая рука чувствовала крепкое пожатие боготворимого им героя... Через восемь часов ему надо было идти на штурм, мысль о смерти несколько раз промелькнула в его голове, но он отгонял ее; ему казалось немислимым быть убитым через несколько часов, когда теперь он избежал такой страшной опасности в момент взрыва. Неужели судьба дала ему возможность отличиться для того, чтобы через несколько часов он был убит? Моряк твердо верил в свою звезду и заснул как мертвый, убаюканный розовыми надеждами ожидающей его награды...

Знай он, какая перспектива страшного искалечения ожидала его на следующее утро, он, по всей вероятности, не предался бы с таким удовольствием радужным сновидениям...

Какими бы стальными нервами не обладал человек, а все-таки решающий момент в его жизни вызывает невольное сжатие сердца, невольно заставляет его призадуматься, проанализировать свой внутренний мир, оглянуться на прошлое и постараться представить себе картину будущего...

Последняя кровавая сцена трехнедельной драмы, разыгранной под стенами Геок-Тепе, должна была наступить через час холодного мрачного дня 12 января 1881 года...

Через час должна была решиться судьба всей экспедиции и судьба многих отдельных членов этой экспедиции... Через час должен был взвиться на этих глиняных твердых русский импе-

раторский штандарт или нашего отряда не должно было существовать... В душе каждого копошился гнетущий вопрос: буду ли я через час победителем или буду безгласной, окровавленной массой, одинаково равнодушной к победе и к поражению? Независимо от себя представлялись малоуспокоительные картины, являлись воспоминания о смерти товарищей, совершавшейся на глазах, являлось страстное, непреодолимое желание узнать свою судьбу. В душу многих закрадывалась эгоистическая надежда, что авось буду убит не я, а другой, рядом стоящий... Какая-то особая печать торжественности лежала на всех этих лицах... Иной пытался казаться развязным, и самая эта неестественная, не присущая его натуре развязность лучше всего выдавала его внутреннее смятение, вызванное, может быть, его страстным желанием жить... Каждый из готовившихся идти на штурм не был новичком в деле опасности, каждый десятки, если не сотни раз рисковал своей жизнью, а все-таки перед штурмом, перед этой решающей минутой в душу каждого забиралось какое-то особенное неиспытанное чувство, заставлявшее сильнее обращаться кровь в его жилах, сильнее сжиматься сердце...

Орудия брешь-батареи неумолчно заставляли своим гулом содрогаться землю, посылая снаряд за снарядом через голову собравшихся в третьей параллели апшеронцев в разбитую и разрыленную землю приготавливаемой брешки... После каждого разрыва гранаты, знаменовавшегося темным столбом взбрасываемой вверх земли, появлялись несколько неприятельских фигур из-за стены, торопившихся наложить войлоки и засыпать землей разрушительные результаты действия наших девятифунтовых орудий... В это же время с пронзительным гулом снова летело несколько снарядов, которые своим разрывом разбрасывали кошмы и войлоки и разрывали на куски геройских рабочих, ценой собственной жизни старавшихся парализовать страшное действие пушек «урусса»...

Колонна полковника Гайдарова, которой предстояло штурмовать с помощью лестниц западный фас Геок-Тепе или, вернее сказать, главное назначение которой заключалось в отвлечении внимания от штурмовых колонн полковника Куропаткина и полковника Козелкова, чей натиск должен был решить судьбу штурма, давно уже вступила в дело... Ружейный и орудийный огонь разгорался все более и более около Мельничной Калы и примыкавшего к нему четырехугольного редута, сплошь занятого неприятелем, массы которого, поминутно окутывавшиеся облаками дыма от ружейных выстрелов, ясно были видны в бинокль из третьей параллели левого фланга, где собрались апшеронцы и охотники под командой флигель-адъютанта Орлова-Денисова... С напряженным вниманием смотрели офицеры и солдаты за движением своих товарищей, все ближе и ближе подходивших к Мельничной Кале, причем все более и более учащалось хлопанье текинских фальконетов, гулом своим заглушавших треск берданок... Но вот отряд скрылся за стенами Калы, текинцы из редута начали перебегать по траншее в ров крепости, частью в Мельничную Калу, из-за

стен которой продолжали подыматься клубы молочного дыма и доноситься раскаты орудийных выстрелов.

Брешь-батарея не умолкала... Выпускаемые ею снаряды пролетали очень низко над головами столпившихся в третьей параллели войск... Воздух содрогался от полета и с силой ударял в уши. Нашлось уже несколько своих жертв, жертв неминуемой случайности при подобных обстоятельствах... Какой-то солдатик Ставропольского полка не вовремя вздумал перебежать из одной траншеи в другую прямо через открытое место под амбразурами брешь-батареи... Сверкнул выстрел, солдатика окутало облаком дыма... Через секунду дым рассеялся, и солдатик оказался лежащим в луже крови, бившей фонтанами из шеи, на которой болтались какие-то ключья — голова была оторвана снарядом... Нельзя сказать, чтобы этот случай произвел особенное впечатление на присутствовавших, — каждый был так мысленно сосредоточен на самом себе, что смерть постороннего не могла сильно затронуть ничьих нервов... Судьба, значит, было суждено этому солдатику кончить таким образом свою жизнь... А может быть, не подвернись он под свой снаряд, он был бы убит на штурме!..

Канонада не прерывалась ни на минуту... В месте пробиваемой бреши все также взлетала земля, со стены неприятель отвечал редкими ружейными выстрелами; одним из этих выстрелов был тяжело ранен в правую руку храбрый подполковник Ставропольского полка Ципринский-Цекава, высунувшийся чересчур за бруствер; этот бравый офицер, старый типичный кавказский вояка, командовал батальоном вышеназванного полка, отбил вылазку текинцев 4 января на левый фланг, поражая их выдержанными меткими залпами. Время штурма приближалось... В передовой траншее собралась группа офицеров... Несколько человек на скорую руку закусывали бутербродами, предложенными для общего пользования графом Орловым-Денисовым. Сам граф, одетый по кавказкому обычаю перед штурмом во все новое, при помощи денщика прицеплял свежие флигель-адъютантские аксельбанты.

В это время подошел к группе офицеров гардемарин.

— Ну что, как ваша контузия? — обратился к нему граф, крепко пожимая руку.

— Ничего, так себе, голова болит меньше, но на левое ухо ничего не слышу — должно быть, лопнула барабанная перепонка!

— До свадьбы заживет. Выпей-ка коньяку да закуси перед делом...

— А вдруг ранят в живот, лучше натошак идти на штурм, — возразил гардемарин.

— Пустяки... виноватого найдет! С полным ли желудком, с пустым ли, коли суждено — не избавитесь! Выпейте, право лучше... а то так холодно!

Моряк последовал совету — выпил рюмку коньяку и стал закусывать бутербродом с солониной...

— По местам, господа, по местам, — раздался в это время голос полковника Козелкова, начальника штурмовой колонны левого

фланга, который, ковыляя раненой еще в турецкую кампанию ногой, обходил траншею.

Все офицерство бросилось поспешно на места — в траншею воцарилась мертвая тишина, нарушаемая приказаниями офицеров, отдававшимися вполголоса. Взоры всех обратились на правый фланг, где должен был быть взрывом подан сигнал к штурму.

Все солдатики, сняв шапки, крестились — лица были бледны, глаза неестественно горели...

Томительно подобное ожидание...

— Помните же, ребята, — слышался голос графа Орлова, — как взрыв — сейчас выскакивай за бруствер, стройся и быстрым шагом вперед; шагах в тридцати или сорока от стены — «ура» и бегом. На бреши залечь, оправиться и разом в штыки...

Земля дрогнула, заколебалась, люди в траншеех покачнулись, многие схватились друг за друга, чтобы не упасть, над восточной стеной крепости поднялось облако дыма и пыли со столбом всевозможных обломков и летящих фигур... Как один человек выскочили из-за бруствера охотники и апшеронцы... Начали выстраиваться... Какой-то солдатик, бледный, дрожащий, видимо ничего не сознающий от страха, поднял винтовку и, никуда не целясь, торопливо выстрелил... Как бы по мановению волшебного жезла затрепалли выстрелы между не успевшими выстроиться людьми...

Полковник Козелков, граф Орлов, офицеры старались остановить эту беспорядочную стрельбу... Голоса их заглушались трескотней... Козелков, видя бесполезность словесных уговоров, прибегнул к помощи костыля, граф Орлов шашкой плашмя начал водворять порядок... Стрельба прекратилась, колонна, выстроившись, двинулась к мостику через ручей...

Текинцы не стреляли пока... На мостике началась давка... штыки со звоном цеплялись один за другой... Задние напирали на передних, многие с мостика сталкивались в воду, намокали до пояса, с трудом вылезали на берег, отряхивались и торопились занять свое место... На неприятельской стене вспыхнуло несколько дымков... Фельдфебель апшеронцев, видный, красивый мужчина, ничком рухнул на землю... Чаще, чаще зашлепали пули в эту скученную массу... Люди падали, убитые наповал, загромождая дорогу... Раненые старались выбраться из этой давки... Все время слышался зычный голос графа Орлова, ободрявший людей... Мостик перейден... Штурмовая колонна двинулась... Раздались звуки «марша добровольцев»... Страх как не бывало... А между тем эта грозная белая стена все чаще и чаще стала окутываться дымом, чаще и чаще падали люди... Граф Орлов в своем щеголеватом мундире шагах в десяти впереди колонны, с обнаженной шашкой шел ровным шагом, часто поворачиваясь и что-то крича солдатам... Осталось до стены шагов около ста... Граф Орлов вдруг покачнулся, выронил шашку, левой рукой схватился за кисть правой... Через несколько мгновений он снова шел впереди, держа шашку в левой руке... Шагах в пятидесяти он снова упал и больше уже не мог подняться — фальконетная пуля раздробила ему бедро...

Прапорщик Усачев упал как скошенный — пуля раздробила ему колено... Колонна все редела и редела, оставляя за собой неподвижно лежащих в лужах крови убитых, умирающих в судорожной агонии, или раненых, со стоном отползающих назад... Все ближе и ближе подходили редевшие ряды к стене... Ясно виднелись черные папахи и длинные стволы фальконетов и винтовок, непрерывно извергавших дождь пуль... Громкое «ура» прогремело в горсти оставшихся в живых, стремительно бросившихся бегом вперед, с ружьями наперевес. Еще упали несколько человек, с разбегу уткнулись лицом в землю... Вот и ров... Люди прыгают в него... Несколько уже лежит у основания бреши, и берданки их непрерывно гремят почти в упор в эти коренастые, черномазые фигуры, по поясу высовывающиеся из-за стены с шашками, копьями и пистолетами... Гардемарин со своими охотниками был в нескольких шагах от рва, когда увидел текинца, целящего в него из какого-то невероятно длинного ружья... Инстинктивно повернулся он правой стороной... Секунда ожидания... Удар, страшный по силе, но безболезненный, — в правую щеку... Револьвер выпал из руки, схватившейся за щеку, вся рука окрасилась кровью, что-то горячее лилось из горла за рубашку, рот наполнился какой-то кашей, кровь хлынула фонтаном из носа и изо рта... Медленно, неестественно осторожно опустился моряк на землю, сначала на колени, потом упал на руки... Выплюнул кровь и с нею пять зубов с осколками челюсти... Из простреленного горла не могло вырваться ни звука... Лужа крови около него все увеличивалась... В голове мелькали мысли: «Неужели это смерть?!» Пули щелкали около в землю; ни одной живой души около не было, мертвых было много, слишком много... В нескольких шагах лежал барабанщик, повернув как-то странно голову под грудь; на нем были длинные, не черненного товара сапоги, совсем рыжие... Они обратили на себя внимание моряка... Прямо против него, на бреши, шла рукопашная схватка... Летели комки земли из-за бреши, камни... Несколько солдатиков ползли по бреши, скатывались назад... Вот какой-то офицер вскочил на вершину... За ним бросились солдаты... Офицер перевернулся и, распростерши руки, упал навзничь... Гардемарин все это видел как в тумане... А кровь из него все лилась и лилась, а с нею вместе уходила и жизнь... А жить так хотелось, как никогда... Он хотел крикнуть: умираю, спасите, подберите меня! — но простреленный язык и горло не повиновались — только хлынула фонтаном кровь. Желая подняться с земли, он оперся левой рукой, и страшная боль в груди, дала ему знать, что и грудь прострелена... Рука подогнулась, и он упал на левый бок с глухим стоном, с сознанием неминуемой смерти... Вот, вот сейчас все кончится, я перестану думать, чувствовать, мучиться... Ах, как страшно, как хочется жить!..

Обрывки мыслей, воспоминаний теснятся в голове... Представилась ему вдруг фигура Изотова, денщика его отца, водившего его гулять маленьким мальчиком лет пяти... Вот он в своем тулупчике играет в снежки... «Ах, какая масса крови около

меня», — мелькает одновременно мысль, и представление об этом слове «масса» вызывает в его мозгу воспоминание о давно забытом уроке механики в Морском училище... Живо, живо представляется ему фигура преподавателя и он сам, сидящий на скамейке с пером в руках... Вспомнилось лицо товарища и, странное дело, лицо человека, с которым он никогда не был особенно дружен и близок...

А кровь все льется и льется; чувство слабости овладевает им все больше и больше... Глаза закрываются, и открывать их становится все труднее и труднее... Начинается ряд галлюцинаций... Ему кажется, что над ним склоняются дорогие ему лица... Все ближе и ближе склоняются эти лица... Он уже забывает, что ранен... Ему хорошо... Какая-то блаженная истома овладевает всем существом...

— О Господи, о-х!.. — раздается около. Снова возвращается сознание действительности... Рядом около него стоит на коленях прапорщик-апшеронец Кашириных — руки прижаты к груди, изо рта хлещет черная кровь...

— Копьем... О...ох, — храпит он... Лицо искажено судорогами. Вдруг он вскакивает, шатаясь как пьяный, и бежит куда-то. Пример подействовал и на гардемарина... Какая сила подняла его — трудно сказать... Но он поднялся и пошел, поминутно останавливаясь, отплевывая кровь, спотыкаясь... Вошел в ручей, обмыл лицо, зачерпнул руками воды, попытался проглотить — вода вылилась через горловую рану наружу... Сознание готово было покинуть его... Бывший всего в нескольких шагах бруствер нашей траншеи как-то удивительно подымался и опускался у него в глазах... Земля стала уходить из-под ног... Чья-то рука крепко ухватила его вокруг талии... Кто это был — он не знал, видел только синий околыш и красный кант фуражки... Лицо подхватившего его было для гардемарина покрыто каким-то облаком... Он слышал какие-то слова, но какие — не мог разобрать... Влезал на бруствер... Упал... Сильная боль снова привела его в себя... Он увидел знакомое добродушное лицо камергера Балашова... Красавец доктор Красного Креста Малиновский подскочил... Он чувствовал, как его раздевали, разрезали на нем матросскую рубашку; чувство холода заставило его стонать, острая боль в левом боку вызвала крик, он оттолкнул кого-то и увидел Малиновского, показывающего что-то на окровавленной ладони Балашову, безнадежно качавшему головой. Слышал требования носилок, чувствовал, что с ним что-то делают, но ему казалось, что это не его укладывают, а кого-то другого, что он только смотрит на это... Носилки закачались... Мучительнейшая боль и холод во всем теле... Вот навстречу идет какой-то казак... Вгляделся в лицо, снял папаху и перекрестился... «Я, значит, уже умер», — думает моряк, но страшная боль в груди от удара носилок о выступы траверса дает ему знать, что он живет, чтобы страдать... Давка в траншеях страшная... В месте соединения с двумя другими ходами сообщений накопились десятки носилок, сталкивающихся между собой... Стоны беспомощного отчаяния раздаются с них, смещи-

ваясь с трескотней выстрелов и криками «ура». Пули свистят через голову... Носильщики вздрагивают, сбиваются с ноги, тряска от этого вызывает припадок бессильной ярости у гардемарина: он старается достать до спины передового носильщика сапогом, бедит свои раны и впадает в забытье...

* * *

Геок-Тепе взято... Земля пропитана кровью... Наступила ночь... Из крепости доносятся редкие ружейные выстрелы — добивают найденных в ямах текинцев... В лагере гремит музыка и песенники. Вино льется рекой — войска пируют! Маркитанты-армяне больше всего в барышах от победы — десятки и сотни ценных вещей, в особенности ковров, приобретено за несколько бутылок водки... Уцелевшие офицеры мечтают о наградах, видят радужные сны и не слышат нарушающих тишину ночи протяжных, мучительных стонов и вздохов, вылетающих из намётов Красного Креста и госпиталя — это изувеченные герои дня, из которых многие во мраке ночи призывают к себе смерть как избавительницу от невыносимых мук! Они сделали свое дело, принесли посильную жертву, товарищам не до них... У каждого столько своих хлопот и интересов, и злости дня... Но находятся люди, которые не забывают их — это две сестры милосердия, Стрякова и графиня Милютина... Они, как две тени, скользят из кибитки в кибитку, из намета в намет, и с ними является успокоение для несчастных раненых... Заботливая, нежная женская рука поправляет умирающему подушку, и его душа отлетает в то время, когда уста посылают благословение этому существу, облегчившему последнюю минуту расставания со страдальческой жизнью... Мучимый лихорадкой, с запекшимися от внутреннего жара губами, с пересохшим горлом лежит раненый... С ангельской осторожностью и заботливостью сестра подымает ему голову, и струя прохладной освежающей воды с вином льется ему в горло... Дрожащим голосом, еле слышным, говорит он: «Спасибо, сестрица». Холодящая рука едва приметно пожимает руку сестрице, и для нее, для этой чистой души, полной бескорыстия, эта благодарность стоит всякой другой... Вам, лучшие самоотверженнейшие из русских женщин, обязан я жизнью, обязан больше чем жизнью — облегчением мучительных, нечеловеческих страданий, и вам посвящаю последние строки моих воспоминаний, переполненных сценами кровавой борьбы, среди которой вы явились воплощенной идеей самопожертвования на пользу страждущих людей...

Воспоминания о вас изглаживают то тяжкое чувство нравственной и физической боли, которое навеяли на меня вызванные моей памятью образы прошлого...

Я убежден, что все раненые, пользовавшиеся попечением нашим, до конца жизни будут носить в своем сердце самое святое впечатление о тех, кто жертвовал ради них своим спокойствием, здоровьем, жизнью из бескорыстного чувства человеколюбия, являющегося феноменом в нашем холодно-рассудительном веке.

Б.Л. ТАГЕЕВ

Русские над Индией

*Очерки и рассказы из боевой жизни
на Памире*

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ СРЕДНЕЙ АЗИИ

ОТ АВТОРА

Выпуская в свет настоящую книгу, я задался целью познакомить русское общество с недавними событиями на нашей среднеазиатской восточной границе, наделавшими в свое время немало шуму как в иностранной, так и в русской прессе. Особенно английская печать забила тревогу, когда русские отряды, пройдя суровый Памир, преодолевая все преграды, нагроможденные на пути их самую природою, и дав отпор афганцам, загородившим им путь, вошли в недоступные дотоле европейцам ханства Шугнан и Рошан.

Между тем, несмотря на всю важность для России присоединения новой заоблачной страны как наблюдательного пункта, находящегося высоко над Индией и обеспечивающего спокойствие наших восточных границ в Средней Азии, русское общество весьма мало знакомо с обстоятельствами, при которых к территории России были присоединены Памир и прилегающие к нему ханства, где ныне наш трехцветный флаг гордо развился высоко над облаками как бы в напоминание с Памирских высот англичанам и афганцам о могуществе и силе их северо-западного соседа.

Это обстоятельство объясняется тем, что о Памирском походе, за исключением статей, помещенных мною в «Ниве» 1893 года и «Разведчике» 1894 года, «Всемирной иллюстрации» 1895 года и, наконец, в «Историческом вестнике» 1898 года, более описаний не было даже и в военной прессе¹, да и вышеупомянутые статьи касались лишь действий Памирского отряда в 1892 года, а о последующих операциях русских войск на Памире в 1893 и 1894 гг. и о столкновениях их с афганцами упоминалось лишь вскользь, ввиду разных обстоятельств, не позволявших опубликования этих интересных событий, которым наконец суждено впервые появиться в настоящем издании.

Желая придать описанию походов на Памир более живой и интересный характер, я, насколько возможно, старался скрасить сухость описания одних военных действий отрядов бытовыми

¹ В «Военном сборнике» 1895 и 1899 годов и в «Военно-инженерном журнале» помещены статьи капитана Серебренникова о Шугнанах и Памире и строительных материалах в этой стране, но статьи эти не касались похода и военных действий русских войск на Памире. — *Прим. автора.*

сценами походной и туземной жизни, историческими и этнографическими очерками, местными легендами, а также рассказами из боевой жизни завоевателей Туркестана, надеясь на снисходительность читателя за те погрешности, которые, несомненно, найдутся и в моей книге.

В заключение считаю долгом упомянуть, что труд мой составлен на основании моих личных записок и воспоминаний, как участника описываемого похода, точных донесений и переводов туземных документов и писем, любезно предоставленных в мое распоряжение начальствующими лицами Памирских рекогносцировочных отрядов, а также что он является первым отдельным изданием, в котором описываются все военные действия во время Памирского похода.

Борис Тагеев.

Введение. Россия, Англия и Афганистан

С 1839 года, после попытки России вторгнуться в глубь Средней Азии, Англия начала сильно тревожиться за безопасность Индии и зорко следить за движением русских войск все дальше и дальше на Восток.

Несмотря на неудачный поход в Хиву Перовского¹, так грустно окончившийся для России, англичане не успокоились. Английское правительство не придавало этой неудаче никакого значения, а, напротив, усилило свои наблюдения за движением русских на Востоке, отлично понимало оно, что подобная неудача не могла смутить Россию в ее намерении твердо укрепиться на берегах Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи и таким образом создать себе верный путь к Индии.

Ввиду этого, одновременно с движением отряда Перовского в Хиву, англичанами был послан к хивинскому хану дипломатический агент Стодарт.

Гордый дипломат с английской надменностью обошелся с ханом и сразу приобрел полное нерасположение хивинского правителя, который ни на одно предложение Стодарта не согласился и, заподозрив его в шпионстве, приказал казнить. Ошибка англичан, желавших настроить хана против русских, как казалось, заключалась в том, что экспедиция Стодарта была очень бедно снаряжена, даже подарков не привез хану английский агент, без чего на Востоке не обходится ни одно посольство, да и сам Стодарт был человек несдержанный, гордый и вспыльчивый.

Английское правительство без смущения отнеслось к гибели своего дипломата и смерть Стодарта приписало недостатку средств снаряженной им экспедиции. Теперь в Хиву было отправлено посольство, снабженное достаточным конвоем и большим количе-

¹ В 1839 году был совершен генерал-адъютантом Перовским поход в Хиву, окончившийся полной неудачей благодаря жестокой зиме, стоявшей в этот злосчастный год, и необыкновенно сильным метелям, свирепствовавшим в обширных степях Средней Азии.

Небольшой отряд Перовского не был в состоянии бороться со стихией и после 8-месячной борьбы с вьюгами и морозом вернулся в г. Оренбург, похоронив половину людей в азиатских степях и положив массу больных в госпитали.

ством ценных подарков и золота. Лучшие дипломатические агенты и офицеры находились во главе новой экспедиции. Каноли, Абот и Шекспир были в составе ее. Однако и их постигла печальная участь. Хан подарки принял и, по-видимому, радушно отнесся к англичанам, склонявшим его подняться против России и указывавшим ему на постигшую неудачу отряд Перовского как на пример бессилия русских, но лишь только экспедиция собралась в обратный путь, довольная своим успехом, как хивинцы по приказанию хана, ненавидевшего англичан, напали на нее, ограбили, отобрали оружие и с позором изгнали из Хивы. Претерпев неопишуемые лишения, потеряв половину своих людей, добрались злополучные дипломаты пешком, почти без одежд, до английских владений Индии и оттуда были доставлены в Лондон.

Таким образом, потерпев на этот раз окончательную неудачу, Англия на некоторое время остановила свои происки в Хиве и в том же году предприняла поход в Афганистан. Многочисленная английская армия с большим числом артиллерии, снабженная прекрасным оружием и боевыми припасами, победоносно начала кампанию с полудикими афганцами, не имевшими тогда и понятия о военном деле и вооруженными самым примитивным оружием. Без особых усилий заняли английские войска Кандагар, Кабул и Газни, и Англия ликовала победу. В Лондоне даже были назначены новые администраторы покоренного Афганистана. Но слишком рано, по обыкновению, радовались англичане. Афганцы, как буры в Южной Африке, решились грудью отстоять независимость своей родины и, ведя оборонительную войну, заманивали британскую армию в глубь горной части Афганистана.

Опьяненные легкими победами, полководцы не переставали преследовать отступающего врага и сами добровольно шли в ловушку; в один прекрасный день вся армия оказалась запертой в одной из долин, близ Хайберского прохода. Долго находились англичане в осадном положении, но голод и наступившие холода заставили их искать себе выхода, и они нашли его, но вместе с тем нашли в нем и свою могилу.

Вся британская армия была уничтожена афганцами в узком Хайберском проходе, ни один английский солдат не вышел из него обратно. Такое поражение вызвало панику в высших сферах правительства и породило страшное неудовольствие английского народа.

Проученная этим эпизодом, Англия не решилась повторить попытки укрепить свой престиж в Средней Азии оружием и обратилась снова к дипломатическим переговорам с среднеазиатскими ханствами. На этот раз результаты переговоров с ханами были удачнее, и Англии, после больших усилий, удалось-таки создать коалицию против России, внушая ханствам Средней Азии соединиться и создать таким образом сильного врага для русских за мусульманскую веру. Но и тут действия Англии, как всегда из-за угла против наших интересов в Средней Азии, несмотря на

затраченные миллионы и что среднеазиатские ханы ополчились против России, не увенчались успехом. Русские войска победоносно заняли Ак-Мечеть и, покорив Среднюю Азию, приобрели в ней раз навсегда огромное значение.

Страх за безопасность своих азиатских владений, как галлюцинация, начал преследовать англичан; в каждом движении русских войск они видели поход на Индию, и вот все внимание их сосредоточилось на Кашгаро-Афганской линии, а северо-западная часть Индии покрылась целой сетью железных дорог. Оставался Афганистан, прилегающий к Памиру, приковывавший внимание Англии как пункт, укрепившись на котором Англия считала свои владения неуязвимыми. Афганистан и Памир¹ стали мишенью английской политики, и туда были направлены жадные взоры английского правительства. Однако, не имея достаточных военных сил в Индии, Англия не решилась повторить попытку завоевания Афганистана, но золото, которое умеет рассыпать английское правительство, когда это ему нужно, выручило его и на этот раз и помогло выйти из затруднительного положения.

Афганский эмир согласился быть верным английским интересам за 800 000 субсидии в год, а кроме того, потребовал вооружения и обмундировку его войска на счет Британии. Последнее обстоятельство особенно входило в расчет англичан, они видели в этом постепенное достижение своей цели и охотно согласились.

Однако скоро пришлось разочароваться Англии в своих расчетах. Афганистан, с ног до головы вооруженный английским оружием, одетый и обутый в английские мундиры, обученный английскими инструкторами, все более и более приобретал себе независимость, не признавая английского престижа.

На предложение лорда Кландерона в 1869 году определить нейтральную зону между русскими владениями и Индией Россия согласилась, но с тем условием, чтобы Афганистан составлял эту нейтральную полосу. Почему-то не понравилось подобное предложение России английскому кабинету, имел ли он намерение, подчинив впоследствии Англии Афганистан, укрепиться на Памире² или в его расчеты входили какие-либо другие соображения, неизвестно, только переговоры тянулись до 1873 года и не привели ни к каким результатам. Принципиально же было решено так: Келат и Афганистан оставались под влиянием Англии, Бухара и Коканд под влиянием России. Граница, проведенная Форсайтом³, составляла линию по северным пределам Афганистана от озера

¹ Англия стала озабоченно смотреть на Памир с того времени, как только начали его посещать русские путешественники, не считая лейтенанта Вуда, посетившего Памир в 1837 году.

² Английский капитан Гордон незадолго до этого времени рекогносцировал по Памиру.

³ Форсайт был ранее командирован в Кашгар к Якуб-беку, с которым и завязал дружеские отношения с Англией.

Зор-Куль (Виктория), по Большому Памиру и затем поворачивала по реке Кок-Ча до впадения в реку Аму-Дарью, оставляя в стороне долины рек Ак-Су, Мургаба и Аличура (Памиры), и захватила собою Ваханский округ, никогда Афганистану не принадлежавший, который и был тогда же занят афганцами. Россия не протестовала, такая политика Англии давала ей свободу действия в сторону текинцев и к Мерву.

В 1878 году, когда Россия готовилась к походу в Индию¹ и ввиду движения русских войск к Джаму и появления на Алае русского отряда, англичане поспешили укрепить южные склоны Гиндукуша. Но тут случилось обстоятельство, заставившее Англию на время отвлечь свое внимание от действий России и перенести его на Афганистан.

Недовольный английской миссией, появившейся в Кабуле и требовавшей автономии, афганский эмир приказал избить всех англичан, находившихся в Афганистане, что и было приведено в исполнение.

Англичане, стянувшие большие силы к границам Афганистана, только и ждали повода, чтобы покорить страну, сильно беспокоившую их и мешавшую осуществлению их намерений, немедленно снарядили целую армию, вторгнулись в Афганистан и на этот раз окончательно усмирили афганцев, подчинили себе эмира, а чтобы удобнее действовать против России из-за спины его, оставили за эмиром, для виду, долю самостоятельности.

По требованию Англии афганцы в 1883 году заняли Памирские ханства Шугнан, Рошан и покорили Бадахшан, изгнав оттуда законных правителей, и установили там свои порядки.

Несчастные таджики, подчиненные теперь афганцам, переносили такой гнет, что многие из них решились покинуть родину и, переселившись в Ферганскую область, явились командующему войсками в городе Н. Маргелане, прося у него заступничества России.

Просьба таджиков не была уважена, так как русский дипломатический корпус вел уже переговоры с Англией, чтобы она повлияла на афганского эмира, который начал враждебные действия против русских владений со стороны Закаспийской области.

Англия, руководившая каждым шагом эмира, ответила между тем, что не может заставить его сохранить мирные отношения с Россией.

Вопрос пришлось разрешить иначе. В 1885 году под Кушкой отрядом полковника Комарова афганцы были разбиты наголову, а английские офицеры, руководившие ими, бежали в русский лагерь, боясь мести афганцев за поражение.

Потерпев и тут неудачу и продолжая испытывать терпение снисходительной России, Англия выслала на Памир капитана

¹ В мае месяце 1878 года издан был приказ по войскам Туркестанского военного округа о сформировании трех отрядов — готовились к походу в Индию. Однако поход в Индию не состоялся, а в Афганистан было отправлено посольство с генералом Столетовым во главе, и русские войска произвели только несколько демонстративных движений к южным границам округа.

Югунсбенда с большим отрядом, который и занял Канджут и восстановил крепость Шахидулла-Хаджа, таким образом выдвинув свою пограничную линию далеко на север и нарушая этим все договоры, какие только были между нею и Россией.

В это время¹ в Афганистане вспыхнуло восстание, Исхак-хан², брат Абдурахмана, отложился и пошел на законного правителя, но Абдурахман подавил восстание и мало-помалу начал свои враждебные действия против России.

Это обстоятельство вызвало в 1891 году отправление на Памир рекогносцировочного отряда под начальством полковника Ионова, который дошел до Сархада и задержал на Большом Памире около могилы Базая (Базай-и-Гумбез) капитана королевской гвардии Югунсбенда. Полковник Ионов хотел отправить капитана в Маргелан, однако несчастный англичанин, которому таким образом предстояла весьма далекая прогулка и совершенно в другую сторону, просил полковника отпустить его в Индию. Воспользовавшись присутствием на Алае³ начальника края, барона Вревского, Ионов снесся с ним и получил разрешение отпустить Югунсбенда только от китайской границы.

Очень неохотно выдал англичанин подписку начальнику отряда, в которой давал слово офицера, что никогда более не посетит Памира, и еще неохотнее, в сопровождении казаков, направился к кашгарской пограничной линии. На Яшиль-Куле был задержан второй офицер, лейтенант Дависсон, занимавшийся съемкой русской территории. Все работы английских офицеров достались в руки полковника, а мистеру Дависсону пришлось совершить путешествие в Великобританию через всю Россию, вместо того чтобы вернуться в Индию, откуда был он командирован и где служил много лет. Долго его долговязая рыжая фигура виднелась на улицах Нового Маргелана, наконец и он был отпущен. После этой рекогносцировки Ионова англичане так испугались за Индию, что даже в английской прессе движение маленького рекогносцировочного отряда по Памиру называлось прямо «походом на Индию», а афганцы, подкупленные Англией⁴, перешли наши границы и выставили далеко за пределы ее свои военные посты, насилуовавшие кочевое население.

Русское правительство было возмущено подобной бесцеремонностью Англии и Афганистана и решило раз навсегда восстановить полный покой на восточных границах России. Решено было принять репрессивные меры.

¹ В 1888 году, когда экспедиция полковника Громбчевского была на Памире.

² Исхак-хан теперь в Самарканде со своими приверженцами и находится под русским покровительством.

³ Туркестанский генерал-губернатор барон Вревский в 1891 году, объезжая Туркестанский край, посетил и Алайский хребет, побывав таким образом у подножия Памира.

⁴ Абдурахман после подавления восстания стряхнул с себя английское иго и снова поставил свое государство в независимое положение, изгнав англичан из Афганистана.

1. ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

В начале 1892 года одна за другой стали приходить в г. Новый Маргелан тревожные вести с нашей кашгаро-афганской пограничной линии. Консул Кашгара, Петровский, сообщал о враждебном настроении, развившемся за последнее время, против наших подданных, между китайцами, а из Памирских ханств все чаще и чаще стали появляться беглецы, которые рассказывали о необыкновенном варварстве афганцев, о насилиях их над таджикским населением Памирских ханств и умоляли военного губернатора Ферганской области, чтобы он ходатайствовал перед Государем Императором о принятии их в русское подданство.

Одного их таких несчастных я расспрашивал о причинах тех бедствий, которые постигли его отечество.

— О таксыр!¹ — говорил он. — Вы себе и представить не можете, что переносим мы от этих варваров (афганцев). Это — лютые звери, которые жгут наши дома, убивают детей и насилуют жен, и мы теперь лишены возможности оградить свои семейства от такого великого несчастья...

У таджика текли слезы. Вид его был ужасен. Какие-то старые лохмотья болтались на плечах вместо халата, и сквозь них проглядывало бронзовое, запыленное тело. Черная борода, усы и нависшие брови были всклокочены и казались серыми от густого слоя пыли, а его босые ноги, совершившие дальнюю дорогу, были покрыты как бы сплошной одервенелой корою. И это был не простой таджик, это был родственник правителя Шугнана, за голову которого афганцы назначили плату, и вот он бежал оттуда, надеясь найти убежище в пределах России.

Конечно, я не упустил случая, чтобы побеседовать с этим несчастным шугнанцем. Пригласив его к себе, напоил чаем и приказал своему малайке² готовить плов, а сам, усадив на террасе моего гостя, начал с ним беседу.

— Скажите, пожалуйста, что же послужило поводом к подобному варварству афганцев? Ведь ни с того ни с сего не пришли же они и не стали бить вас ради своего удовольствия — вероятно, была какая-либо причина к тому? — спросил я его. — Ведь раньше

¹ Таксыр — ваше благородие.

² Малайка — слуга сарт.

же вы были под игом афганцев, и они нисколько не обижали вашего населения?

— Нет, тюра, — возразил мне таджик, — никогда мы не принадлежали афганцам. Еще с незапамятного времени мы почитали кокандских ханов и платили им подати, для чего к нам приезжали из Коканда серкеры; позднее наши ханы правили уже совершенно самостоятельно. Но вот в 1862 году явились афганцы во главе с эмиром Дост-Магометом, и Памирские ханства пали, несмотря на геройскую защиту жителей. Вот таким образом до 1888 года мы находились в полном рабстве у афганцев и терпеливо переносили это бедствие, посланное на нас Аллахом за грехи наши. Но вот в Афганистане вспыхнуло восстание. Брат эмира Абдурахмана, Исхак, отложился и пошел со своими приверженцами на эмира. Пользуясь этим смутным временем, правители Шугнана, Рошана и Бадахшана, а также Вахана, скрывавшиеся в пределах Бухары, водворились на родительских престолах и решились удержать свою независимость, но, увы, силы наших были ничтожны сравнительно с войсками Абдурахмана. В короткий срок мы были разбиты, имущество наше сожжено, а жены и дети отведены в Афганистан, где и проданы в рабство. Большинство из уцелевших бросились в Россию и Китай через суровый Памир, где многие погибли от голода и морозов, а другие попались в руки памирского разбойника Сахип-Назара, которые были выданы афганцам, и только некоторым удалось благополучно добраться до Ферганской области. Я участвовал в защите своего отечества и командовал конным отрядом, но хорошо сознавал, что сопротивление напрасно. Афганцы завоевали мое отечество, ввели в нем свои порядки и законы и поставили войска, которые делают безнаказанно все что хотят. Вот у меня, например, афганский маджир¹ взял себе двух дочерей, а жену мою, которая защищала своих девочек, приказал зарезать. Обрадовались мы, когда в прошлом году на Памире появился русский полковник с отрядом², думали мы, что русские, видя наше бедственное положение, решили заступиться за угнетенных таджиков, и вот мы в одну ночь 10 июля, когда отряд стоял на границе Шугнана, вырезали всех афганцев, с их солдатами и офицерами, живших в нашем ханстве. Афганцы опасались тогда мстить нам за смерть своих соплеменников, они думали, как и мы, что русский отряд движется для нашего освобождения, но мы ошиблись. Отряд ушел, и как только узнали об этом афганцы, то с неистовым ожесточением бросились на таджиков, и кровь рекой полилась по долине реки Бортанга. И вот сотни таджикских семейств бегут теперь в Россию просить заступничества Ак-Паши (Белого Царя).

¹ Маджир — майор.

² Рекогносцировка Ионова 1891 года.

Рассказчик глубоко вздохнул и поправил свалившийся с плеч ободранный халат, причем грудь его и правая рука оголились. Я с удовольствием рассматривал его богатырские мускулы и широкую, выпуклую грудь, на которой виднелись две большие белые круглые метки, величиной с копейку, резко выделявшиеся на бронзовом фоне тела.

— Что это такое? — спросил я таджика.

Он опустил свою голову, как бы желая взглянуть на то, о чем я спрашивал, и, ткнув пальцем в один из знаков, вскинул на меня своими огромными глазами, в которых вдруг вспыхнул злобный огонек, и сказал:

— Это? Это — афганские пули, которые я получил в 1888 году. А знаешь, тюра, — вдруг сказал он, — ведь я мертвец!..

— Что? — удивленно спросил я и подумал, что имею дело с человеком ненормальным.

Между тем мой собеседник продолжал:

— Да, я мертвец, и все меня зовут Юсуф-мертвец. Я умер, лежал в земле похороненным, и вот я живой, но я мертвец, и сам мулла Ахмат мне сказал, что я уже умер однажды и на всю жизнь останусь мертвецом!

Я положительно недоумевал, имею ли я дело с сумасшедшим или с человеком, с которым в жизни был какой-нибудь особенный случай, заставивший его глубоко уверовать в действительность своих слов, тем более что он принадлежал к числу фанатиков, исповедующих ислам.

Подали плов, и мой голодный собеседник начал жадно уничтожать его, запихивая в рот рукой жирные крупинки риса.

Я не мешал ему и во время еды не задавал вопросов, так как он, как бы боясь, что от него отнимут вкусное кушанье, ужасно торопился поскорее наполнить свой желудок. Но вот плов съеден. Юсуф по мусульманскому обычаю громко рыгнул и, проговорив свое «Алла-Акбар!», вытер о край рубища жирные пальцы и обратился ко мне:

— Если тюра захочет, то я ему расскажу, как это со мной случилось.

— Конечно, конечно, рассказывайте, — заявил я, — даже очень хочу.

— Ну, так слушай, таксыр. Это было в 1888 году, когда я вместе со своими соотечественниками восстал против афганцев. Сеид-Акбар-Ша, правитель Шугнана, мой родной дядя, собрал всех способных носить оружие таджиков и укрепился в крепости Кала-и-Вамар. Это была последняя попытка прогнать афганцев. Три раза атаковали войска Абдурахмана нашу крепость, три раза геройски отбивали мы афганцев, но в конце концов не выдержали. Крепость пала, а с ней пало и наше отечество. В самый решительный момент третьей атаки я с шашкой в руке стоял на валу и готовился вместе с моими собратьями броситься на налезавших на нас афганцев, как вдруг что-то толкнуло меня в грудь, и мне

показалось, что я отделился от земли и стал подниматься все выше и выше... Когда я очнулся, то увидел себя в какой-то темной сакле. В груди моей была такая боль, что я захотел кричать, но язык мой не повиновался моему желанию, и мне казалось, что он был обмотан сухой тряпкой. Я сделал усилие и пошевелился. Вдруг мне показалось, что кто-то подошел ко мне, но в темноте я не мог ничего различить и только слышал, что в сакле кто-то шептался. Я собрал все свои силы и спросил, кто тут. Но даже сам испугался. Вместо слов у меня из груди вырвался какой-то ужасный стон. Через несколько мгновений кто-то вошел с чириком¹, и я увидел мою жену Хайру и старшую дочь. Тут только я стал припоминать, что было в крепости, и догадался, что я ранен. Грудь сильно болела, а в ушах стоял шум.

Долго я лежал в таком состоянии. Каждый день приходил ко мне абиб², мыл раны и мазал их мазью, и также мулла, который читал надо мной коран. Я ужасно любил слушать его чтение, и особенно когда он читал про то, что убитые на войне за веру и отечество наследуют рай Магомета, и мне тогда становилось досадно, отчего меня не убили. Гораздо же лучше наслаждаться блаженством в райских садах пророка, чем лежать в темной грязной сакле, под страхом быть добитым афганцами. Однако с каждым днем мне становилось легче, и я уже начинал садиться. Один за другим стали навещать меня друзья и знакомые, и я узнавал от них о том, что постигло мое отечество. Кровью обливалось мое сердце, когда кто-нибудь из них рассказывал мне о варварстве афганцев, и тогда все существо мое наполнялось мезью и я в бессильной злобе скрежетал зубами и до крови кусал губы.

Вдруг со мной случилось что-то ужасное — я умер!.. Да, тю-ра, — сказал он, видя улыбку, мелькнувшую на моих губах, — да, я умер и умер самым настоящим образом, как умирают люди. Я поел плову и лег спать — и вот я почувствовал, что умер. Я хотел подняться, но члены мои не слушались, я хотел пощупать себя, но пальцы оставались неподвижны и будто приросли к моему окостеневшему телу, я широко открыл глаза, но было темно, и мне показалось, что веки мои не поднялись. Я испытывал какое-то необыкновенное спокойствие, и смерть мне не представлялась больше такой ужасной, какой я рисовал ее себе в дни моей жизни. Я начал молиться Аллаху и ждал, что вот-вот явится великий пророк и скажет мне: «Встань, Юсуф, и иди за мной в уютное место, где ожидает тебя вечное блаженство и радость — наслаждайся прелестями райских садов, достойный воин!» — но никого не появлялось; все было тихо, а я по-прежнему лежал, не будучи в состоянии шевельнуться. Тогда я стал думать, что я еще не умер по-настоящему, а только начинаю умирать.

¹ Чирик — светильник с маслом, совершенно сходный с библейскими светильниками.

² Абиб — туземный доктор.

Удивительное дело, тюра, что мне вовсе не было страшно, я был в состоянии какого-то безразличия. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то толкает и зовет по имени, — я подумал, что это пророк пришел за мной, но узнал голос жены моей Хайры, которая вдруг страшно завывала и повалилась на мою грудь; мне стало очень неудобно. Хайра была полная женщина и сильно давила меня, я хотел крикнуть ей и не мог. Тогда собралось в саклю множество народа, пришли плакальщицы и стали плакать, а мулла, часто наставлявший меня и читавший мне о загробной жизни, начал свое чтение. Какой же я мертвый, подумал я, когда я все слышу и чувствую и когда пророк не пришел за мной. Впрочем, может быть, так и все люди умирают; с того света ведь никто еще не возвращался. Наконец меня закутали в мату, положили на носилки и понесли на кладбище, так я тогда подумал. Тут мне стало немного страшно: я видел, как хоронят наших таджиков, как бывало принесут мертвеца к ограде кладбища и выбросят его через нее, а уже потом мулла и ишан кладут труп в приготовленный склеп (таджиков всех хоронят в склепах) и только слегка замуруют отверстие, а через 5 дней заделывают окончательно и ставят памятник.

А мне, должно быть, хороший памятник поставят, подумал я, ведь я умер за свою веру и отечество. Вдруг я почувствовал, что носилки сильно качнулись, и я полетел с них куда-то в пропасть и ударился о камни. Тут я уже более не помнил ничего.

Когда я очнулся, мне показалось, что я лежу опять в моей сакле. Я попробовал пошевелить рукой и даже вздрогнул, рука поднялась, я пошевелил ногою, и она тоже беспрекословно повиновалась моей воле. Я поднялся и сел. Кругом было темно. Уж не сон ли все это было, подумал я и громко крикнул: «Хайра!» Глухой звук моего же голоса оглушил мои уши. Я ужасно испугался и понял, что я нахожусь в склепе. Я знал, что в течение трех и даже пяти дней склеп не заделывается накрепко да и глина не успевает просохнуть, и стал шарить руками, сясь подняться из ямы и затем найти выходное отверстие. Воздуха было достаточно, и только холод пронизывал меня насквозь. Мысль о смерти уже совершенно оставила меня, а надежда на освобождение придавала мне энергию. Я шарил по всем стенам моей могилы и наконец наткнулся на мягкий слой глины. Я стал сильно толкать его руками, раскапывать, и вдруг струя воздуха вместе с серебряным лучом света ворвалась в мою темницу. Я расширил отверстие и вылез. Кругом было тихо. Памятники, освещенные луною, мрачно смотрели на меня. Я взглянул на свою могилу, она черною дырою глядела мне вслед, как бы желая снова поглотить меня в свою мрачную тень. Мне вдруг стало так страшно, что я бросился бежать. Одежды на мне не было никакой, а мата осталась в могиле; я, дрожа всем телом от холода, бежал прямо к моей сакле. Все спали крепким сном, когда я постучался. Кальтак, моя собака,

громко залаяла на стук. Я назвал ее по имени, и она, перескочив через забор, стала выть и ласкаться ко мне. Я снова начал стучать.

— Ким? — раздался испуганный голос Хайры.

— Это я, Юсуф, — ответил я.

— Эх, Алла-Акбар! — завизжала моя жена и бросилась назад; я услышал, как за нею заперлась дверь.

Я перелез через забор и начал проситься в саклю: я изнемогал от холода и, кроме того, ощущал страшный голод.

— Уйди, уйди в свою могилу, — кричала мне жена, — уйди, заклинаю тебя Магометом.

Девочки ревели. Я не знал, что мне делать.

Пошел я было к Маюнусу, моему хорошему другу, но и он страшно испугался и из сакли заклинал Аллахом, чтобы я ушел в свою могилу. У него на дворе я увидел старый халат и надел его. Таким образом я дождался утра и пошел на базар, думая там у знакомых лавочников выпить чаю, но при появлении моем все с искаженным страхом лицом бросались прочь, оставив свои лавки. Томимый голодом и жаждой, я сам сел в чайхане к кунгану и налил чаю. Это подбодрило меня, а лепешка утолила голод. В это время ко мне приближалось целое шествие.

Впереди шел мулла с кораном, а сзади него много народу с кольями и шашками. Мулла, не дойдя нескольких шагов, высоко поднял коран и начал читать заклятие.

Я склонился на колени и прочел молитву.

Долго не решался мулла подойти ко мне, но наконец, видя перед собою живого человека, приблизился и назвал меня по имени. Я ответил ему: «Да, это я, Юсуф-Али, который вышел из могилы». Мулла велел мне подать чашку чаю, но так как никто не хотел поднести ее мне, то я сам пошел, налил чаю и принес его мулле.

— Пей! — сказал мулла.

Я выпил чай.

После этого мулла ближе подошел ко мне и, прочитав молитву, сказал:

— Живи, Юсуф, но ты будешь жить мертвецом! — И потом, обернувшись к народу, сказал: — Правоверные, вот Юсуф, которому Аллах сподобил продлить жизнь его и после смерти. Великий грех падет на того, кто посмеет убить его, так как все равно Аллах не пошлет смерти «живому мертвецу»!

После этого я пришел домой. Сначала все боялись меня и сторонились, а потом и привыкли. Вот я с тех пор и «живой мертвец» — так это прозвище за мной и осталось. Такую благодать послал мне Аллах за мою верность вере и страдания за родину, — сказал рассказчик, — и теперь, когда я умру во второй раз, Великий Пророк меня прямо возьмет на лоно свое — мне об этом сказал наш святой Хазрет-Ишан, — добавил он.

Я был поражен слышанным рассказом тем более, что неправдоподобного тут ничего не было.

— А знаешь что, тюра? Ведь скоро поход будет.

— Почему ты думаешь?

— А потому, что если теперь Ак-Паша не захочет прогнать афганцев, то потом трудно будет. Инглиз (англичанин) очень им помогает: и оружие дает, и денег много дает. Ой, как много! — При этом мой собеседник покачал головой. — Ну, прощай, таксыр, — сказал он, вставая и протягивая мне руку. — Аллах да воздаст тебе за то, что приютил несчастного.

Я простился с Юсуфом и при расставании предложил ему денег.

— Спасибо, таксыр, бир кагаз (рублевую бумажку) возьму, а больше не надо.

Мы расстались, и с тех пор я его уже не видел. Слышал я потом, что он поселился в кишлаке Кара-тепе, куда перебрались и прочие бежавшие таджики, что он всеми уважаем и любим и по-прежнему сохранил свое прозвище «живого мертвеца».

2. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОХОДА. СБОРЫ. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Поздравляю вас с новостью! — остановил меня на Маргеланском бульваре мой приятель, поручик Б.

— С какую?

— Идем в поход. Я только что был в штабе, и при мне была получена телеграмма, — сказал он.

— Да вы не шутите? — спросил я.

— Какие же шутки, я сам читал телеграмму и даже знаю некоторые подробности. — И он стал посвящать меня в «приятную новость»: — Во-первых, приказано приготовиться к походу на Памир 2-му Туркестанскому линейному батальону таким образом, чтобы из всего числа своих людей он составил один полубатальон, а другой полубатальон скомплектовать из охотничьих команд всех батальонов Ферганской области; затем, во-вторых, пойдет конногорная батарея, казачий № 6 Оренбургский полк и саперная команда, а также телеграфисты военного телеграфного парка; начальником отряда назначен полковник Ионов. Итак, мы идем в поход. Положительно радостное известие; уж засиделись мы, пора и пороху понюхать, ну, до свиданья. — Он торопливо пожал мне руку и направился дальше, вероятно, чтобы скорее поделиться еще с кем-нибудь свежей новостью.

Заинтересовавшись этим известием, я зашел к своему знакомому, офицеру Генерального штаба Г., которому должно было быть известно подробнее о предполагаемом походе.

— А! — радостным возгласом встретил меня Г. — Ну, что, слышали новость? — и при этом бросил на меня пытливым взглядом, в котором я прочел большое желание поделиться со мною новинкой.

Чтобы доставить хозяину это удовольствие, я притворился, что ничего не знаю.

— Какую новость? — спросил я.

— Ну, так и быть, вам я скажу, но, смотрите, это по секрету. Ни слова никому, пожалуйста.

— Будьте покойны.

— Видите ли, получена телеграмма. Мы идем в поход! — затем он передал мне уже слышанное мною от Б., но, кроме того, сообщил и то, что больше всего интересовало меня: именно причины, вызвавшие необходимость двинуть войска на Памир, и наконец и самую цель похода.

— Видите ли, — начал он, — афганцы нарушили наши договоры о границах и выставили свои посты далеко за пограничную линию на нашу территорию. Подстрекаемые англичанами, они заняли Кафиристан и Канджут, а кроме того, владеют совершенно незаконно никогда не принадлежавшими им ханствами: Шугнаном, Рошаном и Ваханом, насилуют население и угоняют к себе русских подданных. Китайцы со стороны кашгарской границы также производят беспорядки на Памире и даже грозили поручику Бржезицкому, работавшему на Мус-Куле, смертью. Да, кстати, расскажу я вам эпизод с этим офицером; преуморительный случай! Бржезицкий, как вы, наверно, и сами знаете, работал на Памире, около Мус-Куля (ледяного озера), в этом году, производя марш-рутные съемки, как вдруг откуда-то появились китайцы в количестве трех ляндрз (эскадронов). Их джандарин¹, Джан, заставил поручика оставить работы и уйти с Памира, мотивируя свое требование тем, что они не могут допустить русского офицера производить съемку китайской территории. Как ни убеждал их Бржезицкий, что это земля наша, ничто не помогло, и ему пришлось ретироваться. Время приближалось к зиме, и перевалы один за другим закрывались, то есть заваливались снегом, однако поручик добрался до озера Кара-Куля, где ожидал его казачий офицер с полусотней оренбуржцев. Однако работа была спешная, и ее во что бы то ни стало надо было закончить. Тогда оба офицера с казаками отправились на Мус-Куль с намерением прогнать китайцев. Выпал глубокий снег, и, для того чтобы по некоторым местам провести лошадей, казакам приходилось настилать на рыхлый снег кошмы и шинели. В течение трех дней мучились они с такими тяжелыми переходами через перевал Кизиль-Арт (14 000 футов) и наконец спустились в долину Мус-Куля. Между тем китайцы, довольные тем, что прогнали русского офицера, спокойно жили в киргизских кибитках и грелись у костров, как вдруг казаки ударили на них в нагайки, и перепуганные слуги богдыхана не только не защищались, а покорно ложились под нагайки казаков. Когда пересекли поголовно всех китайцев, дошла

¹ Джандарин — генерал.

очередь и до их генерала. Как ни протестовал джандарин против подобной расправы, указывая на свой шарик и павлинье перо, однако пятьдесят ударов ему были отсчитаны, и затем вся его армия, позорно изгнанная с Мус-Куля, отправилась через перевал Ак-Берды восвояси. Ну и наделал же поручик работы и хлопот дипломатам. Говорят, такая переписка возникла, что, пожалуй, его не поглядят по голове, а все же молодец Бржезицкий, хорошо проучил китайцев! — Рассказчик расхохотался.

— Но позвольте, — сказал я Г—му, выслушав его рассказ, — вы начали о походе и не договорили. Скажите, пожалуйста, какая же цель-то похода? — спросил я.

— Цель — а вот какая. — Он пошел в другую комнату и принес последнюю карту Памира и прилежащих к нему ханств.

— Видите, — сказал он, — предполагают занять, во-первых, Памиры, а во-вторых, вот все это пространство, — провел он линию пальцем по карте, захватив ханства Шугнан, Рошан и Вахан, — таким образом, чтобы нашею естественною границею с Индией был хребет Гиндукуш. Кроме того, положение таджиков, заселяющих Памирские ханства, ужасно. Ведь афганцы хуже истязают их, чем турки сербов и болгар, в 1877 году; пора нашему правительству и вступить за несчастных, которые, по праву, наши подданные и терпят черт знает что от афганцев.

Я вспомнил пророчество Юсуфа — он был прав. Поблагодарив любезного Г., который просил меня держать все рассказанное им в секрете, я пошел домой, где вслед за тем мне передали записку. «Голубчик, — писал мне Б., — я сообщил сегодня вам о походе, но забыл предупредить вас, что это пока секрет, пожалуйста, никому не сообщайте о слышанном. Ваш Б.»

В этот же вечер в городе все уже говорили о предстоящем походе.

Везде только и речи, что о походе, о теплушках, тулупах и неприкосновенном запасе. Заведующие хозяйством с утра до ночи не вылезают из канцелярий, делопроизводители по хозяйственной части просто потеряли голову. Все хлопочут. Ротные командиры выбирают людей и посылают их на испытание во 2-й Туркестанский линейный батальон, где доктор осматривает их, либо бракуя, либо записывая в списки: «годен». Вместо забракованных присылаются другие.

Солдаты покорно идут, и только немногие из них ропщут на долгое приготовление.

— И чего, право, гоняют только зря, — ворчали некоторые, — хуже, чем на службе, измаяли: все смотры да смотры...

И действительно, чуть ли не два раза в день производились различные смотры разными лицами, и солдат за несколько верст для этого гоняли в полной походной амуниции.

— Уже скорее бы выступить, — ворчали солдаты. — Ей-ей, надоело.

Вот фельдфебель осматривает одетую в амуницию роту и поправляет резким, порывистым движением неправильно скатанную шинель рядового.

— Ишь ведь, черт, словно баба, шинель скатал — иди, перекатай! — грозно обращается он к солдату, и тот, повернувшись кругом, бежит исполнять приказание начальника.

— Ну, вольно, ребята, оправиться! — командует фельдфебель, и начинается кашлянье, сморканье, и солдатские остроты сыплются со всех концов роты.

— А куда это мы пойдём, господин фельдфебель? — улыбаясь во весь рот, заискивающим тоном спрашивает один из солдат «хозяина роты».

— А куда поведут, туды и пойдешь, — отвечает тот.

— Нет, правда, господин фельдфебель? — не угомоняется солдат.

— На Памиру, значит, по соседству с китайцем и «аванганцем», — отвечает фельдфебель.

Но солдат не успокаивается.

— А позвольте спросить, господин фельдфебель, для чего столько войска туда посылают? — спрашивает он.

Фельдфебель, и сам не зная, что ответить ему, сердито отворачивается и командует: «Смирно! Справа по порядку на первый и второй рассчитайся!»

И по роте, то громко, то тихо выкрикиваемые, слышатся отрывистые «первый! второй!» и т. д.

Приготовления длились с лишком два месяца, и наконец к 1 июня было все готово, маршрут был получен, и выступление назначено на 2 июня.

На большой площади, против казарм маргеланского гарнизона, выстроились войска покоем¹ в ожидании прибытия начальников. Ружья составлены, и люди разбрелись кучками по площади; везде царит веселое оживление. Вдруг раздалась команда: «В ружье!» — и в один момент все были в порядке. К отряду приближалась группа всадников, впереди которой на буланой лошади в белом кителе и фуражке скакал молодой полковник с Георгиевским крестом в петлице, это был начальник отряда полковник Ионов.

— Здорово, братцы! — немного картавя, приветствовал он отряд, круто осадив лошадь и грациозно отдавая честь.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — рявкнуло полторы тысячи грудей.

— Вольно, оправиться! — сказал полковник, и снова оживление воцарилось над отрядом.

Один за другим прибывали к отряду начальствующие лица, пришли остающиеся войска отдать честь уходившим, и наконец приехал командующий войсками генерал-майор Корольков. На-

¹ Покоем называется строй в виде буквы П.

чалось богослужение. Веселость сразу исчезла с лиц солдат. Они прилежно молились, крестя свои загорелые лбы и кладя поклоны, а затем каждый приложился ко кресту.

После окончания этой церемонии людям была предложена чарка водки. Командующий войсками провозгласил тост за здоровье Государя Императора, и при звуках русского гимна грянуло дружное «ура». Затем с чаркой в руке выступил вперед обожаемый солдатами командир 3-й Туркестанской линейной бригады боевой генерал Саранчов.

— Ребята! — начал генерал, когда затих последний крик. — Поздравляю вас с походом и надеюсь, что вы так же свято и безропотно совершите возложенное на вас тяжелое дело, как совершали его ваши предшественники, славные покорители Туркестана! Помните, что Туркестан всегда гордился своими храбрыми воинами, пусть же и на сей раз в летописи его прибудет еще один, покрытый славою поход. Если придется вам столкнуться с халатниками, то проучите их по-русски, как учили мы и хивинцев, и кокандцев. Помните, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Пью за ваше здоровье, ребята. Ура!

После речи бригадного стали подходить к водке нижние чины, каждый благоговейно брал чарку и опрокидывал ее в рот, как бы боясь оставить на ее дне хоть капельку казенной водки.

Под огромным шатром, поставленным посреди плаца, идет прощание офицеров со своими семействами. Многие дамы плачут, отцы с грустью держат на руках своих детей.

Поодаль, около расположившихся под тенью деревьев солдат, собрались кучки народа и сартов, а также баб-солдаток, провожающих своих мужей; некоторые из них воют.

Раздался сигнал сбора.

Роты выстроились; прежде всего двинулся авангард, а за ним потянулся весь отряд под звуки марша и грохот барабанов. Раздалась солдатская песня, среди которой выделялось громкое выкрикивание подголоска.

— Привал! — раздается голос спереди из облака пыли.

— Стой, привал! — подхватывают возглас в ротах, и батальон останавливается.

Провожавшие в последний раз прощаются с памирцами, и через полчаса отряд уже в полном походном порядке следует по пыльной дороге, пролегающей то по широко раскинувшейся степи, окаймленной высокими снежными горами, то узкими улицами пыльных сартовских кишлаков.

Памирский отряд разделился на две части: одна направилась по кратчайшему пути через перевал Тенгиз-бай, а другая на город Ош, где должна была захватить огромный вьючный транспорт и, перевалив через Алайский хребет, соединиться с остальными силами отряда, который двинулся по Исфайрамскому ущелью, через хребет Большого Алая. Быстрым шагом, длинной вереницей идут

солдаты, тяжело дыша, то поднимаясь, то спускаясь по узким карнизам, как бы прилепленным к отвесным гранитным стенам. Грозно возвышаются с обеих сторон пути громадятся друг над другом отвесные скалы, местами переходящие в крутые осыпи, усеянные осколками гранита и сорвавшимися с вершин камнями. Слева глубокий обрыв, на дне которого клокочет горная речка, наполняющая все ущелье каким-то неистовым шумом, напоминающим рев сильной бури. Далее ущелье все более и более суживается, и наконец начинается крутой и довольно продолжительный подъем на Тенгиз-бай. Около полутора суток боролся отряд с огромною преградой, и некоторым ротам пришлось ночевать на вышке его (12 000 футов), в снегу, да еще во время метели. Перевалив через Тенгиз-бай, отряд вышел из темного Исфайрамского ущелья и подошел к выходу в Алайскую долину, где и остановился бивуаком около крепости Дараут-курган.

За пять лет до возмущения кипчаков (1871 г.), когда Кокандское ханство было самостоятельным, крепость эта имела важное значение для кокандцев, так как, расположенная у входа в Дараут-Исфайрамское ущелье, она оберегает долину реки Туза, впадающей в реку Кизиль-су, и защищает перевал Тенгиз-бай от нападений памиро-алайских кочевников со стороны Каратегина. Кокандский хан держал в этой крепости довольно большой гарнизон с уполномоченным комендантом, который вместе со всем гарнизоном был вырезан в 1871 году памиро-алайскими кочевниками, а крепость осталась в запущении. Теперь Дараут-курган представляет из себя цитадель из толстых глинобитных стен, слегка размытых в верхней части своей своен дождями. По углам четырехугольника возвышаются круглые башни, придающие крепости довольно внушительный вид. Продневав у крепости, отряд двинулся дальше, шел все время вверх по правому берегу Кизиль-су, вдоль по Алайской долине, и наконец, 16 июня, прибыл к местечку Борда-ба, где и встретился с другой частью памирского отряда через две недели.

3. ЛЯАНГАРСКОЕ УЩЕЛЬЕ. СКОБЕЛЕВСКИЙ ДОМИК. РАССКАЗ КАПИТАНА

Ляангарское ущелье пролегает по тропинке, тянущейся вдоль узкого берегового карниза, нависшего над ревущей рекой Ляангарсай, и ведет от города Оша к укреплению Гульча. С обеих сторон ущелья громадятся друг над другом огромные каменные утесы, которые в некоторых местах совершенно нависают над головою до того, что страх берет при мысли, что вот-вот эта огромная каменная глыба сорвется и упадет со своей высоты.

Узкая полоса голубого неба, виднеющаяся вверх, мало освещает ущелье, погруженное в неприятно-таинственный мрак, среди которого царит лишь шум ревущей реки.

Погода начинала хмуриться, кое-где набегали темные облачка, и мало-помалу небо покрылось свинцовыми тучами. Где-то вдали слышались раскаты грома, подхваченные продолжительным эхом, разносившиеся по горам и постепенно замиравшие в одном из темных ущелий. Облака нависли почти над самыми головами, и в воздухе наступила какая-то особенная тишина. Брызнул дождик! Он освежил душную атмосферу ущелья, люди вздохнули свободнее и пошли бодрее.

Вдруг, как бы внезапно распахнув гигантское окно, в ущелье ворвался сильный вихрь, и вслед за ним дождь полил как из ведра.

Узкая глинистая тропинка, быстро размякшая от дождевых потоков, с шумом сбегавших с окружающих скал, сделалась такою скользкою, что ноги разъезжались, идти становилось необыкновенно трудно, да, кроме того, ежеминутно грозила опасность сорваться и полететь в пропасть.

Дружный хохот вдруг пронесся по ущелью, нарушая воцарившуюся тишину между солдатами. Ротный барабанщик, по прозвищу «чертова шкура», поскользнулся, и его инструмент, соскочив с крючка, ударился о камень и, сделав гигантский прыжок, покатился с обрыва, выделявая самые удивительные сальто-мортале. Несчастный барабанщик, весь выпачканный в грязи, стоял, с грустью поглядывая на сбегавший свой инструмент.

— Ай да так! — хохотали солдаты. — Смотри, смотри, ей-богу, в реку попадет, — кричал, хохоча, толстый, дородный солдат, хлопая себя рукою по колену.

— Ишь, как клоун в цирке прыгает, — прибавил другой.

— Что ж ты, «чертова шкуринка», делать будешь без своей музыки? — обращались к несчастному барабанщику проходившие солдаты. — Ты бы за ним тоже вприпрыжку.

— Пошли вы к лешему, ну вас, — отбояривался барабанщик.

Ему действительно было не до того, во-первых, ответственность, если барабан в воду попадет и будет унесен рекой, а с другой стороны, и жаль его, он ему служил прекрасным креслом во время привалов, особенно в мокрую погоду, когда уставшие солдаты не могли ни сесть, ни лечь на пол, между тем как он всегда восседал на своем барабане и только иногда из уважения к чинам уступал половину своего места фельдфебелю. Он жадно следил за полетом барабана, не обращая уже внимания на насмешки солдат.

Вдруг барабан подпрыгнул и лег между двух камней, почти у самой реки. «Слава Богу», — подумал барабанщик, и, карабкаясь за острые камни по скользкой глине, пополз он добывать своего сбегавшего товарища, ободряемый насмешливыми криками проходившей мимо роты.

Небо окончательно заволочло тучами, и в ущелье воцарилась глубокая тьма. Яркий блеск молнии озарил все ущелье, и вслед за ним грянул оглушительный раскат грома. Подхваченные эхом

в темных ущельях, раскаты не успевали еще замереть, как снова, будто волшебным огнем, озарились мрачные громады, и опять раздавались раскаты с новой силой, как бы желая догнать убежавшие вдаль звуки, подхваченные мрачными лянгарскими ущельями. А дождик лил, как во дни потопа. Но вот мало-помалу раскаты становились слабее, молния как-то вяло освещала горы, медленно мигая своим бледным светом, дождик понемногу стихал.

Становилось светлее. Сквозь разорвавшиеся свинцовые тучи кое-где уже виднелись клочки голубого неба.

Солдаты остановились и, сняв рубашки, стали выжимать из них воду, а некоторые, присевши на камни, свертывали себе курево. Солнышко выглянуло из-за туч и своею теплотою приятно ласкало озябшие члены солдат. Все сразу ожило, все точно проснулось с первым лучом дивного светила. Воздух наполнился каким-то чудным ароматом, птички то и дело взлетали то здесь, то там, иногда вырываясь почти из-под самых ног идущих солдат, а в вышине, распутив огромные крылья, парил, описывая большие круги, горный житель — орел.

— Глянь-ко, ребята, дом русский! — крикнул один из идущих. — Ей-богу, дом!

Все обратили внимание на небольшой, выбеленный, русского типа домик, расположившийся около самой реки Лянгар-сай, и каждый задавал себе вопрос, кто бы это мог построить дом среди этой суровой горной природы, вдалеке от всего русского-родного. Ведь не киргизы же? Где им! Они не признают другого жилища, кроме своих юрт.

Около домика был назначен двухчасовой привал, и солдаты принялись сушить промокшее белье и согреть себе чайники, а офицеры в ожидании закуски забрались в домик.

Это было небольшое строение, сложенное из сырцового кирпича, состоящее из двух комнат и кухни. Потолок уже частью разрушился, штукатурка местами держалась на полусгнивших чьях (камыше). Окна были выбиты, и в них не оставалось и признака стекол, очевидно утащенных киргизами. Около домика находился навес, служивший когда-то для стоянки лошадей, а теперь приютивший под свой кров киргиза, торгующего арбузами, дынями и сушеными фруктами. Денщики втащили палацы и складные табуреты, мы уселись в кружок, и на сцену появилась неизбежная в походах — водка. Как приятно было пропустить рюмочку после тяжелого перехода! Все были заняты своим делом, кто раскупоривал бутылки, кто готовил закуску, а кто лежал на палаце, разминая свои уставшие члены. Снаружи доносился оживленный говор солдат и заливалась на все лады гармоника.

Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел старый капитан П.

— Николай Николаевич, рюмочку скорее, — обратились к нему хором офицеры.

П. был любим всеми в отряде. Это был боевой и бывалый офицер, участник Хивинского, Кокандского и Алайского походов.

— Уф, и пакостная же погода захватила нас, господа, — сказал он, как бы оправдываясь, что вот, мол, по этой самой причине и нужно выпить рюмочку, и с этими словами опрокинул ее в рот. — А знаете, господа, — продолжал капитан, — сколько воспомина- ний воскресил во мне этот домик! Знаете ли вы, что его построил Скобелев?

— Скобелев? — удивился я.

— Да, Скобелев, — сказал капитан, — и сам проектировал для него план. Это было в 1876 году во время Алайского похода, когда войска наши спешили к укреплению Гульча, чтобы успеть разо- гнать восставших кипчаков и каракиргизов и захватить их коно- вода Абдулла-бека, сына известной царицы Алая Курбан-Джан- датки. Как и сегодня, мы шли Ляангарским ущельем, и ужасная гроза разразилась над нашими головами. Измокшие, голодные, мы пришли вот на это место, — он указал пальцем в землю, — и раскинули палатки. Скобелев поместился в своем бухарском шатре, куда собралось множество офицеров выпить генеральско- го чайку. Дождик лил, и вода, промочив холст, капала на нас через палатку.

— А ведь плохо, господа, — сказал Скобелев.

— Неважно, ваше превосходительство, — отвечаем мы.

— Так вот что, господа, — говорит он, — ввиду того, что нам частенько придется проезжать с Алая в Ош, то, по-моему, нелишне поставить на этом большом переходе хоромы, в которых бы было возможно переночевать или пообедать.

Сказав это, генерал взял карандаш и свою записную книжку, начертил план и профиль, написал все размеры проектируемого здания и, вырвав листок, протянул его мне, так как я ближе всех сидел к нему.

— Возьмите, поручик, и с завтрашнего же дня приступите к постройке дома, для чего вам будет оставлен взвод, состоящий из каменщиков и плотников, — я отдам об этом в приказе.

Делать было нечего, хоть я и понятия не имел о постройках, а пришлось сделаться и инженером, раз начальство приказало.

Заложили мы тут же новое строение, сам генерал положил первый камень, прочитали молитву и крест поставили, а вечером кутнули у обожаемого начальника отряда. Наутро отряд ушел, а я остался с взводом для возведения домика. Потолковал с солда- тами, с чего бы начать; затем общим советом порешили и присту- пили к работе. Нашлись у меня и сведущие люди, так что работа закипела, и через неделю было наделано множество сырцового кирпича, да и кладка подвигалась. За лесом пришлось посылать в город Ош, но это не представляло собою особого затруднения. Уже и косяки были вставлены и мырлат положен, только крыть осталось здание. Вдруг однажды утром прискакал казак с пакетом.

Читаю и глазам своим не верю, что генерал едет с Алая и предвещает, что надеется остановиться в доме у Ляангар-сая.

Струхнул я не на шутку; хорошо я знал, что это было приказание, а дом далеко не окончен. Крыша не крыта, внутри не оштукатурено, и печей нет, и кирпича жженого не доставлено.

Забил я тут тревогу, начали мы по очереди днем и ночью работать, и дело стало подвигаться вперед. Я почти не спал, и мне казалось, что я не успею окончить своей работы. Спасибо печнику, попался лихой и смысленый солдатик; он взялся сложить печи из камня, не прибегая к кирпичу. Я ужасно измучился и чувствовал, что заболелю. Оставалось пять дней до приезда генерала, и я был в отчаянии. Однажды после обеда я прилег в палатке отдохнуть по обыкновению, вдруг вижу, что денщик Шилов тихонько поднимает край полотнища и что-то говорит мне.

Я уже начинал дремать, но очнулся.

— Что тебе? — спросил я.

— Беда, ваше благородие!

— Что такое? — спросил я, вскочив на ноги.

— Киргизы, ваше благородие, близко.

— Что?

Схватив револьвер и шашку, я выбежал из палатки, и передо мною открылась следующая картина.

Несколько конных киргизов что-то делали над двумя лежавшими на земле моими солдатами и, видимо, спешили взвалить их на лошадей, а прочие ломали мой домик, из-за которого я пережил столько тяжелых минут.

— Ребята! наших режут! — закричал я, но никто не появился на мой призыв. Полагая, что киргизы успели покончить с солдатами, захватив их за работой, я, не помня себя, бросился с револьвером на киргизов, вязавших солдата, и спустил курок. Выстрела не было. «Осечка! — подумал я и, взведя курок, опять выстрелил. — Что за черт — опять осечка!» Я взглянул на револьвер и чуть не умер от ужаса — он был разряжен. А ко мне подбегали трое скуластых киргизов, и я уже ясно различал их искаженные злобой рожи и узкие прорезы глаз. Я выхватил шашку и, зажмурив глаза, бросился на них. Что-то сильно сдавило мне горло, и я полетел на землю. Я уже ничего не видел и чувствовал, что кто-то сидит на мне, я хотел пошевелиться, но напрасно: что-то сильно давило мне грудь. Вдруг я почувствовал, что острое лезвие ножа дотронулось до моего горла. «Резут», — подумал я. Нож скользнул и впился в мое горло! Я громко вскрикнул — и открыл глаза. Надо мною шевелилось от ветра полотнище палатки, со лба крупными каплями катился пот.

Я вскочил и вышел наружу. Рабочие уже устилали крышу соломой и замазывали ее жидко разведенной глиной.

Капитан остановился и, пропустив еще рюмочку, громко крикнул и продолжал:

— Итак, ровно через пять дней я благополучно окончил домик, но все труды мои и страдания, пережитые за это время, были напрасны; генерал не приехал, и дела, осложнившиеся на Алае, заставили его вытребовать меня на театр военных действий, и я, оставив четырех человек для окарауливания и окончательной очистки дома, отправился на Алай.

— Ну, пора, господа, — закончил он, вставая. — Кокшаров! — крикнул он денщика. — Позови дежурного фельдфебеля.

Бравый сверхсрочный фельдфебель, придерживая шашку и отдавая честь, вошел в комнату.

— Подъем сыграть и строиться! — сказал капитан.

— Слушаю-с!

И фельдфебель, повернувшись кругом, вышел из комнаты, а чрез несколько мгновений рожок прогремел подъем, и мы, поднявшись с мест, направились к ротам, оставив прислугу собирать наши пожитки. Погода совершенно уже прояснилась, солнце ярко светило, озаряя снежные вершины гор, около которых ютились еще свинцовые тучи. Предстояло перевалить небольшой, но крутой перевал Чигир-Чик, и отряд медленно стал подниматься в гору. Лошади, напрягая все свои силы, рвутся из-под тяжелых вьюков. Не слышно между солдатами ни веселого смеха, ни обычных разговоров, приправленных остротами, и только мерные шаги раздаются среди полной тишины, а снизу, где-то далеко-далеко, чуть доносится до идущих шум кипящего Ляангара.

4. ОЛЬГИН ЛУГ. КИРГИЗСКАЯ ТАМАША

Я проснулся довольно рано. Товарищ мой, поручик Баранов, сладко спал еще, прикрыв голову кавказской буркой. В воздухе царил необыкновенная нега. Палатка чуть-чуть колыхалась от легкого ветерка, по временам налетавшего из ущелья на наш лагерь.

— Николай Александрович, — окликнул я спавшего.

— Ммм... — послышалось в ответ из-под бурки.

— Вставайте, пора, — сказал я и стал одеваться.

Бурка, как бы сама собою, откинулась, и из-под нее поднялась всклокоченная с заспанными глазами голова поручика.

— Осип, чайник! — крикнул он уже по приобретенной за поход привычке и, протерев кулаком глаза, как бы вдруг стряхнул последние остатки сна и стал одеваться.

В палатку полз на четвереньках откормленный солдат с сильно загорелым лицом и поставил на землю небольшой медный чайник.

— Вестника накормил? — спросил Баранов.

— Так точно, ваше благородие, ячменю давал, да и трава здесь хорошая.

— Ну, ладно, давай сухарей!

Солдат скрылся, а мы отправились к ближайшему горному потоку освежиться холодной водой. Что за чудная картина открылась перед нами! Над головами возвышались огромные каменные великаны, сплошь покрытые арчею, с белеющими снежными вершинами, впереди чернелось Талдыкское ущелье, а позади широко раскинулся зеленой бархатной равниной «Ольгин луг», замкнутый со всех сторон горами, на котором маленькими серенькими грибочками виднелись разбросанные юрты киргизских аулов и громадные стада рогатого скота и верблюдов.

Освежившись холодной водой горного потока, мы вернулись в палатку, где нас уже ожидал горячий чай и сухари, а также добытое Осипом в ауле густое, как сливки, молоко.

Полотнище палатки поднялось, и в нее вошел капитан П.

— Чайку не прикажете ли? — спросил я.

— Нет, спасибо. А вот я, господа, к вам с предложением. Завтра дневка, и, следовательно, мы свободно можем преприятно провести эти два дня.

— Каким же образом? — спросили мы.

— Да вот хотя бы съездить верст за 12 отсюда на летовки алайской царицы в Ягачарт. Мы, наверное, застанем и самое Курбан-Джан-дахту, так как она на лето всегда перекочевывает из Гульчи сюда. Интересная старуха, — сказал он, — тем более мне бы хотелось ее видеть, так как я не встречал ее с 1876 года, когда она была захвачена отрядом князя Витгенштейна и доставлена Скобелеву, который принимал ее в Ляангарском домике.

Это предложение было радостно принято нами, и мы решили немедленно отправиться с визитом к царице Алая. Приказав седлать лошадей, мы допили чай и затем отправились; к компании нашей присоединились еще трое офицеров. Мы поехали вдоль широко раскинувшегося «Ольгина луга».

— Странное название носит эта местность; наверное, оно дано ей кем-либо из русских, — сказал Баранов.

— Совершенно верно, — ответил П., — и я вам могу сейчас же пояснить, откуда оно взялось. Видите ли, в 1876 году несколько дам сопровождали своих мужей в Алайский поход, и из них были четыре Ольги, в числе которых была и супруга нашего начальника отряда, полковника Ионова. 11 июля, во время дневки, здесь праздновался Ольгин день, и в честь этих смелых именинниц название «Ольгина луга» осталось навсегда и теперь нанесено на карту.

— Значит, вы, Николай Николаевич, знакомы с алайской царицей? — спросил я П., желая навести разговор на эту интересную личность.

— Как же, и даже очень хорошо; я сопровождал ее до самого города Оша, по окончании Алайского похода.

— Ну, расскажите же нам что-нибудь про нее, — пристали мы к П., который, видимо, только и ждал этой просьбы, так как был

большой охотник до рассказов о былом своем житье и совершенных походах.

— Извольте, господа, с удовольствием. Видите ли, — начал он, — Курбан-Джан-датха была женою известного Алим-бека, прославившего свое имя в Туркестане целым рядом диких набегов и зверскими убийствами в городе Оше. Алим был предательски убит одною киргизкою. Оставшись вдовою, датха приняла власть мужа и начала деятельно управлять Алаем, избрав из среды батырей мужа, которому не позволяла вмешиваться в управление страной. Долго благополучно царствовала датха, и слава об ее мудром управлении разнеслась далеко за пределы Коканда и Каратегина.

После смерти Алим-бека, воспользовавшись безцарствием на Алае и вступлением в управление им алайской царицы, кокандский хан объявил алайских кочевников своими подданными и обложил их податью, но датха стряхнула с себя это иго и наконец принудила кокандского хана Худояра подписать грамоту, в которой он признавал в ней законную правительницу Алая. Бухарский эмир, кашгарский хан Якуб-бек и другие все относились к ней с уважением и даже раз в год присылали на Алай своих послов, снабженных богатыми подарками. Сыновья датхи были ей помощниками в управлении, и каждый из них заведовал известною частью Алая. Старший Абдулла-бек, прославивший себя потом в борьбе с нами, Махмуд-бек, Канчи-бек, Хасан-бек и племянник датхи Мирза-Паяс были верной опорой алайской царицы и любимцами кочевого населения. Об этих беках разнеслась слава далеко за пределы Алая как о храбрых батырях и лучших джигитах. После плена Автобачи, известного коновода кипчаков, когда Кокандское ханство было завоевано нашими войсками и город Андижан пал перед всепобеждающим «белым генералом», на Алае вспыхнуло восстание. Закипело, заколыхалось горное население Алая, и шайки отважных батырей стали пополняться новыми силами. Из покоренной Ферганы бежали узбеки и киргизы, и все это стекалось на громкий клич Абдулла-бека, раздавшийся с высот снежного Алая. Огромные шайки лихих джигитов стали разбойничать, производя беспорядки среди русского населения возникшей области, и разбои эти всегда сопровождались обильным кровопролитием. Тогда-то для ограждения Ферганской области был двинут полубатальон пехоты через Исфайрамское ущелье к крепости Дараут-кургану под командой капитана Исполад-Бога, который был встречен огнем засевшего в неприступных скалах со своими батырями Абдулла-бека и, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, принужден был вернуться в город Маргелан. Вот после этого эпизода и был объявлен Алайский поход и на Алай послан отряд, во главе которого находился Скобелев. Мы выступили другою дорогой, через Ош и перевал Талдык, и не были встречены неприятелем до урочища Янги-Арык, где казаки доста-

вили нам сведения, что киргизы заняли это ущелье, сожгли мосты и готовятся под предводительством самого Абдулла-бека дать отпор нашему отряду. Генерал Скобелев, думая скоро кончить с киргизами, приказал пехоте «прогнать халатников», но не тут-то было! Позиция киргизов оказалась неприступною; они, скрываясь за каменными завалами, сильно поражали нас, так что Скобелеву скоро пришлось убедиться в невозможности атаковать горцев, и он решил произвести обход. Для этого кавалерия была послана на рекогносцировку, а мы, в ожидании дальнейших действий, оставались около Кизиль-кургана. Вот тогда-то я и был отозван от постройки домика в Ляангаре. Через пять дней были собраны самые точные справки о путях, могущих служить обходом. План наступления был составлен, и мы двинулись вперед. Справа, со стороны перевала Талдык, двигался отряд под командою майора Ионова, в котором находился и я. Мы зашли в тыл Абдулла-беку и под его огнем, выбивавшим из строя много жертв, восстановили сожженный мост через реку Белаули и, пройдя по нему, заняли позицию. Путь отступления же к кургану Омар-бека отрезали две казачьи сотни под командою полковника князя Витгенштейна. Тут только Абдулла-бек увидел, что сопротивление невозможно, и ночью ушел к Заалайскому хребту, через перевал Кизиль-Арт (14 000 футов), а оттуда на Памиры. Летучий отряд князя преследовал по пятам Абдулла-бека, но тот с ловкостью горного козла увертывался от него, завлекая князя в глубь Заалайского хребта, где весь отряд чуть-чуть не погиб около озера Кара-Куль во время метели, отрезанный огромным перевалом от главных сил, без провианта и фуража. Таким образом, Абдулла-бек с братьями своими Махмуд-беком и Хасан-беком и большинством из своей шайки ушел от преследования русских через Памиры в Афганистан, завещав остающимся батырям не сдаваться гяурам; после этого мы двинулись к Алайской долине, где и остановились, тревожимые все время шайками горцев.

Весть о неудаче на Янги-Арыке дошла и до царицы Алая, и она со всеми стадами и имуществом бросилась в Кашгар, но по дороге была ограблена шайками китайских разбойников, и несчастная датха была вынуждена направиться по следам своих сыновей, то есть на Кизиль-Арт. В сопровождении сына своего Канчибека и племянника Мирза-Паяса она отправилась без имущества на плохеньких киргизских лошадях к Кизиль-Арту и около местечка Борда-ба наткнулась на возвращавшегося князя Витгенштейна, которым и была захвачена и доставлена в отряд. В это время генерал Скобелев был в укр. Гульче, и мне было поручено доставить к нему арестованную царицу Алая и ее двух батырей. Я очень обрадовался этому поручению. Войдя в юрту, где помещалась пленная, я увидел сидевшую на ковре по-азиатски киргизку небольшого роста, хотя немолодую, но красивую, одетую в парчовый халат, отороченный каким-то мехом, — это была датха.

Она грустно сидела, опустив голову. Перед нею стоял поднос, на котором лежали фисташки, кишмиш и другие туземные сласти. Царица Алая, видимо, находилась в размышлении о той метаморфозе, которая происходила с нею, и вся была погружена в свое горе. Она сразу даже не заметила моего появления и только спустя несколько секунд вскинула на меня своими умными, выразительными глазами и слегка вздрогнула. Я через переводчика сказал ей, что назначен сопровождать ее до Гульчи, где находится теперь генерал Скобелев; она отнеслась совершенно равнодушно к моему заявлению.

— Я теперь раба русских, которые могут делать со мною что угодно, такая, значит, воля Аллаха, — ответила она через переводчика, и крупные слезы блеснули на узких прорезях ее глаз.

Я сказал ей, что мы едем завтра.

— Хоп, хоп¹, таксыр², — сказала она мне и кивнула головой в знак согласия.

Вышел я из юрты и под тяжелым впечатлением, навеянным на меня безотрадным горем царицы, направился к себе.

Наутро мы были уже на лошадях. Казаки конвоировали пленных. Датха бодро сидела в седле, одетая в бархатную шубейку с галунами и шапочку с парчовым верхом, отороченную мехом.

Подъезжая к Ляангару, я заметил около домика большое сборище киргизов и казаков, и мне сообщили, что генерал едет на Алай и остановился для отдыха на станции. Я приказал доложить о себе и тотчас же был принят. Сообщив о цели своего приезда, я получил приказание ввести в дом пленных.

Датха в сопровождении Канчи-бека и Мирза-Паяса вошла в комнату. Оба батыря отвесили низкий кулдук, пленная же царица стояла молча, низко наклонив голову.

Скобелев встал, подошел к ней и протянул руку. Датха, по-видимому, растерялась, она не ожидала такого приема, и радостная улыбка озарила ее лицо. Она пожала руку героя и сказала ему что-то по-киргизски.

— Скажите датхе, — обратился Скобелев к стоявшему здесь переводчику-киргизу, поручику Байтакову, — что я очень рад видеть ее в добром здоровье и надеюсь, что она, пользуясь своим огромным значением на Алае, повлияет и на кочевое население склониться к миру и подчиниться требованиям России. Я много слышал о ее мудром управлении и том значении, которое заслужила она у соседних ханов, а потому уверен, что датха поймет бесполезность враждебного отношения к русским. Передайте ей, — сказал генерал, когда переводчик перевел часть его речи, — что она, как мать, может гордиться своими сыновьями. Абдулла-бек свято исполнил свой долг и ушел лишь тогда, когда бороться уже

¹ Хоп, хоп — хорошо, хорошо.

² Таксыр — ваше благородие.

было немислимо. Но пусть она знает, что русские умеют ценить храбрость врагов. Если она сумеет склонить своих сыновей покинуть Афганистан и возвратиться на Алай, то я награжу их, как подобает награждать героев, а теперь я прошу датху принят дастархан. — И генерал приказал принести, по-туземному обычаю, огромный поднос, на котором целою горою возвышались туземные угощения; вслед за тем он собственноручно надел на пленницу парчовый почетный халат и обратился к батырям, увещевая их верно служить России.

Умная царица сразу поняла положение и тут же дала обещание генералу, что мир и тишина будут царить в долине Алая, пока живет она на свете. По ее требованию из Афганистана возвратился ее сын Махмуд-бек и много других батырей; только один Абдулла-бек не послушался увещаний матери и не вернулся на Алай, а ушел в Мекку. Но не суждено было сыну царицы Алая поклониться там Великому Пророку. Он не вынес тяжести пути по безводной пустыне, раны его открылись, и он по дороге умер.

По-прежнему поселилась датха в Яга-Чарте, продолжая пользоваться безграничным влиянием на Алае, а ее сыновья были назначены управителями Алайских волостей и приносили огромную пользу нашему правительству.

Таким образом присоединен был Алай к русской империи, и мы, простояв на долине Большого Алая, направились вверх по реке Кизиль-су и через перевал Кара-Казык спустились в долину Шахимардана и через Вуадиль возвратились в Маргелан. Вот и все, господа, — заключил П., — что я могу вам сообщить о датхе, которую, наверно, мы сегодня увидим, и о той роли, которую она играла в этих местах.

— Спасибо, Николай Николаевич, теперь мы, получив подробные сведения о датхе, еще с большим удовольствием жаждем увидеть эту интересную женщину, — сказал Баранов.

— Ну, господа, рысью! — скомандовал П. — А не то поздно будет, уж очень долго я заболтался.

И действительно, слушая длинный и интересный рассказ капитана, мы и не заметили, что солнце уже было совсем на полуденной линии, и лошади, опустив головы, лениво ступают на собственные тени, поминутно отмахиваясь хвостами от докучливых мух, не дававших им покоя.

Мы поехали рысью и втянулись в узкое ущелье, миновав которое очутились в широкой долине, окруженной горами, сплошь покрытыми арчею, и направились к показавшемуся большому аулу, юрты которого были украшены пестрыми палацами и коврами. Громадные табуны лошадей бродили поодаль, наслаждаясь здоровою сочною травою. Со стороны аула к нам приближалась группа всадников с головами, обмотанными большими белыми чалмами. Пестрые халаты их, ярко освещенные заходящим солнцем, красиво выделялись среди суровой природы горного ланд-

шафта. Впереди на великолепном гнедом жеребце ехал полный, дородный киргиз, с сытым, загорелым и добродушным лицом, обрамленным небольшою черною бородкою. Вся фигура его выражала полное довольство жизнью. Одет он был в костюм, отличавшийся от прочих джигитов своею простотою и изяществом. Белый бешмет, перетянутый в талии широчайшим серебряным, украшенным насечкою и чернью, поясом, белая как снег чалма; азиатская, с серебряной рукояткой, шашка красиво блестела на солнце. Грудь его была украшена медалями, придававшими его костюму еще более величественный вид. Вслед за ним ехали трое джигитов, вооруженных мултуками и шашками.

За несколько шагов до нас все туземцы слезли с лошадей и встали в почтительную позу, сложив руки на животе, как принято у них при выражении особенного уважения.

П. соскочил с лошади и подошел к белому всаднику с медалями на груди.

— Здравствуй, Махмуд-бек! — сказал он.

— А! Таксыр, селамалейкум, калай-сыз?¹ — радостно, улыбаясь своим широким ртом, проговорил киргиз.

— Что датха, как, здорова? — спросил П.

— Спасибо, таксыр, слава Аллаху, здорова, она послала меня встретить дорогих гостей, — ответил Махмуд, — она очень рада будет видеть тюру, милости просим, — сказал он, обращаясь к нам.

— Господа, позвольте представить вам, это гульчинский волостной управитель Махмуд-бек, сын алайской царицы, с биографией которой я вас только что познакомил, — сказал П.

Мы соскочили с лошадей, и каждый пожал руку симпатичному киргизу.

— Ну, идем, Махмуд-бек, — сказал П., и мы тронулись в путь.

Несколько кучек туземцев, в праздничных халатах, тюбетейках и чалмах, поджав ноги, сидели, образуя на ярко-зеленом фоне как бы венки, сплетенные из пестрых цветов. Разодетые киргизки в необыкновенно больших чалмах, скрывающих их смуглые лица, озабоченно сновали из юрты в юрту; оживление в ауле было всеобщее. Очевидно, нас ждали. Но кто мог предупредить здесь о нашем приезде — право, не знаю. Я спросил П., не он ли уведомил киргизов о своем намерении побывать у датхи, но он отрицал совершенно, уверяя, что не посылал никого сказать, что мы будем.

— Вы не знаете киргизов, у них на этот счет особенное чутье, — сказал он, — прекрасно знали они, что мы непременно заедем к датхе, ну и приготовились.

Около одной богатой юрты мы остановились; толпа мальчишек бросилась к нашим лошадям; взяв за поводья, они стали водить их взад и вперед.

¹ Здравствуйте, как поживаете?

Махмуд-бек приподнял дверь юрты, мы вошли в нее, и я увидел датху. Она сидела по-азиатски на ковре, поджав под себя ноги. Это была уже немолодая киргизка, с сильно сморщенным лицом, с маленькими, слезящимися глазами, добродушно улыбавшимися нам. Она отдала какое-то приказание сыну, и в ее жестах я уловил привычку повелевать. Она одета была в парчовую кацавейку, отороченную мехом, а голова ее была обмотана огромною кисейною чалмою. Мы по очереди подошли к сидящей старухе и пожали ей руку. Она узнала П. и очень ему обрадовалась.

— А Скобелев улыды! (умер) — сказала она, причем лицо ее выразило сожаление, и покачала головой.

— Давно уже, — сказал П.

— А Ионов приедет ко мне? — спросила она.

— Да, я думаю, — ответил капитан, — полковник часто вспоминает вас и, наверное, не проедет мимо ваших аулов.

— Да, он хороший человек, — сказала датха, — и жена его, и дети хорошие, им Аллах пошлет счастья. А теперь на Памир идете? — спросила датха.

— Да, на Памир.

— Плохо там, ни корму для лошадей, ни достаточного количества баранов, ничего нет, — сказала она, — киргизы живут там бедные, тяжело вам будет; я и то приказала Махмуду и Мирза-Паясу, чтобы они вам немедленно все доставляли.

Она говорила с П. по-киргизски, а он нам переводил ее речь. После этого аудиенция наша у датхи окончилась. Вошедший Махмуд-бек объявил, что плов подан, и мы, пожав руку царицы Алая, вышли из ее юрты.

Так вот она, эта датха, о которой я так много слышал и которую так жаждал увидеть, — самая обыкновенная киргизка с виду, даже трудно себе представить, чтобы эта старуха могла когда-то играть такую важную роль.

Мы вошли в юрту, менее богатую, но более обширную, нежели юрта датхи, где уже собралось немало почетных гостей, случайно съехавшихся из соседних аулов. Здесь же был и Хасан-бек, брат Махмуда, высокий, с большой черной бородой киргиз, и Абду-Кадыр, прибывший неделю тому назад из Каратегина, и казий¹ города Оша, и старый мулла, и много других знатных киргизов, обладателей почетных халатов.

Все почтительно встали при нашем появлении и, обменявшись с каждым из нас приветствием и погладив свои бороды, опять чинно уселись в прежнем порядке. Во время еды плова в юрту вошел красивый, стройный киргиз с хищным, разбойничьим лицом, не лишенным некоторого величия; он сдержанно улыбнулся и, поздоровавшись с П., пожал каждому из нас руку; это был Канчи-бек, старший сын датхи. Он угрюмо уселся в стороне, не

¹ Казий — судья.

вступая в разговоры и не касаясь плова. Время клонилось к вечеру, и гостеприимный хозяин объявил нам, что юрты для нас уже готовы, и мы отправились на покой. Прекрасные кибитки, в которых были постланы на коврах легкие одеяла, были к нашим услугам, и в них мы прекрасно провели ночь. Утром разбудили меня загудевшие громадные трубы, напоминающие собою библейские, с которыми, по преданию, евреи обходили город Иерихон, и немудрено, если от множества таких труб разрушились стены города, потому что от двух моя юрта вся тряслась, и я был принужден заткнуть уши, чтобы не лопнули перепонки.

Эти трубы скликали киргизов на тамашу¹, устраиваемую в честь русских гостей. В воздухе запахло пловом. Всадники группировались в долине, готовые начать байгу (род скачки). Наконец перед толпою был брошен зарезанный козленок, и один из джигитов ловко подхватил его и поскакал. Все понеслись за ним, преследуя общую цель завладеть козленком и принести его к нам. Датха сидела вместе с нами на разостланных коврах и равнодушно смотрела на несущуюся толпу всадников. Я с любопытством следил за ходом игры. Вот, вот, нагоняют джигита с добычей, окружили!.. Защелкали в воздухе нагайки, и на мгновение все спуталось в общей массе и покрылось густым облаком пыли. Но вот снова с отнятым козленком вырывается из толпы всадник, и вдруг он ринулся в сторону, далеко оставляя за собою дико кричащую и несущуюся за ним толпу джигитов. Шум поднялся ужасный — байга оживилась. Козленок, совершенно растерзанный, переходил из рук в руки; наконец одному из джигитов удалось далеко ускакать с добычей, и он, описав круг, подскакал к нашему коврику и бросил под ноги нам козленка, от которого остались одни лишь клочья. Толпа криками приветствовала победителя, а П. вручил ему призовой халат и пятирублевую бумажку. Почти до сумерек длилась тамаша, много было выпито кумысу, все наелись досыта пловом, всюду виднелись веселые лица.

— Ну, а нам, господа, пора и восвояси, — сказал П., — как раз к вечерней заре усеем.

Мы не протестовали, так как времени оставалось мало, и, попрощавшись с датхой, которая пожелала нам доброго пути, мы в сопровождении беков отправились к отряду.

Было уже совершенно темно, когда мы подъезжали к бивуаку.

— Стой, кто идет, что пропуск? — раздался грозный оклик часового.

П. сказал, и мы въехали в лагерь.

Отдыхая в своей палатке, под впечатлением радушного приема у алайской царицы, я и не помышлял о том, что через три года буду свидетелем ужасного горя, разразившегося над датхой и ее сыновьями. В 1893 году сыновья ее были вдруг арестованы и

¹ Тамаша — гулянье.

посажены в тюрьму, а по Алаю стали ходить тревожные слухи о задушении русского таможенного стражника, погибшего с двумя джигитами, во время задержания контрабанды. Началось следствие, которое выяснило, что наша¹, которую везли Канчи-беку контрабандисты, была задержана таможенным досмотрщиком; последний сначала соглашался пойти на компромисс с контрабандистами, но затем раздумал и был задушен ими, не имея возможности защищаться, так как револьверы его и его джигитов оказались без патронов. Говорили, что в этом деле участником был Канчи-бек, но точных улик не было, и дело было отложено областным судом для дополнительного следствия. Великое горе охватило сердце старухи-матери; сыновья, ее гордость и надежда, опозорены, замешанные в гнусном убийстве, и посажены в тюрьму наравне с мошенниками и ворами. Лучше бы убила она их своими руками, если бы предвидела такое позорное дело, но все же она надеялась и глубоко верила, что сыновья ее не причастны в этом преступлении. Между тем, пока длилось дополнительное следствие, военный губернатор Ферганской области генерал-майор Повало-Швуйковский усиленно хлопотал о переводе этого дела из-под ведения гражданского суда в полевой военный; ходатайство его было уважено: беки преданы полевому суду.

Я навещал в Маргеланской тюрьме несчастных и долго беседовал с ними. Трудно было представить себе, чтобы эти люди, столько лет беспорочно служившие русскому правительству, были участниками преступления. Мне от души было жаль, глядя на похудевшее, грустное лицо Махмуд-бека и Мирза-Паяса, которые судились за укрывательство преступления. Я утешал их, сколько мог, но они и сами понимали, что значило предание их военному суду. Мрачный сидел в одиночной камере Канчи-бек и все лишь молился Аллаху, соблюдая строгую уразу (пост). К нему никого не допускали. Его сердце испытывало двойное горе: в числе арестованных был и его единственный сын Арслан-бек, сидевший тоже в тюрьме, в которой томились 21 киргиз, обвиняемых в убийстве таможенных.

Судопроизводство происходило при закрытых дверях, несколько дней длились прения, судьями были командиры батальонов под председательством генерала Корниловича, которые вынесли смертный приговор девяти человекам, и в числе их Канчи-беку и его сыну 12-летнему мальчику, а Махмуд, Мирза-Паяс и другие присуждены к ссылке в каторжные работы.

В неопisanном отчаянии приехала в Маргелан царица Алая, несмотря на дряхлость свою и измученную горем душу, явилась к военному губернатору и валялась в ногах у него, вымаливая помилование сыновьям и внуку...

¹ Наша¹ — наркотическое средство для курения, сделанное из выжимков стеблей конопли.

Да, велико было горе матери, у которой судьба на глазах отнимала всех сыновей. Все русские и туземцы были озадачены приговором суда: ожидали полного оправдания беков, и вдруг — смертная казнь. Всколыхнулось алайское население, и стали ходить слухи, что киргизы намерены освободить осужденных батырей.

Военный губернатор понял, что ему грозит опасность со стороны киргизов, и усилил караулы. Вокруг тюрьмы ходили патрули, а около его дома дежурили солдаты. В течение всего времени суда войска спали не раздеваясь, дежуря поочередно и имея при себе боевые патроны; но все эти предосторожности были напрасны. После подтверждения смертного приговора над Канчи-беком и киргизом Полваном они оба были отвезены в Ош, где и повешены 2 марта 1895 года, в виду своей родины, дорогого им Алая. На казнь из города Маргелана за 90 верст приехал и генерал Повало-Швыйковский и руководил приведением в исполнение приговора суда. Принимая во внимание беспорочную службу Махмуда и Мирза-Паяса и несовершеннолетие Арслан-бека, каторжные работы им и смертная казнь последнему были заменены ссылкой в Сибирь, по дороге куда Махмуд-бек, не выдержав тягости пути, умер.

После этого печального события датха пережила новую метаморфозу: мозг ее не выдержал тяжелого горя; помешалась бывшая алайская царица, и теперь, в рубище, не подпуская к себе никого, сидит она и молится Аллаху о спасении души своего сына. Таким образом угас царственный род на Алае, и со смертью датхи только рассказы об ее былом могуществе и силе будут ходить из ущелья в ущелье, разносимые батырями по аулам.

Жестокую ошибку сделал новый военный губернатор Повало-Швыйковский, исходатайствовавший предание полемому суду всеми любимых беков. Как говорил губернатор, он это сделал для поднятия русского престижа, будто бы упавшего. Жестоко ошибался генерал: сарты и киргизы привыкли уважать русские власти и упадка значения русских в крае не замечалось.

Случайное убийство контрабандистами русских объездчиков, как выяснилось следствием, хотевших взять отступное с киргизов, было, несомненно, совершено без ведома волостных управителей. Они только испугались за ответственность и донесли позже, чем следовало, быть может проверяя факт убийства. Да, они заслуживали наказания, — но не казни же. Как хлопотали за несчастных беков и генерал Корольков, и генерал Ионов, и все русское население Ферганы, это доказывает, какую симпатией пользовались осужденные. Некоторые дамы собирались даже послать телеграмму о смягчении участи осужденных Государыне Императрице, но Повало-Швыйковский зорко охранял намеченный им план, он и против этого принял меры, запретив на телеграфе передавать подобные депеши. Таким образом, датха не могла дать телеграмму

на Высочайшее имя с мольбою о помиловании ее сыновей. Но недолго остался верен себе новый губернатор. После рокового приговора совесть начала мучить его, он стал бояться озлобившегося населения, и вот галлюцинации преследуют его, ему кажется, что скопища киргизов идут освободить заключенных беков, он, в ужасе за свою безопасность, торопит казнь. Караулы усиливаются; около губернаторского дома сосредоточивается главная охрана — все негодуют. Видя свою ошибку и что первый блин выпел комом, он после казни Канчи-бека сразу меняет свою политику и начинает действовать в угоду туземному населению, унижая значение русского и развращая в этом отношении население до того, что оно, бывшее в полной покорности, во время его управления областью решилось поднять вооруженную руку на русских солдат.

Достойное наказание понес генерал¹, но еще большим наказанием будет служить ему память, которую он оставил по себе в области, да 21 убитый — зверски зарезанные сартами солдаты 18 мая 1898 года в Андижане².

5. КИЗИЛЬ-АРТСКОЕ УЩЕЛЬЕ. КАЗАЧЬИ ПРОДЕЛКИ

Медленно движется длинная вереница серых, утомленных солдат, пробирающихся между большими каменными глыбами и поднимающихся вверх по Кизиль-Артскому ущелью. Это ущелье врезывается узкою щелью в Заалайский хребет, поднимаясь от Алайской долины к перевалу Кизиль-Арт, и затем с вышки его снова спускается в долину реки Маркан-су. Шумя и пенясь, бежит навстречу идущим горная речка Кок-сай, затейливо извиваясь между камнями и утесами и тем еще более затрудняя и без того нелегкое движение отряда. Чуть проходима тропа вьется, круто поднимаясь вверх и часто пересекаемая быстрою рекой, представляет собою немалое препятствие для движущегося обоза и пехоты, не говоря уже про совьючившуюся артиллерию, которой особенно тяжело было пробираться в этих местах.

19 июня погода была пасмурная, облака почти спустились на землю, и казалось, что вот-вот коснешься их головою. Дорога благодаря небольшой ширине и нагроможденным всюду камням

¹ Генерал-майор Повало-Швуйковский был по Высочайшему повелению отрешен от должности и затем уволен в отставку за то, что «среди глубокого мира допустил нападение туземцев на русские войска».

² В ночь на 18 мая 1898 года в г. Андижане вооруженные скопища сартов напали на роты 20-го Туркестанского линейно-кадрового батальона, когда все люди спали, утомленные знойным днем и учебною стрельбою. Туземцы, руководимые Ишаном, объявившим Газоват (священную войну), стали резать сонных солдат. 21 линейец были зарезаны на месте, и, кроме того, многие были ранены. К счастью, в лагере находился офицер, подпоручик Карселадзе, он быстро собрал людей, разломал пороховой погреб, добыл патроны и отбил нападавших, за что и награжден орденом Св. Владимира с мечами и бантом, а 10 нижних чинов — Георгиевскими крестами.

была чрезвычайно неудобна. Вьюки поминутно задевали за большие обломки скал, лежащие на протяжении всего пути, обрывались и падали, так что бедные солдаты положительно выбивались из сил, поминутно перевьючивая лошадей. Часам к восьми поднялся холодный ветер, облака совершенно спустились на землю, снежная крупица стала гуще падать и немилосердно бить в лицо, но вскоре повалил сначала мелкий, а затем крупный снег. Закрутилась метель, кругом не видно ни зги. Спереди, сзади, с боков — все бело, все несетя в каком-то фантастически-ужасном вихре. Идти приходилось положительно ощупью, наобум выбирая дорогу. Измокшие и прозябшие солдаты, одетые по-летнему, старались быстрою ходьбою хоть немного разогреть свои окоченевшие члены. Но, несмотря на всю неприглядную и тяжелую обстановку, в нашем солдате сказывался бодрый, свежий, неунывающий русский дух, тот дух, который руководил им и при переходе через Балканы, и в альпийских походах Суворова. Вот, под большим камнем, немного прикрывающим собою от снега и ветра, собралась кучка измокших и иззябших солдат. Как ни в чем не бывало закручиваются сигарки, и вслед за подбадривающим табачным дымком слышатся солдатские остроты и разговоры.

— Ну, что, братцы, совсем зимушка-то рассейская, смотри: все уши залепило, — говорит один.

— А в Маргелане-то, поди, теперь солдаты лежат себе да фрухтой разной обжираются, — добавляет другой солдат, выкопачивая о каблук трубку. — И не пойму, для ча это нас повели сюды, кому нужны эти гали (камни), — пропади они совсем, ишь сапожишки о них, проклятых, размочалил, — прибавляет он, рассматривая свои изорванные и никуда уже не годные сапоги.

Но недолго длится привал; раздается команда. Медленно, как будто нехотя, поднимаются со своих мест солдаты и снова безмолвно лезут вперед, навстречу расвирепевшей стихии. Как ни хотелось бы подольше отдохнуть, но положительно нет физической возможности делать более или менее продолжительные привалы в такую погоду, когда даже во время ходьбы холод пронизывает до костей, а попадающий за воротник снег, тая, холодными струйками бежит по спине. Но вот после полудня снег мало-помалу начал стихать, туман рассеялся, и дорогу можно было уже различать на довольно далекое расстояние.

Люди и обоз страшно растянулись, и кое-где, между камней, мелькали вяло идущие, измученные солдаты и вьючные лошади, сопровождаемые керекешами. Несчастные существа эти керекешки — просто жаль смотреть на них. Оборванные, притом вечно голодные, находящиеся в полной зависимости от своих караван-башей и, конечно, страшно эксплуатируемые ими, они к окончанию похода превращались просто в нищих. С какою грустью и отчаянием на лице приходили многие из них к офицерам, заявляя плачевным тоном: «тюра, тюра, алаша кунчал!», то есть, что

лошадь, не вынеся тяжести вьюка, пала. Часто приходилось слышать такие восклицания, но кому же какое дело до чужого горя?

Грустно ступает ногами в жалких изорванных обертках рядом с своею лошадию керекеш Юсуф; невесело у него на душе. Весь в лохмотьях, в просаленном и рваном халате, через который холодный ветер пронизывает насквозь его иззябшее отошедшее тело.

Заложив руки за спину с вывороченными ладонями наружу, медленно поднимается Юсуф по узкому ущелью.

И для чего я пошел в этот поход, думает он, — хоть плохо, бедно жилось дома, а все как ни на есть свой угол был, а теперь живешь как собака, не зная отдыха, не имея пищи и крова. Э-эх плохо — яман, вздохнул Юсуф и покосился на лошадь. Бедное животное со сплошною ранюю на спине, на которую безжалостно было положено поверх чомы¹ 9 пудов казенного груза, вытягивая шею и низко опустив голову, напрягая все силы, тащилось в гору.

Жаль стало Юсуфу лошадь, и он, подойдя к ней, стал рукою подпирать накренившийся на одну сторону вьюк. Лошадь кряхтела и время от времени останавливалась. Останавливался и Юсуф, не в силах был он подгонять усталое животное, он сам шел пешком и испытывал сильную усталость, и ему понятно было, что лошадь с вьюком в 9 пудов тоже уставала, да, кроме того, два дня подрядчик выдавал только половинную порцию ячменя, а травы нигде не было.

Юсуф был человек с добрым сердцем и характера мягкого, лошадей он любил, так как с малолетства занимался извозом, и, видя теперь муки своего работника, он испытывал что-то вроде страдания — ему очень хотелось бы помочь своей «алача», но как? чем? — он сам измучен, истощен и нравственно подавлен — где ему помочь кому бы то ни было. Лошадь остановилась и не шла.

— Чего стал, ей! — раздался голос казака, сопровождавшего транспорт. — Ей, шайтан! — выругался казак, видя, что керекеш медлит, и не успел обернуться Юсуф, как почувствовал, что его точно ожгло чем-то по лицу, искры брызнули из глаз, и он схватился за лицо.

«Какой нехороший народ эти казаки», — подумал несчастный сарт. Он не выругался, не закричал даже, только две крупные слезы навернулись на его глаза, и он сквозь них, как будто сквозь замерзшее стекло, увидел казака, расправлявшегося с другим керекешем. Лошадь, казак, идущие солдаты — все как-то скривилось перед глазами Юсуфа, а в груди стало как-то неловко, что-то подступало к горлу, и бедный керекеш не выдержал — заплакал.

Тихо, как-то нехотя подошел он к лошади, поправил вьюк и проговорил «айда!». Животное двинулось дальше. Шел и Юсуф возле своего работника и весь ушел в воспоминания о прошлом.

¹ Чома — туземное вьючное седло.

Вспомнились ему его сакля, его жена, его ребенок в Оше, как, бывало, он, усталый после утомительного дня, отдыхал у себя в сакле, а ему приготавливалась шурпа (суп) или плов, когда заработок бывал хороший, в особенности во время покупки хлопка. Эх, если бы не Абду-Джалиль, отрядный подрядчик, обещавший Юсуфу хорошую плату, он ни за что бы не пошел на Памир, ведь вот и лошадь пропала. Куда теперь годна она, спина вся в ранах, ноги разбиты, сплечилась, а смотрит-то как уныло, как будто с жизнью прощается; поддался Юсуф увещаниям и пошел.

«Что ж, — утешал себя Юсуф, — ведь, быть может, не обманет подрядчик, ведь он человек богатый, да и мусульманин». И тут на мгновение, забыв всю тяжесть своего настоящего положения, Юсуф начал рисовать разные заманчивые картины.

Ему представлялось его возвращение из похода, когда ему Абду-Джалиль заплатит 100 рублей. «Сто рублей, — повторял полупшепотом Юсуф эту небывалую для него сумму, — да ведь это целый капитал, на который я такую саклю построю, что все кишлачники ахнут, да арбу заведу, лошадку куплю хорошую рублей за 40, эх, да жене и себе на халат еще останется. Буду ездить в новой арбе не с товаром, а с баями¹, которые так много платят, плов буду каждый день есть, как богатые арбакеши на базаре, ну и оставаться на черный день будет много». Юсуф даже подпрыгнул от радости, так легко стало у него на душе.

Между тем обоз подходил к горной речке. Сильные воды ее как будто кипели, пенились, ударяясь о камни, и наполняли воздух таким шумом, что невозможно было слышать самого сильного крика в нескольких шагах.

Одно за другим покорно спускались въючные животные в холодную воду и, медленно ступая по каменистому дну, с трудом передвигали ноги против течения, ежеминутно рискуя быть сбитыми с ног и унесенными водою. Двигались они одно за другим, по направлению к противоположному берегу, ободряемые криками солдат и керекешей. Вот и Юсуф со своею лошадью у реки. Захрапело животное и попятилось. «Айда, айда!» — ободрял ее Юсуф, но лошадь не шла, только глаза ее выражали какой-то особенный страх.

Несколько лошадей обошли Юсуфа и спустились в воду. Подъехал заведывающий обозом офицер.

— Это что? Чего она не идет? Ей, Петренко, — крикнул он казаку, — всыпь-ка ей нагайки, да этому болвану тоже, что он тут стоит, только дорогу загораживает!

Керекеш не понимал, что это относится до него, и, видя гнев начальника, начал старательно дергать упиравшуюся лошадь за недоуздок, а казак в это время неистово стегал ее по крупу.

¹ Бай — купец, богатый.

Попыталось было животное лягнуть своего мучителя, но тяжесть вьюка не давала ей даже чуть-чуть приподнять обе задние ноги, и ее порыв выразился в каком-то судорожном движении корпуса, а нагайка продолжала делать свое дело.

От боли и отчаяния лошадь шарахнулась вперед, на мгновение остановилась в нерешительности и, как бы боясь новых мучений, вдруг спустила в воду передние ноги и погрузилась в реку. Юсуф полез за ней.

Вот вода уже выше колен, он чувствует, что его сносит, голова кружится от быстрого движения воды, и ему кажется, что все быстро несется назад и в то же время он стоит на месте. Вот что-то больно ударило его по ноге. «Ой! Как больно», — подумал Юсуф и хотел рукой схватить за ногу, но вода была уже по пояс, он сильнее задвигал ногами, но ноги его не могли осилить воды, и его отнесло назад, он собрал все силы и ринулся вперед, желая схватить рукою конец болтавшегося аркана от его вьюка.

Вдруг что-то сильное толкнуло его и понесло. Он не понимал, что с ним, и чувствовал только, что несся куда-то далеко, далеко. Два раза мелькнула перед его глазами голова его лошади, и больше он ничего не видел.

А там на берегу раздавались крики: «Держи, утонул! Лошадь-то лови! Соль на ней — разойдется!»

И целая толпа солдат и керекешей бросилась ловить тонущую лошадь, спасая драгоценную в отряде соль, а об Юсуфе все как будто и позабыли, вспомнили о нем лишь тогда, когда от него и следа уже не было.

Памятью о нем только в кармане подрядчика остались те сто рублей, о которых так мечтал бедный керекеш.

И много таких было в отряде Юсуфов.

Стало яснее, кругом все застлано белою снежною пеленою, как бы накрыто одною сплошною скатертью, и благодаря этому и без того мертвый пейзаж получал вид еще более грустный и удручающий.

Пасмурны и недовольны лица у идущих солдат, как-то апатично переставляют ноги усталые лошади, у каждого на лице можно прочесть одну мечту, одно лишь скромное желание — лечь и отдохнуть; еще только полчаса ходьбы — и это осуществится.

Кто не бывал в походах, а особенно в горных, тот не может понять того восторга, подъема духа и прелести, какие доставляет усталому, измученному человеку голубая струйка дыма бивуачной кухни, весело поднимающаяся змейкой к облакам. Будь солдат изнеможен до последней степени, он оживет, силы его возобновятся, как только он издали увидит этот соблазнительный бивуачный дымок. Но не только люди, даже лошади прибодряются, ощущая запах бивуака, и радостно ржут и рвутся из-под своих тяжелых и неудобных вьюков. Показался дымок. «Бивуак!» — раздается крик заметивших его. «Бивуак!» — разносится радост-

ное известие по всем концам растянувшегося отряда, и все, напрягая последние силы, стараются возможно скорее преодолеть небольшое расстояние, отделяющее их от желаемой цели.

Около кухонного котла уже сгруппировалась кучка подошедших погреться солдат, ружья составлены в козлы, число которых увеличивается по мере подхода людей. Маленький костер, сложенный из небольшого количества захваченного топлива, мигая, еле-еле горит, распространяя вокруг себя едкий дым тлеющего сырого терескена¹, но все же, несмотря на эту неприятность, каждый старается ближе протянуть к нему свои окоченевшие руки. Кухонная прислуга, пришедшая раньше, поставила палатку, в которую забралась офицеры в ожидании своих вещей и палаток.

Снег продолжал падать, но не в таком обильном количестве, как во время перехода; ветра не было, но вместе с тем недоставало и топлива. Подошедшие люди были посланы собирать кизяк, которого находилось очень немного, да и тот намок и не горел. Уже подобралось порядочно народу, но обоза, конвоя его и арьергарда все еще не видно. Сидят люди под открытым небом, терпеливо ожидая своих незатейливых походных хором, а снег все сыплет да сыплет.

Только спустя четыре часа подошел наконец и обоз с промокшими подстилочными кошмами, палатками и разными солдатскими вещами. Палатки мигом засерели на белом снежном фоне зимнего ландшафта, и прозябшие солдаты стали было греть воду в манерках, но мокрый кизяк не горел; так и пришлось лечь, не согревшись чайком.

— Хотя бы водочки выдали! — ворчали солдаты, кутаясь в мокрые тулупы и лежа на сырой кошме под промокшими палатками; но водка почему-то выдана не была, а суп с совсем недозаваренным мясом поспел только к первому часу ночи, и, конечно, разоспавшиеся люди так его и не поели, и он был вылит из котлов завьючившейся с рассветом кухней.

Никогда еще так скоро не были стюкованы вещи и навьючены лошади, как на следующее утро; к тому же погода прояснилась, и сквозь серые клочки снежных облаков просвечивало голубое небо; удалось согреть и чайники. Каким вкусным показался на этот раз черствый сухарь с чаем, сильно папахивающим дымком, с каким наслаждением пили все его, начиная от командира и кончая последним керекешем.

Раздалась команда «В ружье», и отряд тронулся, круто поднимаясь на перевал Кизиль-Арт.

Тяжело дышится на высоте 14 000 футов, часто останавливаются солдаты, запыхавшись, захватывая полную грудью, как вытасенная из воды рыба, разреженный воздух. Круто поднимается узенькая тропа, заваленная камнями; справа обрыв, на дне кото-

¹ Терескен — колючий мягкий кустарник, с огромным корнем, растущий в изобилии на Памире, прекрасно горит как в сухом, так и сыром виде.

рого бежит речка Кок-сай, извиваясь между гранитными утесами. Перевал покрыт снегом, кругом не видно ни деревца, ни кусточка — все серо, пустынно и мрачно.

Часто попадают то с правой, то с левой стороны тропинки, трупы лошадей и верблюдов, многие из них уже совершенно истлевшие.

Вот двое солдат добираются уже до вышки, за ними карабкается еще небольшая кучка. Остановились и смотрят вверх.

— А што, братцы, вот и на небо сичас запрыгну, — шутит один из них. — Смотри, ребята! — И он с криком «ура!» бросается вперед, карабкаясь по снегу, и вмиг взбирается на вершину перевала. Но тут силы покидают его, и он в изнеможении, переводя дух, садится на снег.

— Ну и гора! Ну и горища, дьявол тя побери! — говорит другой, остановившись и тяжело дыша, глядит вверх на скрывающуюся в облаках всю вершину перевала, разражаясь при этом целым потоком крепких русских словечек, и, как будто облегчив себя этим, ползет далее, работая руками и ногами...

Вышка перевала значительно поднимается над окрестными вершинами, и чудный вид открывается перед глазами: с боков вершины гор угрюмо и мрачно стоят у подножия перевала, а спереди зияет крутой обрыв, в конце которого виднеется долина реки Маркан-су, и все, видя себя выше окружающих вершин, невольно испытывают одинаково радостное чувство оттого, что забрались так высоко, выше облаков, в которых еще вчера проходили. Задымились сигарки и трубки, и вчерашнего настроения как бы не бывало; все веселы, шутят, и кто-то было затянул песню, но, не встретив, однако, поддержки, оборвал ее и замолк.

— Ну что, отдохнули, братцы? — спрашивает подъехавший офицер.

— Еще бы маленько, ваше благородие, — как бы сговорившись, отвечают солдаты.

— Ну, садись!

И сам он слезает с лошади и садится на камень.

— Спасибо тебе, перевалушко, — шутит солдат, отдирая уцелевшие лоскутья подошв, — удружил ты нам сегодня, да и себя не забыл, ишь подметки да подборы себе на память оставил!

Все хохочут.

Спуск в долину реки Маркан-су довольно крут и извилист, но под гору идти не то, что в гору, а потому чуть не бегом спускаются солдаты, перегоняя один другого, и, перейдя вброд реку, идут по глубокому песку, вдоль по широкому ущелью, окаймленному невысокими, покрытыми снегом горами.

Тяжело было идти после трудного перевала по рыхлой, песчаной дороге, а тут еще высота 12 000 футов сильно отзывалась на непривыкших к разреженному воздуху людях. Встречный ветер, несущий целые облака пыли, также сильно препятствовал движе-

нию отряда, так что люди и лошади, тяжело дыша, еле тащили ноги. По пути поминутно попадались отдыхавшие солдаты, грустно сидевшие, без обычной болтовни, протирая от пыли глаза и уши. Воды не было — река осталась позади.

Вот один тщедушный, выбившийся из сил молоденький вольноопределяющийся захватился за болтающийся конец вьючной веревки и машинально переступает ногами, буксируемый лошадью, и не замечает, как та, прижимая уши и скаля зубы, намеревается лягнуть его, чтобы отделаться от лишнего груза; но вьюк не дает ей привести в исполнение свое намерение, и животное в бессильной злобе покоряется своей участи.

— А что, земляк, устал? — раздается сочувственный голос казака. — Садись ко мне! — И он сдвигается на круп лошади и сажает юношу в седло.

Вообще казаки во время Памирского похода с жалостью относились к пехоте, на долю которой доставалось более тягости, чем другим родам оружия. Казаки, бывало, то и дело сажают на свою лошадь измученного линейца, а сами идут пешком, солдатик же с блаженной улыбкой отдыхающего человека покачивается на спине казачьего мастачка.

Еще одно замечательное свойство оренбуржцев: во все время похода они никогда ни в чем не нуждались. Какими-то способами они доставали себе всегда все необходимое, тогда как пехота изнывала от жажды и голода.

Идет казачья сотня, а между лошаадьми, семеня ногами, бежит баран, привязанный за шею чумбуром, а иной раз и целая корова.

— Откуда, такие вы, сякие дети, набрали скота? — кричит офицер.

— Пристал по дороге сам, ваше благородие! — отвечают казаки, и офицер, удовлетворенный пояснением, успокаивается.

Однажды мне пришлось быть свидетелем такой сценки. Едет керекеш, апатично сидя на своем вьючке, и целая вереница завьюченных белыми сухарями¹ лошадей следует за ним, связанная в одну линию хвост с поводом. Сидит керекеш и поет песню, а казак, живо смекнув, что, мол, время терять нечего, соскочил с мастака, вынул шашку да и ткнул ею снизу в один из капов. Сухари один за другим посыпались на землю, а казак, подбирая их, складывал в торбу. Когда торба была наполнена, он привязал ее к седлу и крикнул по-киргизски керекешу:

— Ей, уртак (земляк), ты так все сухари растеряешь! — И при этом указал на валявшиеся лепешки.

Соскочил киргиз, увидел дыру в мешке, покачал головою и давай ее завязывать, а казака благодарит и сует ему в награду два сухаря, приговаривая:

¹ То есть сартовскими лепешками, заготовленными для подрядчика и его прислуги, так как туземцы русских сухарей не едят.

— Казак якши, казаку силаю (награду) бирьяман (даю).

— Якши, якши, — поддакивает казак, пряча за пазуху сухари, и похлопывает по плечу керекеша. Другой раз случай был еще характернее. Это было около бивуака, когда отряд проходил мимо юрт отрядного подрядчика. Около одной из них киргиз возился над приготовлением плова (это было в то самое время, когда солдаты ужасно голодали, а подрядчик неимоверно наживался). Уже закрыл киргиз крышкой котел и огонь выгреб — поспел, значит. Проезжает мимо оренбуржец.

— Ей, уртак, айран барма?¹ — кричит казак киргизу.

— Хазыр, хазыр, таксыр², — отвечает киргиз и уходит в юрту. А казак скок с лошади да к котлу. Снял крышку и вывалил весь плов, часть в фуражку, а часть в манерку, закрыл снова пустой котел крышкой, сел на коня, да и был таков. Все это было сделано с поразительною быстротою и ловкостью.

Выходит киргиз с чашкою, наполненною айраном, и, не видя казака, угощает подошедших пехотных солдат.

— Айран якши?³ — скаля свои жемчужные зубы, спрашивает он линейца.

— Якши, якши! — хлопая по плечу киргиза, отвечает солдат и продолжает свой путь, а киргиз идет к котлу посмотреть на приготовленное кушанье, осторожно снимает крышку и замирает с нею в руках...

А между тем на бивуаке целый кружок солдат и казаков сидят на земле, едят да похваливают «сартовскую палаву». И сколько таких случаев можно было наблюдать над казаками за поход и зимовку на Памирах.

По этому поводу я однажды имел разговор с одним есаулом и критиковал поведение оренбуржцев, удивляясь, что казацьи офицеры легко относятся к нижним чинам за их проделки.

— А знаете, что я на это вам скажу, — объяснил есаул, — что я, например, никогда не вздую казака, если он украдет, да не попадется. С таким, который только одними казенными харчами довольствуется, пропадешь в походе. Возьмите-ка да посмотрите на нашу службу — гоняют, гоняют, отдыха на дают, интендантство фуража не доставляет, а подлец подрядчик только о барыше думает; ведь сами знаете, как ваш солдат голодает, а коли стянет что-нибудь, так у вас его сейчас — под суд, а у нас немного проще: украл да попался — нагайкой отхлещем, а не попался — твое счастье. Вот наемни, когда мы на рекогносцировку ходили, ведь трое суток сломя голову шли, корма подножного — хоть бы травинка, и ячменя интендант, чтоб ему пусто было, видите ли, опоздал доставить. Я для своего коня запас ячменя берег в курджумахе, как золото, и в палатке вместо подушки под голову клал.

¹ Земляк, есть ли кислое молоко с водой (питье)?

² Сейчас, сейчас, барин.

³ Айран хорош?

Просыпаюсь это я, гляжу, а половины ячменя нет! Выкрали подлецы, из-под головы своего сотенного командира выкрали, а что поделать? Так у нас уж поставлено дело, что заставляют казака красть, — ничего не поделаешь.

И есаул был прав.

Еще верст шесть протянулся отряд ущельем, затем поворотил вправо, и вдруг перед нашими глазами открылась огромная равнина, окруженная кольцом совершенно белых, снеговых гор, среди которых блестело озеро Кара-куль, на южной стороне которого была назначена завтрашняя стоянка отряда.

— Ну, ребята, завтра мы, значит, на эфту самую Памиру зайдем! Сам слышал, как ротный господам сказывал! — сообщает солдат собравшейся кучке товарищей, и все довольны, что наконец добрались до Памира, но никто не думает о том, сколько ему еще предстоит впереди погулять по этой каменной, горной пустыне и натерпеться всяких невзгод.

6. СМЕРТЬ ТИЛЛИ-ДОБРОВОЛЬЦА. НОЧНАЯ РЕКОГНОСЦИРОВКА

Осмелюсь доложить!

— Что такое? — спросил я проснувшего голову в палатку унтер-офицера Белова.

— Тилля умирает, пожалуйста в лазарет, доктор просит!

Я вскочил и бегом пустился к лазаретной юрте. Я был дежурным по батальону, а потому меня и позвал доктор. Тилля был довольно замечательная личность. Он был простым сартом и когда-то служил у меня малайкой (лакеем), всегда отличался влечением ко всему русскому и даже охотно носил русский костюм. Это был рослый, здоровый сартенок, с сильной мускулатурой, весьма неглупый и расторопный. Когда был объявлен Памирский поход, ему во что бы то ни стало захотелось поступить солдатом в отправляющийся на Памиры отряд. Недолго думая, он явился к командиру батальона и изложил ему свою просьбу; но так как до сих пор ни один сарт в военную службу не принимался и законоположений на случай поступления узбеков добровольцами в русскую армию не было, то командир отказал Тилле в принятии его добровольцем. Однако сартенок не потерял энергии и явился с той же просьбой к начальнику отряда Ионову, который прямо ответил ему, что сартов в военную службу не принимают. Потерпев и здесь неудачу, Тилля отправился к губернаторскому дому и, дождавшись, когда командующий войсками выходил, чтобы сесть в коляску, подал генералу прошение и еще раз изложил лично свою просьбу. После этого через несколько дней состоялся приказ о зачислении Тилли рядовым во 2-й Туркестанский линейный батальон. Очень скоро усвоил молодой солдат все, что требуется от рядового, и выступил в поход уже совершенно готовым солдатом, ничем не уступавшим

старослужащим. Службу Тилля нес исправно, поручения исполнял точно и сразу попал на хороший счет у ротного командира.

Первое время, когда, бывало, он сильно уставал во время тяжелых переходов, солдаты посмеивались над ним.

— Что, сарт, ноги не идут! — говорили они.

— Ничего, пойдут! — отшучивался Тилля и догонял товарищей.

Только при подъеме на перевал Кизиль-Арт с ним случилось странное явление. До самой вышки он бодро шел, много шутил и дышал почти свободно, когда прочие солдаты задыхались.

— Ишт сарту духу хватает! — ворчали они.

Но только поднялся Тилля на перевал, как кровь хлынула у него из горла, он лишился чувств и с полчаса пролежал в бессознательном состоянии. Фельдшер кое-как помог несчастному добровольцу, и он, придя в себя, как ни в чем не бывало, отправился дальше, так что даже и в околоток не явился. Только вдруг, придя на южный берег озера Кара-куль, где все жаловались на сильное удушье благодаря высоте 13 000 футов, Тилля начал задыхаться, и с ним случился второй припадок, заставивший солдат внести его в лазарет.

Теперь он умирал. Когда я вошел в лазаретную юрту, то увидел перед собою полунагого человека. Я узнал сейчас же Тиллю, хотя он сильно изменился. Лицо его было сине-багрового цвета, глаза как-то странно вытаращены, изо рта текла пена, а руки были согнуты кулаками к груди. Он сильно хрипел и конвульсивно дрожал всем телом.

— Что с ним? — спросил я доктора.

— Сейчас будет готов, — сказал он мне, — доложите начальнику отряда — паралич легких. И чего было брать его в поход, жил бы себе в малайках, а тут вот... — покачал он головою.

— Высоты не вынес? — спросил я.

— Да, конечно, шутка ли такие переходы, на 14 000 футах, погодите, это еще цветочки, — указал он на умирающего, — ягодки еще впереди, много будет таких...

Вдруг умирающий как-будто немного приподнялся и, издав страшный крик, как-то сильно захрипел и опрокинулся на подушку; руки его повисли, и одна спустилась на землю; он сразу осунулся и сделался каким-то особенно маленьким, как-будто провалился в кровать.

— Готов, — сказал доктор, взяв руку несчастного охотника, и прибавил, обращаясь ко мне: — Идите докладывайте.

Я вышел из юрты и направился к дежурному по отряду.

Похоронили мы Тиллю с воинскими почестями. Мулла из ближайшего аула отчитал умершего; над могилой его киргизы поставили памятник, сложенный из камней, и завалили его архарьями рогами.

«Да, едва вошел отряд в область Памира, а жертва уже есть», — подумал я, направляясь после похорон Тилли в свою палатку, а

с бивуака доносилась солдатская песня; и где-то гремела гармоника, неизбежная спутница русского воина. Иной раз каждая пуговица кажется тяжелее чугуновой гири, и солдат со злобой срывает ее прочь, а гармоника неизменно треплется за его спину, и лишь только придет измученный солдат на бивуак, поставит палатку и не успеет еще отдохнуть, а уж гармоника заливаается, наигрывая неизбежную «Матаню».

Кара-куль лежит на высоте 13 000 футов; это большое озеро с горько-соленою водою и мертвыми солонцеватыми берегами, окаймлено кольцом снеговых гор. Среди озера, ближе к северным берегам его, тянется довольно большой, скалистый остров, с такою же мертвою природою, как и берега самого озера. Мне захотелось обратиться на этот остров, тем более что местные киргизы уверяли, что еще ни один европеец не проникал туда.

Приказав сложить парусинную лодку, я взял двух рядовых охотничьей команды, и мы поплыли по озеру.

Воды его, казалось, впервые носили на поверхности своей судно и словно сердито морщились, уступая человеческой силе. На зеркальных водах озера плавало множество водяной птицы, которая близко подплывала к лодке, с удивлением поглядывая на нас. Стайка гусей подплыла почти на восемь шагов, и я, схватив ружье, приложился и выстрелил. Гром выстрела глухо пронесся над водою и замер, подхваченный эхом в ущельях окружающих гор. Один гусь был убит, и тело его мерно колыхалось на поверхности озера; прочие, поднявшись, отлетели немного в сторону и спустились на воду. Настреляв множество дичи, мы пристали к острову, и я принялся за съемку его. Это был голый, скалистый остров, сплошь усеянный утиными гнездами, в которых находились еще неоперившиеся птенчики. Нанеся остров на планшет, я с богатой добычей вернулся в отряд, где вечером все с аппетитом ели вкусную, жареную птицу.

Позднее, в 1894 году, шведский путешественник Свен-Хедин пробрался на этот остров по льду зимою и произвел его промеры.

По берегам озера в обильном количестве растет небольшими кусточками терескен. Это растение представляет собою великолепное и единственное топливо в Памире, оно одинаково хорошо горит как в сыром, так и в сухом виде, а также иногда, за неимением подножного корма, служило пищею для отрядных лошадей. Терескен представляет собою небольшой колючий кустик с зелено-оранжевыми мясистыми листочками, имеющими большое сходство с листьями барбариса, и с толстым, коротким корневищем, неглубоко сидящим в рыхлой, солонцеватой почве. На Памирах его такое множество, что некоторые долины на протяжении многих десятков верст сплошь покрыты этим растением, без которого жутко пришлось бы отряду среди снегов и буранов Памира.

— Господа, — сказал нам за ужином П., — доставайте-ка на завтрашний день потеплее одежду, на такое местечко придем, просто беда!

— А в чем дело? — спросил я.

— Да на Муз-куль, где Бржезицкий китайцев порол; там ужасные морозы.

И действительно, капитан был прав. Лишь только мы спустились в долину ледяного озера, как на нас повеял холодный ветер, и вскоре мороз защипал нос и уши. Дневка была необходима, так как впереди предстоял перевал Ак-Байтал в 15 700 футов, но на Муз-куле оставаться было невыносимо. Июньская зима давала себя чувствовать, мороз становился все сильнее, а ветер усиливался до того, что отряд, несмотря на сорокапятыверстный переход, отодвинулся еще на 10 верст и стал бивуаком под перевалом на берегу речки Чон-су. Тут с памирским отрядом случилась большая неприятность: он потерял много лошадей, которые моментально издыхали без видимой тому причины.

Мы просто недоумевали, отчего появилась такая смертность на лошадей. Дошли преимущественно сартовские и русские лошади, киргизские же мастачки оставались невредимыми.

Совершенно случайно вопрос этот разрешился. Проезжал мимо отряда киргиз из ближайшей кочевки и, увидя дохлых лошадей, сказал керекешам, в чем дело. Оказалось, что под перевалом Ак-Тайтал растет трава ат-улды (то есть лошадиная смерть); достаточно, чтобы лошадь съела самое небольшое ее количество, как она моментально околеет, между тем киргизская лошадь никогда не будет есть этой травы. Киргиз указал еще несколько таких же, губельных для лошадей, мест, лежавших на пути следования отряда, и там отрядные лошади не пускались на подножный корм, а кормились ячменем из запасов, заготовленных интендантством.

Перевал Ак-Байтал (15 700 ф.) доставил немало затруднений отряду. Подъем его со стороны Муз-куля чрезвычайно крут, хотя и не очень продолжителен, затем переходит в небольшой отлогий спуск по гребню и, образуя седловину, сразу опять поднимается на 2000 футов, а с этого места начинается крутой и неудобный спуск к реке Ак-Байтал. Здесь особенно давал себя чувствовать разреженный воздух, и только некоторая привычка, уже приобретенная людьми, способствовала отряду к более или менее успешному преодолению этой заоблачной преграды, но зато тяжело навьюченные верблюды и лошади сильно страдали, ежеминутно развьючивались и падали. Солдаты положительно изнемогали от ежеминутной вьючки. Они в полном бессилии садились на камни, ноги отказывались служить им, а по черным, обветренным лицам катились целые ручьи пота, несмотря на страшный холод, царивший над перевалом.

— Сам еле ноги тащишь, а тут еще и лошади подсобляй! — ворчали они.

Спуск с перевала был значительно легче, и отряд потянулся вдоль реки Ак-Байтал, которую и перешел вброд около Рабата № 1.

— Да как же это мы, братцы, в темноте переправляться-то будем? — спрашивали друг друга солдаты, подойдя к реке уже в совершенную темноту. — Ведь недавно еще керекеш утонул...

— А вот так и будешь, — ответил фельдфебель, — скинешь сапоги и пойдешь.

И пошли солдатики, только многим из них пришлось принять холодную ванну, окунувшись несколько раз с головою в быстрые воды Ак-Байтала. Много вещей утонуло при переправе через эту реку, и, что всего ужаснее, была потоплена отрядная соль, захваченная в Бор-да-ба, которая уже купалась раньше, а теперь, пока доставали ее, успела почти вся раствориться в воде.

— Посолили мы реку немного казенною солью! Солоно ей досталось, а все не так, как нам пришелся Ак-Байтал! Эх-ма! — острили солдаты.

Однако не прошла даром эта ночная переправа; число больных увеличилось, и уже некоторые были на краю могилы, у многих шла горлом кровь, и, кроме того, в отряде открылся тиф, а один канонир конногорной батареи умирал от воспаления брюшины. Наконец, 27 июня, отряд двинулся к реке Мургабу (верховье Аму-Дарьи) и стал бивуаком недалеко от кладбища Кара-гул, около слияния рек Ак-Байтала и Ак-су с Мургабом.

«Ну, слава Богу, отдохнем наконец», — думал каждый, напившись чайку и отдыхая в своей палатке.

— Долго здесь простоим? — спросил я, зайдя в палатку штаб-ротмистра Ш., исполнявшего должность адъютанта у начальника отряда.

— Да с недельку, наверное, — сказал он, — кроме того, получено предписание до особого распоряжения не переходить на правый берег реки Мургаба.

Я был очень обрадован этим известием; двадцатипятидневный почти непрерывный горный поход ужасно утомил меня, и я чувствовал, что не выдержу дальнейшего движения без основательного отдыха.

Ну и поели же рыбы¹ солдаты за стоянку свою на реке Мургаб. Ее ловили пудами попросту палатками, так что весь отряд питался ею до тех пор, пока она не опротивела. А тут еще из города Оша прибыл маркитант и раскинул свой гостеприимный шатер на берегу Мургаба, снабжая нас всевозможными винами и яствами за неслыханную цену. Да и немислимо было иначе. Половина товара его или утонула, или разбилась во время ужасной дороги;

¹ Рыба «осман» очень вкусна, но костлява; напоминает форель.

пришлось наверстывать убытки, и все, несмотря на высокие цены, охотно покупали у него продукты и были довольны. Каждый день музыка по вечерам играла в лагере, солдаты собирались, пели и плясали; оживление было полное.

— Вы не спите? — отвращивая полотнище моей палатки, спросил меня, вползая на корточках, мой приятель Баранов.

— Нет, как видите, а что?

— Да вот, мы собираемся прогулочку совершить небольшую в соседний аул, добыть хорошего молока — будем варить какао, и пельмени к тому же заказаны, так вот, не пойдете ли и вы?

Хотя я лежал и очень уютно обложил себя со всех сторон кошмою, чтобы ветром не поддувало, однако перспектива прогулки была очень заманчивою — мы отправились.

Без шашек, без револьверов, с одними чайниками пошли мы в аул. Было за полдень, солнце ярко светило, приятно пригревая нам спины. Вдали маленькими серенькими грибочками виднелись юрты. Мы прямо направились на них. Каково же было наше изумление, когда мы вместо аула увидели кладбище Кара-Гур с четырехугольными памятниками, увенчанными коническими крышами, которые мы и приняли за юрты.

Досада была ужасная, проводника не было, пришлось возвращаться обратно.

— Господа, — вдруг позвал нас поручик А., — посмотрите, что это?

Мы все стали вглядываться. На небольшом пригорке, саженях в двухстах от нас, виднелась группа всадников, в бинокль нетрудно было разглядеть их поподробнее. Двое были в красных мундирах, с белыми шляпами на голове, каковые носят обыкновенно англичане; остальные походили не то на киргизов, не то на афганцев, только трудно было разглядеть их, так как они очень скоро скрылись. Двое же наблюдали за ними в бинокль.

— Ей-богу, англичане, — сказал А—нов, — господа, идите скорее в лагерь, необходимо выслать разъезды. Какая досада, что мы были пешими.

— А что, если они сейчас атакуют нас — ловко ведь будет? — спросил один из компании. — Ведь мы без оружия.

— А манерки да чайники? Будем отбиваться ими.

— Неужели вы думаете, — заметил я, — что если это англичане, то они могут допустить подобную халатность с нашей стороны? Ведь это действительно глупо, во время похода, в военное время, не зная, где противник, гулять за бивуачной линией даже без шашек — это, вероятно, мы первые только практикуем и не без риска посидеть на колу или быть прирезанными, как собака. Ну, господа, идем. — И мы, стараясь не оглядываться, направились к бивуаку.

Солнце садилось, когда мы подошли к постам. А—нов направился к начальнику отряда докладывать о случившемся, а мы поспешили приготовиться к рекогносцировке.

Начальник отряда пожурил нас за подобное халатное отношение к оружию и приказал немедленно выслать казаков, поручив произвести тщательное исследование, кто это были виденные нами люди. Начальником разезда был назначен А—нов, а я отправился в числе прочих пожелавших участвовать в рекогносцировке. Уже совершенно стемнело, когда мы в сопровождении проводника въехали в довольно узкое ущелье, миновав кладбище, с которого были видны незнакомцы. С левой стороны шумела река Мургаб, а справа черною массою стояли молчаливые великаны.

— Господа, — сказал, обращаясь к нам, А—нов, придавая своему голосу особенную важность и сильно понизив его. — Мы разделимся. Вы, — обратился он ко мне, — с пятью казаками поедете по берегу самой реки, а мы поднимемся сюда, — указал он наверх, — и будем стараться съехаться с вами у реки. Будьте осмотрительны, вот именно здесь, на этом месте, стояли виденные нами люди. С Богом!

Я в сопровождении казаков спустился к реке. Путь был очень неудобный, местами приходилось прямо спускаться в реку и рисковать быть унесенным вместе с лошадей. Темнота была полная — ни зги не видать. То и дело лошадь проваливалась в какую-нибудь яму или попадала в топкое место. Наконец из-за хребта гор стал выплывать красновато-желтый диск месяца, его свет, играя на воде затейливыми змейками, осветил все ущелье, стало сразу светло, как это бывает только в горах, и мы прибавили шагу.

— Смотри! Смотри! — услышал я за собою голос казака.

— Да где? — спрашивал другой.

— Что увидели? — беспокойно спросил я.

— Люди, конные, — отвечал казак. Я вгляделся в темноту и действительно рассмотрел силуэты всадников. Мы на минуту остановились, сердце мое билось.

— Заряди винтовки, — сказал я и взял револьвер в руку. — Вперед!

Мы тронулись рысью. Всадники шарахнулись в сторону и поскакали, мы бросились за ними. Стрелять я не приказал. В одно мгновение мои казаки оцепили скакавших. Держа револьвер наготове, я подъехал к ним и расхохотался. Передо мною с искаженными от страха лицами стояли два киргиза, сошедшие с лошадей, и, почтительно сложивши руки на животе, ожидали своей участи.

Конечно, я сейчас же учинил им допрос: откуда они и зачем были здесь? Сначала киргизы запирались, говорили разные глупости, затем же сознались, что были проводниками у афганцев, которые сегодня покинули их аул.

— А далеко ваш аул отсюда?

— Нет, недалеко, — отвечали киргизы, — даже и собак слышно. Действительно, слышался отдаленный лай. В это время к нам подъехала другая часть нашей партии, и мы вместе направились

в сопровождении пойманных киргизов в аул. Страшным собачьим лаем приветствовали нас несколько злейших псов, бросившихся на наших лошадей.

— Кит, кит¹, — разгоняли киргизы собак, как бы боясь, что им достанется за подобную дерзость их степных сторожей.

В довольно большой юрте мы уселись вокруг горевшего костра, пока гостеприимный хозяин согрел нам кунган с чаем. Голод мы испытывали ужасный, но есть было нечего. Страшная беднота царила в ауле — не было даже лепешек, и только несколько кусков верблюжьего сыру было предложено нам аульным старшиною, но мы до него и не дотронулись; однако казаки поживились-таки и здесь, казалось бы, уж тут-то нечем было поживиться — нет, они и здесь нашли, что можно стянуть. На крышах юрт лежало множество комков величиною с яйцо творогу из бараньего молока — это так называемый крут (бараний сыр), который киргизы едят зимою, предварительно насушив его за лето. Так казаки, проезжая мимо юрт, совали крут во все карманы.

Расплатившись с хозяином, мы поехали к бивуаку.

— Ты что там ешь? — спросил А—нов оренбуржца.

— Крут, ваше благородие.

— Откуда ты его достал?

— Да нешто мало его по кибиткам на крышах валяется.

«Валяется», — подумал я, и мне стало противно — это все равно что у нищего суму украсть.

— Вот я тебе поваяюсь, — сказал А—нов, и действительно наказал казака как следует. Прибыв домой, если можно так назвать наши палатки, мы ничего не нашли — какао было выпито, а от пельменей и следа не осталось; погрызли сухарь и успокоились.

Между тем с Яшиль-куля приходили все более и более тревожные слухи. Каждый день к начальнику отряда являлись аличурские кочевники и жаловались ему на насилие афганцев, которые, притесняя киргизов, выдвигали свои посты далеко за нашу границу. Но и на китайской границе было также беспокойно. Китайцы, узнав о нашем появлении на Памирах, выслали с восточной части Памира несколько лянз² во главе с Джан-даринном и построили крепость Ак-Таш, грозя отряду, стоявшему на реке Мургабе, в случае отделения его части на Яшиль-куль внезапным нападением.

Ввиду этих обстоятельств полковник Ионов решил предпринять две рекогносцировки в глубь Памиров — одну под своим личным начальством произвести на озеро Яшиль-куль в сторону афганцев, а другую, под командой капитана Скерского, через Ак-Таш и Большой Памир на то же озеро, где оба отряда и должны были соединиться. 4 июля выступил рекогносцировочный отряд Скер-

¹ Прочь, прочь.

² Лянза — эскадрон.

ского, а 7 — третья рота 2-го Туркестанского линейного батальона, саперная команда, вторая сотня оренбуржцев и взвод конногорной батареи под командой самого начальника отряда двинулись к переправе Шаджан. Остающиеся роты с музыкальной провожали отряд верст за десять вверх по реке Мургабу и около переправы, написавшись чайку, простились с уходящими товарищами, а кругом гранитные великаны с снежными вершинами мрачно смотрели на небольшую серую кучку людей, дерзавших так смело бороться с их суровой, грозною природою.

7. УЖАСНЫЙ ПЕРЕХОД. МЕСТНАЯ ЛЕГЕНДА. СТЫЧКА С АФГАНЦАМИ

Афганца поймали, — сообщил мне на другой день после переправы поручик Баранов, разбудив меня в 5 часов утра.

Я вскочил как ужаленный, так как мне послышалось: «Афганцы идут».

Поняв, в чем дело, я побежал к кружку солдат, обступивших человека в красном мундире, около которого с победоносным видом стоял киргиз. Афганец был еще молодой человек, с правильными, красивыми чертами лица. Он дико смотрел исподлобья на столпившихся солдат и, видимо, еще не вышел из состояния неожиданности, попав врасплох в наш лагерь.

— Где его взяли? — спросил я у киргиза.

Тот только этого и ждал, потому что начал, как трещотка, передавать мне подробности поимки афганца.

— Ехал я, таксыр, по ущелью, — говорил киргиз, — гляжу, а передо мной, точно из земли вырос, афганец. Испугался я ужасно, да вдруг вспомнил, что русские солдаты близко. «Кайда урус?»¹ — спрашивает меня афганец. Ладно, думаю, скажу я тебе, где русские. «Ничего я не слыхал об урусак», — говорю я афганцу. «Ну, так проводи меня в ближайший аул», — говорит он. «С удовольствием», — говорю я, а сам и думаю: как же, сведу я тебя, собаку, в аул! Уже начинало светать, когда мы подъехали к казачьим шатрам. «Нема бу?» (что это такое?) — испуганно спрашивает меня афганец. «Урусляр (русские)», — говорю я ему, а сам посмеиваюсь в душе, как ловко провел я афганца. Оторопел он, да и хотел скакать обратно, но было уже поздно: двое казаков держали под уздцы его лошадь, и разведчик был стащен на землю. Киргиз кончил и протянул мне свою руку. «Дай, тюра, силаю-ман байгуш сан тюра»², — сказал он. Я положил на его ладонь монету, и он, скорчив гримасу от удовольствия, стал кланяться, приговаривая: кулдук, кулдук, таксыр³.

¹ Где русские?

² Дай, барин, на чай, я бедняк, а ты барин.

³ Спасибо, спасибо, ваше благородие.

Афганца повели в юрту начальника штаба, куда направился и я. Допрос пленного производился через переводчика.

— Откуда ты? — спросил полковник Верещагин.

— С Аличурского поста, — ответил афганец.

— А много вас там?

— Больше, чем вас, — соврал афганец.

— Да ты говори правду, — рассердился на такой ответ полковник.

— Афганцы не врут! — обиженно ответил пленный.

— Не известно ли тебе, почему афганцы поставили свой пост на Аличуре?

— Ничего мне не известно, я простой солдат и послан разузнать, где русские, и если бы не проклятый киргиз, то я бы не попался вам в руки.

Афганец держал себя непринужденно, говорил заносчиво и, видимо, был ужасно раздосадован, что так глупо попался в ловушку.

— Ты пехотный или кавалерист? — спросил я афганца.

— Рисоля¹ — ответил он.

И действительно, отобранное у него оружие состояло из кривой шашки и кавалерийского карабина системы Пибоди—Мартини.

Более ничего обстоятельного не сообщил пойманный, и его показания шли совершенно вразрез с донесениями киргизов, которые уверяли, что на Аличурском посту под командой афганского капитана Гулям-Айдар-хана находится небольшое число афганцев, которые ожидают свежих сил, но что подкрепление еще не подошло да и вряд ли подойдет к двадцатым числам июля, тогда как мы должны были быть на Яшиль-куле двенадцатого.

Тем не менее, соблюдая все меры предосторожности, мы двинулись далее и, переночевав в урочище Комар-Утек, с рассветом двинулись к камню Чатыр-Таш.

— Запасись водой, ребята, — приказал ротный командир, — переход будет тяжелый.

Дорога тянулась широкою долиною, окаймленною довольно высокими горами, и поднималась террасами в гору. Встречный ветер крутил целые облака мельчайшего песку, что являлось одним из самых значительных препятствий для движения пехоты. К полудню ветер усилился, и идти положительно стало невозможно. Песок засорял глаза, трещал на зубах, набирался в нос и уши, которые так заложило, что невозможно было слышать собственных слов. Пять часов шли уже солдаты; вода была давно выпита, а по пути не попадалось ни одного ручейка. Сделали привал, но что за отдых для солдата без освежающей водицы, когда ему нет возможности ни умыть воспаленного лица, ни утолить жажды. У многих болела голова, а во рту засох язык. Появилось много

¹ Рисоля — кавалерист.

отсталых. На каждом шагу попадались то сидящие, то лежащие люди. Уж на что был здоровенный охотник Шаронов, который, казалось, и устали не знал, и тот теперь шел, понурая голову, как-то тыкая в землю ногами. Сильные ноги его не слушались, гнулись в коленях, а воспаленные глаза были апатично устремлены вдаль, где лишь виднелись облака желтой пыли, поднимаемой неугомонным ветром. На душе у него было так же безотраднo, как и кругом. Теперь, когда силы покидали его, когда жажда неистово томила внутренности, а в голове как будто стучали железным молотом, он вдруг, под впечатлением переносимых лишений, решил, что он лишний на этом свете. Вспомнилось ему на мгновение его былое житье в деревне, его женитьба на красавице, славившейся на всю округу, но воспоминание это, отраднoю искоркою мелькнувшее в его воспаленном мозгу, быстро пронеслось мимо, оттесненное целым рядом тяжелых событий прошлого. Припомнилась ему рекрутчина, побои, взятки дядек. Наконец, длинное путешествие в Туркестан, тоска по родине и тяжелая служба молодого солдата. Почему-то вдруг с особеннoю яркoстью вспомнил он, как однажды дежурный по батальону дал ему пощечину за то, что, оставаясь за дежурного по роте, он не отпрапoтовал ему вовремя. Слезы навернулись у солдата на глазах. «А ведь зря тогда саданул он меня, — подумал он, — я тогда и устава не знал — не обучался». Припомнилось ему, как пришла к нему с партией и жена. Скромная бабенка была. Бывало, из дому не выгонишь, все время в работе, да избаловалась она, как и все солдатки в Туркестанском крае. Долго не подмечал он за нею ничего такого, да вдруг и застал ее с дружкой за «бутылкой сладкой водочки». Ох, как вскипело тогда его сердце! Оттаскал он жену за косы и избил до полусмерти разлучника. Началось следствие, и посадили солдата на гауптвахту. А жене только того и нужно было. Стала его жизнь с тех пор каторгой. В батальоне солдаты издеваются, что, мол, «жену просмотрел», а домой лучше не ходи — срам один. Он и ротному жаловался на свою бабу, и бил ее — ничего не помогало; хотел уж было руки на себя наложить, да каким-то чудом Бог его спас — одумался. Грустил, грустил он да и запил, плюнул на все. Идет он, а сам думает, за что на его долю выпала такая тяжелая жизнь. Давно не было так тяжело на душе у Шаронова, давно не лежало таким тяжелым камнем на сердце его горе. «Уж лучше бы околеть в горах, — подумал он. — Что за жисть! На службе тягота одна, а домой придешь, там — жена потаскуха, больше ничего». Он остановился и глубоко вздохнул, в глазах его запрыгали кровавые круги, горы как-то странно перекосились, и он опустился на землю. Винтовка выпала из рук его и, щелкнув о камень стволом, упала на землю. «На стволе, должно, забоина будет, — мелькнуло в голове солдата, — ну да черт с ним, все равно, с мертвого не взыщешь...» Кака-я-то нега разлилась по всем его членам, и ему хотелось бесконечно лежать

тут среди этой дикой долины, далеко от людей и грустной действительности. Он слышал, как мимо него проходили люди, и их тяжелые шаги нарушали полный покой, царивший в его душе. «Вот, вот поднимут», — тревожно думал он, когда раздавались приближающиеся шаги. Но шаги стихали, и он успокаивался. Мало-помалу мысли путались в его голове, какая-то истома овладела им, и он больше ни о чем не думал...

Вдруг он вздрогнул, кто-то толкнул его. Он открыл глаза и поднял голову. Над ним стоял начальник арьергарда. Добродушные глаза поручика Гермута¹ с участием смотрели на лежащего солдата.

— Встань, братец, до бивуака недалеко, — сказал он.

Шаронов хотел подняться, но сильная боль в голове, пояснице и ногах заставила его громко застонать.

— Ой, ваше благородие, не могу, всего разломило! — проговорил он.

— Ну, прибодрись, прибодрись, я тебе помогу, — говорит офицер и помогает солдату подняться на ноги.

— Садись на лошадь, а винтовку надень за спину, — говорит он ему, как маленькому ребенку, которого учит нянька, как нужно надеть шляпу.

Шаронов покорно садится на офицерскую лошадь и благодарно смотрит на идущего пешком офицера.

«Ишь какой господин-то наш! — думает Шаронов. — Вот кабы таких было побольше, и служба другая бы пошла».

Теперь на каждом шагу стали попадаться то сидящие, то лежащие, изнеможенные солдаты, ожидающие арьергарда, к которому присоединяются и идут кое-как дальше. Не оставаться же одному среди мертвой долины, обрекая себя на голодную смерть или на пищу шакалам, все время следившим за отрядом. А поручик Гермут на место отдохнувшего солдата сажает другого и продолжает это до тех пор, пока сам не устанет. И часто повторяются подобные сцены во время этого тяжелого, безводного пути. Да и немудрено, идя в гору, при высоте 13 000 футов, утомиться, отдохнув лишь двадцать минут в течение двенадцатичасовой ходьбы. Уже солнце спряталось за снежные вершины — шесть часов, а бивуака все еще не видно.

— Где же камень? Кто знает из прошлых годов? — спрашивает офицер.

— А вот за эфтой горкой, ваше благородие, — указывая на небольшую возвышенность, говорит один из охотников, бывший здесь во время прошлогодней рекогносцировки. — Как, значит, этого, выйдем наверх, так и бивак увидим, если дальше не ушли, —

¹ Гермут при постройке в 1893 году военной дороги через Алайский хребет был взорван на воздух и тяжело ранен в голову и лицо.

добавляет он, упирая на последнее слово, как бы боясь, чтобы и в самом деле «дальше не ушли».

— Ну, ребята, подбодрись! Скоро отдохнем, — говорит офицер, — уж теперь недалеко. — Но он и сам не верит своим словам. «Уж не сбились ли с пути?» — думает он.

Длинною вереницей, еле волоча ноги, подобрались наконец солдаты на вершину небольшой горы, и радостный крик «бивак!» вырывается из уст каждого. Один за другим подходят солдаты на вершину и, положив возле себя ружья и амуницию, смотрят на большой четырехугольный камень, лежащий среди громадной равнины, под которым блистают огоньки костров и белеют освещенные вечерним закатом палатки прибывших туда казаков.

— И откуда такая «галя» взялась, братцы? — удивляется солдат.

— Откуда взялась, оттуда и есть! — сурово отвечает старый охотник, бывалый уже в этих местах и считающий за нелепость задумываться над такими пустяками.

Офицер скачет назад и кричит отсталым, что уже виден бивуак. Все как бы перерождаются от этого магического слова. Новая сила как будто вливается в их утомленные существа, и они нетвердым шагом подходят к отдыхающим на вершине товарищам. Отдохнув минут с пятнадцать, добрались измученные солдаты наконец и до желанного бивуака, пройдя вместо 45 верст добрых 60.

Камень Чатыр-Таш представляет собою довольно странное явление среди памирской природы. Он совершенно отдельно лежит среди огромной котловины, за несколько десятков верст от окружающих гор, и кажется свалившимся с неба. Недалеко от камня стоит очень интересное строение, представляющее собою надгробный памятник над могилой знатного туземца. Заинтересовавшись памятником, я пошел осмотреть его. Это строение имело вид часовни и состояло из четырехугольного корпуса с конической куполообразною крышей. С передней части устроен вход в виде небольшой пристройки со стрельчатой дверью. Внутренняя часть здания довольно обширна и освещена отверстиями, проделанными в куполе, а также окном с правой стороны. Когда я вошел в здание и очутился среди довольно обширного четырехугольного пространства, вдруг кто-то сзади подошел ко мне. Я оглянулся и вздрогнул. Предо мною стоял высокий, худой как смерть старик с длинною седою бороδοю.

— А, таксыр, тюра, саломат!¹ — проговорил он, улыбаясь своим беззубым ртом, и только после этого приветствия я понял, что имею дело с живым человеком, до того он напоминал выходца с того света.

— Кто ты? — спросил я его.

— Киргиз! — ответил старик.

¹ А, господин, здравствуй!

— А как тебя зовут?

— Хайдор-бий, у меня недалеко отсюда кочевки.

— Давно ты здесь живешь?

— О давно, таксыр, еще мой прадед родился на Памире.

— А не знаешь ли, чья эта могила? — спросил я.

— Нет, таксыр, не знаю, а только мой дед еще рассказывал, что это самая старая могила на Памире и похоронен в ней святой человек.

Говорившему со мною старику было лет 80, а потому я невольно подивился долговечности памятника, сооруженного из простой белой глины. При подобной прочности, если ее возможно достигнуть нам, русским, подумал я, такие строения, сохраняющиеся так долго в полной исправности, несмотря на постоянные ветры и морозы, господствующие на Памире, можно бы смело утилизировать для военных надобностей, если не войск, которым стоять в этих местах не придется, то для станций военного телеграфа или же для помещения почтовых джигитов, которые в особенности обставлены в этом отношении очень скверно, тем более это было бы применимо, что способ постройки очень прост и был бы удобен за полным отсутствием в этих местах строевого леса.

Я вышел из строения; киргиз последовал за мною.

— Мана Чатыр-Таш!¹ — сказал он, указывая на возвышавшийся камень.

— Знаю, — отвечал я, — а откуда взялся он здесь, ведь не скатилась же с горы эта громада?

— Нет, тюра, это не простой камень, этот камень чувствует, как мы с тобой, и слышит все, что мы говорим, только не может он сам ни говорить, ни пошевелиться. Давно-давно лежит этот камень на этой равнине. Это было еще в те времена, когда люди жили в мире с Аллахом, когда Всевышний часто слетал с неба и беседовал с ними. В это время Памир был богатейшею странюю. Великолепные сады и луга покрывали все долины, много верблюдов и баранов паслось на траве, много зверей жило в горах, и птицы небесные пели свои песни. Да, тюра, так не поют теперь птицы, как пели оне тогда. В их песнях слышались рассказы о том, как великий Аллах создал мир и человека.

Мусульманский народ жил на Памире в то время и управлял им Яр-хан, который жил в великолепном дворце, сложенном из гранита и драгоценных камней. Не было еще на свете такого дворца. Крыша его была сделана из чистого золота, вместо стекол самоцветные камни, в тенистом саду журчали фонтаны, и в них, плескаясь холодною водой и наполняя воздух веселым смехом, купались прекрасные жены Яр-хана. Хорошо жилось памирскому народу, всего было вдосталь, ни в чем никто не нуждался! Однако народ, упоенный своим счастьем, забыл вскоре Аллаха; за это

¹ Вот Чатыр-Таш.

великий Вседержитель разгневался на него и решил уничтожить неблагоприятное племя.

В то время на пустынном озере Яшиль-куле¹, где семиглавый дракон свил себе гнездо в гранитных скалах, в одной из огромных пещер у Гур-тага, жил великан Худам. Это чудовище достигало голову до облаков и обладало неслыханною силой. Вот его-то Аллах и послал на неверных, и великан стал появляться на Аличуре в долинах Ак-су и Мургаба, производя неслыханные опустошения. В ужас пришло население, и с жаркою молитвою обратились памирцы к Аллаху, а Яр-хан, обливаясь слезами, молил Всевышнего пощадить народ его. Аллах услышал молитву хана, во время сна явился к нему и сказал: «Молитва твоя услышана. Я хочу спасти народ твой, но для этого ты должен исполнить волю мою: пусть единственный сын твой идет навстречу великану, я буду помощником юноше, и он сломит силу чудовища».

Видение исчезло, а Яр-хан в страхе проснулся.

Но усомнился неверный хан, пожалел он сына и, призвав своего визиря Риза-Казия, сказал: «Сегодня ночью мне явился великий Аллах, сжалился Вседержитель над народом своим и научил меня, как освободить нашу страну от нападений чудовища. Пойди ты домой и скажи своему сыну Изгару, чтобы он, набравши самых смелых воинов, шел навстречу великану. Аллах поможет ему, и мы навсегда избавимся от великого горя».

Поверил Риза-Казий словам своего повелителя и, поклонившись ему, немедленно отправился исполнить его волю. Не теряя времени, смелый юноша собрал воинов, и те, руководимые им, наточив клынчи² и копья, пошли против Худам.

Однако Аллах в неверии Яр-хана увидел, что далеко не исправился повелитель Памира, и, жестоко разгневанный непослушанием его, решил истребить неисправимое племя. Увидя великана, отдохавшего на берегу озера, он сказал ему: «Ты пойдешь и разоришь дворец Яр-хана, уничтожишь город неверных и сокрушишь все, не щадя ни детей, ни жен, ни самого хана. Только дома Риза-Казия и его семейства за то, что они с верою отнеслись к моему повелению, ты не коснешься, иначе жестоко поплатишься за каждую каплю их крови». И вот, сокрушая все на пути своем, убивая жителей, ломая сакли и вырывая с корнями деревья, пошел Худам на Памирское ханство. Яр-хан молился в мечети, умоляя Аллаха пощадить его, а народ окружил дворец и требовал головы своего повелителя, считая его причиной всех бедствий, разразив-

¹ Яшиль-куль прежде назывался Драконовым озером. Ввиду того что ни один человек не посетил его берегов, благодаря трудной одолжимости окружающих перевалов, об этом озере ходили разные баснословные слухи, и кочевники верили, будто на нем живут лишь драконы и разные чудовища. Рассказы о первых были занесены китайцами.

² Мечи.

шихся над странюю. Но велик был гнев Аллаха, и суд его свершился. Худам перебил всех воинов и, сожрав сына Риза-Казия, пошел на город. Погиб Яр-хан от руки великана, погиб и весь народ его; только семья Риза-Казия, скрытая Аллахом в одной пещере, осталась нетронутою. В ярость пришел, опьяненный кровью, великан, он искал Риза-Казия и не находил его. В исступлении и захлебываясь от злости, сел великан среди равнины и стал, дерзкий, хулить Аллаха. «Ей, Владыка! — кричал он. — Куда ты скрыл Риза-Казия, пославшего на меня воинов, отдай мне его, а не то я побросаю в небо огромные скалы, которые седыми вершинами окружают равнину. Мне не страшен Ты, Аллах, я жажду крови Риза-Казия!»

Великан умолк, и в ответ на его речи вдруг густая тьма настала над Памиром, грянул гром, и сверкнула молния, и среди вихря раздался голос с неба: «Отныне будешь ты лежать здесь, дерзкий червь, до скончания века, точимый дождем и ветрами, и не будет тебе покоя, пока не превратишься ты в сыпучий песок, и доколе не развеют его ветры по всему Памиру, тогда душа твоя будет низвержена в вечный огонь!» Голос затих, и настала глубокая тишина. Хотел великан насмешливо ответить Аллаху, что не страшны ему угрозы Его, но почувствовал, что окоченел его дерзкий язык. Хотел подняться Худам, но ноги и руки как бы приросли вдруг к земле и отказывались повиноваться его воле. В адской злобе он сделал страшное усилие, но напрасно. Худам превратился в камень по одному слову Всевышнего. С тех пор стал лежать великан среди равнины, оброс мохом и принял совершенный вид камня, под которым отдыхает усталый путник¹. И страшно мучится Худам, видя свободного человека или караван, отдыхающий под его тенью, когда он, проклятый Аллахом, не может даже пошевелить своими окаменелыми членами. Проклял Аллах и всю страну, в которой царствовал хан-ослушник и жил дерзновенный исполин, и перестала страна эта произращать растения, и превратилась она в голую пустыню, где лишь господствуют ветер да метели.

Спасенная же Аллахом семья Риза-Казия положила начало кочевому населению Памира.

Старик кончил, и мы подходили к камню, о котором только что я слышал легенду.

— А знаешь что, тюра, — сказал киргиз, — если раскопать немного этот камень и пробить слой гранита, то можно увидеть черное тело великана Худам. Только горе тому, кто сделает это. Лишь только он увидит тело нечестивца, как сам обратится в камень.

— А вот я сейчас посмотрю, — сказал я и направился к камню.

¹ Почему камень этот и называется Чатыр-Таш, то есть камень-шатер.

— Ой, койсанча, тюра¹, — испуганно крикнул киргиз и схватил меня за руку, — Боже тебя сохрани!

В его голосе я подметил такой испуг и опасение за мою участь, а также и глубокую веру в то, что я неминуемо обращусь в камень, если взгляну «на тело Худамы», что я решил не тревожить бедного старика и, дав ему несколько монет, направился к своей палатке.

На бивуаке все уже спало, и только кое-где около откинутого полотнища виднелась солдатская фигура, зашивавшая истрепанную одежду. Солнце почти совершенно погасло, скрывшись за седые хребты, и только последний луч его золотил запоздавшее облачко, которое несло к западу, как бы догоняя умчавшихся вперед товарищей. На другой день с рассветом отряд двинулся к камню Потулак-Кара-Таш. Условия пути были те же; разве только воды было достаточно на протяжении всего перехода.

Было одиннадцатое июля — Ольгин день. Конногорная батарея праздновала свой храмовой праздник, но ввиду близости противника торжества никакого не было, и нижние чины получили только по чарке разведенного водой спирта.

Относительно афганцев сведения были доставлены не совсем точные и противоречащие одно другому. Киргизам было приказано угнать табуны афганских лошадей и доносить немедленно обо всем, что только будет известно об афганцах. Напряжение в отряде было общее. Палаток не расставляли, и никто не ложился спать, ежеминутно ожидая выступления. Кругом бивуак охранялся цепью парных часовых, и в два пункта были высланы секреты. Луна уже выплыла из-за черных силуэтов памирских вершин и играла своим серебристым светом на стали штыков и орудий; тишина соблюдалась полная. Мы сидели в палатке у ротного командира и с удовольствием попивали чаек. Разговор поддерживался на тему о предстоящем столкновении с афганцами.

— А ведь с рассветом что-нибудь да будет, господа, — сказал капитан П., — уж у меня душа чует. Бывало, и раньше в походах то же самое было. Ноет душа и как бы с телом прощается — уж это признак самый верный.

— А вы разве в предрассудки верите? — спросил я.

— Да, верю, и нельзя не поверить после нескольких случаев в моей жизни. Вот хоть бы во время Кокандского похода. Дело было под Ходжентом жаркое, халатники раза два отражали штурм, но наконец надломились, и крепость пала. Некоторое время постояли мы в Ходженте и двинулись дальше; я был в это время ординарцем у Скобелева, который командовал кавалерией. Идем мы это однажды походом. По обыкновению, Скобелев рассказывает нам анекдоты, а мы неистово хохочем — уж очень он живо рассказывал. Все были веселы, как будто ехали на какое-нибудь празднество, а не в дело. Только один молоденький адъютант, из орен-

¹ Ай, оставь это, господин!

бургских казаков, сотник Х., сидит в седле грустный такой, ни слова не проронил всю дорогу.

— Да что вы, больны? — спрашиваю я его.

— Нет, — отвечает.

— А что же это с вами сегодня? — Х. отличался всегда веселым и живым характером, а потому такое его настроение было очень подозрительно.

— Ничего, так себе, взгрустнулось, — сказал он, и я больше не спрашивал его о причине внезапной грусти.

Приехали мы на ночевку и остановились в степи. Надо заметить, что во время Кокандского похода, когда шайки кокандцев и кинчаков ежеминутно нападали на отряд, мы избегали выбирать место для бивуака где-нибудь в кишлаке или садах; напротив, отряд располагался на открытом месте и в следующем порядке: в виде огромного каре, фронтом в поле, строилась пехота, образуя как бы бруствер укрепления; в интервалах между батальонами становилась артиллерия, далее внутри каре были составлены арбы, а также располагался и отрядный штаб. Каждый из батальонов вперед себя высылал шагов на сто парных часовых, а на двухстах шагах располагались секреты. Лишь только секрет или кто-либо из постовых замечал приближающуюся кавалерию, то, не входя в подробности о числе противников, давал выстрел, и немедленно все секреты и посты отступали к бивуаку. По этому выстрелу солдаты отряда, спавшие не раздеваясь, хватали ружья, строились в указанном порядке и были готовы встретить дружным залпом противника. Поражающее зрелище представляло собою подобное каре, когда оно, открывая залповой огонь во время ночи, посылало во все четыре стороны свинцовый дождь, заставлявший противника отказываться от попыток атаки. Вот и тогда, придя на бивуак и расставив отряд в обычный порядок, мы закусили в общей столовой и разбрелись по палаткам. Ночь была темная и довольно прохладная. Я долго не мог уснуть, все что-нибудь мешало мне, когда я погружался в дремоту. То отрядная собака, пробегая мимо палатки, задевала за веревку, то вдруг казалось, что фаланга проползала по телу, — одним словом, у меня была бессонница. Я уперся глазами в угол палатки, закурил папироску и задумался. Вдруг чьи-то шаги обратили мое внимание. Шаги затихли около моей палатки.

— Вы спите? — раздалось снаружи.

— Нет! — встрепенулся я, узнав голос Х. — Заходите.

Он низко пригнулся и как бы на корточках вполз в палатку.

— Я вам не мешаю? — спросил он, усаживая в ногах на постели.

— Нисколько, напротив, я очень рад, что вы заглянули ко мне, мне что-то не спится. Не хотите ли папироску? — Я протянул ему портсигар.

— Спасибо, не курю, — сказал он.

— Ах да! Вы ведь не курите, — спохватился я и зажег спичку. В палатке стало на минуту светло. Спичка красноватым светом озарила лицо сотника: оно было слегка бледно, глаза лихорадочно блестели, а волосы, как растрепанная грива, выбивались из-под пахаи.

— Послушайте, Николай Николаевич, — сказал он, — я к вам с просьбой.

— С какой?

— Вот с какой, — начал он после минутного раздумья. — Меня, наверное, убьют в первом же деле... не перебивайте, — сказал он, заметя, что я собираюсь возражать, — уж я не ошибаюсь — я буду убит, так вот я вам хочу передать 75 рублей денег и это кольцо. Вы все это передайте в Оренбурге моей невесте — знаете, дочка войскового старшины Вагина, вот ей и отдайте, да скажите, что я до последней минуты думал о ней.

— Да что это вы себя заживо хороните? — возмутился я. — Бросьте это и ложитесь-ка со мною — места хватит.

— Нет, нет, я серьезно вам говорю. Нынче ночью мне матушка моя, покойница, являлась, долго плакала она надо мною и говорит мне: готовься, Миша, Господь посылает за твоей душой. Вот у меня и заняло сердце, а сердце ведь вещун.

Вижу я, что не по себе человеку, а в душе посмеиваюсь над глупостью предрассудков.

— Так возьмете? — спросил он, протягивая мне пакетик.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — только по-моему это совершенно вы напрасно делаете.

Я взял вещи и положил их на ягдтан¹.

— Ну, прощайте, спасибо.

Он нервно схватил мою руку, и спустя мгновение торопливые шаги его раздавались за палаткой.

Больной человек, подумал я и, завернувшись в одеяло, старался задремать, и, казалось, сон распускал надо мною свои крылья.

Вдруг раздался отдаленный ружейный выстрел, который среди ночной тишины как-то продолжительно, но слабо пронесся над спящим бивуаком. Я поднял голову — все как будто было тихо. Вот еще выстрел, и за ним, словно рой пчел, что-то зашуршало на бивуаке — это выбегали из палаток люди и строились. Схватив револьвер и шапку, я через несколько секунд был около юрты отрядного штаба. Все было по-прежнему тихо, только отряд уже был в полной готовности. Проскакало несколько офицеров, и сотня казаков выехала в степь. Я подошел к 1-му стрелковому батальону. Из темноты раздавались чьи-то торопливые шаги. «Кто идет?» — раздался голос часового. «Свои — секреты!» — послышался ответ. Несколько солдат в шинелях подошли к части. Некоторые взяли

¹ Ягдтан — кокандские кожаные сундуки для вьючки на лошадей, очень удобные во время походов, особенно в горах; их бывает всегда два, и они лежат на ремнях на спине лошади по обе ее стороны.

к ноге, а некоторые оставались с ружьем на плече. Офицеры столпились вокруг них.

— Видали, что ли? — спросил командир батальона.

— Точно так, ваше высокоблагородие, от нас и выстрел был.

— Много?

— Точно так, страсть сколько, — ответил солдат, — туды пошли, — прибавил он, указывая рукою по направлению к западу.

В это время как бы свист сильного ветра пронесся по степи, и, казалось, на бивуак налетал целый ураган.

— Картечь! — раздалось где-то слева.

— По кавалерии пальба, ротами! — командовал полковник. Лязгнули затворы, и все замерло в ожидании, шум приближался. — Роты! — командовал полковник и выждал. — Пли! — вдруг резко крикнул он. Трах! — раздался дружный залп. На мгновение блеснувший огонь осветил впереди какую-то массу.

Слева блеснула как будто молния; бум, бум, трах, трах! — раздались орудийные выстрелы. Неприятельский отряд, очевидно, показал тыл, так как никого не появлялось. На других фасах каре было то же самое. Наши казаки бросились в темноту, и вскоре где-то издали послышались выстрелы.

Уже рассвело. Перед 1-м батальоном шагах в 300 валялось несколько убитых кокандцев, а из степи показались возвращавшиеся сотни казаков, между которыми виднелись и пленные в пестрых халатах. Мимо меня проскакали двое казачьих офицеров и остановились около кибитки начальника штаба. Я пошел туда. В юрте встретил меня адъютант Б. Полковника не было.

— А знаете новость?

— Что такое?

— Сотник Х. убит.

Я вздрогнул.

— Не может быть, — говорю.

— Пойдите, посмотрите — его привезли, лежит в юрте.

Я чуть не бегом бросился к казачьему лазарету; сердце мое сильно стучало, когда я входил в юрту. На санитарных носилках лежал Х. Лицо его было открыто, а на правом виске виднелся след запекшейся крови. Оно было совершенно спокойно, только какая-то складка легла между бровей. Зубы чуть-чуть были оскалены, но это не безобразило лица покойного. Слезы катились у меня из глаз, и я, глубоко вздохнув, перекрестился...

— Ну, как же не сделаешься после этого фаталистом, господа? — спросил капитан.

Наступило гробовое молчание. Рассказ П. перед делом заставил каждого задуматься. Было уже около двух часов ночи, когда в палатку вошел отрядный адъютант.

— Начальник отряда приказал выступить к Яшиль-куллю со всеми предосторожностями, — сказал он вполголоса капитану, — получены точные сведения об афганцах.

— Господа! Поднимайте людей, — сказал П., и мы один за другим вышли из палатки.

Роты уже строились, и среди ночной тишины раздавалась переключка. Выслав вперед разъезды и патрули, отряд двинулся форсированным маршем. Темень была полная. Луна скрылась уже за горами, тишина царила над суровым Памиром, и слышались только легкий шум, сопровождающий движение части, и побрякивание орудий¹. Начинало светать. Все ярче и ярче вырисовывались контуры окружающих долину гор. Где-то неистово вышакал. Все шло молча, у каждого на лице было что-то серьезное.

Наконец авангард отряда подошел к небольшому обрыву над рекою Аличуром и остановился. Казаки спешили и залегли по гребню яра. Внизу, на небольшой, покрытой травой площадке, около самой реки, виднелись юрты, составлявшие лагерь афганского поста.

— Послать ко мне переводчика! — приказал вполголоса полковник Ионов. Опершись обеими руками о луку седла, он в раздумье устремил свой взор на юрты. Ему было неприятно, что афганцы не подозревали о приходе отряда, и он хотел посредством переговоров заставить их уйти с поста и оставить таким образом русскую территорию. «Послать ли офицера к афганскому капитану?» — подумал он и даже сделал соответствующее распоряжение, но вдруг переменял свое намерение. В это время к нему подошел пожилой киргиз с сытым и плутоватым лицом. Сняв свою меховую шапку, киргиз встал в почтительную позу, готовый выслушать приказание начальника.

— Послушай, Сибя-Тулла, — сказал полковник, — спустись в афганский аул и скажи начальнику поста, что русский полковник требует его наверх для переговоров. Понял?

— Слушаю-с, таксыр, — отвесив кулдук, сказал переводчик и пошел по направлению к обрыву. Было заметно, что он дрогнул. Идти одному в неприятельский лагерь было довольно рискованно. Киргиз начал спускаться и вдруг оглянулся назад. Казачьи винтовки и белые чехлы фуражек резко выделялись на темном фоне оврага. Эта картина как-будто приободрила его, и он, быстро спустившись, вошел в самую большую юрту. Переводчику было приказано обойтись с афганским начальником поста почтительно, не входя самому ни в какие рассуждения, но киргиз, как оказалось, не понял своего назначения. Часть афганцев спала, а часть пила чай, когда Сибя-Тулла поднял опущенную дверь юрты.

— Где начальник поста? — спросил переводчик у сидевших афганцев, которые удивленно смотрели на вооруженного киргиза; на их лицах выразилось беспокойство.

¹ В некоторых долинах Памира артиллерия шла на колесах и выючилась только для переправы и при крутых подъемах и спусках.

— Пойдем со мной, — сказал один из сидевших афганцев и, выйдя из юрты, пошел к отдельно стоявшей желомейке. — Здесь, — сказал он следовавшему за ним киргизу, подняв висячую дверь.

Киргиз нагнулся и вошел.

Перед ним на низеньком табурете с чашкой в руках сидел средних лет мужчина в белом мундире с золотыми плечевыми погонами. Стройная талия его была перехвачена ремнем, на котором висела афганская сабля с сильно изогнутым клинком. Подстриженная клинышком борода, черные пушистые усы и сросшиеся над переносицей брови придавали его смуглому лицу особенно отважный оттенок. Он пристально взглянул на киргиза. По костюму его было видно, что он готовился куда-то ехать.

— Что тебе нужно? — спросил он и поправил надетую на голове белую чалму, из-под которой на висках выбивались взбитые пучки волос.

— Меня послал русский полковник, — ответил киргиз, — который требует вас на яр для переговоров.

— Какой полковник? — удивился капитан. — Если он хочет говорить со мною, то пусть придет сюда; мы с ним напьемся чаю и переговорим, — сказал он.

— Полковник не придет сюда, а если вы не выйдете наверх, то вам будет плохо, — дерзко возразил киргиз, — все равно ведь повесят!..

В это время с испуганным лицом в юрту вбежал афганец. Капитан беспокойно взглянул на него.

— Кифтан!¹ Киргизы нас продали, — заговорил он, — табун наш угнан, посланный на разведки джигит в руках русских, и их войско недалеко от нас.

Капитан вздрогнул. Наступила минута замешательства, которою сумел воспользоваться переводчик. Он с быстротою кошки бросился из юрты и через несколько минут доложил полковнику, что афганцы берутся за оружие.

С обрыва было видно, как перебежали из одной юрты в другую афганцы, как на пути запоясывались они и закладывали патроны в ружья. И вот целая вереница красных мундиров во главе со своим начальником стала подниматься на яр и скоро построилась развернутым фронтом перед нами. Их лица горели негодованием и решимостью.

Капитан сделал честь полковнику Ионову, приложив руку к головному убору. Полковник ответил ему по-русски под козырек. Начались переговоры через переводчика.

— На каком основании вы выставили свой пост на нашей территории? — спросил полковник.

¹ Кифтан — капитан по-афгански.

— Потому что земля эта наша, — возразил афганец и, скрестив на груди руки, принял вызывающую позу. — Мы владеем ею по договору с Англией с 1873 года, — прибавил он.

— Нам нет дела до ваших договоров о наших владениях, — возразил полковник, — и я, исполняя возложенные на меня обязанности, прошу вас положить оружие и уйти отсюда прочь.

Капитан вспыхнул.

— Я рабом не был и не буду, — сказал он, — а если вам угодно наше оружие, то перебейте нас и возьмите его — афганцы не сдаются, — заключил он свою речь.

— Так вы не оставите этого места и не отодвинетесь за границу Афганистана? — спросил полковник. — Я вас спрашиваю в последний раз.

— Я сказал все! — ответил афганец.

Видя, что путем переговоров ничего не поделаться с афганцами и избегая кровопролития, полковник хотел неожиданно перехватить их, не дав им опомниться.

— Хватай их, братцы! — вполголоса передал он приказание казакам.

Но не тут-то было. Не успели наши сделать и шага вперед, как афганцы дали дружный залп, и двое из наших грохнулись на землю. Раздался глухой, раздирающий душу стон.

— Бей их! — крикнул полковник, и все ринулось вперед.

Полковник Ионов спокойно сидел на лошади, наблюдая за дерущимися; в пяти шагах от него стоял афганский капитан, который прехладнокровно стрелял из револьвера и вдруг, рванувшись вперед, подбежал к лошади полковника.

Блеснул огонек — и выстрел прогремел над самым ухом начальника отряда. Как-то инстинктивно полковник подался на шею лошади, и пуля прожужжала мимо. Капитана окружили казаки. Но афганец уже успел выхватить из ножен свою кривую саблю и, как тигр, бросился на них. Вот упал уже один казак под ударом кривого клинка капитанской шашки. Вот снова она, то поднимаясь, то опускаясь, наносит удары направо и налево.

В нескольких шагах стоит хорунжий Каргин и смотрит на эту картину, пули свистят вокруг него, а он стоит, как будто не действительность, а какая-то фантастическая феерия разыгрывается перед ним.

— Хорунжий, да убейте же его наконец! — раздается роковой приговор полковника, и вот, вместо того чтобы схватить свой револьвер или шашку, хорунжий, не отдавая себе отчета, хватается валяющуюся на земле винтовку раненого казака и прицеливается. Он даже не справляется, заряжено ли ружье, и спускает ударник. Выстрел теряется среди общей трескотни и шума, и только легкий дымок на мгновение скрывает от глаз фигуру капитана. Как-то странно вытянулся вдруг афганец, взмахнув одной рукой, другой

схватился за чалму, на которой заалело кровавое пятно, и стремглав полетел с яра...

На одного ефрейтора наскочили двое афганцев, завязалась борьба. Ефрейтор неистово ругался, желая освободиться от наседавшего на него неприятеля, но в это время подоспел казак.

— Не плошай! — кричал он издали отбивавшемуся ефрейтору, и с этими словами шашка его опустилась на окутанную чалмою голову афганца. Вот и другой уже на земле с проколотою грудью. Страшно хрипит он, издавая звуки, как бы прополаскивая себе горло собственной кровью, и, несмотря на это, силится подняться и зарядить ружье, но силы изменяют ему, кровь хлынула горлом, и он склонил свою голову.

Недалеко от места стычки, под большим камнем, доктор Добросмыслов перевязывает раненых, из которых один с совершенно перебитою голенью неистово стонет.

— Ничего, ничего, потерпи, голубчик, — успокаивает его доктор. — Уж мы тебе ножку твою вылечим. Давай корпии, — кричит он фельдшеру, который мечется с трясущеюся нижнею челюстью от одного к другому из раненых.

— Ой, больно, ваше высокоблагородие! — стонет раненый, пока доктор вынимает висащие снаружи осколки раздробленной кости.

Выстрелы все еще продолжают, потому что засевшие в юртах афганцы все еще продолжают стрелять. Наконец раздался резкий звук трубы, игравшей отбой, и пальба мало-помалу утихла. Из юрт выползли раненые афганцы.

Тяжелое зрелище представлял собою весь скат и зеленая площадка берега Аличура. Везде валялись убитые или корчились раненые; последние, силясь подняться на руки, молили о помощи.

Подошел резерв, и все сгруппировались около места, где лишь несколько минут тому назад стояли перед нами полные жизни люди и где теперь валялись одни лишь обезображенные трупы.

Тихо между солдатами, нет ни веселого говора, ни песен; у каждого на уме, что, быть может, и его постигнет такая же участь, как и этих афганцев.

— Саперы — вперед! — раздается команда. — Рой могилу.

Дружно принялись солдаты за работу, и через четверть часа яма была уже готова. Одного за другим стащили афганцев и положили в яму, а поверх всех был положен капитан Гулям-Хайдар-хан; пуля пробила ему голову, ударив в левый висок.

— Ишь ты, тоже сражался, — сказал один из солдат.

— Известно, сражался, а то как же? — заметил другой. — Тоже, ведь офицер!

Мерно падала земля с лопаток на тела убитых, покрывая их одного за другим своим холодным слоем и поглощая навеки павших героев. Вот белеется кусок мундира афганского капитана, но одна, другая лопатка — и все покрыто землею.

Могила зарыта, и поверх нее сложен из камней памятник. Пехота трогается дальше.

— Песельники — на правый фланг! — раздается команда ротного командира, и веселая солдатская песня слышится с прикрикиванием и присвистыванием на все лады, но в ней нет той веселой нотки, какая обыкновенно бывает заметна в обычной солдатской песне. Запевала и то как-то нехотя и протяжно затягивает свою обычную арию.

Отряд подошел к восточному берегу озера Яшиль-куль и расположился бивуаком против развалин китайской крепости Сума-Таш.

Тихо на бивуаке. Нет обычных песен, и даже гармоники не слышно; все толкуют солдаты об «аванганцах».

— Ну и храбрые они, братцы, пра, храбрые, — говорит один солдат, сидя на корточках и покуривая трубку, — ни один, что есть, не сдался, всех перехлопали; не положим, говорят, оружие, устав, мол, не позволяет!

— И што тутко за храбрость! Значит, у аванганца солдат службу знает: коли на пост поставили, так, значит, и стой, «хотя бы и жисти опасность угрожала!» — повторил слова устава фельдфебель. — Ты сам, чай, устав-от гарнизонный знаешь? А еще капрал! Ишь, храбрость какую нашел! Меня коли, этта, на пост поставят, то я за тридцать верст противника унюхаю, а ён што?.. Спит себе и не видит, что наши у него на носу... Тьфу, а не офицер! — И фельдфебель сердито сплюнул, посылая ругань по адресу афганцев.

Показались носилки, на которых лежали раненые. На одних из них тяжело раненный казак Борисов еле-еле стонет. Тяжелое шествие...

«Афганцы, афганцы!» — раздается крик — и все бросаются смотреть пленных. Это были шугнанцы, между которыми выделялся один молодой афганец, красавец юноша. Два пучка взбитых волос, с каждой из сторон головы, красиво выбивались из-под простреленного головного убора. Пробытый пулями мундир его был изорван, видимо, во время рукопашной схватки. Он шел, высоко подняв голову, и окидывал сверкающим взглядом солдат. Шугнанцы почтительно шли с грустными лицами, видимо ожидая чего-нибудь страшного в русском лагере.

— Ишь, смотри-ко, братцы, — говорит один из солдат, указывая на афганца, — что значит судьба-то. Не суждено, так не умрешь. Глянь-ко у энтого аванганца и чалма, и мундир прострелены, да и весь, как решето, истыкан, а на ём ни единой царапины нету, а даве, когда мы в аванганскую-то юрту забежали, глянул я в ящик, а там шугнанец, повар их, сказывали, сидит, я его оттуда и выволок. Глянул, а он мертвый, пуля, значит, ему это в самый глаз угодила, как ни прятался сердешный, а нашла-таки она его и в ящике под кошмами.

— Все Бог, — возразил, вздохнув, другой солдатик, — на все Его святая воля.

— А ён какой веры будет? — спрашивает молодой солдат унтер-офицера.

— Магометчик, — серьезно отвечает тот.

— А энто что же за вера такая будет? — интересуется солдат.

— А такая же, как и у сарта, — поясняет унтер.

Удовлетворенный солдатик успокаивается.

Раздается барабанный бой к обеду.

— Становись на молитву! — кричит дежурный по роте, и кучка солдат с котелками в руках нестройным хором поет «Очи всех на Тя, Господи, уповают»...

8. БЕСЕДА С ПЛЕННЫМИ. АФГАНЕЦ ВМЕСТО АРХАРА

Мало-помалу тяжелое впечатление, произведенное убитыми и ранеными, сгладилось, и жизнь на бивуаке вошла в свою колею.

Ежедневно расставлялись посты, высылались секреты и заставы в сторону, откуда ожидались афганцы, одним словом, дни тянулись скучно и однообразно. Единственным нашим развлечением была беседа с пленными, и их интересные рассказы очень занимали меня.

Была ясная, теплая погода, ветер, постоянно дувший то с одной стороны, то с другой, притих, так что в общей столовой нашей, которою нам служила длинная палатка, было довольно сносно сидеть, полотнище не хлестало по затылку и не сбивало фуражки.

После сытного обеда и доброй порции водки мы, покуривая, сидели и вели оживленный разговор об Абдурахман-хане. В это время раздался выстрел. В одно мгновение мы повыскакали из столовой и увидели необыкновенной величины горного орла, бьющегося на земле; у него было переломлено крыло удачным выстрелом из карабина, направленным известным охотником капитаном Арсеньевым.

Громадный орел, видимо, изнемогал от боли, силясь подняться, но напрасно. Я подошел к нему ближе. Закинув голову назад и расширив свои красновато-огненные глаза с черными зрачками, орел так сильно щелкнул клювом и издал такой ужасный крик, что я невольно сделал шаг назад.

С трудом удалось набросить аркан на шею царя пернатых и таким образом обезоружить его. Удивительное дело, самые смелые офицеры, увешенные орденами за доблести в походах, не раз встречавшиеся со смертью лицом к лицу, не могли подойти, боялись подбитого, обессиленного, полуторааршинного орла, лишенного возможности даже подняться на воздух.

Пернатый пленник прожил в отряде три дня и издох, так как пуля повредила крыло, прошла сквозь грудь, зацепив немного легкое. Насмотревшись на хищника, я отправился в свою неза-

тейливую хижину, чтобы прочитать газеты, которые прибыли сюда только сегодня, и хотя новости были для всего мира уже застарелыми, то есть совершившимися подтора месяца тому назад, но все же на «крыше мира» они были самыми свежими, и мы с жадностью поглощали их. У меня в кармане лежал номер «Нового времени», и я был в восторге, так как, кроме «Света» да этой газеты, на этот раз ничего не было получено.

Когда я подошел к своей палатке в надежде удобно улечься и заняться чтением, сожитель мой, поручик Баранов, выполз из нее и направился к видневшимся вдали юртам.

— Куда это вы? — крикнул я ему вслед.

— Да хочу поговорить с пленными, пойдемте заодно.

— Пойдемте.

И мы отправились к противоположному концу бивуака.

На разостланной кошме около небольшого шатра сидело несколько шугнанцев, а в отдалении от них в красном мундире, поджав под себя ноги, — афганец. Это был совершенно молодой, высокий, с дышащим отвагою красивым лицом юноша. Красный мундир чрезвычайно шел к его смуглому лицу, а черные усики красиво пушились над верхнею губою, придавая молодому лицу его несколько возмужалый вид. Он бросил на нас свой огненный взгляд и поправил чалму на голове.

Подошел переводчик, и у нас завязался оживленный разговор. Афганец отвечал очень охотно, и в его тоне не было заметно и тени ненависти.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Гулдабан-Кудряв-хан, — ответил пленный, — я родной брат убитого вчера капитана Гулям-Айдар-хана, — сказал он, и в его голосе прозвучала грустная нотка.

— А сам ты — офицер или солдат?

— Я? — вопросительно вскинул он глазами и ткнул себя в грудь пальцем. — Я солдат, но я окончил Кабульскую военную школу и должен два года отслужить в войсках рядовым, и потом буду произведен в дофордары¹, а там и в офицеры.

— А твой брат, давно он был капитаном и на Аличурском посту?

— Видите ли, — начал афганец, — мой брат занимал очень видный пост при эмире; но когда в 1888 году у нас в Афганистане вспыхнуло восстание и брат эмира Исхак-хан отложился, то и мой брат был на стороне последнего; за это после подавления восстания он был лишен флигель-адъютантства и долгое время был в изгнании, но потом вина его была прощена, и он получил назначение на Памир. Бедный, бедный мой брат! — прибавил афганец и покачал головой. — Что теперь будет с его семьею, если и меня расстреляют?

¹ Дофордар — унтер-офицер.

Он низко опустил голову.

— Нет, русские не расстреливают своих военнопленных, — успокоил я афганца, — напротив, лишь только наступит возможность, все вы будете отпущены.

— А что, большая семья осталась у твоего брата? — спросил Баранов.

— Нет, только жена да маленький сын, — ответил пленный, — жена его молода и красива, и, оставшись совершенно одна, она скоро погибнет — у нас в Афганистане не щадят красивых женщин. Ах, зачем вы убили Гуляма! — покачал он опять головою. — А раненые где? — спросил он.

Я сказал, что оставлены на попечении киргизов.

— Ну, значит, они умрут.

— Почему это? — удивился я. — К ним два раза в день ездит доктор.

— Все равно, — ответил афганец, — киргизы ненавидят нас и непременно прирежут их при удобном случае.

— А пожалуй, это и правда, — сказал мне Баранов, — я тоже согласен с предположением пленного.

Распрощавшись с афганцем, мы отправились к раненым. Сердце сжалось, когда я вошел в темную юрту. Запах гниющего тела заставил невольно сделать шаг назад. На грязной кошме что-то копошилось, но глаз, не привыкший еще к темноте, не мог различать предметы. Когда был отдернут тюнтяк¹, то передо мною открылась поражающая картина: двое раненых афганцев лежали на кошме и казались мертвыми. Двое сидели с замотанными головами, а на перевязке виднелись следы крови. Один из несчастных повернул ко мне голову и что-то сказал, но это были не слова, а какие-то раздирающие душу стоны, вырвавшиеся из его простреленной в двух местах груди. Лежавший около него афганец пошевелился и поднял голову, другой оставался неподвижным. Эта неподвижность особенно обратила мое внимание. Конец ноги его, высунувшейся из-под закрывавшего его тулупа, был как будто выточен из пожелтелой кости.

— Говорит ли кто-нибудь из вас по-узбекски? — спросил я.

— Да, тюра, я немного говорю, — ответил слабым голосом другой раненый, сидевший в глубине юрты.

— Бывает ли у вас доктор? — спросил я.

— Нет, тюра, не бывает, как перевязали нас первый раз, так и не приезжал. Вот один из товарищей уже умер, и никто его даже не уберет из юрты. Мы просили киргизов, а те говорят: «Вытащим всех вас, когда передохнете, собаки».

Я слушал, не веря ушам своим, но факты были налицо.

— Мы ничего не ели с тех пор, как поместили нас сюда, во рту горит, как в печке, а воды подать некому, киргизы совершенно

¹ Верхняя кошма, закрывающая отверстие сверху юрты.

отказываются помогать нам и даже грозились прирезать нас, как баранов. Попробовал я было проползти до реки, — говорил несчастный, — но силы не позволили, хотел из юрты вытащить мертвого — тоже не мог... А вот этот, вероятно, не сегодня, так завтра отдаст Богу душу, — сказал он, указывая на лежавшего ничком товарища...

У меня слезы подступили к горлу. Баранов, понурия голову, не понимая нашего разговора, сидел, устремив свой взор в сторону.

Когда я сказал ему о том, что слышал от афганца, он возмутился.

— Это же свинство наконец, — проговорил он. — Вот наша пресловутая гуманность к врагам, вот красноречивый пример ее, — возмутился он, и мы, обещав раненым сегодня же облегчить их участь, отправились на бивуак.

Рассказ наш о состоянии раненых произвел сенсацию между офицерами, многие из них сейчас же отправились к несчастным, захватив с собою обильное количество провианта, а к вечеру этих афганцев перевели в отрядный лазарет; двое из них были уже мертвы, а потому похоронены возле могилы своих товарищей, павших 12 июля.

Оставалось еще осмотреть развалины китайской крепости, гнездившейся над озером, на одной из прибрежных скал, и я отправился туда в сопровождении местного киргиза. Крепость представляла собою не что иное, как четырехугольное пространство, окруженное со всех сторон частью уже обвалившеюся, глинобитною стеною и, видимо, с проходом в северо-западной части. Здесь же стояли две могилы со старыми, полуразвалившимися надгробными памятниками и китайская кумирня с камнем для жертвоприношения Сума-Таш.

— Когда построена эта крепость? — спросил я у киргиза.

— Давно, тюра, я не помню, когда ее построили, но знаю, что китайцы занимали в ней гарнизон, и их джандарин ежегодно требовал от нас, чтобы наши бии (старшины) приезжали раз в год к нему и кланялись в ноги. Конечно, каждый из них подносил джандарину или барана, или яка, а кто побогаче, то и целого верблюда — в этом и состояла вся наша повинность. Вдруг в 1888 году нагрянули сюда афганцы. Китайцы хотели не допустить их до занятия Яшиль-куля, да только не смогли, и афганцы прогнали их за перевал Харгуш, разорили крепость и оставили на берегу реки Аличура своих солдат.

— Ну, а при ком вам спокойнее жилось, — спросил я, — при афганцах или при китайцах?

— Конечно, таксыр, при китайцах. Афганцы — это лютые звери, — с ожесточением в голосе говорил киргиз. — Они обирали нас, силою отнимали жен и дочерей и держали на своем посту.

Теперь я понял глубокую, мстительную ненависть, которую питали киргизы к своим истязателям.

Мы стали спускаться с горы и уже совершенно дошли до озера, как вдруг киргиз тревожно схватил меня за рукав.

— Смотри, тюра, что это? — испуганно спросил он, указывая на столб пыли, поднимающийся в долине. Я заслонил глаза рукою от солнечных лучей и взглянул. Наш табун, погоняемый солдатами, бежал по направлению к бивуаку.

Сотня казаков пронеслась мимо меня, а в лагере была тревога. Войска становились в ружье.

— Что такое? — спрашивал я каждого попадавшегося мне навстречу, но никто ничего не знал. Я сел на лошадь и поскакал за казаками.

— Что такое означает эта тамаша¹? — спрашиваю казачьего офицера.

— А видите ли, афганский кавалерийский разъезд, не зная о стычке 12 июля, случайно наткнулся на наши пикеты и, обменявшись несколькими выстрелами, показал тыл, — ответил мне хорунжий.

Мы ехали рысью. Киргизы скакали впереди, отыскивая следы афганских лошадей. Около ущелья следы исчезли, а потом ясно было заметно, что они расходились в две противоположные стороны. Очевидно, афганцы разделились на две партии.

После непродолжительного совещания было решено направить погоню по двум направлениям.

Было уже темно, когда мы остановились в темном узком ущелье, решив, что поиски совершенно напрасны. Лошади наши сильно утомились и были покрыты пеною. Луна своим желтым диском бледно освещала вершины гор.

— Что же, назад? — обратился к нам капитан С., участвовавший также в погоне.

В это время несколько камней скатилось с противоположного скалистого обрыва.

— Тс! Господа, архары², — обратился к офицерам С., ярый и бесстрашный охотник, — они теперь спускаются для водопоя. Не поймали афганцев, то по крайней мере привезем архара, все же не с пустыми руками возвратимся.

С этими словами он взял у одного казака винтовку и, оставив лошадь, направился к месту, куда свалились камни. Прошло уже достаточно времени, а выстрела не было. Вдруг до нас долетел громкий голос С., кричавшего нам: «Сюда! Афганцы». В один момент мы были на лошадях и подскакали к тому месту, откуда раздавался призыв. Подняться на лошади было невозможно на крутой скат, и мы, оставив их коноводам и карабкаясь по камням, забрались на вершину. В нескольких шагах от капитана валялся

¹ Тамаша — собственно празднество, а также употребляется иногда в смысле кавардак, беспорядок.

² Архар — каменный баран, живущий только на снеговой линии Памира, открытый известным путешественником Марко Поло.

труп павшей лошади, а недалеко от нее стоял человек. Другой сидел верхом и не скрывался при нашем появлении, очевидно не желая оставлять товарища. Мы подошли к ним. Это были два афганских кавалериста. Просто невероятным казалось, что они поднялись по такой круче на лошадях.

— Где остальные? — спросил капитан афганца.

— Это они сами знают, — ответил афганец.

Казаки сняли с них оружие, после чего один из рисоля (кавалеристов) рассмеялся.

— Отчего он хохочет, спроси его? — сказал переводчику капитан.

— Оттого, что я теперь настоящая баба! — отвечал чистым узбекским языком афганец, так что я понял его ответ, и при этом он указал жестом, что лишен оружия.

Офицеры наши, бывшие здесь, поспешили предупредить его, что русские обращаются с пленными гуманно, но афганец, по-видимому, мало убедился этим и возразил:

— Дайте мне чаю и лепешек, а потом вешайте, только теперь я очень голоден!

Всю дорогу он шутил и вел себя так, что приобрел всеобщую симпатию.

— Вот тебе и архар, — шутил С., — уж такого архара я никак не ожидал встретить.

У пойманного афганца было найдено письмо к убитому Гулям-Айдару, которому файзабадский губернатор предлагал возвернуться в Бадахшан, передав пост посланному, а также и письмо от жены несчастного капитана. Но не суждено было ему читать эти строки, написанные любящей рукой. Читал их начальник отряда, и слезы покатались по щекам туркестанского героя.

Бедная женщина умоляла мужа скорее приехать в Файзабад для определения сына в военную школу. Столько заботливости и нежной любви было в этом письме! Тяжело становилось при мысли, что скоро бедная афганка узнает о судьбе своего любимого мужа и горькие слезы польются рекою из ее прекрасных глаз.

9. СТОЯНКА НА ЯШИЛЬ-КУЛЕ. ОХОТА НА КИИКА

С тоял необыкновенно жаркий день. Солнце как бы остановилось в зените и своими палящими лучами особенно пригревало каменистую почву Памира. Удивительное дело, вчера холод, даже снежок перед рассветом выпал, а теперь вдруг такая жара, что еле-еле спасаешься от нее под низкой палаткой, на которую солдаты то и дело льют воду из парусиновых ведер, чтобы хоть этим уменьшить невероятную духоту, царящую в ней.

— Ух! — стонет мой сосед, валяясь в одном белье на своей походной кровати. — Просто невыносимо становится, не пройти

ли нам в юрту к капитану П., — говорит он, — там, наверно, прохладнее.

— А что ж, идемте, — отвечаю я.

И мы, надев на босую ногу уже изрядно истрепанные туфли, идем по направлению к виднеющейся юрте ротного командира.

Мы были не первые. В юрте капитана собралось довольно много народа; все были в костюмах, подобных нашим, то есть, вернее, без костюмов, и в разнообразных положениях сидели на постланных кошмах. Посреди кружка стоял уже опустевший кунган.

— Милости просим, — приветствовал нас хозяин. — Чайку не прикажете ли? — И он, не дожидаясь нашего ответа, позвал денщика и приказал подогреть кунган.

В юрте было свежее. Небольшой сквознячок приятно подувал на нас и, охлаждая вспотевшее тело, заставил свободно и легко вздохнуть полную грудь.

— Что нового, господа? — спросил поручик Баранов, когда мы уселись на кошме.

— Да ничего утешительного, — ответил капитан, — сидим на месте, да и только, приказаний для дальнейшего следования все еще нет, и полковник опасается, как бы нам не опоздать с углублением в Шугнан, так как иначе перевалы будут закрыты и возвращение в Фергану отрезано.

— Да чего же он не двигается сам дальше, не дожидаясь приказаний? — спросил я. — Ведь пошел же он сюда, действуя совершенно вразрез с предписанием?¹ Ведь за стычку 12 июля он не имел никакого разноса, напротив, Государь Император прислал по поводу ее телеграмму: «Иногда не мешает проучить». Следовательно, отчего же и не проучить еще раз, не правда ли, господа?

— Совершенно верно, — заметил П., — вы правы, да и сам Ионов несколько не прочь сейчас же двинуться и занять Шугнан, это ведь его заветная мечта, и он страшно досадует теперь, что она почти неосуществима.

П., которого очень любил начальник отряда, хорошо знал положение дела, а потому мы особенно внимательно отнеслись к этой новости.

— Почему же неосуществима? — спросил Баранов.

— А по простой причине, — ответил П., — когда у одного ребенка десять нянек, то дитя зачастую остается без глаз.

Мы с удивлением взглянули на капитана, который не замедлил удовлетворить наше любопытство.

— Видите ли, господа, — сказал он. — Полковник Ионов был еще до начала похода против назначения подполковника Громбчевского в состав отряда. Он хорошо понимал, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Как Громбчевский, так и Ионов оба

¹ По распоряжению Министерства иностранных дел отряды не должны были переходить реку Мургад — предписание же это опоздало.

стремились к одной цели — блеснуть звездой над «крышей мира»: Громбчевскому это удалось ранее, и он уже создал себе имя известного исследователя Памира. Теперь предстояло завоевание этой обширной области, которое было возложено на нашего начальника отряда. Вдруг к нему назначают совершенно постороннее лицо, и не под его ведение, а вполне самостоятельно действующее на Памире, «начальника памирского населения», подполковника Громбчевского, которому вменяется содействовать отряду в доставке перевозочных средств, проводников, а также, как прекрасно знающему географическое положение Памира, быть руководителем отряда при переходах через исследованные Громбчевским места, карты которых еще не вышли из Туркестанского топографического отдела. Такое назначение было не особенно-то приятно Ионову, человеку самостоятельному и решительному, а потому он очень недружелюбно отнесся к Громбчевскому. Между обоими штаб-офицерами на первых же порах завязались враждебные отношения. Как вы знаете, они оба избегают встречи, и Громбчевский поставил свои юрты даже вне района расположения отряда.

— Но при чем же теперь-то Громбчевский в вопросе дальнейшего движения? — спросил я.

— А вот сейчас узнаете, — сказал капитан и, затянувшись трубкой, продолжал: — Теперь, после донесения начальника отряда военному министру о необходимости дальнейшего движения, он смело бы мог, не дождавшись ответа, несомненно отрицательного, двинуться дальше. Ведь афганцы недалеко и грозят наступлением, и это обстоятельство может служить вернейшим поводом к походу. Пройдет два, три дня, войска будут уже далеко, а телеграмма о возвращении опоздает, и цель Ионина будет достигнута, начнется война с Афганистаном, на его долю выпадет слава завоевателя Памира, Шугнана и Рошана, и русский флаг гордо развевается над Индией. Но вот тут-то и явилась помеха в лице начальника памирского населения. Запасы истощились, ячменя совершенно нет, так что небольшое его количество выписано с Мургаба и не сегодня завтра прибудет с первой ротой, уже выступившей к нам¹. Для того же, чтобы поднять отряд и направиться в глубь Шугнана, необходим огромный транспорт, для которого у нас не имеется лошадей, ни под сухари, ни под фураж. Вот тут-то полковник и обратился к Громбчевскому, конечно, официальным путем, чтобы тот доставил ему необходимое количество лошадей для движения в Шугнан. Не тут-то было. Отлично знал Громбчевский, что начальник отряда хочет воспользоваться удобным моментом для выступления, не дожидаясь приказаний, и ответил ему, что не имеет возможности исполнить просьбу, но что на

¹ В горной войне на границах Индии и Афганистана не такое значение имеет количество наступающего войска, как исправное и обильное довольствие его. С голодными людьми и лошадьми ничего не поделается, так как ни провианта, ни фуража на Памире не достать ни за какие деньги.

случай приказания, которое ожидается через несколько дней, им уже сделано распоряжение о пригоне табунов. Вот теперь полковнику и приходится сидеть на Яшиль-куле, досадуя на себя, что не захватил отрядного обоза. Сделали поблажку подрядчику, разрешили ему в два приема перевозить фураж, вот теперь и сидим, когда могли бы уже быть в Шугнанае.

— Да, досадно, — сказал Баранов.

— Еще бы не досадно! Хорошо, если приказание будет немедленно двигаться дальше, а если нет? — Тогда ведь зазимует на этом проклятом месте, — ответил П.

«Нечего сказать, приятная перспектива», — подумал я и, налив в чашку горячего чайку, стал отхлебывать его, обливаясь струями пота, который, охлаждаемый ветром, приятно-холодными струями тек по шее.

Вдруг дверь кибитки поднялась и, согнувшись, вошел в юрту казачий офицер.

— А, Петр Петрович! — приветствовали мы его.

Начались рукопожатия.

— А я, господа, к вам с предложением, — обратился он к нам, — не составит ли кто мне компанию поохотиться за архарами?

— За архарами? — переспросил я. — Разве теперь время?

— Самое настоящее, — заметил хорунжий, — тем более что с нами отправляется известный охотник киргиз Хасан-бек.

— Вот охота по горам таскаться, — возразил капитан, видимо очень недовольный, что казак покушается нарушить его собрание и лишить его возможности продолжать начатую беседу. Однако ему не пришлось остаться без собеседников. На вызов хорунжего отозвался лишь я один. Охота на архара, или киика, всегда была для меня мечтою, и вот эта мечта осуществляется.

Положим, я уже и ранее охотился в горах, но охоты были все неудачны, и я ограничился лишь тем, что видел только след зверей, за которым ползал по скалам в течение трех суток.

— Когда же едем? — спросил я.

— Да что же, с рассветом можно, — сказал хорунжий. — Берите карабин, чая заварки две, сахару да чашку, больше ничего не нужно. Ну, так больше никто, господа? — спросил он.

Никто не выразил желания.

— Ну, до свидания. — И, отдав честь компании, хорунжий вышел.

Боле меня уже не интересовали разговоры, я думал о предстоящей охоте и радовался удачному времени, в которое выпал мне этот случай.

Уже светало, когда мы селились на лошадей и в сопровождении какого-то киргиза тронулись в путь. Узкая тропа пролегла по краю обрыва, то поднимаясь, то опускаясь почти к самым водам шумящей реки. Два раза пришлось нам перейти вброд реку, и

наконец мы свернули в одно из черневшихся ущелий, продолжая следовать за проводником. Чем дальше углублялись мы в ущелье, тем природа окружающих гор заметно изменялась. Наконец на одной из зеленых площадок я увидел несколько киргизских юрт, маленькими грибочками серевших на зеленом фоне травы. Около одной стояла киргизка, у которой на руках был грудной ребенок. Увидя нас, она быстро скрылась в юрту, откуда вышел старый киргиз с почтенною наружностью.

— А, саломат! Саломат! Тюраля! (здравствуйте, господа), — прошамкал он своим беззубым ртом, взяв под уздцы мою лошадь одной рукой и принял поводья из рук хорунжего.

— Ей, Игам-берды! — крикнул старик.

— А? — лениво отозвался кто-то на его зов из юрты, и вслед за тем толстый, но еще молодой киргиз с лоснящимися, жирными, сильно выдающимися скулами вылез из узкой двери юрты и, улыбаясь во весь рот, обнажил свои ровные, сверкающие белизною зубы.

— Возьми лошадей, — сказал ему старик, и киргиз, апатично собрав поводья и заложив руки назад, стал водить лошадей.

— Хасан ёк¹, — сказал киргиз. — Хасан уехал, завтра приедет.

Такое известие сильно огорчило нас. Без Хасан-бека, знавшего все места как свои пять пальцев, охота была бы затруднительною. Делать нечего, мы решили ждать его до следующего дня, а там, если бы он не приехал, охотиться одним. Старик отстегнул висячую, сделанную из длинных щепочек дверь, и мы, согнув спины, вошли в юрту. Неприятный кислый запах чего-то прелого сразу пахнул на нас, и я просил хозяина открыть тюнтяк, то есть снять кусок кошмы, закрывавшей верхнее отверстие юрты. Яркий свет ворвался в темную кибитку, и я увидел в двух шагах от меня киргизку, возившуюся с небольшим барашком, по-видимому чем-то больным. Хозяин, заметя, что нам неприятно такое зрелище, сморщил брови и суровым голосом крикнул «киты!» (пошла), и киргизка моментально исчезла.

Мы сидели на ковре. В юрту понемногу стали набираться обитатели аула, и все они, каждый погладив обеими руками бороду и проговорив свое «салом-а-лейкум» (здравствуйте), протянув нам каждому обе руки, садились, поджав под себя ноги и сказав «Хасан ёк», изредка перебрасывались друг с другом фразами, а снаружи доносились распоряжения хозяина о приготовлении нам угощения. Вскоре турсуки с кумысом, киргизский творожный сыр «крут», «баурсаки», то есть лепешки на бараньем сале, каймак — сливки — все было перед нами, а в заключение мы были угощены жареною на вертеле бараниной, да такою, что просто слюнки текли при виде немного подпеченного куска жирного мяса.

¹ Ёк — нет.

Между тем для нас была приготовлена самая нарядная юрта; появились прекрасные одеяла, и даже сальная свеча была вставлена в какой-то допотопный, но русской фабрикации подсвечник, какими-то судьбами попавший в эту горную трущобу Памира. Устроившись в новом помещении, мы пригласили хозяина к себе и угостили его водкой, до которой старик оказался большим охотником; проглотив стаканчик, он стал вдруг замечательно разговорчивым и веселым. Удивительное дело, как туземцы любят «арак» — водку, с каким удовольствием пьют ее они, но так как по корану спиртные напитки им запрещены, то они употребляют их чрезвычайно секретно. Русских они в этом случае не стесняются, но всегда просят никому не говорить.

Таким образом мы остались до сумерек в юртах и благодаря теплым одеялам довольно сносно провели ночь, которая не отличалась теплотою. Я проснулся почти с рассветом и первым делом пошел осведомиться, приехал ли Хасан. Какова же была моя радость, когда на мой вопрос из темноты раздался голос старика: «Кильды, тюра, Хасан кильды!» (приехал, барин, Хасан приехал).

Вслед за этим из юрты вылез и сам ожидаемый охотник. Это был среднего роста, крепко сложенный батыр с смуглым лицом и сильно выдающимися скулами. Узкие прорезы глаз, по-китайски, поднялись наружными уголками вверх, и через них лукаво проглядывали быстрые и не лишённые ума зрачки. Маленькие черные усы и на конце подбородка жалкая мочалистая борода дополняли наружность его; что поражало в нем — это белые, как бы выточенные из слоновой кости, крепкие зубы. Вообще киргизы отличаются прекрасными зубами и объясняют это тем, что не едят совсем ничего соленого и мало употребляют мяса, питаются молочной пищею.

— Кайда, тюра, казак? (где казак) — спросил Хасан, протягивая мне обе руки.

— Спит! — сказал я, и мы направились к нашей юрте.

— Ну, что, едем? — спросил я Хасана.

— Якши, тюра, хорошо. Только знаешь что? — сказал он. — Лучше выедем мы сейчас верхами, у Ходжа-Серкера в ауле оставим лошадей, поднимемся по ручью «екибулак» и как раз к вечеру будем на месте, где я в прошлый раз убил киика (козла), когда он спускался на водопой; там переночуем и наутро поднимемся к снегу, а там, если архаров не увидим, то, наверное, убьем киика.

— А разве архаров нет? — спросил я, с горечью в душе думая, что и теперь не поохочусь за архарами.

— Нет, тюра, архар есть, только уж высоко очень. Если хочешь, поднимемся и выше — хоп? (хорошо) — закончил он свой проект. — Только, тюра, итык яман! (сапоги плохие) — прибавил Хасан, глядя на мои выростковые сапоги. — Мои лучше — а? Хочешь, у меня есть еще пара, я тебе их дам, да и другому тюрке-казаку достану.

Скрывшись в юрту, он вытащил оттуда два свертка кожи. Конечно, я не замедлил тщательно рассмотреть предложенную мне обувь, которая состояла в мягком сапоге без каблуков и из нескольких кусков сыромятной кожи; из них один накладывался под подошву, а остальными обматывалась вся нога, и все это завязывалось воловьими жилами. В такой лишь обуви и возможно бродить по горным дебрям и в особенности в погоне за кийками и архарами. Поблагодарив киргиза за ценный в настоящую минуту подарок, я отдал ему кинжалом и обещал дать водки, чему он особенно обрадовался, и мы пошли будить спящего товарища.

— Петр Петрович, а Петр Петрович, — тормозил я спящего хорунжего.

— Мм... аа?.. — произнес он и, потянувшись, поднялся на руки.

— Едем! Хасан уже здесь.

Он вскочил.

— Хасан! — крикнул он.

— До-бай, тюра? (что прикажете) — спросил киргиз.

— Едем!

— Хоп, таксыр (слушаю-с).

Через несколько минут мы в сопровождении Хасана выехали в путь и направились вверх по горному ручью, берега которого были покрыты колючими кустиками терескена. Высокие скалы сурово громоздились над нами, а впереди в бесконечное небо уходили снежные вершины одного из отдаленных хребтов. Путь, усеянный острыми осколками сорвавшихся и расколовшихся каменных глыб, был достаточно неудобен для лошадей, но наши киргизские горцы, очевидно привыкшие к подобным путям, шли бодро, ловко лавируя между камнями. Было довольно свежо, и чем выше мы поднимались, тем холод делался ощутительнее.

Наконец, стали попадаться уже целые площади неоттаявшего еще с зимы снега, вероятно, потому, что солнечные лучи не проникают в это темное, узкое, загроможденное скалами ущелье. Таким образом, проехав без остановки часа четыре, все поднимаясь по тому же ручью, мы повернули в одно из ущелий, в котором, говорил Хасан, находится знакомый ему аул, где и предполагалось остаться на ночевку. Действительно, на небольшой равнине нам попался на тощей, с виду замороженной лошаденке киргиз, гнавший небольшое стадо баранов, который, обменявшись приветствием с Хасаном, что-то сказал ему и проехал мимо.

Наконец я увидел четыре юрты, и мы на рысях подъехали к аулу.

Та же встреча любопытных обитателей, то же угощение бараниной и кумысом, как и у Хасана, повторились и здесь, только с тою разницею, что приносила нам угощение жена аульного старшины, молодая, здоровая и чрезвычайно красивая киргизка, все время закрывавшаяся рукавом своей рубашки и скалившая прелестные белые зубы. Хасана обступила целая толпа, и мы в

отведенной нам юрте уже пили чай и решили, передохнув немного, идти в засаду, где козел спускается на вечерний водопад.

Начинало смеркаться.

— Ну, тюра, айда (пойдем), — сказал мне Хасан.

Он все время обращался ко мне, так как я говорил по-киргизски. На этот раз лицо его было серьезно; за спиной был крепко при-торочен мултук (ружье), а на поясе болтались разные мешочки с порохом и дробью, неизбежный нож, а также кремень и кресала.

Презабавная штука у киргизов — это их мултук, и можно лишь удивляться, как они метко и всегда удачно из него стреляют, да иначе же представить себе невозможно, так как на зарядание его употребляется не менее 20 минут. Мултук состоит из толстого, утолщенного к верхней части ствола с нарезным каналом в 8 мм в диаметре. Ствол привязан проволокой к куску дерева, напоминающего пистолетное ложе. Около дульной части устроена рогатина, служащая стойкою и упором во время стрельбы. Выстрел производится с помощью фитиля, приставляемого к затравке. Заряд и пуля закладываются с дульной части; пуля представляет собою просто кусочек спрессованного свинца и туго забивается в дуло. Однако такое первобытное оружие не мешает киргизу стрелять из него на довольно далекое расстояние и быть отличным стрелком.

В несколько минут я уже был готов, а хорунжий отказался идти, говоря, что лучше побережь силы для завтрашней тяжелой и более интересной охоты, и хотя я сначала и подсадовал на него за подобную, недостойную охотника леность, однако впоследствии ужасно завидовал его бодрости духа.

Мы вышли с Хасаном вдвоем и бодрым шагом стали подниматься по довольно крутому скату горы. Местами нам попадались узенькие, едва заметные тропинки, пробитые козлами, которые всегда ходят по старым путям. Уже было почти совсем темно, когда мы подошли к журчащему по камням ручейку и сели под большою, старою арчою.

— Ну, здесь, — сказал Хасан, — теперь, тюра, сиди и смотри, а я пойду вон за ту арчу.

Приведя в порядок свое оружие, он отправился по указанному направлению и скоро скрылся за камнями. Громадный диск луны как бы вынырнул из-за гор и своим медным светом озарил ущелье, живописно играя в журчащей воде ручейка. Стало довольно светло, и я даже различал арчу, за которою сидел Хасан. Все было тихо, и мне казалось, что я слышу удары своего сердца; я ждал с нетерпением желанного гостя, но, по-видимому, судьба нам не благоприятствовала.

Просидев таким образом часа два, я вдруг услышал приближающийся шорох по камням, взвел курки и приготовился. Шорох затих и вдруг снова раздался с большею силой. Каково же было мое разочарование и досада, когда вместо кийка ко мне подошел Хасан.

— Нет, тюра, теперь киик уже не придет, — сказал он, — пойдем-ка в аул и с рассветом сами отправимся на поиски.

«Не повезло!» — подумал я и печально побрел за Хасаном.

— Что, много убили? — иронически спросил меня хорунжий.

Но мне было не до шуток, и я оставил вопрос его без ответа. С чувством полного разочарования закутался я в одеяло и крепко заснул. Однако недолго пришлось мне отдыхать. Хорунжий спал целый день, отчего ему не спалось, и он, сговорившись с Хасаном выйти возможно раньше, в три часа беспощадно разбудил меня. Делать было нечего: несмотря на то что хотелось страшно спать, я был менее чем через десять минут совершенно готов, а умывшись свежей водою и выпив чашку кумыса, даже почувствовал себя необыкновенно бодрым. Начинало светать, когда мы подошли к ручью, по которому ехали вчера, и стали подниматься по направлению к снежным вершинам, казавшимся в весьма близком от нас расстоянии и скрывавшимся из глаз по мере приближения нашего к крутой горе, по которой мы начали взбираться. Лезть было довольно тяжело; камни вырывались из-под ног и с шумом, увлекая в своем падении множество мелких осколков, катились вниз. Иногда попадалась небольшая, полусгнившая арча.

«Ну, вот, наконец вершина», — подумал я, глядя вверх и замечая, что гора будто кончается; я собираю силы и в один мах залезаю на мнимую вышку, но, увы, передо мною открывается небольшая равнина, а дальше опять такая же и даже более высокая гора, над которою все так же близко возвышаются снежные вершины.

— Что, Хасан, скоро снег? — спросил я.

— Ек (нет), к вечеру разве доберемся, — невозмутимо-лениво, небрежно переставляя ноги, сказал он.

Я сел на камень и, закулив папироску, невольно бросил взгляд и не мог не полюбоваться чудной картиной. Ручейка не было видно, и громадные камни, казавшиеся такими большими, теперь имели вид булавоочной головки, а ущелье, из которого мы вышли, утопало в каком-то дымчато-голубоватом тумане. Со всех сторон возвышались снежные хребты, утопавшие в голубом небе своими позолоченными восходом солнца снежными головами.

Дальше подъем становился все тяжелее и тяжелее. Часто приходилось чуть не ползком пролезать по таким местам, где, как сказал поэт: «Лишь злой дух один шагал, когда, низверженный с небес, в бездонной пропасти исчез». Голова не выдерживала, когда посмотришь вниз, и мысль о том, что можно легко сорваться, заставляет быть очень осторожным.

Ползя все выше и выше и часто спугивая кекеликов¹ и уларов², мы к полудню забрались на значительную высоту и пошли по гребню хребта, покрытому арчою.

¹ Кекелик — горный рябчик.

² Улар — горная индюшка.

— Вот туда пойдём, — сказал Хасан, указывая на видневшуюся снежную массу как раз впереди нас, — тут, коли Аллах поможет, мы увидим козлов, а быть может, и архаров.

Я чувствовал сильную усталость и досадовал на хорунжего, который слегка подтрунивал надо мною и вчерашней моей охотой. Мы уселись под небольшим камнем и закусили захваченной вареной бараниной и лепешками. Становилось значительно теплее, и солнце даже довольно сильно припекало. Подкрепив свои силы, мы, карабкаясь по невероятным глыбам, добрались часам к четырем до снеговой линии.

Холод был сильный и, несмотря на солнце, давал себя чувствовать. Мы были на краю громадного обрыва. Ноги и руки, изорванные о камни, сильно болели, и отдых казался необходимым.

— Здесь заночуем? — спросил я Хасана.

— Как хочешь, тюра...

Он не договорил и стал пристально смотреть вниз, где далеко в пропасти виднелись несколько деревьев арчи.

— Киики! — таинственным голосом проговорил Хасан.

— Киики? — повторили мы, и всякая усталость была забыта.

Я долго не мог разглядеть ничего там, куда указывал мне пальцем Хасан, и наконец увидел двух козлов, щипавших траву около небольшой арчи. Мы порешили спуститься. Киики были возле самого обрыва, на небольшом, почти неприступном карнизе, и убить их там было бы бесполезно, так как они достались бы разве беркутам и стервятникам; мы решили действовать таким образом. Хасан должен спуститься и зайти по возможности в сторону и выстрелом заставить их переменить свое место, а мы предполагали спуститься и ждать, когда добыча приблизится на ружейный выстрел.

Хасан быстро исчез, а я и хорунжий стали спускаться. Спуск представлял собою совершенно крутую осыпь, покрытую сплошь осколками аспида, который катился вместе с нами, увлекая за собою массу других мелких камней; казалось, что мы плыли вместе с горою. Местами приходилось захватываться за ветви арчи или упираться ногами на попадавшиеся большие камни, которые между тем, скользя, сопутствовали нам далее.

Наконец, спустившись на достаточное расстояние, мы пошли вправо по узкому карнизу, по тропе, протоптанной кииками, и, снова перелезая с камня на камень, со скалы на скалу, стали спускаться дальше. Киики были в расстоянии не более четырехсот шагов и, видимо, не замечали нас, находившихся как раз против них, на краю страшной пропасти.

Стрелять или нет, подумал я, и решил лучше еще спуститься, но было поздно: Хасан выстрелил. Глухой звук выстрела разнесся по ущельям и продолжительным, раскатистым эхом долго переливался по горам. Киики вздрогнули, насторожились и вдруг в

один момент огромными прыжками бросились вправо от нас. Хорунжий выстрелил, но, очевидно, промахнулся. Один киик остановился и, вдруг переменив направление, стал подниматься с правой стороны, прямо на нас.

Мы притаились за камнями.

Ровные щелчки его крепких копыт о камни уже ясно долетали до нас; громкое сопенье, как от паровоза, которое всегда сопровождает киика во время бега, слышалось сильнее и сильнее, и вдруг справа от меня, шагах в сорока пяти, появилась его мощная, серо-бурая, стройная фигура. Громадные рога загибались далеко за спину, длинная борода была почти прижата к груди; пораженный неожиданностью неприятной с нами встречи, он как бы вдруг окаменел и сделал быстрый поворот.

Мы с хорунжим выстрелили почти разом.

Стремглав, увлекая за собою целые глыбы камней, полетел киик в зиявшую черную пропасть, оставляя за собою целый столб пыли.

Иногда видел я, как он, ударившись о камень, делая чудовищный сальто-мортале, отлетал в сторону и снова катился вниз. Наконец, около арчи, запутавшись ногами в ее корнях, торчащих над землею, он недвижно лег. Между тем новый выстрел Хасана заставил нас отвлечься на минуту от убитой добычи, но никто не появлялся, и мы стали осторожно спускаться к нашему трофею.

Как это потащим мы его оттуда, думал я, ведь в нем добрых пудов шесть, если не более.

Мы все ниже и ниже спускались и наконец подошли к арче. Громадный киик лежал с окровавленной мордой; голова его была прострелена одной пулей; кто из нас попал — неизвестно; каждый приписывал удачный выстрел себе.

Сосчитав число шишек на рогах, мы увидели, что козлу было не более семи лет и приблизительно весил он $5\frac{1}{2}$ пуда. Подумав и посоветовавшись друг с другом, что нам предпринять, мы порешили общими силами затащить его наверх; привязав его за ноги взятыми с собою арканами и передохнув немного, мы принялись за свою тяжелую ношу и так измучились, как еще никогда, по крайней мере, мне не приходилось. Два раза он срывался у нас, и приходилось снова спускаться вниз и затаскивать на пройденное уже расстояние.

Между тем Хасана не было, и мы не могли понять, что бы это значило. Уже совершенно стемнело, когда мы добрались до места, откуда увидел Хасан киика. Ноги и руки сильно болели. Я чувствовал, что более не в силах сделать шагу. Хорунжий был бодрее меня, но и он молчал, закинув руки за голову и лежа враспяжку на земле.

— Хасан! — громко крикнул хорунжий.

Эхо повторило его крик, но ответа не последовало.

— Куда же Хасан делся, в самом деле, — сказал я, — уж не убит ли, чего доброго?

— Что вы? Киргиз — да убьется! Нет. Мы с вами пять раз успели бы сломать себе шею, прежде чем он хоть раз остутился бы, — возразил мне хорунжий.

Мы оба замолчали.

Собрав немного сухой травы, наломав веток арчи и подбросив терескена, мы развели костер, и яркое пламя осветило большое пространство.

Я поудобнее устроился около огня и облокотился головою на убитого киика. Луна не восходила.

«Эге!» — раздался крик, и я с радостью узнал голос Хасана, но каково же было наше удивление и радость, когда он свалил на землю огромную тушу. Я взглянул и даже глазам своим не поверил — это был настоящий архар. Громадные рога, загнутые спиралью, красовались на его светло-серой голове. В изнеможении Хасан сел у огня. Пот ручьями лил с него, и он, самодовольно улыбаясь, проговорил: «Якши архар?» (хороший архар).

— Да где ты встретил его? — спросил я, досадуя, что не на мою долю выпала эта добыча.

— Ух, высоко, мана унда (вот там), — махнул в пространство рукою охотник.

Правда, что добыча Хасана была по величине значительно меньше нашей, но дотащить одному и такую было положительно подвигом с его стороны.

— Ну, что, Хасан, устал? — спросил я его.

— Немножко, тюра, — ответил он. — Ну, тузук (довольно), тюра. Скоро пойдем?

Я вытаращил на него глаза.

— Как! Идти в аул? Нет, я не иду ранее, чем взойдет солнце. Так, без отдыха, и ног не дотащишь.

С этим решением я стал дремать у костра, а Хасан между тем налаживал палки для приготовления ужина, состоявшего из куска жареной козлятины да кунгана чаю. Товарищ мой спал, положив, как и я, голову на спину убитого киика.

Сон покинул меня, и я с любопытством наблюдал, как Хасан поворачивал над огнем большой кусок мяса, и соблазнительный запах жаркого приятно щекотал мой пустой желудок. Поужинав, мы завалились спать, а с первыми лучами солнца направились в обратный путь.

В аулах нас встретили возгласами одобрения. В лагере толпа товарищей обступила наших лошадей, рассматривая добычу. Вполне довольные, мы сидели в своей палатке, и я рассказывал впечатления об удачной охоте.

Вдруг в палатку просунулась голова адъютанта.

— Прочтите, — протянул он мне приказ по отряду.

Я прочел, но сразу даже не поверил и перечел снова. В приказе говорилось об аресте меня и хорунжего на трое суток за то, что мы о поездке своей не доложили дежурному по отряду.

— Вот тебе и на! — сказал я.

Приказ обошел через все руки, и подтрунивание товарищей посыпалось со всех сторон.

Нечего делать, пришлось отсидеть безвыходно в палатке, около которой мерными шагами расхаживал часовой.

10. ИМПРОВИЗОВАННАЯ БАНЯ. ВСТРЕЧА С КИТАЙЦАМИ. КРЕПОСТЬ АК-ТАШ. ОЗЕРО ВИКТОРИЯ

Послать рабочих по 20 человек с роты! — раздался громкий крик дневального под самой моей палаткой.

Баранов вскочил и полусонными глазами обвел палатку.

— Что такое? Тревога? — беспокойно спросил он.

— Рабочих зовут! — ответил я.

— Ах, рабочих! — И он снова завернулся с головой в одеяло.

— Осип! — крикнул я денщика.

— Чего изволите?

— Куда это рабочих?

— Баню строить; сказывают, что воду горячую нашли.

— Что ты врешь!

— Никак нет, извольте сами посмотреть.

Я оделся и, освежившись водой, направился к берегу реки Аличура.

— Где бани строят? — спросил я попавшегося мне солдата.

— А вон там, ваше благородие, — ответил он, указывая на противоположный берег реки, где около поставленной юрты копошились рабочие.

Я пошел к реке и на керекешной (вьючной) лошади переправился на другую сторону.

— А, в баньке желаете вымыться? — встретил меня капитан П., инициатор импровизованной бани.

— Да неужели в бане? — удивился я.

— Да, и в самой настоящей, натопленной самою природою, — ответил он. — Не верите? Пойдемте. — И он меня повел к юрте, заменявшей баню.

Я был в восторге, полтора месяца не удалось ни разу вымыться хорошенько, когда неделями приходилось спать одетым, а тут — баня.

При нашем приближении рабочие оставили работу и вытянулись.

— Кончили, братцы? — спросил П.

— Так точно, ваше высокоблагородие, почти совсем откопали, теперь юрту с боков заваливаем.

— А отколе это вода такая берется, ваше высокоблагородие? — спросил один из солдат, видимо из менее робких.

— А это, видишь, под землю огонь есть, который и нагревает протекающую близко его воду, вот она и выходит на поверхность земли горячею.

Солдат глупо улыбнулся и, подойдя к собравшимся в кружок линейцам, сказал:

— А чудно, ей-богу, братцы, господа сказывали, что под землею огонь; так как же это мы не спечемся? Должно, брехотня одна.

— Сказывали, значит, так оно и есть, не с твоим кауном¹ господские речи судить.

— Ишь, умник нашелся! — подхватил другой, и солдат сконфуженно ретировался.

— Ну, давай, что ли, чайники, что рот-от разинул! — крикнул на молодого солдата «сердитый» ефрейтор, дядька Максимов.

Солдат нагнулся и зачерпнул в источнике горячую воду.

— А чаю засыпал? — спросил ефрейтор.

— Сейчас, дядька Максимов, засыплю.

— А ты как засыплешь, то чайник-то в воде еще погрей.

— Слушаю.

— Ишь благодать-то, братцы! — повернувшись к солдатам, продолжал ефрейтор. — Господь-то Бог сжалился над солдатом, что ему нечем водицы себе согреть² и готового кипяточку послал.

Скоро под всевозможные прибаутки чайник переходил из рук в руки, наполняя деревянные походные чашки.

После обеда я проходил мимо солдатских палаток и слышал разговор:

— А что, Потапыч, с готового-то кипяточку у меня брюхо уж что-то очень болит, а ты как?

— Да и у меня, дядька Максимов, тоже, — должно, придется к фершалу пойти, чтобы каплев дал.

— А что, и в самом деле в околодок сходить, а то, коли на работу какую нарядят, — беда!

И оба солдата направились к санитарной юрте.

К вечеру число больных желудком увеличилось, а на другой день у горячих ключей не было видно людей с чайниками и манерками, были лишь одни мывшие себе белье да купающиеся.

Весь правый берег Аличура был покрыт как бы небольшими лужами, наполненными чистою прозрачною водою, от которой подымался пар. Над одною из таких луж была поставлена юрта. Густой пар валил сквозь верхнее отверстие ее. Я попробовал было войти в юрту, но это оказалось невозможным, до такой степени в ней было жарко.

Я обошел все ключи; их было семь, и температура в каждом была особенная. Как оказалось по исследовании, вода в источниках сильно насыщена серою, и прибрежные камни имели золотисто-желтый цвет от свободного осадка ее. Самый горячий источник имел 70° R, так что когда мы пользовались природной баней, то пришлось прибавлять в источник много ведер холодной воды,

¹ Каун значит по-сартовски дыня (солдаты про глупую голову говорят так).

² На Яшиль-куле совершенно не было топлива, даже терескен и тот был довольно далеко, приходилось собирать кизяк, а за дровами была командирована целая рота на реку Джань-Каинды.

чтобы иметь возможность мыться в нем. Для этой цели рабочие прокопали канавку и из реки пустили в нее холодную воду.

Что за блаженство было вымыться в подобной бане, и мы все отдали ей должную честь. С самого утра и до заката солнца, когда на бивуаке раздавался оглушительный сигнал к заре, около бани-юрты толпился народ в ожидании своей очереди.

Аличурские горячие ключи за свое целебное свойство почитаются у туземного населения святыми. Они, как говорили мне киргизы, совершенно излечивают застарелый ревматизм, а также многие другие болезни. Афганцы и стоявшие здесь до 1888 года китайцы также считали их священными и даже построили в честь этих источников кумирню с камнем для жертвоприношений Сума-Таш.

Эта кумирня поставлена около китайской крепости, от которой остались теперь одни лишь развалины. В начале восьмидесятых годов китайцы заняли Памиры под предводительством генерала джандарина Джан-Хунга и, подчинив себе киргизов, поставили гарнизон в выстроенной ими крепости Сума-Таш, где и находились до 1888 года. Во время афганской смуты, когда междоусобия в Афганистане заставили Абдурахмана послать свои войска на Памиры, китайцы были прогнаны, а их крепость разрушена, и только кумирня с жертвенником пощажены неприятелем.

После чудной бани, так приятно подействовавшей на мое самочувствие, я зашел в общую столовую, то есть в длинную палатку, поставленную над двумя вырытыми параллельно друг другу канавками, служившими нам для помещения ног. Народу уже было много — все ожидали завтрака.

Около одного конца стола (которым служила тоже земля, обложенная дерном) столпилась группа офицеров. Один из толпы метал банк, прочие понтировали.

— Бита! — раздавался равнодушный голос банкомета, и его рука, как-то особенно жадно растопыря пальцы, сгребала с положенной доски деньги.

— Господа! Да будет вам — завтрак подан, — кричал с другого конца палатки капитан С.

— Да ну вас с вашим завтраком. Здесь серьезная игра, а он с своим завтраком! Ешьте на здоровье, если голодны! — сердито отозвался штаб-капитан, очевидно сильно уже проигравшийся и питавший надежду отыграться.

Мы уселись за еду и, окончив трапезу, направились по своим палаткам, оставив игроков доигрывать свой штос.

День был жаркий, в палатке стояла невозможная духота; я было лег отдохнуть, но пот градом лил с моего лица, и я выполз наружу.

— Чаю хотите? — окликнул меня из палатки военный инженер Серебренников¹, один из самых симпатичных офицеров отряда.

¹ Военный инженер Серебренников — первый русский инженер, производивший постройки на Памирах.

— С удовольствием выпью чашку, — ответил я и направился к палатке капитана. Я очень любил побеседовать с этим человеком, а тут еще надеялся, что он сообщит мне что-либо относительно нашей судьбы. Но нового я ничего не узнал — мы продолжали сидеть в ожидании распоряжений, а распоряжений никаких не поступало. Становилось просто невыносимо.

У Серебренникова я застал есаула В.; он сидел на ягтане и пил коньяк.

— С легким паром! — сказал он, протягивая мне руку. — Правда, прелестная баня?

— Чудо! — ответил я и присел на складной стул.

— А вот Николай Николаевич интересные вещи мне рассказывает, — сказал капитан, обращаясь ко мне, — об этой рекогносцировке, что за два дня до нашего выступления была произведена Скерским¹.

— Да разве ваша сотня ходила? — удивился я, обращаясь к есаулу, — а я думал — третья.

— А то как же, конечно, наша.

— Ну, так рассказывайте, — перебил нас капитан.

Я превратился в слух и приготовил записную книжку. Эта рекогносцировка меня очень интересовала, и я только ждал случая услышать о ней что-либо. И вот случай представился.

— Итак, господа, — начал есаул, — расставшись с отрядом 5 июля, наша сотня двинулась вверх по реке Ак-су. Погода стояла хорошая, лошади шли бодро, да и мы под впечатлением товарищеского завтрака чувствовали себя прекрасно. Часу в третьем дня, миновав местечко Аю-Кузы-Аузы, где сделали небольшой привал, подошли мы к обрывистому берегу реки Ак-Буры, где и остановились на ночевку. Стоянка была довольно сносная, тем более что травы для лошадей нашлось достаточно, но зато ночью вдруг выпал снег, который с первыми лучами солнца начал таять, и к выступлению только в некоторых лоцинках оставались следы июльской зимы.

Целью нашей рекогносцировки было обойти Малый и Большой Памиры, а также очистить от китайцев крепость Ак-Таш, которую они построили на нашей территории, после чего и соединиться на озере Яшил-куль с отрядом.

Чуть свет казаки стали седлать лошадей и вьючить обоз, и мы, напившись чайку и пропустив на дорогу «по единой», выступили в путь. Однако этот переход не особенно-то отличался удобством. Только что миновали мы могилу Гудар, как по пути стали попадаться топкие болота, образовавшиеся от собравшейся с окрестных гор воды. Лошадь ежеминутно увязала в размякшей глине, а тут еще одно обстоятельство, при этом весьма неприятного свойства, заставило нас прийти в отчаяние. Только что моя лошадь успела

¹ Подполковник Скерский ныне состоит при Азиатском отделе Главного штаба; на его долю выпали самые тяжелые рекогносцировки по Памирам в течение 1892—1894 годов.

выкарабкаться на клочок сухой земли, как начальник партии обратил внимание на странный темноватый туман, низко державшийся над видневшимися впереди болотами.

— Смотрите, — сказал он, — а ведь это какое-нибудь мерзкое испарение. Говорят, что в этих дебрях скопляются удушливые газы. Однако же это на нашем пути!

— Все равно не минуешь, надо ехать, — ответил я и с этими словами дал коню нагайку и рысью врезался в видневшийся туман.

Что вдруг со мною сделалось, одному Богу известно.

Я бросил поводья и стал нещадно бить себя по лицу, в которое впилось по крайней мере тысячи три самых злейших болотных комаров, показавшихся нам туманом.

Лошадь моя мотала головой, махала хвостом и вдруг, несмотря на усталость и убийственный путь, понесла меня карьером по направлению к ущелью Шинды-Аузы. Я обернулся назад. Сотня скакала за мною. Казаки махали руками, и до меня долетела ругань, направленная по адресу проклятых комаров. Зрелище было до того комическое, что я, несмотря на то что лицо мое страшно горело и чесалось, от души хохотал, глядя на борьбу человека с комарами и бегство от них. Комары были такие мелкие, что забирались даже под одежду, и долго приходилось потом почесываться и помнить это ужасное место. Однако неприятель наш продолжал преследовать сотню до самого ущелья Шинды-Аузы, где на вырубку явился внезапно налетевший порыв холодного ветра. Комары сразу исчезли.

— А, вот и аулы! — услышал я возглас одного из казаков.

Взглянул и, к своему удовольствию, увидел несколько юрт, уютно расположившихся под одной из нависших скал. Увидя приближающуюся сотню, киргизы выехали к нам навстречу. Это были киргизы, считающие себя китайскими подданными. Типом своим они немного отличались от алайских кочевников и скорее походили на китайцев или дунганов¹, чем на киргизов. Один из них, очевидно старшина, на дряхлой клячонке подъехал к нам и, соскочив с лошади, прижав руки к животу, поклонился.

Сотенный переводчик сейчас же появился на сцену, и мы стали допрашивать старшину о китайцах, но он отвечал нам неопределенно, и я даже подметил в его ответах, что он вполне симпатично относился к китайцам. Надо заметить, что памирские киргизы сильно поддерживают китайцев, любят их и с большою охотой подчиняются воле уполномоченных богдыхана. Во-первых, эта симпатия истекает уже из того, что китайцы не берут никаких податей с кочевого населения, не притесняют своих подданных кочевников, а только требуют, чтобы один раз в год аульные старшины ездили в крепость Таш-Курган на поклон к джандарину.

¹ Дунгане населяют Кашгар; это монгольское племя явилось от смеси китайцев с киргизами.

Конечно, подобное иго вполне сносно для киргизов, и они с удовольствием несут его, тогда как другая часть кочевников страдает под властью афганцев, варварски обращающихся со своими подданными.¹

Старшина нам сказал, что китайцы занимают гарнизон в крепости Ак-Таш, что несколько китайских ляндр недавно были здесь и скоро опять приедут. Говорил, что китайцы хорошие стрелки, одним словом, старался пугнуть нас, надеясь, что мы возвратимся назад. Вслед за тем, соблюдая восточное гостеприимство, он предложил нам занять лучшую юрту. Конечно, мы не отказались от этого и вскоре приятно потягивали чаек, лежа на мягких киргизских кошмах.

Между тем на всякий случай были выставлены пикеты в ту сторону, откуда могли появиться китайцы. Небо мало-помалу заволакивалось тучами, пошел дождь, который лил в продолжение целой ночи. Холод был ужасный, и только юрты выручили нас от весьма неприятного положения, в котором мы бы очутились, сидя под палатками во время такого ливня. Все было спокойно. С рассветом вернулись пикеты, не привезя никаких сведений о китайцах. Мы тронулись к Ак-Ташу.

Здесь значительная высота местами (17 000 футов) особенно давала себя чувствовать. Лошади изнемогали, и дыхание их становилось похожим на шипение паровой машины. Мы ехали, выслав вперед разъезд. К полудню был задержан разъездом китайский кавалерист и представлен к начальнику партии. Это существо вызвало всеобщий дружный смех. Не то старая баба, не то какое-то странное чучело сидело на тощей кляче с закинутою за спиною магазинкой. Это необыкновенное существо махало руками и что-то без умолку говорило. Мы вызвали местного киргиза, который переводил нашему переводчику то, что говорил китаец. Трудно было вести разговоры с подобного рода парламентаром, который не давал возможности дослушать переводимой фразы и снова начинал свое. Он говорил, что китайцы в крепости, что теперь их очень немного, но что вот на днях шесть ляндр² явятся на помощь, и тогда мы будем принуждены уйти отсюда. Между тем, пока длилась эта канитель, я рассматривал наружность китайца.

Знаете, если взять для сравнения самую старую и безобразную киргизку, то можно составить некоторое представление о памирском китайце. Его безбородое, похожее на печеное яблочко лицо, на котором гашиш и опиум положили отпечаток какой-то дряблости и тусклости и придают ему отвратительный вид. Полугнилые черные зубы и узкие прорезы глаз, поднятых наружными уголками кверху, довершают безобразие слуги богдыхана.

¹ К русским киргизы относятся также недоверчиво, и когда мы были на Памире, то не могли узнать ничего достоверного о китайцах, а последним был известен каждый шаг Памирского отряда. Между тем об афганцах нам доносилось киргизами все, и вообще они очень сочувствовали, когда отряд прогонял афганские войска.

² Ляндр — эскадрон.

— Скажи ему, что он может ехать, мы скоро будем в крепости, — сказал начальник партии.

Переводчик передал это китайцу, и тот понесся обратно, надевая свою клячу усиленными ударами нагайки.

Мы двинулись к крепости и через полчаса были под стенами ее. Никого не было видно, как будто бы ни одной души никогда и не находилось на Ак-Таше.

Небольшая глинобитная курганча возвышалась на одном из предгорий и равнодушно смотрела на нас своими черными бойницами. Мы въехали в укрепление, и следующая картина представилась моему взору: целая толпа таких же чучел, какое уже попало нам навстречу, стояла со сложенным перед собою оружием. Лица их, как будто отчеканенные одним и тем же штампом, были необыкновенно схожи между собою, а головы, повязанные синими платками, украшенными белыми узорами, с торчащими кончиками на затылке, напоминали деревенских баб.

— Да, никак, это бабы! — раздавалось между казаками. — Ей-богу, бабы, а не солдаты, тьфу ты, гадость какая! — сердился урядник.

Обмундировка этих солдат состояла из куртки без рукавов, сделанной из плотной грубой материи с кругами на груди и спине, на которых гласила надпись, с какого года на службе состоит воин, какого рода оружие, чин, звание и фамилия, а также название лянцзы. Длинный коричневый полукафтан с боковыми разрезами, спускавшийся до самой земли, имел вид сарафана. По бокам коленкоровые набедренники, спускавшиеся до колен, поддерживались такого же цвета чулками. На ногах их пестрели узорами вышивки желтые сапоги, подбитые войлоком.

Я подошел к одному из них и взял лежащую перед ним магазинку. Китаец вздрогнул, покосился на меня, но сейчас же успокоился, лишь только я положил обратно его собственность. Это была магазинка Винчестера и притом в весьма сносном состоянии. Ни ржавчин, ни царапин не было видно. Однако не у всех оказалось подобное оружие. Тут были и мултуки (фитильные ружья), и даже шомпольные ружья тульской фабрикации, и английские скорострельные карабины, а также две или три, не помню, берданки. Зато холодное оружие было у всех одинаково и отличалось выдержанностью китайского стиля. Оно состояло из клинча (прямая шашка) в 1¹/₂ аршина с прямым обоюдоострым клинком и костяною рукояткою с предохранительным кружком, сделанною из чешуи какого-то животного, — думаю, что или из кожи змеи, или шкуры крокодила.

Их начальник, ксуак, то есть унтер-офицер, объяснил нам, что он не хочет драться или вообще вступать в ссору с русскими, так как не уполномочен на это своим правительством, но что, если мы займем крепость, то придут китайские лянцзы красного и синего знамени и прогонят нас. Несчастный китаец думал, что

мы намерены задержать его гарнизон, и даже выразил крайнее удивление, когда ему было сказано, чтобы он убирался восвояси.

Лишь только переводчик передал это, как китайцы схватили свое оружие, вскочили на лошадей, понеслись из крепости, перегоняя друг друга, и скоро исчезли в ущелье. Они, по-видимому, ужасно боялись, как бы мы не передумали нашего великодушного решения и не вернули их обратно.

Вообще, надо заметить, что пограничные китайские войска не отличаются боевою подготовкой и только называются солдатами, на деле же они никуда не годятся. Они набираются преимущественно из китайцев, уроженцев провинций Кашгар и Анси, и охотно несут регулярную службу за 6 лан в месяц, то есть на наши деньги около 12 рублей. Между тем иррегулярное войско и по наружному виду, и по качеству представляет полную противоположность первому. Оно состоит из кашгарских каракиргизов и изображает что-то подобное нашим казакам. Их скуластые плоские лица, черные чалмы, длинная пика и винтовки за плечами придают им весьма внушительный и воинственный вид. Они прекрасно владеют пикой и метко стреляют. Мне пришлось однажды видеть, как подобный кавалерист убил из винтовки бегущего памирского зайчика. Однако эта кавалерия очень незначительна, да и мало полезна для китайцев, так как, не получая никакого вознаграждения, отбывает свою повинность и для существования своего занимается грабежом, нередко нападая и на китайцев.

Лишь только уехал храбрый гарнизон из крепости, я пошел осматривать и наносить план ее на походный планшет. Это укрепление было попросту четырехугольное пространство, обнесенное глинобитною стеною, вдоль которой с внутренней стороны тянулась стрелковая ступень. По фронту фасы его имели 34, а в глубину 32 шага с 17 бойницами по длинным и 13 по коротким фасам. Здесь было устроено также помещение для гарнизона и лошадей. Несколько мешков ячменя да немного муки, которые трусливый гарнизон впопыхах оставил в крепости, достались нам, и наши лошади на славу поужинали китайским кормом, а мы, переночевав в ней и отправив донесения, с рассветом выступили дальше.

Дорога наша тянулась по довольно широкой долине и вела к рекам Ак-су и Кара-су. Я любовался на мертвенно-грозные скалы, резко выделявшиеся на голубом небе. Иногда орел, распутив огромные крылья, высоко парил над нами, высматривая себе добычу. Но вряд ли мог царь птиц здесь что-нибудь высмотреть. Скалы, камни и песок, отсутствие живности — вот обстановка, которая окружала нас. Миновав несколько небольших подъемов, мы спустились к реке и перешли вброд Ак-су, а затем, проходя по небольшому ущелью, переправились и через Кара-су. Последняя переправа была очень неудобна. Малейшая неосторожность всадника или неверный шаг лошади — и оба они наверное погибнут безвозвратно, так как река при достаточной глубине так быстро-

течна и несет такое множество камней, что лошадь ежеминутно рискует получить страшный удар в ногу, и тогда умение сдерживать ее является спасителем всаднику — иначе же конец. Раз лошадь упала, ее уже не поднимешь — быстрые воды унесут и ее, и седока.

После переправы ландшафт сильно изменился. Кое-где попадалась зеленеющая трава. Киргизские аулы с большим количеством баранов и яков стали встречаться все чаще и чаще. Следуя болотистым берегом реки Кизиль-Рабат, оставляя аулы в правой стороне, мы стали заметно подниматься на перевал того же имени.

— Однако, господа, мы заночуем под перевалом, — сказал нам начальник партии.

— Почему же это? Ведь еще рано, и мы смело перевалим через него, — заметил ему я.

— Вот то-то и дело, что не перевалим. Меня особенно предупредили насчет этого места, и даже на карте Ионов мне отметил его как самое неприятное. Здесь царит так называемый тутек, — сказал он.

— Тутек? Что это такое? — удивился я.

— А видите ли, — объяснил мне капитан, — тутек значит удушье; происходит оно оттого, что в этом месте благодаря свойству почвы, а также безветрию скопляется угольная кислота, которая приблизительно на протяжении более половины человеческого роста держится над землею. Этаких мест довольно много на Памирах, и они являются истинным бичом для путешественника, потому что раз только человек или лошадь упадет на землю, то подняться им не суждено, они наверное задохнутся. Я вас прошу, господа, — сказал он нам, — особенно следить за людьми, чтобы они не отдыхали и не садились на землю для различных надобностей — упаси Бог, если даже будут чувствовать себя совершенно больными, — это здесь неминуемо. Ну, как же я могу решиться, не запасшись свежими силами, преодолеть такую преграду?!

Конечно, мы вполне согласились с мнением начальника и охотно переночевали под перевалом.

При подъеме было очень холодно. Сырой ветер пронизывал меня до костей, проникая даже сквозь теплый бешмет. Крупные осколки скал загромождали и без того узкую тропу, так что все время приходилось лавировать между ними, а также поминутно пересекать текущие с перевала ручьи. Несколько небольших озер, лежащих по склону горы одно выше другого и соединенных шумящими протоками, попало нам по пути, но они были совершенно мертвы. Ни птицы на их водах, ни рыбы не было заметно в них, и только пустынная масса воды мрачно смотрела среди серой, неприглядной обстановки. Вот около этих-то озер мы и почувствовали тутек. Я не знаю, что в это время ощущали другие, но я постараюсь передать вам то состояние, которое испытывал я, и то, что видел я, наблюдая сотню и товарищей. При подъеме ко второму озеру меня начало душить. Ворот казался узким, и я расстегнул его, но это не помогало. В ушах стоял шум, а в висках

стучала кровь. Удары сердца становились очень неровные. То вдруг казалось мне, что оно переставало биться, дыхание захватывало, и я в испуге невольно хватался за грудь и щупал пульс на руке — мне казалось, что я умираю. Биение пульса было еле-еле слышно. Это явление очень скоро проходило. Несколько раз кровь лила из носа, а как я заметил, то у многих слюна была сильно окрашена кровью. Лошади сопели и поднимали кверху свои морды. Я чувствовал полное ослабление. Рука моя устала держать повод и свалилась на луку, пашка оттягивала плечо, голова склонялась, и вдруг на меня напала полная сонливость. Мне хотелось спрыгнуть с лошади, свалиться на камни и заснуть. О, сколько бы я дал тогда за осуществление моей заветной мечты! Каждый камень, бросавший тень на песок, манил меня под свою сень. Лошадь моя стала спотыкаться, так что пришлось слезть и идти пешком. Казаки все уже спешили. Две вьючные лошади издохли, а все остальные страдали острым катаром кишок.

— Кто там сел? — услышал я голос капитана.

— Моченьки нет, ваше высокоблагородие, живот подвело.

— Встать! — крикнул капитан. — Экий ишак¹ этакий! Умирать тебе захотелось, что ли? Вот спустимся с перевала, и все пройдет.

Казак неохотно поднялся и, сгибая колена, поплелся далее. Часа полтора спустя, издохли еще три казачьи лошади. Тяжело было видеть, как боролось бедное животное со смертью, как задыхалось оно, лежа на земле, не в силах подняться на ноги, как молил его кроткий взгляд о помощи.

Положение мое становилось критическим. Живот болел нестерпимо — хотелось кричать, и памирская болезнь разразилась со всей своей силой.

Мне напоминает это положение морскую болезнь, с тою разницею, что некоторые выносят ее, здесь же каждого постигает совершенно одинаковая участь — каждый должен отдать дань Памиру, — и мы ее отдали.

Спустившись с перевала и потеряв нескольких лошадей, мы остановились на берегу реки Кара-су, южнее кладбища Джарты-Гумбез, и навестили могилу ефрейтора Лохматкина, умершего от тутека во время первой рекогносцировки генерала Ионова в 1891 году. Печально смотрел на нас одинокий крест, сколоченный из палок походных носилок, на которой и умер первый русский солдатик на Памире.

С каким удовольствием, несмотря на холод и на ветер, выкупался я в реке, тем более что лишь только спустились мы в долину Малого Памира, как силы наши возобновились и болезненное состояние исчезло. Мы даже были в весьма хорошем настроении духа и подшучивали друг над другом.

Далее нам предстоял путь к Большому Памиру по отвратительной дороге, ведущей к озеру Виктории (Зор-куль). Ветер продолжал

¹ Ишак — осел.

дуть в лицо. Несколько озер попало нам по пути, и целые стаи гусей и уток держались на водах их, так что выстрелом из винтовки мне удалось убить сразу двух.

Наконец мы спустились по очень неудобному и каменистому откосу и вышли на котловину, окаймленную со всех сторон кольцом снеговых гор. Котловина эта тянулась с востока к западу, имея продолговатую форму. Густые белые облака затянули небо как бы сплошную пелену, и только иногда солнце, прорываясь через их сероватую массу, освещало седые, закутанные в облака, мрачные вершины, которые, как бы любясь своим величием, отражались в зеркальных водах громадного Зор-куля, напомилавшего кусок зеркала, положенного среди этой котловины. Несмотря на июль месяц, здесь было очень холодно, и только успели мы оставить палатки, как повалил снег, закружилась метель, и июльская зима нисколько не уступала северным февральским. В какой-нибудь час все уже было бело, и толстый слой снега покрыл всю котловину, а окрестные горы были почти незаметны под закутавшей их белой пеленою. Не скажу, чтобы было приятно ночевать в палатке, тем более что раздобыть огня и топлива для согревания воды не было никакой возможности, и оставалось одно средство — это закутаться в теплый тулуп и, завалив себя кошмами, постараться, если позволит холод, уснуть, что я и сделал.

На сей раз холод оказался снисходительнее и неособенно беспокоил меня и только иногда пробегал вдоль спины. Я спал крепко, а между тем снег все сыпал и сыпал, и слой его, все прибывая и прибывая, заваливал мое незатейливое жилище, и наконец я с палаткой совершенно скрылся под ним.

Пройдя рекою Памир, мы преодолели значительный перевал Каинды и стали подниматься на Хоргуш. Чудная картина, представляющая собою резкий контраст памирской природе, открылась перед нашими глазами на перевале. Он весь был покрыт зеленым ковром сочной травы, на котором пестрело всевозможными колерами множество полевых цветов. Но только мы спустились к озеру Чукур-кулю, как опять серая пустыня сурово открылась перед нами. Здесь нас встретили киргизы и сообщили, что на Аличуре стоят афганцы. Приняв все меры предосторожности в полной готовности на отпор в случае внезапного нападения, мы двигались к Яшиль-кулю. Я ужасно желал скорее встретиться с афганцами, мне хотелось сильных ощущений; но не суждено мне было испытать их; они выпали на вашу долю, счастливицы. Какая страшная досада охватила меня, что не днем раньше мы пришли на Яшиль-куль. А все тутек проклятый, не будь его, не дневали бы и моим мечтам пришлось бы осуществиться. Ну, да еще впереди много предстоит. Поживем — увидим.

Есаул встал.

Мы поблагодарили его за любопытное сообщение, пожали друг другу руки и разошлись по палаткам.

11. ОБРАТНО НА МУРГАБ. ПЛЕННЫЙ. АФГАНЦЫ И ИХ ВОЙСКА

Слышали, господа? — сказал, войдя в нашу палатку, батальонный адъютант.

— Ничего не слышали, да говорите скорее. Поход? Двигаемся дальше? — спросили мы в один голос.

— Да, как раки, назад идем на Мургаб.

— Да быть этого не может. Что за чушь, — сказал Баранов.

Я тоже не верил.

— Ишь, Фома неверный. Читайте, — сказал адъютант, подавая книгу приказов моему сожителю, — а кстати, прослезитесь и напишите, — прибавил он.

Действительно, в приказе было сказано, что согласно распоряжению военного министра далее не двигаться, а возвращаться на Мургаб, где и приняться за постройку укрепления для зимовки.

— Вот тебе и Шугнан! — сказал Баранов. — И чего это Ионов сидел. И без провианта бы дошли. Положим, уж лучше идти назад, чем без цели сидеть на Яшиль-куле, — ворчал мой сожитель.

Я был с ним вполне согласен, и мне ужасно надоело это торчание здесь. Но теперь оставался открытым вопрос, идем ли мы все обратно в Маргелан или зазимуем на Памире? Все ходили недовольные, грустные, а тут еще слухи о холере заставляли семейных беспокоиться о судьбе своих семейств. Каждая почта привозила известия о смертности, начавшей проявляться и среди русского населения. Уныние было всеобщее.

— Когда же выступаем? — спрашивали мы друг друга, но никто ничего не знал.

Настало 22 июля, день тезоименитства императрицы; был назначен парад. Накануне с утра все чистилось, и все, по возможности, приводили себя в парадный вид, хотя это было довольно мудрено, потому что у большинства вместо одежды висели какие-то отрепья, а сквозь сапоги торчали портянки, — вид был довольно жалкий. Но свойство русского солдата таково, что если приказано быть в парадной одежде, то, стало быть, это так и надо — хоть выдумай, а будь в целой рубашке, чембарах и чехле. И действительно, все были если не прекрасно, то сносно одеты, и отряд имел достаточно парадный вид.

В день парада с праздничными лицами выстроился батальон развернутым фронтом, а артиллерия приготовилась для производства салютационной стрельбы.

Вот идет начальник отряда. На нем белый китель с шарфом. Офицерский Георгиевский крест красуется в петлице; штабные чины следуют за ним. «Смирно!» — раздается команда. — «На плечо!» — «Слушай, на краул!» Музыка играет встречу.

— Здорово, братцы! — слышится голос начальника.

— Здравия желаем, ваше высококордие! — гудят в ответ сотни здоровых грудей.

Полковник берет чарку с водкой и, подняв ее кверху, говорит:

— Ребята! Вот нам на «крыше мира» приходится отпраздновать торжественный день тезоименитства нашей матушки-царицы. Пусть наши молитвы о ней и громкое искреннее «ура» принесут Ее Величеству счастье и долгоденствие. За здоровье матушки-царицы «ура»!

И при грохоте орудий долго разливалось по ущельям эхо дружного, громкого, русского «ура». Затем, после тостов и церемониала, нижние чины пили водку, а у начальника отряда был обед для офицеров.

Иду я на другой день мимо юрт, в которых помещались пленные, как вдруг меня окликнул кто-то из юрты: «Тюра, бери кель» (господин, поди сюда).

Я подошел. Смотрю: на кошме в кибитке сидят афганцы, а между ними и захваченный их офицер, который говорил по-узбекски.

— А, саломат, тюра, калай-сыз?¹ — спросил он.

— Спасибо. — И я пожал протянутую руку.

Я любил этого афганца; что-то неотразимо симпатичное было в выражении его лица. Часто я заходил поговорить с ним и на сартовском языке и беседовал по несколько часов. Теперь лицо его выражало необыкновенную тоску.

— Правда, что нас расстреляют? — спросил он.

— Что? — вытаращил я на него глаза. — Откуда ты это взял?

— Да вот керекеша говорят, что будто приказ пришел такой.

— Нет, нет, будь спокоен, — сказал я ему, — это все вранье.

Вас, наверное, на днях отпустят.

— Эх, не верится мне что-то, — видно, не увижу я Файзабада.

А знаешь, тюра, у меня в Файзабаде жена и сын остались; жалко их, без меня они пропадут. А жена-то красавица какая! Вот, и у Гулдабана невеста осталась, тоже поди ждет, — сказал он, указывая на молодого афганца, уцелевшего после стычки.

Афганец не понял, о чем говорят, но, видя, что речь коснулась его, улыбнулся, оскалив свои чудные зубы.

— А жалко, тюра, что лошадей наших продали. Я слезами обливался, когда вчера аукцион был. Ведь мой-то конь вырос со мною, это питомец мой... эх... — Афганец тяжело вздохнул.

Я понимал его, и мне было стыдно за это распоряжение. Действительно, к чему было продавать афганских лошадей? — вспомнилось мне.

Афганец сидел, низко опустив свою красивую голову, и, видимо, о чем-то думал. Вдруг он вскинул на меня своими глазами и совершенно неожиданно спросил меня:

¹ Здравствуй, как здоровье?

— Хочешь, тюра, я расскажу тебе про себя?

— Очень буду рад, пожалуйста.

Я видел, что пленному хотелось поделиться с кем-нибудь своим горем и радостью, он хотел, видимо, в рассказе утопить ужасное чувство неизвестности, которое переживал. Когда он увидел во мне человека, расположенного к нему, у него явилось желание познакомиться меня поближе с собою и, кроме того, хотелось отблагодарить за внимание к себе. Он, очевидно, подметил, с каким любопытством я отношусь к его рассказам и даже многое записываю, вот он и решил доставить мне удовольствие.

— Знаешь, тюра, я не афганец, — начал он, — я узбек, сарт по рождению. Родился я в Коканде, в то время, когда ханством управлял Худояр-хан. Отец мой был серкером (сборщиком податей) и состоял на ханской службе. Мать моя, как я помню, была женщина красивая и молодая. Знаю, что про нее рассказывали, что такой красавицы еще не бывало в Коканде. Жили мы не бедно, и каждый день толпа родственников приходила к нам есть пелая (плов).

Был у моего отца брат — ученый мулла, который учил молодых людей в медресе (университет). Часто он приходил к нам и всегда сидел до глубокой ночи. Отец его очень любил и когда уезжал надолго, то поручал наш дом его надзору. Мать моя тоже ласково относилась к нему. Однажды отца не было дома, время было осеннее, дождь целый день лил как из ведра, так что я не выходил на улицу. Дядя мой сидел пасмурный, как и погода, он даже с матерью почти не разговаривал. Так прошел день, и я, помолвившись Аллаху, лег в углу сакли, закутавшись в одеяло.

Было уже поздно, когда меня разбудил тихий разговор. Я насторожил свое ухо и различил голос дяди, говорившего, очевидно, моей матери. Я не понимал тогда, что он говорил ей, и только помню, что мать каким-то печальным голосом говорила: «Нет, нет, нельзя, Аллах не велит, нельзя!»

Вдруг что-то случилось странное. Мать взвизгнула и бросилась в сторону, а в темноте раздалось какое-то рычание...

Я быстро вскочил на ноги и бросился туда, откуда мне послышался крик.

В это мгновение сильная рука дяди схватила меня за ворот рубашки, и я полетел в противоположный угол сакли.

— Спи, ахмак (дурак), — раздалось мне вслед, и я, перепуганный, лег на свое ложе и закутался одеялом.

Дядя зажег чирак (светильник), и я увидел, что лицо его было искажено злобой. Мать моя сидела на полу и плакала. Я хотел броситься к ней на шею, целовать ее, плакать вместе с нею, но я не смел; я боялся дяди и знал, что если я только двинусь с места, то он избьет меня. Я лежал молча и думал, о чем может плакать моя мать. Дядя хотя и злой человек, соображал я, но он любит

мою мать, я сам сколько раз слышал, когда он ей говорил об этом, и, размышляя на эту тему, я крепко уснул.

Когда я проснулся, мать моя еще спала, дяди не было. К полудню вернулся отец и привез для матери шелковую рубашку, а мне надел шитую золотом тибетейку; я очень обрадовался, а мать моя потом, когда отец ушел в мечеть, начала плакать. Вдруг она подошла ко мне и, схватив меня на руки, прижала к своей груди и зарыдала. Я тоже начал плакать. Затем она порывисто оставила меня и ушла в соседнюю саклю. Несколько минут я стоял на месте, но вдруг что-то как будто потащило меня за матерью, и я побежал туда, куда ушла она. В сакле было мрачно, и я сначала никого не заметил; только какой-то тихий храп раздавался в потемках. Я окликнул мать — ответа не было. Тогда я распахнул ставни.

Моя мать лежала в углу сакли, лужа крови была около нее, зубы были сильно оскалены, на шее зиял глубокий разрез, а рука конвульсивно сжимала нож. Я тогда не понял, что она зарезала себя, но я понял, что совершилось что-то ужасное, и в страхе бросился назад в саклю и, забившись в угол, просидел до вечера. Я видел, как прибежал отец и стал что-то кричать; я слышал, как дядя мой упрекал отца, что он убил жену. Но я тогда своим детским умом понял, что не отец причина смерти матери, и обвинял дядю как убийцу ее.

Теперь я понимаю все, но тогда это темное дело было для меня чернее ночи. Видел я, как связали моего отца и увели. Дядя остался хозяйничать в доме. Никто на меня не обращал внимания — матери я уже больше не видел.

Через два дня у нас в городе только и было речи, как будут казнить моего отца за то, что он зарезал свою жену, и толпа народа пошла на базарную площадь.

— Ну, пойдем вместе, — сказал мне дядя, — увидишь, как твоего отца зарежут за то, что он убил твою мать. Вот и тебя также казнят, если ты такой же будешь, — сказал он.

Мне было ужасно страшно, но вместе с тем очень хотелось посмотреть, как это зарежут отца. Я видел, как баранов режут, и мне тогда только было непонятно, куда же это денется отец, когда его зарежут. Я спросил об этом дядю, но он меня выругал дураком и ударил по затылку.

На площади было много народа. Посреди возвышалось лобное место. Преступников было 30 человек; были между ними молодые и старые; в числе последних я узнал и отца. Он, понуря голову, стоял, сложив на животе связанные руки.

Пришел мулла и прочитал молитву, и вот одного за другим стали брать какие-то люди, что-то делали с ними и потом бросали их на землю. Вот и отец мой подходит к джигиту в красном халате. Взглянул я, и мне показалось, что отец глядит на меня своим

добрым взглядом — мне вдруг почему-то стало его жалко, а вместе с тем ужасно хотелось увидеть, как это его зарежут.

Палач взял его за бороду, и больше я ничего не видел — его бросили, где лежали и остальные казненные. Не знаю почему, мне вдруг сделалось так страшно, что я затрясся, как в лихорадке, и, рыдая, побежал по улице.

Опомнился я у городских ворот, подумал мгновение, какая-то неестественная сила управляла мною — я вдруг решил не идти обратно и направился вперед по Маргеланской дороге. Солнце уже совершенно зашло за Алайские горы, когда я присел у дувала¹ кишлака. Я сильно утомился, голод мучил меня, но усталость взяла перевес, и я крепко уснул. Проснулся я рано утром — кто-то толкал меня в бок.

— Чего ты тут лежишь? — спрашивал меня старик с длинной белой бородою. — Откуда ты?

Я сказал.

— А отец твой где?

— Отца зарезали.

— А мать?

— И мать зарезали.

— Ах ты, несчастный, — сказал старик, — ну, пойдем со мной.

Я последовал за ним в саклю. Какие-то люди с черными бородами, какие бывают только у таджиков, сидели вокруг подноса, на котором лежали лепешки. Мне дали чашку чаю и нан². Я с удовольствием утолил свой голод. Люди, бывшие в сакле, говорили по-таджикски, и я ничего не понимал, но замечал, что речь идет обо мне. Один из них дал старику денег и, взяв меня за руку, повел из сакли.

— Садись, — сказал он мне, указав на ишака, жевавшего клевер.

Я сел, а сзади меня уселся и таджик — мы отправились. Ехали мы долго по таким большим горам, что мне часто делалось страшно, и я боялся, что сорвусь и упаду в пропасть. Таджик меня не бил, не ругал, поил чаем и кормил — одним словом, обходился хорошо. Таким образом мы и приехали в Файзабад. Вот тут-то и началась моя новая жизнь.

Меня продали одному афганцу, Мусса-Мамату, который взял меня вместо сына и, когда мне исполнилось 11 лет, отдал меня в школу.

Учился я хорошо, выучился писать и читать, и вот меня мой новый отец повез в Кабул, где и определил в военное училище. Трудно было мне учиться в этой школе. Там воспитывались дети именитых афганцев, и мне приходилось переносить побои и насмешки, но я сносил все терпеливо и пробыл пять лет в Кабуле.

¹ Дувал — забор.

² Нан — хлеб.

Мне стукнуло 16 лет, и я уже был выпущен солдатом в афганскую гвардию, куда попал благодаря своему росту и наружности.

Маджир, командир полка, полюбил меня, и через год я был дофордаром, то есть унтер-офицером. Я часто ходил в гости к своему начальнику, и мы жили душа в душу. Но вот и мое сердце забило тревогу. У Маджира была дочь — красавица писаная. Полюбил я ее всею силой молодой любви, и не ускользали от меня и ее долгие взгляды, когда, бывало, я сиживал вечерами у отца ее. Взял я да и признался Маджиру в моих чувствах к его дочери. Обрадовался даже старик, спросил свою Ляйлю, хочет ли она за меня замуж идти, а она только этого и ждала. Ну, и сыграли свадьбу. Эх, как счастлив-то я был! Через год у меня и сын родился — обрадовался я, что не дочь, — у нас, у афганцев, считается позором, если первенец девочка родится. А тут еще эмир мне и офицерский чин пожаловал; только ты, тюра, не говори, пожалуйста, никому, что я офицер. Прошло два года, а тут вдруг восстание вспыхнуло. Расстался я с женой и целый год воевал в Шугнани и Рошани, да Аллах милостив, остался невредим — в каких перестрелках-то бывал, и хоть бы одна пуля задела, а вот теперь попался в западню, точно волк какой. Уж умирать, так в бою, а теперь расстреляют, как собаку. Как подумаю, так просто руки на себя наложить готов, а тут еще сердце ноет, что с женой да с сыном станется...

У афганца сверкнули слезы, но он быстро оправился.

— Ну, кулдук, тюра, вижу, что меня любишь, и я тебя люблю. Узнай, пожалуйста, когда с нами покончат.

— Ничего с вами не сделают, отпустят вас домой к себе с Богом, вот и все, — сказал я.

Афганец грустно улыбнулся и ничего не возразил, и в его взгляде я прочел уверенность в своем предположении и полное недоверие к моим словам.

— Ну хош¹, — сказал я, пожав ему руку, и отправился к себе в палатку, переполненный чувства симпатии к пленнику.

Да, к чести афганцев, о них можно сказать много хорошего, а потому я и остановлюсь на описании этого оригинального и в высшей степени интересного племени среди населения Средней Азии.

Афганцы резко выделяются среди окружающих их народностей Востока и представляют собою полный контраст изнеженному, ленивому жителю Азии.

Этот немногочисленный народ, сплоченный как бы в одну семью, проникнутую воинским духом, не поддавался влиянию жаркого Востока, а строго сохранил свои обычаи и остался верным простой и суровой жизни.

¹ Хош — прощай.

Цивилизация, вносимая повсеместно англичанами в завоеванные ими страны, не произвела на афганцев того разрушающего действия на их нравственность, что в большинстве случаев мы видим в просвещенных англичанами недавно, а также давно перешедших к ним странах Азии, Африки и других частей света. Афганцы, напротив, извлекли из нее по возможности только одни хорошие качества и преимущественно обратили свое внимание на то, что касалось усовершенствования их военного дела. Они познали всю необходимость прогресса в нем, деятельно принялись за укрепление своей страны и, не щадя своих небольших средств, упорным трудом довели его до сравнительно больших размеров.

В конце этого столетия успех афганцев в военном искусстве был доведен уже до того, что они справедливо могут быть названы первым воинственным народом среди азиатов.

При живом и несокрушимом характере, неустрашимой храбрости и любви ко всевозможным приключениям афганцы при благоприятных условиях, если бы употребили вовремя все усилия для защиты своей независимости от западных и северных народов, без сомнения, увеличили бы свою территорию и перенесли бы свои границы за пределы Ак-су и к подножию Эльборуса. В таком случае России вместо покорения Хивы и Бухары пришлось бы вести более серьезную и продолжительную войну с Афганистаном, которая в конце концов без сомнения окончилась бы в пользу ее, но и результаты русских были бы более значительны, чем в настоящее время. Вопрос Центральной Азии был бы упрощен и сразу разрешен уничтожением афганцев и их престижа.

Нередко в истории мы видим случаи, когда около большого государства находится маленькое и на первый взгляд почти незаметное, которое между тем поставлено в такие условия, что безнаказанно причиняет первому немало беспокойства. Вот таким-то государством является в настоящее время и Афганистан.

Англичане, находясь в постоянном опасении за Индию, хорошо осознали всю важность враждебных отношений Афганистана к России, а потому всеми мерами старались завладеть этим государством, не пренебрегая никакими способами для достижения намеченной цели.

Между тем снабжение Англией такого народа, как афганцы, оружием, боевыми припасами, обучение их офицеров, которые имеют довольно систематическую подготовку в школах, устроенных на английский лад, и в свою очередь прекрасно обучающих солдат, несомненно со временем обратится на самих же англичан, и напрасно думают они, что в критический момент афганцы будут служить им помощниками. Напротив, они сами восстанут против Англии, если Россия не коснется их владений. Афганцы не боятся англичан и, напротив, опасаются России, о чем, даже несмотря на свою хвастливость и заносчивость, не стесняясь, говорят сами.

Какого мнения о русских афганцы, можно заключить из довольно интересной беседы моей с одним афганским офицером, с которым я встретился на Памире, а именно с майором Мурад-ханом, vezшим письмо от Абдурахмана к полковнику (ныне генералу) Ионову.

Этот офицер произвел на меня самое отрадное впечатление и из разговора с ним я с удовольствием заметил, что он человек сравнительно образованный, не лишенный остроумия, весьма находчивый и, как говорится, в карман за словом не полезет. Мне было крайне любопытно узнать о взглядах афганцев, в лице этого майора, на нас, русских, и я повел беседу на эту тему.

Принимая во внимание, что Мурад-хан был в своих рассказах несравненно скромнее встреченных мною афганцев на Яшиль-куле после стычки, я придаю его сообщениям немалую долю вероятия, тем более что в его рассказах можно было ясно различить ложь от правды.

На вопросы мои об афганских войсках и их организации он вначале давал краткие уклончивые ответы вроде отрывистых фраз, например: «очень много» или «очень храбры», «вооружены прекрасно». Когда же я коснулся политических действий его правительства, он коротко и резко оборвал меня фразой: «Про то начальство знает». Но тем не менее, лишь речь зашла про англичан, он воодушевился, глаза его зажглись каким-то злобным огоньком и он так быстро заговорил, что переводчик еле поспевал за ним, и мне стоило больших усилий обрывать его рассказ, хотя на короткое время, дабы дать возможность ориентироваться переводчику. По тону его можно было заметить, как он ненавидел англичан. Например, он так увлекся, что отрицал совершенно какую бы то ни было зависимость афганцев от Англии; говорил, что у афганцев теперь свои оружейные заводы, свои военные школы, выпускающие вполне образованных офицеров. Он с непритворным ожесточением говорил мне про антагонизм всего населения против англичан, причем привел для примера факт, как афганцы однажды перебили все английское посольство в Кабуле¹ и как еще в 1878 году, когда эмир Шир-Али торжественно принимал русское по-

¹ В 1879 году Каваньяри, офицер английской службы, прибыл в Кабул во главе миссии с конвоем в 50 человек пеших и 25 конных сипаев. В это время в Кабуле было большое скопление афганских войск, весьма враждебно настроенных против англичан. Без всякого повода со стороны последних афганцы вдруг атаковали здание посольства и открыли по нему убийственный огонь. Малочисленный отряд отвечал на выстрелы выстрелами и под начальством лейтенанта Хамильтона три раза атаковал осаждавших. Тогда афганцы выставили два орудия против миссии, которая продолжала все же держаться на своей позиции. Наконец, храбрый Хамильтон пал мертвым. После этого сам Каваньяри и доктор Келли вместе с уцелевшими сипаями бросились на афганцев и все были до одного перебиты. После этого англичане начали свой поход на Афганистан.

сольство генерала Столетова, в то же время наотрез отказал в приеме английской миссии, выехавшей уже в Кабул.

— Слово «инглиз» (англичанин) считается у нас ругательством, — добавил майор.

— Мы любим русских, — говорил он, — за то, что они храбры и великодушны, и мы готовы даже содействовать им, если они вздумают идти на Индию; нам не нужна она, мы довольствуемся своим Афганистаном и только пламенно желаем одного, чтобы русские не касались нашего государства. Если же только Россия поднимется на Индию, Афганистан будет в передних рядах ее.

Про Абдурахмана, как истинный патриот, Мурад-хан говорил с особенным жаром. Он хвалил его, как мудрого и справедливого правителя, и при этом прибавил, что, несмотря на то что не проходит дня без казни в Кабуле, афганцы горячо любят своего правителя (вероятно, увлеченный патриотизмом, майор забыл прибавить, что Абдурахман казнит в большинстве случаев жителей покоренных ханств).

— С пленными афганцы обращаются, как и русские, — говорил майор, — и только жестоко наказывают изменников.

Он немало изумился, когда я ему рассказал несколько эпизодов из афганской смуты, бывшей в 1888 году и описанной в брошюре нашего известного и симпатичного путешественника Б.Л. Громбчевского, который был очевидцем варварства афганцев по отношению к жителям восставших ханств.

— Да, это так, — сказал он, — но что бы делали вы, русские, если бы ваши восточные народы поднялись с оружием в руках и стали бы громить ваши города?

На это я ему возразил, что и среди наших покоренных народов бывали возмущения, но мы обходились без таких зверских расправ и наказывали только виновных.

Афганец ничего мне не ответил и спустя немного времени пробормотал: «То вы, а то мы!»

На стычку 12 июля он смотрел весьма здраво и говорил, что капитан Гулям-Айдар-хан вполне выполнил свой долг, но осуждал его за то, что он открыл огонь против русских без приказа Абдурахмана, который, по его словам, не желает быть врагом Белого Царя. Во время разговора о наших спорных границах на Памире он даже довольно своеобразно сострил.

— Вот, вы считаете, что Ляангар ваш, — сказал майор, — так почему же даже и в настоящее время там стоит наш кавалерийский полк?

— А потому, — возразил один из офицеров, — что ваш полк нисколько нам не мешает, а если бы он оказался нам вредным для нашего движения, то мы нашли бы средство устранить это препятствие!

— Так, — сказал Мурад-хан, — так Ляангар ваш?

— Да, наш, — утвердительно ответил поручик К.

Афганец усмехнулся, блеснув своими жемчужными зубами, и, взяв предложенную папироску, прибавил:

— В таком случае Петербург мой!

Подобная острота вызвала всеобщий хохот, к которому, однако, не присоединился наш афганский гость, продолжавший с серьезным лицом затягиваться папироской.

Кто-то было затеял разговор о деле под Кушкой, но мы порешили, что это, без сомнения, заденет самолюбие афганца, и переменили этот, могущий быть неприятным нашему гостю, разговор на другую тему; мы заговорили о вознаграждении офицеров в различных армиях.

— Вот, англичане богаты и хорошо платят своим войскам, — сказал Мурат, — а русские не обладают такими средствами, и, несмотря на то что ваши генералы и офицеры гораздо лучше английских, они оплачиваются несравненно хуже, — и крайне удивлялся нашим, по его мнению, весьма малым окладам. На это я ему возразил, что мы, русские, служим из чести служить в войсках своего отечества и за платой не гонимся. Афганцу весьма понравился такой ответ, и он моментально начал говорить в том же духе и о своих соотечественниках.

Между тем я поинтересовался узнать у майора о судьбе афганцев, находившихся у нас в плену после стычки 12 июля 1892 года, и крайне был обрадован, узнав, что они все живы и награждены Абдурахманом.

Мурат-хан совершил с нами несколько переходов, но, не привыкший к концам в 50 и более верст, он чувствовал себя не особенно хорошо, говоря, что у них переходы гораздо короче, и с непритворным изумлением поглядывал на бодро идущую пехоту.

Однако маленькие пушки конногорной батареи все время вызывали в нем усмешку и остроты, и он неоднократно обращался с просьбами, чтобы ему показали, как они стреляют, мотивируя тем, что ему, как артиллеристу, это будет весьма интересно; но просьба его не была исполнена.

Расставшись с афганцем друзьями, мы были приглашены погостить в Файзабад; он переписал наши фамилии себе в книжку и в сопровождении своей свиты, состоявшей из служебных лиц Бадахшана и Шугнана и нескольких джигитов, уехал восвояси.

Подобная симпатия и некоторый страх перед Россией заметны, безусловно, во всех афганцах, и те из них, с которыми мне пришлось встречаться, все выражали одни и те же чувства, высказанные майором, как к России, так и к Англии. Что же касается афганца-солдата, то о нем, к чести его, можно сказать только хорошее. Афганец как военный крайне симпатичен как по внешности, так и по слепому следованию воинским традициям. Он храбр и стоек и скорее умрет, чем оставит свой пост, что вполне подтверждается фактом героической смерти капитана Гулям-Айдар-

хана на Аличурском посту и рядом эпизодов из англо-афганской распри.

Кроме такого презрения к смерти афганец отличается бескорыстной честностью, и никакие богатства в мире не заставят его отступить от долга службы, от данной им клятвы эмиру. Он ничего не возьмет, от всего откажется. Шугнанцы, эти лютые враги своих поработителей-афганцев, и те отзываются о них как о военных не без восторга. Афганцы лютые звери, говорил мне один из шугнанцев, но они гораздо храбрее англичан, и, несмотря на то что несравненно хуже их вооружены, они часто берут верх тем, что никогда не бывают в нерешительности. Самое небольшое число их атакует иногда страшные силы противника, и раз только афганец бросился в атаку, то он или умрет, или победит.

Примером храбрости афганского солдата служит довольно рельефно рисующий ее факт единоборства с тигром с одною саблею в руках. Подобный поединок сильно распространен в войсках Абдурахмана и служит как бы состязанием даже между офицерами.

Много примеров видим мы из столкновений с афганцами, а также из истории войны Афганистана с Англией, подтверждающих что афганцы не берегут своей жизни, и все лишь горе заключается в том, что они не стратеги и еще не привыкли к войне с европейцами, то есть быстро перестраиваться и встречать фланговые атаки. Однако, ввиду того что афганцы не имеют ни базы, ни глубоких транспортов, они обладают весьма опасным свойством для европейских войск, а именно способностью очень быстро рассыпаться во все стороны и собираться с такою же быстротою, создавая на совершенно новой позиции в горах сильного врага и нападая на обозы и транспорты. Афганцы редко ведут наступательную войну и придерживаются оборонительной, и лишь только дело коснется защиты их дорогого отечества, они все до одного умрут за него и никто из них не попросит пощады.

России афганцы боятся, чтут русского солдата за храбрость и стойкость и, проученные нашими туркестанскими войсками под Кушкой, вряд ли посмеют затеять какие-либо враждебные действия против нее.

Постепенное развитие военного искусства в Афганистане вследствие частых войн с Англией параллельно улучшило и его войска, быт солдата, и, наконец, военная организация его достигла наибольшего успеха. Солдаты хорошо обучены, чисты и щегольски одеты в определенную форму. Офицеры получают сравнительно порядочное образование, и многие из них в тонкости изучили английский язык.

Природные афганцы представляют собою один класс — военный, и кто уже раз попал на военную службу, тот до самой старости продолжает служить в рядах своего родного войска. Более слабых определяют на разные нестроевые должности, как-то: в прислугу к офицерам, в писаря и военную полицию. После афганской смуты,

когда брат Абдурахмана Исхак-хан отложился и, потерпев неудачу, бежал в Самарканд с небольшим числом своих приверженцев, войска, покинувшие беглеца, были сильно наказаны и сосланы в самые отдаленные части государства, где они и должны были нести сторожевую пограничную службу, но в 1893 году эмир простил им штраф, и они были заменены новыми силами. Содержание афганские офицеры и солдаты получают приличное, и последние, состоя на казенном иждивении, имеют в месяц в пехоте 5 руб., в кавалерии — около 16, а, кроме того, за павшую лошадь выдается от казны вознаграждение.

В числе природных афганцев в армии встречаются и узбеки, населяющие Афганистан, а также бежавшие в пределы его от казней кокандского хана Худояра. Немало в числе афганских воинов газарейцев, населяющих Афганский Туркестан, или, как его называют, Чаар-Вилаэт, катаган — самых воинственных жителей Бадахшана, персов, однако в числе офицеров преимущественно заметны настоящие афганцы. Узбеки совершенно свыклись с афганскими обычаями, но остаются верными своей религии (они шииты, а афганцы суниты), хотя наружно и придерживаются обычая афганцев.

Афганских войск насчитывается до 80 000. Как и наши, они разделяются на три рода оружия, то есть на пехоту, кавалерию и артиллерию; первые два еще, кроме того, на гвардию и армию и на иррегулярное войско и ополчение. Гвардейская пехота щеголяет своей красотой, чему, конечно, много способствует довольно красивая форма солдат, состоящая из красных суконных мундиров, с белыми выпушками по бортам, с белыми же или желтыми воротниками и обшлагами и красными или же желтыми погонами, с медными пуговицами, украшенными английским гербом. Головной убор их состоит из каски, сделанной из кожи и подбитой войлоком, или же из толстого сукна с медным английским гербом на передней ее стороне. Коричневые или белые брюки и башмаки с сильно загнутыми концами довершают костюм гвардейца.

Вооружена гвардия нарезными ружьями различных систем и двумя патронташами на ремнях из белой кожи. Армейская пехота одета или в черный, или синий суконный мундир без погон, черные брюки и такого же цвета барашковую коническую шапку, или же в национальный костюм. Впрочем, некоторые гвардейские полки заменяют форменный головной убор белою чалмою, которая несравненно более идет афганцу, нежели безобразная форменная каска.

Кавалерия представляет собою высший род войска. Туда выбирают самые красивые афганцы и газарейцы и подбираются лучшие лошади. Среди разнообразных мундиров афганской кавалерии, по типу похожих на английские, особенно красивы красные мундиры с чалмами, вместо смешных пестрых касок, которыми снабжены прочие полки.

Но все же, несмотря на всю щеголеватость мундира, и этот полк уступает армейской кавалерии, которая в своих национальных костюмах представляет великолепное зрелище. Красавец-афганец в живописно надетой чалме или конической барашковой шапке, в черном бешмете, с примкнутою за спину винтовкой представляет собою величественно-воинственный вид и кажется несравненно мужественнее афганца, одетого в самый изысканный европейский мундир.

Афганский кавалерист, выросший на лошади, как и наши кавказцы, сильно привязывается к ней. Первая забота кавалериста-афганца — это его скакун. И он скорее согласится голодать сам, нежели лишит своего любимца корма и хорошего ухода. Также один из предметов роскоши у афганца составляет его холодное оружие, и часто в чайхане или в офицерских казино затеваются горячие споры на эту тему, оканчивающиеся часто даже кровавыми драмами.

Артиллерия в Афганистане немногочисленна, и орудий¹ насчитывается всего до трехсот пушек новейших систем, и, кроме того, как пришлось убедиться при знакомстве с майором-артиллеристом, афганцы плохо обучены артиллерийскому делу, и он, офицер, не знал самых начальных теоретических вещей, представляющих собою азбуку артиллерии. Однако это обстоятельство не мешало афганской артиллерии приносить значительный вред англичанам, особенно в 1895 году, во время вторжения английских войск в Читрал.

Офицеры афганской армии делятся на два класса: на офицеров, получивших образование, и офицеров, выслужившихся из простых солдат. Те и другие представляют собою страшный контраст. Первые ищут себе более интеллигентного общества, читают английские газеты, состоят членами военных клубов и постоянно носят свой мундир, которым, подражая англичанам, гордятся. Из них выбираются эмиром лица для занятия должностей в государстве, они в большинстве случаев и командуют полтанами (батальонами), топ-ханами (батареями) и полками в кавалерии. Вторая же категория не имеет ничего общего с первой, за исключением строя; она ищет себе среду более подходящую и находит ее среди солдат, с которыми офицер 2-й категории преспокойно пьет чай в чайхане, кутит и держит себя совершенно по-товарищески, тем более что вне строя такие офицеры избегают носить свой мундир, а обыкновенно одеваются в национальный костюм. Но лишь только этот же самый офицер вступил в отправление служебных обязанностей, он забывает всякие частные отношения, и строгая дисциплина занимает у него первое место.

¹ Частью орудия английские, а частью сделанные на афганском оружейном заводе. Кроме того, имеется в Афганистане за последнее время конногорная артиллерия.

Мундиры офицеров крайне разнообразны и соответствуют чинам. Многие из них сшиты из темно-синего сукна с красною выпушкой, а у артиллеристов еще с вышитыми на воротниках гранатами. Некоторые красные или белые шитые золотом и с плетеными плечевыми погонами мундиры летом прикрываются однобортными и полотняными куртками, предохраняющими их от палящих солнечных лучей.

Многие франты, приобретя себе европейскую обувь, щеголяют лаковыми сапогами, но страсть к национальному головному убору все же сохраняется и между ними, и они с большой охотой носят белые чалмы или остроконечные каракулевые папахи.

Вообще войска Абдурахмана могут похвастаться перед войсками прочих азиатских народов. Они хорошо обучены по английским уставам, строго дисциплинированы, да и с хорошей нравственной выработкой.

Красавец афганец с большими усами, с черными, как смоль, кудрями, собранными и взбитыми на висках и красиво выбивающимися из-под белой чалмы, с кокетливо подстриженной или бритой бородою, с воинственно-гордой осанкой представляет собою довольно отрадное явление после встреченных вами обитателей пустынного Памира и окружающих его ханств; большую симпатию вы чувствуете к афганцу, видя в нем сотоварища по оружию и по духу, а если встретите в нем врага, то гораздо приятнее видеть перед собою мужественное лицо героя и сознавать, что есть кого побеждать и что каждый шаг ваш сопряжен с опасностью в лице достойного и храброго врага.

12. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЛЕННЫХ. РЕКОГНОСЦИРОВКА. ПЕРЕВАЛ ИОНОВА

Настало 25 июля — день выступления, и полковник Ионов сделал распоряжение за час до отправления авангарда освободить пленных и снарядить их как следует. Узнав об этом, я забежал в афганскую юрту.

— А, саломат, тюр! — приветствовал меня афганец.

— Собирайся, сейчас домой вас отпустят.

— Не может быть.

— Я тебе говорю.

Афганец перевел сотоварищам принесенную мною весть.

— Кулдук¹, — сказал он, но в его тоне все-таки слышалось недоверие.

— Говорил я тебе, что отпустят вас, — так и вышло.

В это время в юрту вошел дежурный по отряду с переводчиком.

¹ Спасибо.

— Скажи им, что они свободны, — сказал он. — Им дадут оружие, лошадей, провиант, и они могут себе ехать на родину.

Как просияли лица у несчастных пленников, когда переводчик сообщил им о давно ожидаемой свободе.

Они повскакали со своих мест и стали одеваться. Через полчаса афганцы сидели на лошадях.

— Ну, прощай, тюра, — сказал мне мой приятель, — да пошлет Аллах на твою голову счастья и здоровья. — И он пожал мне руку.

Как доволен был он, какое праздничное выражение было на его лице! Он красиво сидел в седле и ожидал, когда разрешат ему двинуться в путь.

— В ружье! — раздалась команда.

Все бросились к своим местам, и роты, колыхаясь, начали равняться. Небольшая вереница пленных потянулась мимо нас. Они улыбались и, кивая головой офицерам, говорили: «Хош, тюра», «Хош, тюра», то есть прощайте, господа. Около камня Чатыр-Таш отряд опять разделился на две части: пехота и артиллерия двинулись прямо к Мургабу, а сотня, уже ходившая на Ак-Таш, была назначена в новую рекогносцировку, для объезда самых отдаленных частей Памира, которые, по донесениям киргизов, были заняты китайцами.

— Ну, с Богом, отправляйтесь, капитан, — напутствовал полковник Ионов капитана С., начальника рекогносцировки.

— Сотня, справа по три, шагом — марш! — раздалась команда.

Мы направились вверх по реке Аличуру и, оставив его в левой стороне, потянулись то левым, то правым берегом реки Гурумды. Чудную картину представляли собою горы, окаймляющие долину. Они отвесными стенами возвышались над рекою и неровными зубчатыми вершинами, напоминающими сказочные замки, резко выделялись на чистом и особенно ярком здесь небе. Мы поднимались к перевалу Тетер-су и, войдя в ущелье, остановились на ночлег.

— А вот завтра опять тутек испробуем, — сказал есаул В.

— Да разве и на этом перевале он есть? — спросил я.

— Не на самом перевале, а по ту сторону его, это все-таки не так несносно: тысячи на четыре футов ниже.

Я с трепетом ожидал ужасов тутека и вспоминал рассказы о нем есаула. Подъем на перевал был почти незаметен; путь, пролегающий по каменистому грунту, оказался превосходным, и если бы не снег с ветром, то все было бы прекрасно.

При спуске с перевала я стал ощущать слабость, явились симптомы удушья, но не в сильной степени; только голова очень разболелась. Как говорили казаки, здесь тутек был несравненно слабее, чем на Малом Памире. По другую сторону перевала погода резко изменилась; необычайный зной явился на смену снега и ветра, так что мы сняли все верхнее платье и остались в рубашках.

Таким образом, благополучно миновав тутек, мы вступили в долину реки Кормчи и раскинули палатки под перевалом Бендерского¹. Местность эта представляла собою узкую лощину, окруженную заоблачными хребтами. Жалкая, полусгоревшая трава небольшими островками проглядывала на берегу реки, и природа Памира была здесь не менее мертва, как и в других частях его.

— Ваше высокоблагородие, — окликнул есаула казак.

— Чего тебе?

— Траву нашли.

— Где?

— Да вон в этом ущелье, — указал казак на чернеющуюся перед нами щель. — Всего версты три будет — просто выше пояса трава.

Мы приказали подать лошадей и отправились. Действительно, только успели палатки наши скрыться за скалами ущелья, как мы были поражены метаморфозой ландшафта. Высокая, достигающая колен трава, великолепные ручьи с чистою зеркальною водою, мелкий кустарник — все служило поводом к предположению заключения, что в таком оазисе суровой «крыши мира» должна обитать какая-нибудь тварь. И действительно, не успели мы проехать и двух верст, как казак подъехал ко мне и, указав на небольшой откос, сказал полупшепотом: «Гляньте, ваше благородие, — архары».

Шагах в пятистах от нас паслось целое стадо горных баранов — это были самки. Самцы никогда не ходят стадами, а самое большее по трое, чаще же они бродят в одиночку. Мы спешились, взяли у казаков винтовки и стали подкрадываться к стаду. Архары долго не замечали нас, так что нам удалось подкрасться к ним шагов на сто. Сердце мое сильно билось. «Вот и по архарам постреляю», — думал я.

— Ну, довольно, стреляйте, — шепнул мне есаул.

Два выстрела грянули разом и, подхваченные эхом, понеслись по ущельям. Архары вздрогнули и, как горох, рассыпались по скату. Результат был удачен: две жертвы валялись на траве. Приказав казакам взять обе туши, мы, в надежде убить еще хоть одного архара, побрели по откосу и направились к зеленевшему кустарнику.

— Что это? Собака? — удивленно спросил я, указывая на необыкновенного зверя, остановившегося в недоумении против нас.

— Какого черта собака, это здешний медведь, — сказал есаул и прицелился.

Медведь оставался неподвижным. Он, очевидно, первый раз видел людей и относился к нам очень доверчиво, давая возмож-

¹ Бендерский — военный топограф, бывший в Кабуле в 1878 году в посольстве генерала Столетова, а затем много работавший на Памире и вообще в Туркестане.

ность хорошенько себя разглядеть. Это был маленький, величиною с волкодава, медведь, скорее похожий на собаку, чем на медведя. Его грязно-серо-бурая шкура была в каких-то плешинах; по-видимому, он был очень стар.

— А, ну его к черту, — сказал есаул и опустил ружье, — куда нам с ним возиться — не увезем.

Медведь невозмутимо стоял в той же удивленной позе и, только когда мы повернули в сторону, вдруг побежал обратно. Однако более нам ничего не удалось встретить; мы к вечеру вернулись в лагерь и закусили вкусной архаариной.

На перевале Бендерского опять тутек — что за наказание! Но вот мы оставили за собой Малый Памир и вышли на большую, широкую равнину, с левой стороны которой тянется гряда закутаных в облака снеговых гор Гиндукуша. Эта долина местами покрыта высокою травой, а местами пересечена болотами.

— А вот и Базай-и-Гумбез, — сказал начальник разъезда, указывая на один надгробный памятник, возвышавшийся среди нескольких могил.

Я приблизился к нему и стал осматривать эту замечательную могилу, имеющую историческое значение, а также служащую самым южным пунктом наших Памирских владений.

Это было небольшое четырехугольное строение, поставленное на невысоком фундаменте и увенчанное куполообразною крышею. Маленькая дверь на восток и небольшое окно довершали архитектуру его. На меня пахло чем-то затхлым, когда я вошел внутрь здания; неприятная темнота царила в склепе, и только тощий луч света врывался в маленькое окно. Ничего особенного не представляло собою строение.

— Кому принадлежит эта могила? — спросил я капитана С., знакомого хорошо с историей Памира.

— Как — кому? Базаю-датхе.

— Знаю, но кто, собственно, был этот самый Базай? — спросил я.

— Базай-и-датха был одним из тех уполномоченных губернаторов, которые высылались кокандскими ханами для управления Памиром. На этом самом месте, где вы теперь видите могилу, стояло небольшое укрепление, да вот и следы от него, смотрите, — указал он на развалившиеся глинобитные стены. — Вот в этом укреплении и жил Базай-датха со своим гарнизоном. Однажды, когда он собирал подать с кочевников и после сборов вернулся в крепость, на нее ночью напали ваханские и канджутские разбойники; это случилось в 1864 году. Укрепление было разрушено, а Базай и его гарнизон мученически убиты и похоронены на этом месте, где впоследствии в память Базай-и-датхи и поставлен был кокандцами этот памятник, носящий название Базай-и-Гумбез, то есть могила Базая.

— А знаете ли что, господа? Ведь мы недалеко от перевала Ионова¹, где наш начальник отряда чуть не погиб в 1891 году, отыскивая его, — сказал нам начальник разъезда. — Мы здесь днюем, и я бы вам советовал проехаться и осмотреть его — говорят, это самый красивый и самый высокий из всех перевалов (23 000 футов), да, кроме того, он представляет собою прямой путь в Индию; с него берут начало истоки реки Инда.

Итак, мы были над Индией, над этой сказочной страной, куда стремился еще и Петр Великий, — при этой мысли каждый испытывал необыкновенное удовольствие: скоро, скоро, быть может, придется и спуститься туда.

Я не замедлил выразить желание отправиться на перевал — есаул обещал составить мне компанию. Пообедав и дав отдохнуть лошадям, мы отправились в путь. Сильно изломанная, узкая тропа, извиваясь, поднимается вверх по почти отвесному скату горы. С правой и с левой стороны высятся огромные голые скалы, как бы вылитые из чугуна, а вниз и взглянуть страшно, тем более что ехать пришлось по самому краю обрыва, на дне которого бежит быстрая река, откуда доносились до нас как бы раскаты грома. Это гремели катящиеся по дну реки камни, увлекаемые исполинскою силою потока. Шум реки соответственно суживанию ущелья все усиливался и наконец дошел до того, что я не слышал даже самого громкого собственного крика. Великолепная сочная трава покрывала весь наш путь, и целый ковер цветов ласкал мой утомленный однообразием взор.

В одном месте, под отвесною, закутанною в облака горою, нам попались три небольших строения, из них два без крыш. Строения эти были без всякой связи сложены из камня. В этих первобытных жилищах приютилось несколько ваханцев. Живут они очень бедно; несколько баранов составляли все их богатство. Едва поравнялись мы с этими убогими строениями, как оттуда вышли несколько ваханцев с накинутыми на плечи лохмотьями. Они протягивали к нам руки и просили милостыни. Как удалось мне узнать, эти люди бежали в дебри Памира от афганских казней и принуждены скрываться здесь, питаясь дичиною и разными корнями. Большинство из них занимаются разбоем, нападая на заплутавшие караваны, а очень небольшая часть сеет пшеницу, но этим могут заниматься только жители долины Вахан-Дарьи, так как хлеб не вызревает выше 9000 футов. Вообще ваханцы — рослый, красивый народ, принадлежащий к арийской расе, находятся почти в диком состоянии и живут по долине Вахан-Дарьи. Длинные волосы, черные, как смоль, блестящими локонами спадают по плечам. Большие черные глаза, окаймленные широкими, сросшимися над переносицей бровями, и нос с небольшой горбин-

¹ Сухсурават — название перевала, по расспросным сведениям, до открытия его полковником Ионовым.

кой придают им весьма суровый и хищный вид. Они очень напоминают свою внешностью афганцев, хотя несравненно красивее последних. Речь ваханцев до того мелодична и они так приятно владеют языком, что мне казалось, что предо мною одичалые французы, и только хорошо вслушавшись, я различил азиатское наречие.

Ловкость в ваханце развита необыкновенно. На моих глазах один из них поймал сидевшую птицу (грифа). Что за чудное зрелище было, когда полуголый дикарь, почти припав к земле, без всякого шума, переползая по скалам, подкрадывался к назначенной жертве и вдруг, не дав ей опомниться, схватил ее руками. Кроме ловкости ваханцы еще неутомимые ходоки и на протяжении многих верст не отстают от бегущей лошади. Ваханские женщины отличаются необыкновенною красою. Это настоящие восточные красавицы, каких мы видим лишь на рисунках и которых редко встречаем в наших среднеазиатских областях Туркестанского края. Я долго издали любовался молодою ваханкой, смотревшей на меня своими большими черными, с поволокой глазами, но, когда я подошел к ней ближе, чувство отвращения овладело всем моим существом. Красавица была так грязна и издавала такой ужасный запах, что я скорее отвернулся от нее; впечатление, которое произвела на меня ее красота, сразу уступило чувству омерзения.

Оставив Таш-хану, где оставаться на более продолжительное время было невозможно, так как ни нам, ни лошадям не давали покоя комары и мошки, мы двинулись дальше. Удушье на высоте 10 000 футов настолько ощутительно, что удивляешься, как можно в подобных местах жить более или менее продолжительное время. Я положительно задыхался, и только намерение преодолеть во что бы то ни стало этот высокий перевал удерживало меня, чтобы не вернуться обратно. Подъем на самый перевал был ужасен. Сначала на высоте 20 000 футов с трудом, проваливаясь, шли мы по рыхлому снегу, затем, поднявшись выше, полезли без всякого признака тропинки. С большими затруднениями достигли мы, ведя в поводу лошадей, до ледников, по которым со всех сторон текла вода, и, выбрав более или менее сухое местечко, решились переночевать здесь. С помощью захваченного терестекена мы развели огонь и согрели воду, которую нам удалось вскипятить в 5 минут, но зато чай почти не заваривался. Это явление объяснялось тою значительною высотой, на которой мы находились. Привязав лошадям торбы с ячменем, мы кое-как продремали до рассвета, и едва забрезжил первый луч, как мы полезли на вышку перевала (23 000 ф.). На этом самом месте чуть не погиб полковник Ионов, когда, застигнутый здесь вьюгой, он со своим разъездом не мог двинуться ни вперед, ни назад¹.

¹ Перевал Иопова представляет собою весьма удобный перевал, спускающийся в долины истоков реки Инда. В июне и июле месяце через него можно перевалить без затруднений. В августе, именно когда он был открыт Ионовым, на перевале этом бывают метели; в октябре и до мая он закрывается совершенно.

Сам начальник отряда, голодая вместе с казаками в течение пяти дней, согревался, лежа между ними. Всех ожидала гибель, если бы один из наших офицеров случайно не отыскал пропавший разъезд.

Вышка перевала представляет собою огромную массу снега, окруженную небольшими снежными холмами. Осмотрев перевал и записав температуру — 2°, мы двинулись обратно и к вечеру были в лагере. Надо было дать отдохнуть лошадям, так как на следующий день разъезд выступал дальше.

Через два дня мы были на Ак-Таше. Я отправился посмотреть на китайское укрепление, но от него не осталось и следа. Оказалось, что для разрушения его была выслана с Мургаба вторая рота.

— А что, китайцы были здесь? — спросил я киргиза, аульного старшину.

— Были, таксыр, были, — сказал он мне.

— Ну, и видели они, что сделали наши с их крепостью?

— Видели, — отвечал киргиз, — и их джандарин очень сердился и говорил, что лишь только вы уйдете с Памира, то они все равно здесь новую крепость построят.

Вообще дипломатия китайцев меня забавляла, они играли с нами в прятки. Лишь только мы оставляли какой-либо пункт, они сейчас же появлялись там, но лишь отряд выступал, чтобы прогнать их, они накануне, предупрежденные киргизами, исчезали. Наконец наше скитание по дебрям Памира окончилось, мы прибыли на Мургаб и соединились с главными силами отряда.

13. ПОСТРОЙКА ЗИМНИХ ПОМЕЩЕНИЙ. ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ШАР-КУЛЬ

Серебрянников отложил в сторону планшет и карандаш и, предложив мне походный табурет, уселся на кровать. В палатке было немного душно, и пришлось поднять два противоположных полотнища, чтобы продувало.

— Вот подлый климат, — сказал капитан, — сегодня лето, завтра зима, а там, наверное, и дождь будет.

— Да, скверно, — согласился я, — не знаешь, во что одеться, если уходишь версты за две от бивуака. Так где же будет поставлено укрепление?

Капитан взял карту и стал мне объяснять географическое и стратегическое положение будущей крепости.

— Вот, видите ли, река Мургаб, а тут в него впадают Ак-Су и Ак-Байтал, то есть скорее не впадают, а все три реки сливаются, образуя Мургаб. Вот тут около кладбища Кара-Гуль, на обрыве к реке Мургабу, высотой 8—10 сажен. Находясь, таким образом, в центре Памирской территории, оно приобретает еще одно огромное значение тем, что ляжет в узле главных памирских дорог, так что пройти по Памирам, миновав его, хотя и возможно, но очень

затруднительно. Если вас интересует, я познакомлю вас с проектом тех хором, в которых, быть может, и вам придется прожить эту зиму.

— Пожалуйста, это очень любопытно.

— Видите ли, я еще не окончательно решил, прибегнуть к этому типу помещений, но так как, сколько я ни ездил и ни искал и вблизи не нашел подходящего строительного материала, то пока остановился на следующем. Хочу я утилизировать юрты для помещения в них и гарнизона, и офицеров, кухни, лазарета и т. п. Для этой цели будет поставлена юрта и вокруг нее пять юрт меньшей величины, которые, непосредственно прилегая к средней, соединяются с последней проходами. Таким образом образуется улитка с одним только входом. Вместо кроватей предполагаются нары, которыми будет служить земля, то есть посреди каждой юрты сделается углубление. Печи, конечно, железные придется делать здесь же из привезенного железа. Таких улиток поставим по числу людей, рассчитывая каждую на взвод. Теперь вопрос остается открытым, как заслонить эти строения от сильного ветра и снега. Этот вопрос я разрешил таким образом: крыши юрт завалить терескеном и густо смазать все глиной, а также и бока, к которым присыпать песок, и таким образом, чтобы образовался откос градусов в 45. Я вполне убежден, что эти строения, за невозможностью пока построить что-либо капитальнее, будут вполне сносными для привыкших уже к невзгодам людей. Одно досадно, что до сих пор неизвестно, сколько человек остается зимовать, и это очень затрудняет составление окончательных проектов. Что касается печей для выпекания хлеба, то они останутся такими же, как и теперь, но также будут прикрыты юртою. Как-нибудь уж эту зиму пробьемся, ничего не поделаешь, ведь спали на снегу и под палатками, а на будущий год уж выстроим более капитальные строения. Ужасная досада, что леса нет. Ездил я на Кудару и недалеко от зимовок памирского разбойника Сахип-Назара нашел березу и тополь, но они очень коротки и непригодны к постройке, да, наконец, и перевозка оттуда весьма тяжела. Вот с речки Джан-Каинды удалось привезти несколько деревьев, тоже неважных. Но зато сколько лошадей они нам и стоили!

— А что, много разве издохло?

— Да штук семь издохло и в два раза более искалечено. Особенно тяжело досталось бедным лошадам при переправе через перевал Пшарт¹. Да и немудрено. Лесины привязывались к лошадям вроде оглобель, у которых один конец волочился по земле; конечно, это нелегко, но другим способом никак не перевезешь.

— Да, с таким строительным материалом трудновато будет сооружать здания, — сказал я.

¹ По реке Джан-Каинды недалеко от перевала Пшарт находится много золотого песку. Местные кочевники занимались промывкою золота и в настоящее время видны развалины золотопромывательного завода. Вероятно, вследствие тяжелых климатических условий, отсутствия путей сообщения работа не пошла.

В палатку вошел денщик и поставил на землю медный чайник. — Чайку, с коньяком? — предложил мне капитан.

Я не отказался.

Мало-помалу в палатку капитана собралось еще несколько человек; все любили симпатичного Адриана Георгиевича и охотно навещали его. Он всегда относился ровно ко всем и никогда не имел врагов.

— Так завтра работаем? — спросил кто-то.

— Да, завтра, господа, завтра, — сказал капитан, наливая в кружки, в глиняные чашки и жестяные стаканы чай и угощая собравшихся коньячком.

Раздался сигнал, и музыка грянула марш.

— Ну, вот и обед наконец!

Все встали и толпою направились в общую столовую.

На другой день, чуть свет, отряд, вооруженный в боевую амуницию, с лопатами, кирками и носилками отправился к месту работы; все люди были рассчитаны на две смены; одна оставалась на бивуаке, а другая работала до обеда, затем возвращалась, и вместо нее заступала вторая смена. Офицеры и унтер-офицеры наблюдали за рабочими, которые резали на берегу дерн; производили трассировку и копали рвы.

Работа кипела дружно, и сердце радовалось при виде этих сотен людей, сооружающих на «крыше мира» уголок, в котором придется им провести суровую зиму и откуда русский флаг, как доказательство могущества России, будет виден всему свету. Изо дня в день кипела работа, и укрепление незаметно выросло. К 25 августа фасы были готовы, ров очищен, устроены барбеты для пулеметов. По типу своему укрепление это представляло редут усиленной полевой профили, почти квадратной формы, с барбетам в двух передних углах для пулеметов и орудий. Впоследствии вместо улиток военным инженером Серебренниковым с помощью только небольшого гарнизона Памирского поста были сооружены полууглубленные землянки, каждая на полуроту, удобно приспособленные для помещения нижних чинов гарнизона и сложенные из сырцового кирпича с достаточным количеством света. Над землею они возвышаются немного менее двух аршин и благодаря великолепно устроенным печам и крыше вполне защищают живущих в них от холода и сырости, о чем вполне свидетельствует хорошее состояние здоровья чинов памирского гарнизона.

Лазарет и кухня находятся в двух отдельных зданиях, поставленных над землею также из сырцового кирпича. Кроме этих зданий там же поставлен флигель (над землею), служащий жилищем для офицеров, имеющих в нем каждый по отдельной комнате, за исключением начальника отряда, которому отведено их две. Офицерская столовая, заменяющая собрание, дополняла комфорт памирского жилища. Склад вещей, пороховой погреб и метеорологическая будка находятся также в укреплении, а вне его по-

строена только баня. Все здания и само укрепление капитально выстроены, как я уже сказал выше, по проекту и под руководством военного инженера Серебренникова, имя которого останется памятным в истории присоединения Памира; он при невероятно тяжелых условиях построил первое русское укрепление на «крыше мира», которое явилось на Памире истинным чудом. Шведский путешественник Свен-Гедин, долго работавший на Памире, неоднократно посещал наше укрепление и следующим образом отзывался о нем в своих корреспонденциях в «Туркестанских ведомостях». «Крепость, — говорит он, — выстроена удивительно хорошо и практично и делает честь офицерам, которым принадлежит инициатива в этом деле. Я уверен, что пришлось преодолеть громадные затруднения, чтобы достичь до этого великолепного конца, который свидетельствует, что значит энергия и предприимчивость...»

Начальник инженеров Туркестанского военного округа генерал-майор Клименко в августе 1894 года осматривал постройки памирского укрепления и нашел, что «все выполненные войсками работы по возведению укрепленного поста, с зимними бараками и землянками, вполне удовлетворительны и заслуживают величайшей похвалы, особенно за выполнение таких работ в самый короткий срок, с 23 июля по 31 октября 1893 года¹, при весьма ограниченном числе рабочих рук». В настоящее время около укрепления раскинулся небольшой базарчик, где продаются привезенные из Ферганы необходимые жизненные продукты. Здесь же в небольшой чайхане собирались местные киргизы и постовые джигиты поделиться новостями и, затягиваясь крепким кальяном, попивать горячий кок-чай, и солдатики частенько заходили к гостеприимному мама-джану, хозяину чайханы, у которого к их услугам имелось все в запасе: и гвозди для сапог, и туземный сахар-леденец и сушеные фрукты к чаю.

Погода вдруг резко изменилась и сделалась отвратительной, каждый день шел снег, по ночам везде замерзала вода, начались непогоды, а о нашей участи ничего не было известно, будем ли мы зимовать все, или часть возвращается в Фергану.

— Ведь это черт знает что такое, — ворчали мы, — при таком положении дел, если продлится еще с неделю наше неопределенное положение, и мы будем оставлены здесь на зиму, то ничего не удастся выписать из Маргелана — перевалы закроются, а между тем на нас остались лохмотья.

Все бродили пасмурные и ругались на свою судьбу. Только 23 августа вопрос разрешился: было получено предписание оставить 160 человек пехоты, 40 казаков и 8 офицеров, остальным же возвращаться в Маргелан.

¹ Капитан военный инженер Серебренников производил постройки на Памире в конце 1892 года и в 1893 и в 1894 годах.

Опять наступили новые волнения. Многие из офицеров хотели остаться на зимовку, видя в этом поправку расстроенных денежных средств, другие, напротив, боялись быть оставленными и рвались скорее к своим семьям. Одни солдатики оставались безмолвны, ожидая своей участи без ропота и тени неудовольствия. «Зимовать так зимовать, — говорили они, — небось не пропали до сих пор, так и за зиму не пропадем». Только в этом шутовском тоне подмечалась грустная нотка.

Наступило 24 августа. С утра в офицерской кухне началась необыкновенная возня, отрядные повара и прислуга то и дело бегали из столовой в кухню. Приготовлялся прощальный обед. Выволакивались вино, водка, остатки всевозможных консервов, даже варенье кто-то пожертвовал; одним словом, пир готовился на славу. В 12 часов грянул хор музыки и все офицеры отряда собрались в последний раз за общую трапезу. Прибыл и начальник отряда, и обед начался. Пили много, жженку варили из спирта, сахара и клюквенного экстракта и разошлись по палаткам только с наступлением вечера.

Прощались и нижние чины, и им был устроен обед с удвоенной порцией спирта, да от себя еще по чарке пожаловал памирцам начальник отряда. Разгулялись солдатики, загрели гармонии, и танцы с пением продолжались до самой вечерней зари, а на следующий день отряд выступил на озеро Шар-Куль.

«Ну, вот, слава Богу, и обратно, — думал каждый, — по горло надоело это сидение на одном месте». Грустны были лица у оставленных солдатиков; они считали себя приговоренными к смерти, тем более что о памирских морозах киргизы рассказывали всевозможные ужасы. Остались они в полной готовности бороться с суровою природою Памира, устраивая себе своими руками зимние жилища, без достаточного количества теплой одежды и запасов, без ропота, с полным сознанием своего долга и убеждением, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают.

14. ХОРУНЖИЙ ЛОСЕВ. НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

Далеко впереди раздалась команда: «Стой — привал!» — и солдаты остановились, нестройно срывая ружья с плеча и беря их к ноге.

Вот ружья составлены, скатанные шинели положены около пирамид и усталые солдаты развалились на каменистом грунте Шар-Кульской долины. Недалеко от рот на разостланном палате собрались и офицеры вместе с провожающими их товарищами, остающимися на Мургабе, и закусывают.

Совсем другое настроение царит между ними, нет у них унылого вида, не заметно и той тоски, которая обуяла всеми, особенно за последнюю неделю стоянки на Мургабе, напротив, все веселы, все довольны своею судьбою — одни, что скоро вернутся в Маргелан

к семействам, оставленным на произвол судьбы в самое ужасное время холеры¹, другие, напротив, радуются тому, что им удалось добиться назначения на Памирский пост на зимовку.

Один только хорунжий Лосев сидит поодаль от веселой компании, и, молча, устремив свой взор в темнеющее впереди ущелье, глубоко погружен он в мрачные думы. Веселый смех походных товарищей, их постоянное обращение к нему с просьбою выпить, шутки по его адресу даже не сердят его, он как бы нехотя протестует на приставание веселой компании — не до того ему теперь.

Как он просил командира полка, чтобы он отменил свое распоряжение об оставлении его на зимовку, какие он доводы представлял полковнику, что и мать-то стара, что и брат у него на руках малолетний, ничего не помогло. Командир оставался непоколебим в своем решении.

— Я уже двух уволил от зимовки, — сказал он, — но те другое дело, те люди семейные, а вы молоды, вам даже полезно поучиться военному делу при боевой обстановке.

Делать было нечего, пришлось покориться. Но ни чувство сострадания к матери, которая далеко не была так стара, ни брат, уже ходивший в гимназию, были причиной такого упорного стремления хорунжего в Маргелан. Совсем другое чувство руководило на этот раз юным казаком, чувство, сильнее которого нет ничего в мире, чувство, бороться с которым не может ни один человек, даже обладающий самым сильным характером и твердою волею, — чувство любви, самой пламенной любви управляло Лосевым, и он более не в силах был владеть собою — он изнемогал.

Когда человек любит женщину первую истинною любовью, когда в ней сосредоточивается для него один интерес жизни, когда, кроме нее ничего кругом не интересует его, тогда самая короткая разлука с любимым существом представляется для него чем-то ужасным, чем-то чудовищным и невероятным. Расставаясь тогда на самое непродолжительное время, кажется, что долго, долго не увидишь любимого лица, не услышишь привычного шороха платья, нежных речей и этих глаз, в которых читается все: любовь, радость и надежда на розовое счастье. Да, при такой любви, обуявшей всем существом человека, он не может быть далеко от предмета своей страсти. При ней, вблизи от нее, зная, что вот кончится трудовой день и он найдет отдых и успокоение в атмосфере, которою он только и дышит, — в обществе ее, он воодушевленный работник, он с особенною энергией хватается за труд, работает без усталости, сознавая, что все это для того, кто ему дороже всего в мире.

Совершенно другое заметно в разлуке, а особенно в разлуке долговременной, сопряженной с опасностями и невозможностью

¹ В 1892 году господствовала сильная холера в Туркестане.

определить время, когда придется возвращаться назад туда, где тебя ждут. Ужасная драма разыгрывается тогда в душе человека, он весь сосредоточен на одном существе, все мысли его там далеко, далеко, около его дорогого кумира, он не может, не в состоянии ни работать, ни мыслить ни о чем другом, кроме как о той, которую он одну любит больше всего на свете. И вот он, как Прометей, прикованный железными цепями, рвется и не может вырваться туда, куда зовет его этот дорогой ему образ. Сердце его обливается кровью, и злая разлука, как древний ворон, клюет его и терзает на части.

Такая вот буря клокотала в душе Лосева с самого дня выступления его из Маргелана.

Она — его счастье и отрада в жизни — провожала его вместе с матерью, и он не мог урвать минуты, чтобы крепко прильнуть к ее губам. Он молча, глядя ей в глаза, пожал руку, а она крепко сжала его пальцы своей маленькой ручкой, глаза ее подернулись слезой, и она отвернулась. Он собрал все силы свои, чтобы не заплакать, этого он уж никак не мог допустить.

Раздалась команда. Войска потянулись походными колоннами, поднимая пыль.

— Прощай, Лена, — прошептал он, как-то нервно тряхнул ее руку и побежал, не оборачиваясь, к своей лошади, вскочил в седло, рванул за поводья, пригнулся и в карьер пустился догонять сотню.

Быстрая скачка отуманила его, и он на мгновение забылся. Обогнав пехоту, он затянул удила. «Для чего я так скакал?» — подумал он, но не нашел себе ответа.

Да, уходить медленно, шагом, от любимого существа — это мучительно, это не то что сесть в вагон железной дороги и в одно мгновение очутиться далеко, далеко от всего дорогого, любимого, близкого тебе... — да, это не то.

Весь переход Лосев думал только о своей Леночке, о вечере накануне разлуки, как они, сидя под розовым кустом, строя планы будущей совместной жизни, так много и жарко целовались и клялись в верности...

Тут он немного вздрогнул, ему особенно ярко представился поручик Чаров, этот красивый, немного нахальный юноша, по уши влюбленный в его Лену, он ненавидел его всюю душою и сильно ревновал его к невесте. Однако он не замечал этого, ему казалось, что он только ненавидит Чарова, но отнюдь не ревнует его. По его мнению, ревновать женщину — значит не уважать ее, не любить тою чистою любовью, которою он любил Лелю Гладкову. Но в том-то и беда, что ни один ревнивец не замечает за собою своего недостатка и не знает предела этому ужасному чувству, применяемому иногда без всякого повода.

Лосев и Чаров были друзьями, на одной квартире жили, были на «ты», скучали друг без друга, и так бы это продолжалось бесконечно, если бы не приехали в город Гладковы.

Встретив в собрании Лену, эту миленькую блондинку с кудрями роскошных золотистых волос, оба офицера влюбились в нее и наперерыв старались снискать ее взаимность, которая и выпала на долю Лосева.

Однако Чаров не унывал и продолжал свое ухаживание даже и после того, как его друг стал женихом Гладковой, которая не считала нужным отстранять веселого собеседника, друга избранного ею человека, и относилась к Чарову по-товарищески. Она прекрасно замечала, что жениху ее не нравится, что она не отталкивала от себя Чарова, она видела, что Лосев ужасно злится, когда она весело балагурила с ненавистным ему человеком, но уж такова была Лена Гладкова, что раз она решила поставить на своем, то никто не мог помешать ей в этом. Она ужасно любила Лосева, и, попробуй он охладеть к ней, она бы вцепилась в него, не отпустила бы его от себя или бы покончила с собою, но она была упряма.

Ее забавляла ревность Лосева — ей просто весело было, когда он, исполняя ее приказание, должен был быть любезным и вежливым по отношению к человеку, которого пламенно желал уничтожить, стереть с лица земли. Это была простая прихоть, так свойственная женщинам.

— Так вот ты как меня любишь! — говорила она Лосеву, когда тот упрекал ее за беседу с Чаровым. — Тебе не нравится, что мне весело, когда Чаров начинает рассказывать свои веселые истории, стыдись, — говорила она, — ведь это даже смешно и противно такое недоверие, ведь это неуважение ко мне, ты начинаешь досадовать на меня, а досада — чувство ужасное, раз оно вкрадется в наши с тобою отношения, то добра не будет. Я хочу, это мой каприз, чтобы Чаров бывал у нас и ты не делал бы из этого скандала, и если ты любишь меня, то поймешь и будешь пайнковой. — Она пригнулась к нему, ее губки близко придвинулись к его лицу, локоны защекотали его пылавшие щеки, в глазах его помутилось, какая-то нега разлилась по всему телу. Он не сознавал, что вдруг произошло с ним, только он чувствовал, что случилось что-то особенное, не похожее на обыденное, земное... и ему было так хорошо, как бывает это раз в жизни и больше не повторяется.

Он смирялся и уступал, а на другой день снова возмущался, старался унижить в глазах невесты своего друга, называл его подлецом, негодяем, грозил вызвать на дуэль и т. д.

Однако до дуэли не дошло — друзья объяснились и разъехались врагами, но Чаров продолжал бывать в доме Гладковых, где его очень любили за веселый характер и охотно приглашали. Тут Лосев увидел, что промахнулся, дав более свободы действия своему врагу разрывом с ним, и еще сильнее возненавидел его.

Вдруг поход. Лосев должен был идти, оставаться было невозможно.

Готовился и Чаров, к радости несчастного жениха, назначенный в авангард отряда. Но всякое несчастье бывает неожиданно и

рушится всегда на неприготовленную голову. Накануне выступления Чаров, пробуя купленную лошадь, упал с нее и вывихнул ногу, идти в поход он не мог, пришлось лечь в госпиталь. Ужасно страдал теперь Лосев, он не ожидал такого удара судьбы и теперь считал себя самым несчастным человеком в мире.

Он рисовал себе картину, как его Лена ходит навещать больного Чарова, и вот, казалось ему, она начинает любить его все больше, сильнее и, отказав ему, идущему теперь, быть может, на смерть, выходит замуж за врага его, за гнусного, гадкого человека.

Вот что терзало душу бедного Лосева всю дорогу. То ему представлялось, что выздоровевший Чаров сидит теперь в тенистом саду с нею — там, где так недавно они испытывали вдвоем столько счастья, то ему казалось, что ненавистный враг его, глядя в глаза его невесте, крепко сжимает ей руки и вдруг... дальше он боялся углубляться в свои мрачные предположения, он вскакивал и начинал ходить по бивуаку. Он ненавидел в такие минуты свою Лену, презирал ее и, сжимая кулаки, сквозь зубы бормотал: «Вот погодите, голубки, я вас... врасплох».

Но вдруг снова нежная любовь к оскорбленной только что им девушке еще с большею силою зажигалась в нем, и он доставал ее карточку, ставил перед собою и долго, долго глядел на нее и не мог наглядеться, налюбоваться дорогами ему чертами. Долго любовался он портретом и потом пламенно прижимал его к губам.

Огарок стеариновой свечки тускло освещал внутренность палатки, покачивавшейся от дуновения ветерка; на бивуаке было все спокойно — все спало после тяжелого перехода, только издали вместе с ветром долетал нестройный звук, производимый жующими свой ячмень лошадьми, да удары их копыт о каменистый грунт Памира.

Спрятав карточку, Лосев пододвигал ягтан¹ к кровати, усаживался на нем, доставал походную чернильницу и бумагу, подкладывая под нее папку от планшета и начинал писать. Долго, почти до рассвета, писал он свои послания к невесте и все не мог высказаться, все чего-то не хватало.

В этих письмах сквозила и любовь самая нежная, хорошая любовь, и бешеная страсть, поэзия и ревность жгучая, тоска безотрадная — всего было много в них, тяжелые конверты с такими посланиями отправлялись им с каждой оказией по назначению.

Получал и он письма, но они не удовлетворяли его, он их уже знал наизусть, перечитывая каждый день по приходе на бивуак в своей палатке. Все спят, а Лосев пишет или читает, так и прозвище он получил «писатель».

Два месяца прошло после выступления, и в деле он побывал, порошу понюхал, а мысль о возвращении не давала ему покоя.

¹ Вьючный сундук.

Писем от Лены он получил всего шесть, а ему хотелось их получать каждый день, два раза в день, — ежедневно. За последние две недели он не получил ни одного письма.

«Так и есть, — думал он, — мои предположения сбылись». И снова тоска завладевала им, и он начинал хандрить.

Известие о выступлении воскресило беднягу, но какво же было его разочарование, когда он именно, он, никто другой, был оставлен зимовать. В отчаянии он бросился к командиру, но напрасно — ничего не помогло, все доводы его были опровергнуты, он был оставлен в числе двух казачьих офицеров.

Вот отчего он грустный такой сидел поодаль от ликующей толпы товарищей, не принимая участия в их веселье. Невесело ему было.

— В ружье! — раздалась команда проскакавшего командира, все поднялись, солдаты заволновались, разбирая ружья, и отряд направился дальше.

— А знаете ли новость, господа? — подъехал к офицерам адъютант. — Ведь мы, пожалуй, и все зазимеем.

— Что вы? Быть не может! — посыпалось на него со всех сторон. У всех на лице мелькнуло беспокойство.

— Да вот, смотрите! — Адъютант стал читать бумагу.

По распоряжению высшего начальства отряду было приказано зайти на озеро Ранг-Куль, построить там крепость и оставаться до распоряжения.

Вот так и в Маргелан пошли! Вот так сюрприз! Уж прямо бы повели на Ранг-Куль, а не дразнили бы возвращением, думал каждый.

А Лосев, опустив поводья и склонив на грудь голову, ехал обратно к Памирскому посту, грустный, переполненный зависти к удаляющемуся отряду.

15. РАНГ-КУЛЬСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ. АФГАНСКИЙ МАЙОР

В семидесяти верстах от Памирского поста, среди огромной котловины, окаймленной невысокими, но покрытыми снегом горами, над которыми величественно возвышается вершина Муз-Таг-Ата, блестя своею седою головою над Памиром¹, расположились два небольших озера, одно восточнее другого, соединенные довольно широким протоком, — это и есть озера Шар-Куль и Ранг-Куль. Здесь, на восточном берегу Ранг-Куля, и раскинул отряд свои палатки.

Отдохнули солдаты накануне на берегу озера Шар-Куль и потому, совершив теперь переход в 20 верст, чувствовали себя достаточно бодрыми, чтобы приняться за работу, и работа закипела.

¹ По новейшим измерениям вершина Муз-Таг-Ата (то есть отец ледяных гор) высится на 25 000 футов над уровнем моря.

С 27 августа по 1 сентября с необыкновенной энергией, без отдыха работали солдаты над новым укреплением, и вот на бруствере его водворен русский флаг.

Укрепление построено на громадной зеленой площади, покрытой сочною, зеленою травою, только берега озера усеяны осокою, откуда и само озеро получило название Ранг-Куль (осочьего). Это озеро от крепости находится в шести или семи верстах, и его не видно даже с бруствера.

Самое укрепление сложено из мешков, наполненных землею, которая для этого бралась снаружи, отчего и образовался ров, имеет четырехугольную форму. Это незатейливое укрепление удовлетворяло намеченной цели — закрыть доступ со стороны Кашгара к Памирскому посту, так как, скрытое от глаз в небольшой котловине, внезапно, на очень близком расстоянии выросло перед глазами приближающегося всадника. Даже днем, отойдя шагов на четыреста, трудно было его заметить, и разве только юрты, видневшиеся маленькими грибочками из-за ограды, выдавали присутствие человека. Однако это обстоятельство не могло мешать в стратегическом отношении значению укрепления, так как по всей долине Ранг-Куля и во всех джилга (ущельях) — всюду ютилось множество аулов памирских кочевников, охотно зимовавших в этой части Памира, закрытой от ветров, да и снегу тут выпадает самое незначительное количество.

Недалеко в ущельях находятся залежи соли, которую на яках¹ доставлял в памирский отряд командир Ранг-Кульской крепости.

Вот в этом-то укрепленном посту и поселился гарнизон в 40 человек пехоты с офицером после ухода отряда в Маргелан.

На второй день своего комендантства поручик Тимофеев, выйдя из юрты, прохаживался по брустверу, любуясь озаренною солнцем вершиною Муз-Тага. Он был очень доволен своим назначением, а потому на судьбу свою не пенял и был в самом хорошем расположении духа. Одно ему было не по душе, что прибывший к нему с 30 казаками Лосев ужасно надоел ему своим нытьем и жалобами на печальную участь. Тимофеев был человек положительный, туркестанец старого закала, любил выпить и был всегда далек от каких-либо стонів и жалоб на судьбу свою. Теперь, обеспеченный материально, представлявший собою единицу, он был вполне счастлив и всею душою проклинал своего сожителя, нарушавшего его самочувствие. Вчера он настоял на том, что следует спрыснуть назначение, и оба офицера выпили бутылку водки, захваченную с поста. Правда, языки их развязались, откуда только речь бралась, разговорам конца не было, но хорунжий не выдержал, вдруг загрустил и залился слезами... А на другой день с обвязанной головой лежал целый день.

¹ Як — это горный бык, похожий на буйвола, очень безобразен, имеет лошадиный хвост, служит прекрасным перевозочным средством на Памире.

«Неподходящий он мне, — думал Тимофеев, — ну его, уж скорее бы командировали бы куда». — И он снова начал смотреть вдаль.

Вдали поднималась пыль, и из-за нее показалась группа всадников, приближающихся к крепости.

— По костюму как будто не киргизы, — подумал Тимофеев.

— Ей, переводчик! — крикнул командир.

На зов начальника высочил из юрты braveй казак с загорелым киргизским лицом¹.

— Смахай вон туда, — указал он на группу кавалеристов, — узнай, кто такие?

В один момент с заряженной винтовкой в карьер уже неся казак по направлению к незнакомцам.

Вот он уже возле них, говорит о чем-то, а вот скачет обратно.

— Это афганцы, — осадив лошадь, доложил переводчик, — желают видеть ваше благородие.

Попросил Тимофеев офицера афганского к себе, но тот уклонился, сказав, что устал с дороги, и просил только указать ему помещение.

В трехстах шагах от крепости поставлены были палатки незваным гостям, где они и водворились.

На следующее утро, когда еще комендант потягивался на своей кровати, в юрту его вошел денщик и доложил, что афганский офицер желает его видеть и просит разрешения прибыть в крепость.

— Пусть подождут, — сердито сказал комендант; его ужасно злило, что афганец не сейчас же явился к нему по приезде.

Проморив таким образом до обеда афганцев, комендант наконец принял их в свою юрту.

Вид вошедшего афганца поразил его. Это был среднего роста, очень статный и красивый мужчина, с меховой шапкою на голове, в мундире красного сукна, с пуговицами на одном борту. Поверх мундира надет белый китель, предохраняющий красное сукно от пыли. Широкие черные брюки с красным кантом спускались до пяток.

Входя, афганец снял остроконечные расшитые шелком туфли и, отдав честь, как делают это русские, протянул руку коменданту, затаченную в белую перчатку, сказав: «Маджир Мурад-хан»².

Комендант пожал ему руку и попросил садиться.

В это время в юрту вошел и Лосев.

Как оказалось, афганский майор вез письмо к полковнику Ионову от Абдурахмана и пробрался через Большой Памир на Ак-Таш и через Кашгарские владения выехал на Ранг-Куль.

¹ Между оренбургскими казаками много киргизов, даже мусульман.

² Майор Мурад-хан.

Подали чай, и майор с удовольствием начал пить его, накладывая полную чашку сахаром.

— Черт знает что такое, — ворчал комендант, пивший всегда чай вприкуску, — да этак он весь сахар съест, а где его возьмешь. — Между тем афганец пил чай чашку за чашкой.

— Да он всю воду из колодцев вылакает, — острили солдаты¹.

Предложил было комендант афганцу переслать с казаком письма к Ионову, думая таким образом скорее разделаться с ним и отправить его на пост, да не согласился тот, не отдал их — мол, в руки приказано передать пакеты. Пришлось отправить казака на Мургаб испросить распоряжений у начальника Памирского гарнизона.

Прошло двое суток; каждый день афганец проводил время в комендантской юрте и надоел порядком обоим офицерам.

Вдруг приезжает с Мургаба казак.

Пакет. Вскрыл его Тимофеев, прочел.

— Петр Петрович! — крикнул комендант.

— Что вам? — раздалось снаружи.

— Идите сюда, новость.

В юрту вошел Лосев.

— Вас в Кабул к Абдурахману командируют, — сказал, улыбаясь, комендант.

— Хоть к черту — теперь все равно, — пробормотал хорунжий.

— Читайте, — протянул ему бумагу улыбающийся Тимофеев.

Нехотя взял бумагу Лосев и прочел: «Немедленно отправить Лосева с десятью казаками сопровождать афганского офицера в Маргелан, прочих же афганцев прислать на Памирский пост».

Лосев и глазам не поверил!

«Господи, да неужели это правда?» — думал он. — На него нашел какой-то столбняк.

— Ну, собирайтесь, — тормозил его комендант; он рад был, что избавиться от скучного товарища.

Рад был и хорунжий, он как сумасшедший, прыгал в юрте, собирал вещи и через час был уже совершенно готов к выступлению.

— Живей вы там! — кричал он на казаков, седлавших своих лошадей и, облобызавшись с комендантом, вскочил в седло и на рысях, сопровождаемый афганцем и казаками, пустился вслед за отрядом. Мысленно он уже был в Маргелане, он видел свою Лену, чувствовал ее возле себя и мысленно целовал ее золотые локоны.

16. ПАМИРСКИЕ КИРГИЗЫ

А в укреплении настала опять тишина, казаки ушли, осталась одна пехота, скука здесь нашла себе подходящее место, и только когда наезжали сюда кочевники из окружающих аулов или когда зазывали они рангкульцев на свои тамашы в аулы, тогда все как-то

¹ В озере вода соленая, а потому в укреплении были вырыты колодцы.

оживало и каждый охотно стремился в гости к этим приветливым памирским обитателям, с которыми очень скоро сошелся и полюбил их и комендант, и весь его гарнизон.

Я во время своего пребывания на Памире очень близко познакомился с этими кочевниками и составил о них самое хорошее мнение, тем более что это племя представляет собою отрадное явление среди кочевого населения Средней Азии, отличаясь своею доброю и честностью.

На вид памирские киргизы очень безобразны. Почти без признаков растительности, с сильно выдающимися скулами и узкими прорезями глаз, очень небольшого роста, они так похожи друг на друга, что первое время вам кажется, что все население Памира принадлежит к одной семье, связанной близким родством.

Постоянный холод и отсутствие теплого жилища заставляют кочевника быть всегда одетым в теплую одежду, которою служат ему ватный халат и тулуп на овечьей шерсти, что порождает страшную нечистоплотность, и особенно в зимнее время киргизы отвратительны; они издают такой специфический запах и изобилуют таким количеством насекомых, что положительно противно стоять в это время около обитателя Памира. Конечно, главной причиной этому обстоятельству является крайняя бедность населения, и более зажиточные кочевники значительно чистоплотнее и наряднее одеты.

Среди киргизских жен встречаются довольно красивые типы. Румяные, полные, с великолепными белыми зубами киргизки представляют полный контраст своим мужьям. Всегда в хлопотах по хозяйству, а иной раз и с грудными ребятами на руках киргизка никогда не теряет благообразного вида. На ней всегда чистая рубашка и вымытый халат. Волосы ее всегда заплетены во множество длинных косичек со вплетенными в них украшениями. В пятницу (джума — еженедельный праздник) киргизка отдыхает от трудов и, исполнив только самую необходимую работу, надевает свой лучший туалет и навешивает на себя украшения. Появляется на сцену осколок добытого ею откуда-то зеркала, кусок от которого отломлен для какой-нибудь франтихи-подруги, и киргизка занимается своим туалетом, чтобы блеснуть им перед гостями. Но самый счастливый день для женщин — это перекочевка с одного места на другое. Придется проехать по новым местам, встретить много батырей (юношей), проехать через несколько аулов. И, разобрав свои юрты и навьючив все имущество на верблюдов и на памирских яков, киргизки надевают свои шелковые халаты, серебряные пряжки, украшенные бирюзой, коралловые бусы. На голову наворачивается огромная чалма, перевязанная разноцветными лентами. В косы вплетаются серебряные побрякушки, и вот, смеясь и скаля свои здоровые, ровные зубы, садятся они на украшенных ленточками и лоскутками верблюдов.

Обыкновенно впереди поезда на оседланном яке идет глава семейства, указывая дорогу. Мирное животное, покачивая своею головою, мерно ступает неуклюжими ногами, по-видимому совершенно равнодушно относясь и к всаднику, и к продетому через его ноздри толстому волосанному аркану. Далее следуют верблюды, завьюченные разною домашнею утварью, поверх которой восседают, покачиваясь, киргизки. За верблюдами шествуют яки с навьюченными на них юртами и скот, погоняемый остальными членами аула. Лошадей очень мало употребляется для перевозки груза, на них едет молодежь, притом, надо заметить, памирские лошади малорослы, очень некрасивы и дороги; поэтому-то кочевники зачастую ездят на яках, которые вполне заменяют им лошадей, а во время больших переходов эти животные еще удобны тем, что дают прекрасное, густое, как сливки, молоко. Мне никогда не приходилось пробовать молока вкуснее ячьего.

Скот памирского кочевника состоит преимущественно из небольшого числа яков, нескольких баранов, малорослых быков и коров, до двух-трех верблюдов, а иногда и лошадей. Конечно, количество скота зависит от средств киргиза, которые, собственно говоря, и измеряются у местного населения количеством верблюдов и баранов. Зажиточных кочевков на Памире встречается очень немного; наоборот, бедность так и проглядывает везде, несмотря даже на внешний наряд киргизок во время перекочевки с места на место, — это просто женское кокетство. Киргизка лучше будет голодать несколько дней, чем откажет себе выменять на турсук кумысу или сыру какое-либо украшение у проезжего таджика, направляющегося через Памир в Афганистан или Бухару.

В большинстве же случаев памирское население очень бедно. На Казиль-Джиике я знал киргиза, у которого считалось 1900 баранов да 250 яков, то есть всего на сумму по нашим деньгам тысяч на десять. Этот киргиз считался на всем Памире самым богатым человеком. У прочих же киргизов обыкновенно насчитывается скота от 20 до 600 баранов и от 2 до 30 яков. Верблюдов очень немного, и они дорого ценятся.

Такое незавидное материальное положение населения явилось следствием постоянного хозяйничанья на Памире китайцев, кашгарцев и других народов, окружающих эту страну, которые сильно разоряли киргизов поборами и различными налогами.

Интересный рассказ, переданный одним из памирских аминов бек-Булатом, очень характеристичен в этом отношении.

В детстве бек-Булат помнил себя среди зажиточной семьи своего отца, жившего около озера Ранг-Куля и бывшего памирским беком (князем), которому подчинялось все население. Долго правил отец бек-Булата и был любим всем народом.

Но вот в 60-х годах пришли на Памир кокандцы и подчинили себе киргизов. Отец бек-Булата по требованию Худояр-хана отправился в Коканд, где и был милостиво принят властителем, который

одарил его и, увещевая быть верным кокандским подданным, оставил по-прежнему беком Памира, с тем, однако, условием, что Памиры будут принадлежать кокандскому хану. Конечно, тот и не прекословил, к тому же кокандцы были весьма обходительны с покоренными, хотя и брали подати, но весьма незначительные. Так прошло несколько лет в мире и спокойствии, и отец бек-Булата умер, передав правление своему старшему сыну.

В это время на кашгарский престол вступил знаменитый в истории Востока Якуб-бек, который послал на Ранг-Куль войско во главе с Кули-беком для занятия этого места. Кули-бек неожиданно напал на памирцев, убил бека и, разграбив его имущество, назначил-управителем бек-Булата, которого заставил присягнуть кашгарскому владыке. Вплоть до смерти Якуб-бека прослужил ему верно бек-Булат, а когда Кашгар был занят китайцами, он исправно продолжал платить подать богдыхану.

Но недолго пришлось бек-Булату пробыть в таком положении. Китайцы, боясь его влияния на киргизов и сношения с русскими, когда по Памиру в 1889 году, путешествовал подполковник Громбчевский, напали на кочевки правителя Памира и, разграбив его имущество и отобрав жен, сослали бек-Булата в Кульджу.

Однако злополучному бек-Булату через полтора года удалось бежать на Памир, где в это время был генерал Ионов со своими отрядами. Бек-Булат просил покровительства русских и остался под защитой их на Ранг-Куле, куда вскоре и был назначен амином (старшиной).

Вследствие таких метаморфоз и грабежа у бывшего князя, обладавшего огромными богатствами, осталась одна юрта, четыре яка и сотня баранов.

Но таким образом был разорен не только бек-Булат, и прочие кочевники потерпели не меньше, и до сих пор население не может еще оправиться, несмотря даже на поддержку русского правительства.

В настоящее время на Памире организовано правильное управление, подчиняющее кочевое население одному управителю, назначенному русским правительством и имеющему также помощников в лице аульных старшин — аминов. Первым таким управителем был назначен Тукур-бек из весьма влиятельного киргизского рода на Алае.

Тукур-бек — высокий, красиво сложенный мужчина, с небольшою черною бородкою, со смуглым энергичным лицом, с узкими прорезями глаз — с самого присоединения Памира был ревностным помощником русской администрации и начальнику Памирского поста, невдалеке от которого и поместились его кибитки. Жены у Тукур-бека две: обе они дебелые, румяные, с прекрасными черными глазами, лукаво выглядывающими из узких щелок, обрамленных длинными ресницами; обе они очень веселые и обходительные и не особенно застенчивы, что дает возможность и

побеседовать с этими представительницами прекрасного пола на Памире.

Сверкая глазами и улыбаясь во весь рот, обнаруживая при этом необыкновенно белые, крепкие зубы, они всегда очень довольны привыканию кого-нибудь из русских; тогда они быстро наряжаются, нацепляют на себя разные украшения и потчуют гостей произведениями своего домашнего хозяйства.

Вообще кочевники Памира своим добродушием и гостеприимством оставляют по себе приятное впечатление. Бывало, когда едешь в какой-нибудь аул навестить знакомого киргиза, видишь уже версты за две, что хозяин садится на лошадь и едет встретить гостя и радостно приветствует вас улыбкой и обычными кулдуками (поклонами).

Подъезжаешь к юрте — сейчас же какой-нибудь киргизенок возьмет коня и начинает водить взад и вперед, заботливым взглядом осматривая вспотевшую лошадь. Войдешь в юрту и только успеешь усесться на кошму (войлок), как сейчас же начинается угощение чаем, баурсаками¹, и не успеешь оглянуться, как уж тащат резать барана.

Еле-еле удастся убедить иной раз хозяина, что вовсе не для того приезжаешь, чтобы они празднество какое-то устраивали, а просто посмотреть на их житей-бытьё; и иногда удается отклонить угощение; но бывает, что никакие просьбы и убеждения не ведут ни к чему — ну, тогда форменный праздник.

В юрту откуда-то набирается целая куча народа, ожидающего угощения, и каждый чем может помогает хозяевам. Кто тащит дрова, кто налаживает котел, кто режет барана или помогает киргизкам переливать в чашки молоко и т. д., а прочие стараются разговорами занять своего гостя.

Между этими добродушными киргизами встречались мне и неглупые люди, весьма здраво рассуждавшие на некоторые интересные их темы, но зато находились и крайне ограниченные, ни к чему не способные, праздно шатающиеся из аула в аул и занимающиеся только лишь сплетнями.

Болтая с киргизами в юрте, сидишь, пока не начнет гостеприимный хозяин угощать целым рядом блюд, состоящих из баранины во всех видах. Подают и суп — просто немного соленый мясной навар с таким огромным количеством красного перца, что потом долго горит во рту, и вареную баранину или же мелко изрезанную кусочками и жаренную в сале, а то иногда и просто кусок мяса, жаренного на вертеле. Все общество принимается с аппетитом жевать своими здоровыми зубами кушанья и скоро, обтерев свои руки об сапоги или полы засаленных халатов, проговорив обычное «Алла» и рыгнув несколько раз, что обозначает благодарность хозяину и полное довольствие его обедом, принимается за чай.

¹ Тесто, варенное в сале.

Вся компания расходится только тогда, когда сам встанешь и, поблагодарив хозяина и поочередно попрощавшись с каждым из присутствовавших, выходишь из юрты. Целая толпа провожает вас на лошадях почти до дому, не переставая засыпать целым градом вопросов.

В свою очередь и киргизы приезжают к вам, ну, и тогда их стараешься угостить на славу. Но самое большое удовольствие для вашего гостя, если вы подарите ему немного пороху. Занимаясь охотой, они очень нуждаются в огнестрельных припасах, так как добыть их очень трудно. Уж непременно, раз вы снабдили киргиза порохом или одолжили ему ружье, он привезет вам киика, а иногда и архара и расскажет целую историю о том, с какими препятствиями удалось ему достать убитое животное. При этом он не совет ни капли, описывая те ужасы, когда он на аркане спускался за убитым кииком. Надо увидеть самому те страшные пропасти или скалы, по которым лезят охотники за горным зверем, чтобы вполне поверить описывающему разные трудности охоты кочевнику.

Мне приходилось довольно часто самому охотиться на киика и архара, и я удивлялся, глядя на киргизов, по каким карнизам пробирались они и с каких отвесов спускались в пропасти.

Единственного охотника, безусловно бесстрашного, я встретил только одного, который, невзирая ни на какие преграды, охотился на Памире, — это генерала Ионова. Ну зато его имя и гремит среди самых ярых охотников Туркестана, а иностранцы, приезжавшие поохотиться и отважившиеся ехать с ним в горы, приходили в недоумение и не решались следовать за отважным охотником.

Кроме охоты памирские кочевники очень любят спорт. Ввиду того что сильно разреженный воздух Памира и почти полное отсутствие хороших лошадей не дают им возможности устраивать любимую игру прочих киргизов, улак и бойгу, они, применяясь к местным условиям, заменили их скачками на верблюдах, а иногда и на яках.

Это оригинальное дикое развлечение является таким интересным явлением среди памирского населения, что я считаю нелишним посвятить несколько слов этому спорту.

Задолго до ежегодного праздника богатые киргизы начинают подготавливать горбатых животных к предстоящей скачке. Их каждый день гоняют по несколько часов версью и таким образом мало-помалу приучают животное привыкать к этому аллюру, который обыкновенно оно избегает применять и только в случае какой-либо опасности прибегает к нему, спасаясь бегством. Приученные бегать верблюды перед состязанием держатся по несколько дней без пищи и питья, и вот в назначенный день они немного получают корма.

Со всех концов Памира стекается множество любопытных, все спешат на предстоящую тамашу (увеселение). Теперь обыкновенно

собираются киргизы около русского укрепления на Мургабе, близ переправы Шаджан, где три года, как вырос туземный базарчик, имеется караван-сарай и чайхана.

Версты на четыре, а иногда и больше расчищается место, и вот спортсмены садятся на горбы своих верблюдов. Целою шеренгою стоят они со своими всадниками и, издавая невозможный рев, ожидают сигнала, чтобы броситься рысью вперед.

Но вот дан знак, и киргизы заработали локтями.

Не сразу тронулись все верблюды, некоторые артачатся, но веревка, прикрепленная к продетой через ноздрю палке, оказывает свое действие. Верблюд страшно ревет и бросается догонять уже умчавшихся всадников. С боков раздаются гортанные крики скачущих на своих лошадях или яках киргизов, подбадрывающих верблюдов. Крик, гиканье, свист, удары нагаек и поощрение зрителей — все сливается в ужасный гул.

Но вот один из верблюдов споткнулся и рухнул на землю — седок, не удержавшись на горбе своего животного и совершив довольно продолжительное воздушное путешествие, падает на землю. Кругом поднимается хохот, на несчастного спортсмена так и сыплются насмешки, а он, ругаясь, подходит к лежащему верблюду и старается поднять его, но животное только жалобно воет — у него сломана нога.

Между тем состязающиеся достигают конечного пункта. Крики и гиканье усиливаются. Впереди несется рыжий верблюд с седоком в остроконечной шляпе. Глаза его лихорадочно горят, и кажется, что он не замечает ни того, что делается с боков, ни тех криков поощрения, которые раздаются ему вслед. Он видит, что расстояние между ним и колом, вбитым в землю и обозначающим предел бега, все уменьшается и уменьшается, но вместе с тем он слышит, как топот наступающего верблюда становится все отчетливее и отчетливее.

Он напрягает свое горло, поощряя гиканьем верблюда.

Вот несколько саженьей осталось только до цели. Вот он взмахивает еще раз нагайкой и мысленно уже вкушает торжество победителя...

Вдруг с левой стороны мелькнула вытянутая шея бурого верблюда. Вот и весь верблюд показался с сидящим на нем киргизом. Еще момент — и несчастный победитель видит уже спину своего противника.

Вне себя от злости, он бьет изо всей силы по голове несчастное животное — но поздно. Впереди слышны крики приветствия, и счастливцев победитель, приветствуемый толпою, идет получать призовой халат.

Чины памирского гарнизона за последнее время принимали участие в этом оригинальном спорте, причем призы были розданы офицерами.

Вообще памирские киргизы весьма охотно участвуют во всевозможных скачках и состязаниях и иногда для присутствования на какой-нибудь байге едут за целые сто верст, а иногда и дальше.

Однако между мирным кочевым населением Памира встречаются и люди, занимающиеся грабежом. К этому разряду кочевников принадлежит семья известного памирского разбойника Сахип-Назара, игравшего довольно видную роль во время событий в Памирском ханстве, известных под названием афганской смуты.

Интереснее всего, что разбойник этот, грабя караваны кочевников, не подвергался притеснению ни русского, ни афганского правительства. Наоборот, афганский эмир заискивал перед ним, пользуясь его помощью. На истоках реки Кудары, в почти неприступном месте, стоят зимовки этого разбойника, где семья его проводит обыкновенно суровые памирские зимы, а летом откочевывает в долину Алая.

В 1892 году я посетил эти зимовки и видел Сахип-Назара. Это был рослый, крепко сложенный киргиз с длинною седою бородою, при виде которого невозможно было и представить себе, что этот почтенный старец занимался грабежами. Его два сына, наоборот, имели весьма разбойничий вид.

Обыкновенно, проследив богатый караван, направляющийся в Бухару или Туркестан с контрабандой, шайка Сахип-Назара нападала на него и, разграбив имущество, или отпускала на все четыре стороны возчиков, или брала их в рабство. Редко разбойник нападал на одиночных людей, и вообще грабежи его не отличались кровопролитием.

В 1894 году Сахип-Назар умер, завещав своим сыновьям заниматься мирным промыслом и навсегда оставить разбой. Но разве могли люди, которые с молоком матери всосали разбойничий дух, отказаться от лихого промысла, и они по-прежнему продолжали производить нападения на караваны, пока наконец русское правительство не приняло энергичных мер и не заставило братьев навсегда отказаться от легкой наживы.

Познакомившись ближе с памирским кочевым населением и его бытом, во всяком случае, можно вывести заключение, что этот народ, при всей своей наружной невзрачности и бедности, представляет собою весьма отрадное явление среди народов Средней Азии своею честностью, добротою, гостеприимством и оставляет прекрасное впечатление на посетившего Памир путешественника, побывавшего в среде радушных кочевников этой дикой страны.

17. ВСТУПЛЕНИЕ В МАРГЕЛАН. ЧТО ОЖИДАЛО ЛОСЕВА

Обротный путь казался возвращавшемуся отряду необыкновенно легким, и огромные перевалы, которые с таким трудом преодолевал отряд, теперь не представлялись ему больше такими ужасными и суровыми. Привычка взяла свое, а надежда на скорый отдых в тенистых лагерях Маргелана придавала бодрости и энергии солдату. Несмотря на большие переходы, которые делал отряд, почти не было слабых, правда, что санитарная часть отряда благодаря

неустанным заботам отрядного врача Д.И. Лебедева была необыкновенно хорошо поставлена и внимание доктора всецело обращено на питание солдата в походе, но немаловажное значение имело также то обстоятельство, что за поход нижние чины так закалились, так окрепли, что никакие переходы теперь им были нипочем, и из-под перевала Ак-Байтал на северный берег Кара-Куля отряд прошел в один переход, сделав более 60 верст.

В городе Оше памирцы были встречены 4-м Туркестанским линейным батальоном, приветствовавшим в военном собрании роскошным обедом отрядных офицеров в то время, когда в лагерях нижние чины угощали на славу вернувшихся товарищей-линейцев, конногорцев и казаков.

Наконец 21 сентября, после долгого скитания по горам и долам Памира, отряд вступил в Маргелан. Рваная обувь, потрепанная одежда, измученные лица свидетельствовали о том, что перенесли солдаты за этот тяжелый поход.

Целая толпа маргеланских жителей выехала встречать возвращающихся памирцев, с радостными лицами кивали жены, братья, матери, завидя дорогих им загорелых, запыленных, оборванных людей.

Лосев ехал со своей сотней, зорко всматриваясь в толпу, пестревшую разноцветными зонтиками среди густой зелени садов. Сердце его билось ужасно, так что он несколько раз хватался за грудь. Вот и его мать. Заметила она сына и машет ему платком. Он кивнул ей головой и тотчас же стал искать ту, которую так пламенно желал увидеть и не находил.

Неужели не вышла навстречу, думал он, нет, не может быть. Вот оно что значит, целый месяц письма не было, подумал он, и злобное чувство снова заполнило его душу. Вдруг он вздрогнул.

Чаров на красивом аргамаче на рысях проехал мимо, рядом с ним скакала амазонка. «Она! Она!» — чуть не закричал Лосев, в глазах его помутилось, и он бросился из строя.

— Куда вы? — слышалось вслед ему, но он ничего уже не ображал.

Он видел среди клуба пыли серую коломянковую амазонку и белую лошадь.

Вот он догоняет ее, вот он уже возле. Чаров не смотрит на него, он оборотил голову в сторону проходящего отряда.

— Леночка... Елена... — прокричал почти над ухом амазонки Лосев.

Она испуганно повернула голову...

— Простите... — пробормотал смущенный хорунжий, осаживая лошадь. — Господи, да что это такое? — Не его Лена, а госпожа Стрельская была амазонка.

Сразу радостно стало на душе хорунжего, будто камень тяжелый свалился.

— Петя, Петя, — окликнул голос его из толпы, когда он нагонял полк, он узнал голос матери, но не остановился и поскакал знакомыми улицами. Вот поворот, вот и дом с зелеными ставнями, коновязь знакомая. Он соскочил с седла. Ноги его дрожали от волнения. Одним прыжком он был уже на пяти ступеньках и позвонил.

Ответа не было.

Видно, ушли встречать, подумал он и, обойдя двор, вошел в ворота.

Калитка со скрипом отворилась, и он прошел на знакомый двор.

— Ой, Асман! — крикнул он малайку.

— До-бой¹, — раздался из сада голос караульщика, и, не дожидаясь появления Асмана, Лосев сам пошел в сад.

Навстречу ему, переваливаясь, шел Асман.

— А, тюра, саломат², с Памира пришел, — сказал он, отвешивая низкий кулдук³, в надежде на щедрый на чай.

— Да вернулся, а что господа?

— Господа? Ушли на тамашу, — сказал караульщик, указав пальцем в сторону, откуда слышалась музыка.

Отлегло от души Лосева, и он закурил папироску.

Подожду, подумал он, сейчас должны возвратиться, и стал ходить по двору.

Раздался звонок. Сердце его сильно забилося, близость свидания казалась чем-то невероятным.

— Наконец! — крикнул хорунжий и бросился отворять. На террасу вошел толстый чиновник военно-народного правления, а за ним, пыхтя, ввалилась его жена, такая же дородная и упитанная, как и ее благоверный. Чиновник удивленно смотрел на офицера, который не менее был поражен этим появлением. Полное разочарование выражало его лицо.

Видя смущение Лосева, чиновник подошел к нему и, ослабившись в противную улыбку, свойственную старым выслужившимся чиновникам областных правлений, приподняв фуражку, спросил:

— С кем имею честь?

Хорунжий сказал.

— Памирец?

— Да.

— Вы, вероятно, к Гладковым?

— Да, да, — нетерпеливо проговорил Лосев.

— Так их здесь нет, — сказал чиновник, — я живу в этом доме. — И лицо его снова ослабилось.

Какое гадкое лицо, подумал Лосев, подлость какая-то написана будто на нем.

¹ До-бой — что угодно.

² Саломат — здравствуй.

³ Кулдук — поклон.

— Милости просим к нам чайку откушать, — выступила вперед дородная чиновница, — я думаю, с дороги-то устали.

— Ах, очень вам благодарен, только я не могу, я спешу, меня мама ждет, а вот вы меня очень одолжите, если скажете, где живут теперь Гладковы.

— А вы разве ничего не слышали? — растягивая последнее слово, проговорила чиновница, предвкушая удовольствие, столь присущее маргеланским дамам поделиться важною новостью.

Не то испуг, не то ужасное предчувствие чего-то недоброго охватило Лосева. Замуж вышла, подумал он...

— Что такое, говорите, ради Бога, — подбежал он к чиновнице.

— Вы не слышали? — повторила та. — Да ведь все только об этом и говорят: ведь Елена-то Николаевна вторая неделя, как скончалась...

Если бы чиновница сказала, что его Леночка уже замужем или уехала, бросила его, надсмеялась над его чувством, — он бы поверил — он был готов к этому. Но смерть, смерть — это невозможно, невероятно, это было чересчур неожиданно и жестоко — он не поверил, он не допускал возможности смерти своего сокровища. Как! Она умерла, он больше никогда, никогда не увидит ее, не услышит ее голоса, не почувствует ее теплой, мягкой ручки? Нет, это невероятно — этого не бывает.

— Нет! — закричал он, схватив за плечо чиновницу и потряхнув ее. — Вы лжете, этого быть не может. — Он все забыл в этот момент, ему казалось, что перед ним не чиновница, а какое-то ужасное чудовище, разрушившее вдруг все его счастье, всю его жизнь, он тряс за плечо оторопевшую женщину и сквозь зубы шипел: ложь, ложь, все ложь...

— Что вы, что вы, да вы, никак, спятили, — отбояривалась от него чиновница и, вырвавшись из сжимавшей ее руки Лосева, разразилась целым потоком брани.

Не резкий поступок Лосева обидел ее, нет, ничуть. Она ему не придавала значения, ей обидно было, что ее называли лгуньей, когда она передавала действительный факт, соври она, как это часто бывало, она огрызнулась бы и только, но, чувствуя за собою правду, она была оскорблена до глубины души и не могла простить этого, по ее мнению, невоспитанному офицеру.

Лосев не слышал потока ругани маргеланской кумушки и не заметил, как она, хлопнув дверью, ушла в комнаты. Он стоял, прислонясь к столбу, поддерживающему террасу, и только повторял одно и то же: «Не может быть, нет, это неправда, неправда».

К нему подошел чиновник. Убитый вид офицера, странная, разыгравшаяся на глазах его сцена, были непонятны ему.

— Да, это правда, господин хорунжий, это правда очень при-
скорбная, но, к сожалению, действительная, — сказал он, — сначала барышня заболела, да в два дня и померла, потом и старики

за нею отправились — царство им небесное, напрасно вы и супругу мою обидели — истинную всю правду она сказала...

Но Лосев уже не слушал чиновника, он прислонился лицом к стене, корпус его судорожно задрожал, и зарыдал он, как ребенок.

Пораженный случившимся, стоял возле него толстяк, глядя на серого, запыленного, в боевых доспехах офицера, рыдавшего так громко, так отчаянно, безнадежно.

Видно, жених и есть тот самый, про которого слышал он от жены, подумал чиновник, и ему стало жаль бедного казака, он простил ему грубый поступок с женою и даже упрекал ее в душе за безучастие к человеческому горю.

А там, на холерном кладбище, три свежие могилки с белыми крестами приютились около самой ограды: ни цветочка, ни венка не видать на них, только степной ветер наносит туда мелкий песок, поднимет его, завертит столбом, пронесет по кладбищу и умчит вихрем далеко в степь, крутя по дороге засохшие листья.

18. РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ПОХОРОНЫ В УКРЕПЛЕНИИ. ВЕСНА

Скучно и однообразно тянулись дни на Памирском посту. Работы по сооружению улиток, заготовка терескена на зиму и другие приготовления занимали большую половину дня. Почта приходила раз в неделю, и все с жадностью хватались за письма и газеты, читая в них новости, совершившиеся полтора месяца тому назад. Наконец прибыл и начальник гарнизона, капитан Генерального штаба Кузнецов, произвел смотр — и все опять втянулось в старую колею. В начале октября вдруг выпал глубокий снег, покрыв своею пеленою и укрепление, и юрты. Температура заметно падала, наступили морозы, прибыл и транспорт, доставивший все необходимое шаджанцам, а вслед за ним закрылись и перевалы. Сообщение было прекращено, почта не приходила, и небольшая семья шаджанцев мирно зажила своею серенькою жизнью, отрезанная от всего мира громадною снежною стеною. Морозы все усиливались, и памирская зима разразилась со всеми своими вьюгами и метелями. Ежедневно на ближайшую высоту высылался наблюдательный пост на случай появления противника, были отправлены разъезды в сторону афганцев, но все было тихо, никто не появлялся, да и кому бы в голову пришло двинуться теперь в поход, когда из юрты носа высунуть нельзя, а если выходить на воздух, то только разве по службе. Хлеб пекли хороший, суп с консервами или щи из сушеной капусты были великолепны, баранина имелась своя, водка, вина и коньяк были — чего же лучше? Даже книги и карты, всегдашние спутники офицера в походе, и те имелись и разнообразили длинные скучные вечера.

Вот с наступлением сильных морозов удушье сделалось необыкновенно чувствительным. Бывало, во время сна хватаешься за грудь и чувствуешь, будто кто-то мощной рукой давит горло.

Вскочишь, закричишь, но напрасно — еще хуже становится от движения, наоборот, нужно по возможности оставаться спокойным, так как пароксизм удушья и без того был вызван резким движением во сне. Утром иногда во рту появлялась запекшаяся кровь, и многие жаловались на необыкновенную слабость.

Наступили и дни Рождества Христова, и на «крыше мира» зажглась первая елка.

Заботами капитана Кузнецова раздобыли дерево, солдатики наделали украшений, и свечи самодельные появились, и вот 24 декабря в одной из самых больших юрт поставили «елку», украсили ее и зажгли. Сколько торжества-то было! Гармошка, скрипка, гитара — все появилось на сцену, даже и спектакль, неизменный «Царь Максимилиан», сошел блестяще. По приказанию начальника гарнизона была выдана водка и угощение для солдат, а офицерство по-своему справляло этот торжественный день, ознаменовав его небольшой кутежкой.

Наступил и новый год, первый новый год, встреченный русскими на Памире. Скромно встретили его шаджанцы, пожелав друг другу счастья и здоровья в наступающем 1893 году. Уже нескольких человек недосчитывали они, а недалеко от крепости уже успело вырасти маленькое шаджанское кладбище, приютившее под свою сень вечных памирцев.

Ужасно тяжело действовала на всех в укреплении смерть кого-либо из членов отряда. Без священника, без обряда погребального хоронились покойники, провожаемые своими товарищами. Грустно было видеть эту картину.

На руках в сплетенной самими шаджанцами корзине несли солдаты погибшего собрата. Уныло раздается нестройное пение «Святой Боже!». Слезы выступают из глаз при звуке погребального пения. Вот и крест, наскоро сколоченный из оставшихся от построек брусков.

Положили покойника в яму. Начальник отряда читает отходную и провозглашает вечную память, горнист играет погребение, барабан бьет отбой.

Могíла зарыта, и все идут грустные, молчаливые, у каждого на душе одна мысль, что вот-вот и его очередь скоро настанет.

Мало-помалу привыкали памирцы к суровой зиме, и она уже казалась им в порядке вещей. Но вот наступил март. Стало заметно теплее. Перевалы один за другим открывались, а вместе с ними возобновилось и почтовое сообщение. Целая груда газет, писем, известий появилась в укреплении, все ожили, приободрились в надежде скорой смены. Наступила и Пасха. В страстную субботу все приводилось в порядок, украшалось и готовилось к параду. Куличи, пасха — все было заготовлено из навезенного киргизами молока, и вот над «крышей мира» впервые раздалось «Христос воскрес!». Салюты из пулеметов нарушили тишину, царившую над укреплением. Первый раз слышали седоглавые вершины этот

радостный возглас, и они, освещенные весенним солнцем, будто вторили горсточке православных воинов, собравшихся у подножия их. «Воистину Воскресе!» — как бы отвечало эхо из черных ущелий. Пасхальный парад, затем христосование офицеров с солдатами, питье водки, пляска, гармония и разные солдатские игры длились три дня, а потом наступили и занятия. Во время зимы, когда гарнизон не мог производить строевых учений, благодаря суровой погоде офицеры занимались словесными занятиями с нижними чинами, но, лишь только настали первые весенние дни, опять начались правильные учения. Маршировка, гимнастика, прикладка, рассыпной строй, а параллельно с тем стрельба и сторожевая служба велись самым исправным образом.

Несмотря на требовательность начальника отряда и строгость его в случае каких-либо упущений, солдаты любили капитана Кузнецова за его заботы о них, и приятно было слышать солдатские отзывы о своем начальнике. «Капитан наш — отец», — говорили шаджанцы. Сами солдаты помимо начальства собрали деньги и поднесли шашку на память своему командиру с надписью. Тронутый, капитан с благодарностью принял подарок, но вернул затраченные деньги солдатикам.

Вместе с весной проснулась от тяжкого зимнего сна и вся природа сурового Памира. Седоглавые вершины как будто стряхнули свою зимнюю пелену, под которою безмятежно спали они в течение многих месяцев, укрытые ею от трескучих морозов и снежных буранов. Шумные водяные потоки, посылаемые с их вершин, как первые вестники весны, весело побежали во все стороны Памира, пробуждая на пути своем уснувшие мрачные долины.

Один за другим стали открываться перевалы, и с Ферганою установилось правильное сообщение. Целая груда писем и газет сразу была получена шаджанцами, и они, как голодные звери, набросились на эту так долго ожидаемую добычу.

Легче становилось у каждого на душе при сознании, что вот скоро, скоро прибудет сменный отряд и изнуренные шаджанцы после тяжелой первой зимы на Памире снова возвратятся в Фергану, а оттуда и на родину.

Наконец прибыла и смена под начальством капитана Зайцева, и новый отряд занял гарнизон в Шаджанском укреплении.

Передача поста не затянулась долго, в одну неделю все было закончено, и оба отряда, помолившись Богу, простились друг с другом, пообедали вместе в последний раз, выпили спирту и расстались.

Снова началась однообразная жизнь на Памирском посту, снова начались работы по сооружению более удобных жилищ, возводились цейхгаузы, баня, выстроена была метеорологическая будка, строилось офицерское собрание, и вместо низких неудобных зем-

лянок вырастали мало-помалу сносные, сложенные из сырцового кирпича и камня жилища.

Время от времени начальником отряда были высылаемы разъезды по направлению к афганским владениям, и капитан Кузнецов произвел рекогносцировку по Дарвазу, дойдя до крепости Кала-и-Ванч. Но все было тихо, нигде афганцы не показывались на нашей территории, и только жители таджикских селений Шугнана и Рошана жаловались на жестокость своих поработителей и умоляли начальника Памирского поста ходатайствовать перед русскими властями о принятии их под покровительство России.

19. РЕКОГНОСЦИРОВКА ВАННОВСКОГО. ВСТРЕЧА С АФГАНЦАМИ

Между тем в укрепление стали поступать донесения таджиков, что афганцы стягивают свои войска к границам Бухары, а из Кала-и-Бар-Пянджа производятся постоянные рекогносцировки по Шугнану и Рошану.

Таким образом, вопреки соглашению России с Англией, состоявшемуся в 1873 году, афганцы самовольно захватили Шугнан и Рошан, где, производя насилия над населением и собирая незаконную подать с него, наносили несомненный ущерб нашему обаянию на Памирах и среди соседних ханств.

Это обстоятельство вынудило русское правительство, охранявшее до сих пор прилегающие к Памиру ханства высылкою туда время от времени джигитов из Шаджанского укрепления, на этот раз послать в долину реки Бартанга, то есть в глубь Рошана, рекогносцировочную партию¹, чтобы указать афганцам, что Россия не отказывается от своих прав на Памирские ханства, а, напротив, считает их своим законным владением, как входившим в сферу влияния Кокандского ханства, покоренного ею. Другою причиною снаряжения рекогносцировочной партии служило также то обстоятельство, что восточная часть Памира, обладающая важным продольным путем от долины Алая к Гундукушу, непригодна для постоянной оседлой жизни вследствие суровости климата в этой части Памира, между тем как Рошан и Шугнан возможны для обитания в течение круглого года и, по имеющимся расспросным сведениям об этих ханствах, земли их хорошо обработаны и легко могут служить для продовольствия небольших отрядов.

Таким образом, на начальника рекогносцировочной партии штабс-капитана лейб-гвардии Преображенского полка, причисленного к Генеральному штабу, С.П. Ванновского была возложена обязанность собрать точные сведения касательно этого вопроса, разрешение которого в утвердительном смысле могло привести к устранению тех огромных расходов, которые несла казна по до-

¹ Настоящее описание составлено по донесениям, маршрутам и путевым журналам подполковника Генерального штаба С.П. Ванновского.

ставке продовольствия на Памиры для Шаджанского отряда из долин Ферганы.

В инструкции, данной штабс-капитану Ванновскому, предписывалось произвести рекогносцировку от крепости Таш-Кургана рошанского вниз по Бартангу до впадения его в реку Пянджа, а равно путей из долины Бартанга в долины Язгулема и Ванча, связав таким образом неизвестные европейцам части Рошана и Дарваза с конечным пунктом исследований, произведенных в том же году капитаном Кузнецовым. Ввиду же того что между Россией и Англией уже завязались дипломатические переговоры об очищении Рошана и Шугнана афганцами, начальнику партии предписывалось избегать вооруженных столкновений с афганскими постами, так как при малочисленности казачьего конвоя, данного в распоряжение Ванновского, всякое столкновение с афганцами могло иметь в случае неуспеха гибельные последствия, как для партии, так и для туземного населения; особенно для последнего ввиду мстительности афганцев, которые не простили бы ему услуги, оказанной русским войскам. Кроме того, Ванновскому было поручено собрать расспросные сведения о настроении жителей Рошана и Шугнана по ту сторону реки Пянджа и о значении для России озера Шива, а также производство, насколько возможно, подробной съемки маршрута.

В состав партии кроме начальника ее штабс-капитана Ванновского входили штабс-капитан Бржезицкий, о котором я уже упоминал ранее в одной из предыдущих глав, подпоручик Рукин, заболевший на Муз-Куле и вместо которого был выслан с Памирского поста сотник Репин; из нижних чинов: один урядник, два приказных и 16 казаков, два пехотинца от охотничьей команды 2-го Туркестанского линейного батальона, один фельдшер, три казенных джигита и два джигита, нанятые самим Ванновским. Предполагалось отправить и два пулемета Максима.

Эта небольшая партия, снабженная продовольствием на сорок дней, готовилась отправиться по тяжелому неисследованному пути навстречу недружелюбным нам афганцам, а потому благодаря малочисленности этого состава, нельзя было ее считать совершенно обеспеченной на случай враждебной встречи со стороны афганцев. Для подобной рекогносцировки требовалось минимум сотня казаков и для прикрытия обоза взвод пехоты, так как при натянутых отношениях между Россией и Афганистаном и в силу бывшего в предыдущем году столкновения можно было предполагать, что афганцы не преминут враждебно отнестись к партии, и какие последствия повлекла бы за собою стычка с ними — было весьма гадательно.

Между тем следовавший к Ак-Байталу новый командующий войсками Ферганской области и военный губернатор Повало-Швайковский не только не увеличил численность партии Ванновского, но нашел совершенно излишним снабжать ее пулеметами. Мало

того, он письменным приказанием истребовал от Ванновского для оконвоирования самого себя под предлогом охраны следовавших на Памирский пост пулеметов одного приказного и девять казаков, уменьшив таким образом силы партии, и без того незначительные, более чем наполовину.

Положение начальника партии становилось затруднительным, он понимал значение в данное время каждого лишнего человека, для чего им и были наняты два джигита, а тут сразу его лишили 10 человек, испытанных казаков. Хотя предварительно Повало-Швайковский и заручился согласием Ванновского на выделение части партии, он не должен был пользоваться своею властью в этом случае, так как не мог не знать, что, отнимая теперь половину сил, он ставит Ванновского в весьма щекотливое положение своим приказанием выделить такое значительное число людей, чего, конечно, не мог ожидать начальник партии, даже несмотря на обещание уделить конвой, численность которого предполагалась далеко не в таком количестве. Кто не знает, что представляет собою испрашивание согласия старшим младшего в военной службе? Ничего не оставалось Ванновскому, как немедля же привести в исполнение приказание командующего войсками и отправиться далее со штабс-капитаном Бржезицким, сотником Репиным, одним урядником, восемью казаками, двумя пехотинцами и джигитами.

Теперь подобную рекогносцировку можно было считать более чем рискованною.

Прибыв 8 августа на Муз-Куль, партия перевалила через Кукуй-Бель и, свернув таким образом вправо с дороги, по которой следовал прошлогодний отряд на Ак-Байтал, спустилась к 13 августа в долину реки Бартанг, к крепости Таш-Курган в Рошане.

Местный аксакал волости Язгулема вышел навстречу партии и сообщил, что им заарестовано пять человек таджиков, пришедших со стороны Кала-и-Вамара, и будто таджики эти от имени афганцев уговаривали местных жителей явиться в Кала-и-Вамар на поклон афганскому начальнику.

Немедленно пленные были доставлены к начальнику партии и допрошены им. Эти пять несчастных таджиков имели самый жалкий вид, обтрепанные, с утомленными тяжелою дорогою лицами, они предстали перед Ванновским в страхе за свою участь и уверяли его, что пришли сюда посоветоваться с родственниками о переходе всего Рошана в русское подданство. Писем у них при самом тщательном обыске не оказалось. На все расспросы таджики отвечали весьма охотно и сообщили, между прочим, что Ибадулла-хан¹ ушел из Кала-и-Вамара в Кала-и-Бар-Пяндж, а что вместо него остался капитан Гулям-Хайдар-хан² с гарнизоном в 100 человек.

¹ Командир гарнизона в Кала-и-Вамаре.

² Родственник убитого 12 июля 1892 года.

Жалкий вид таджиков, их готовность служить русским и, наконец, обременительность держать под караулом пятерых жителей заставили начальника партии решиться освободить арестованных и разрешить им явиться в Кала-и-Вамар несколькими днями позднее прибытия туда русских.

Вообще с этих пор партия для пресечения возможности доноса афганцам о движении русских располагалась бивуаком, пройдя туземное селение, и до выступления ее не пропускалось вперед ни одного человека. Такая мера достигала намеченной цели потому, что путь по реке Бартангу весьма узкий и следует по карнизам, наблюдение за которыми не представляло особого затруднения.

Продневав в Таш-Кургане, 15 августа партия подошла к селению Орошор, расположенному под южным склоном блистающего своею снежною вершиною пика Ванновского¹.

Тот кишлак представляет собою некоторое отличие от прочих рошанских кишлаков, а именно тем, что сакли его разбросаны на очень большом пространстве между пашен и, за исключением нескольких жалких тополей, в нем нет никаких деревьев, между тем как большинство рошанских селений изобилуют растительностью. Отсюда есть сообщение в Дарваз через пешеходный перевал, но путь этот очень тяжелый и доступен только в летнее время. На следующий день, сделав восемнадцативерстный переход в 14 часов, партия стала бивуаком в урочище Вадин.

Этот переход был чем-то необычайным. Узкие искусственные карнизы пролегали по совершенно отвесным скалам, и не только лошади не могли проходить здесь навьюченными, но даже и седла в некоторых местах задевали за каменные выступы и давали толчки, от которых животному ежеминутно грозила гибель на дне глубокого оврага, откуда доносилось клокотанье ревущего Бартанга. Приходилось в этих местах развьючивать и даже расседлывать лошадей и все снятое с них переносить на руках отряда. В помощь измученным казакам были наняты местные жители из селения Орошора, но благодаря их малочисленности переноска тяжестей, а вместе с тем и движение партии сильно замедлялись.

Наконец, в одном месте и расседланная лошадь не могла пройти по карнизу, до такой степени он оказался узок. Что ж делать, пришлось лошадей пустить вплавь, что было весьма затруднительно, так как быстрое течение реки оказалось не по силам лошадям, вследствие чего многие из них сносились водою и калечились, ударяясь о камни. Только к 10 часам вечера подошли к месту ночевки последние вьючные лошади и измученные люди, наскоро поевши, залегли в своих палатках.

На следующий день до селения Чадут опять пришлось бороться с ужасною природою Рошана, и 9 тяжелых верст отряд прошел с невероятными усилиями за 9¹/₂ часа. Но этот переход был ослож-

¹ Пик этот назван в честь генерал-адъютанта П.С. Ванновского.

нен еще троекратными переправами лошадей с одного на другой берег Бартанга, между тем как седла и тяжести переносились на руках правым берегом по двум карнизам¹, висевшим высоко над рекою. Несколко тюков с провиантом сорвались с высоты, сделавшись достоянием реки, и надо удивляться, как люди-то уцелели и никто из казаков не сорвался и не убится до смерти в этих ужасных местах. Таким же образом на руках были втащены тяжести обоза на перевал Сандал-бука. 18 августа у селения Чадут партия переправлялась на санчах, гупсарах. Гупсары, или санчи, это есть не что иное, как целые шкуры быков или каких-нибудь животных с зашитыми отверстиями в головной части и в ногах, за исключением одного, через которое такой мех наполняется воздухом; иногда, впрочем, бывает отверстие и в головной части. Обыкновенно из таких санчей устраивается плот следующим образом: берется пять гупсар, укладываются рядом бок о бок головными частями в одну сторону и привязываются к продольному деревянному бруску, к которому таким же порядком прикрепляются и следующие пять санчей. Находящиеся в наружной части, ноги гупсар также прикрепляются к продольным жердям, и все три жерди скрепляются на концах двумя поперечными брусками и двумя положенными по диагоналям образовавшегося деревянного четырехугольника. Все палки, крепко связанные между собою и прочно прикрепленные к гупсарам, образуют весьма легкий для переноски плот, который свободно поднимает пятнадцатилетний мальчик, и вместе с тем представляет собою весьма удобный снаряд для переправы. На десятитурсучном плоту свободно переправлялось 4 человека с оружием. В 17 рейсов на подобных плотках партии удалось со всеми своими вьюками перебраться на левый берег Бартанга, и эта переправа длилась в течение пяти часов, а тут еще впереди предстоял переход через реку Девлех. По прибытии в селение Бассит, Ванновский получил донесение от местных жителей, что из Кала-и-Вамара с Ибадулла-ханом ушло всего несколько афганцев из числа бывших там ста человек, а не весь гарнизон, как сообщили ему таджики.

Местное население необыкновенно радушно встречало русскую партию и всеми силами старалось услужить ей. Припасы, фураж и все необходимое доставлялось с избытком, и, несмотря на то что русским деньгам, которыми щедро оплачивался забираемый товар, местные жители не придавали особого значения, их энергия не убывала, они охотно исполняли все, что от них требовалось, без малейшего принуждения со стороны русских.

Особенно поражали горцев эта неутомимость и бодрость людей партии при преодолении тяжелых природных преград. Они с

¹ Карнизы эти, или, как они называются туземцами, авринги, очень узки, не шире 1 фута, и состоят из двух продольных жердей, положенных на два воткнутых в расщелины камня кола и привязанных к ним хворостинными вицами. На этих жердях уложены в один ряд плоские осколки камня.

необыкновенным уважением относились к начальнику отряда и его подчиненным, видя в них своих освободителей. Особенное же рвение выказывал волостной управитель Язгулем. Этот почтенный таджик, понимая всю важность появления русских в Рошане, всеми силами старался услужить Ванновскому в достижении его цели, то есть по возможности скрывать движение его в глубь Рошана, и до сих пор имело основание полагать, что о русской партии афганцы ничего не знали.

Только за три перехода до Кала-и-Вамара, то есть около поворота на перевал Кумач-дара, Ванновский отправил письмо в Кала-и-Вамар, начальнику афганского гарнизона в Рошане, в котором предупреждал его о движении партии в Дарваз с исключительно мирною целью, а именно, чтобы войти в связь с экспедицией генерала Баева¹, следовавшей со стороны Дарваза к Пянджу.

Кроме того, в письме этом он испрашивал разрешения пройти мимо Кала-и-Вамара, от которого идет дорога к перевалу Оудуи — единственному пути, пригодному для движения в Дарваз вместе с конным обозом.

25 августа в ответ афганец прислал два письма, из которых можно было заключить, что письма начальника русского разъезда пересланы правителю Бадахшана, но что афганский начальник со своей стороны не препятствует партии в ее дальнейшем следовании.

Рассчитывая дойти до кишлака Сучана, партия выступила 27 августа из Багу, но около селения Имца таджики привезли сведения, что афганцы вышли из Кала-и-Вамара, угоняют население и скот, захватывают фураж и провиант или уничтожают его на месте, разрушая таким образом все, что могло бы способствовать беспрепятственному движению русского отряда.

Наконец поступило донесение, что афганцы заняли позицию за карнизом, в одной версте от Имца, приказав таджикам селения Сучан уничтожить деревянные лестницы и балконы, ведущие к занятой ими позиции, где, как удалось определить отряду, находилось 65 человек, из которых часть были таджики, вооруженные мултуками.

В силу того что таджики дали клятву не предпринимать против нас никаких военных действий, они приказания афганцев не исполнили и отступили, послав тайно от афганцев предупреждение русским, что не поднимут оружия против России.

Для выяснения обстоятельств Ванновский переправился через Рум-Дару и пошел по балконам, не тронутым таджиками, вопреки приказу афганцев, к позиции, занятой неприятелем.

Видя это движение, афганцы отодвинулись назад и заняли вторую позицию на склонах за ручьем Вавзудш, откуда прислали с таджиком вежливое письмо, прося Ванновского остановиться.

¹ Генерал Баев умер на Памире и труп его в то время вез сопровождавший экспедицию доктор Феглер.

Ввиду того что место, на котором было получено афганское письмо, не было удобным для остановки, так как впереди него раскинулась небольшая арчевая роща, в которой мог легко укрыться противник в случае его наступления, партия продвинулась еще немного вперед и, заняв рощицу, выставила патруль на опушке ее, после чего Ванновский вступил в переговоры с афганцами.

Начался обмен писем, не приводивших ни к какому результату. Очевидно, афганцы только хотели тем выиграть время и по возможности дольше продержат партию на занятой ею позиции.

Написав письмо в ответ на третье, полученное от афганцев, Ванновский отправил его с джигитом, которому приказал сообщить афганскому начальнику, что в доказательство миролюбивых отношений он отойдет к селению Имц, где и будет ждать ответа от Джернейля, и с партией отошел на версту назад к селению Имц, где и решил ожидать пропуска, а в случае отказа в таковом решил занять калу (то есть небольшую сторожевую башню, сложенную из камня), расположенную на одной из командующих высот с широким обстрелом подступа к селению. Ответ прибыл на бивуак поздно ночью, и джигит, принесший его, подтвердил, что на неприятельской позиции всего 65 человек, а что в Кала-и-Вамаре стоит 60 человек афганской пехоты. В ответном письме своим афганцы просили начальника русских отойти к Сипанджу, где и ждать ответа от правителя Бадахшана.

От личных переговоров, по-видимому, афганцы уклонялись.

Для того чтобы не утомлять людей без надобности, партия выставляла всего одного часового, а три поста высылались из местных жителей, безусловно преданных России и жаждавших освобождения от ненавистного им афганского ига, и потому вполне надежных.

Кишлак Имц расположен на довольно обширной площади при входе в ущелье на левом берегу реки Рум-Дары. С западной стороны кишлака между селением и рекою выдается над водой совершенно обнаженная узкая и длинная каменная скала в 15 саженей вышиною. На южной ее вершине поставлена из сложенного камня довольно большая кала, возвышающаяся над рекою и допускающая удобное наблюдение и обстрел ущелья Бартанга, вниз и вверх по течению. С запада тянется главный горный хребет с высоким, но не покрытым снегом пиком, от которого на восток идет, надвигаясь на селение Имц, обнаженный гранитный отрог.

27 и 28 августа Ванновский вместе с Бржезицким производили рекогносцировку окрестностей Имца и съемку, все время не переставая следить за действиями афганцев.

28 августа с утра афганцы спустились в рощу, в которой накануне ночевал отряд, и приказали своим таджикам ломать карнизы и лестницы, служащие подступом к их позиции.

Долго не решались таджики исполнить это приказание, но афганцы принудили их к тому жестокими побоями, и таджики

нехотя испортили карнизы на протяжении всего лишь нескольких саженьей.

Ванновский не мешал афганцам приводить в исполнение их план, так как считал для себя выгодным уничтожение дороги, облегчавшее этим охрану занятой им позиции, между тем как в случае надобности он мог свободно продвинуться вперед, так как вплавь на гупсарах вниз по реке партия без затруднений вышла бы на ручей Вавзудш и заняла бы рошу.

Окончив свою работу по разрушению карнизов, афганцы отошли на заднюю позицию, оставив 15 человек таджиков для охраны дороги.

Теперь уже отступление к Сипанджу становилось невозможным потому уже, что раз партия отошла бы назад, то таджики были бы поголовно вырезаны афганцами, имущество их разграблено, поля выжжены дотла, да, кроме того, и престиж русский, высоко поднятый в Средней Азии рядом больших завоеваний, сразу бы упал в глазах мусульманского населения Афганистана.

Местные жители умоляли Ванновского остаться на позиции и усиленно занялись заготовлением продовольствия для партии.

Позиция, занятая русскими, имела и свое неудобство: в тыл к ней выходила обходная дорога, но при подробном опросе таджиков это была просто пешая тропа, и нельзя было предположить, что афганцы решились бы воспользоваться ею. Выход же от Имца к Дарвазу имелся через перевал Рум, но воспользоваться им партия не могла, так как, по словам таджиков, этот путь очень тяжел и через него ходят только опытные горцы, да и то по двое, помогая друг другу подниматься и спускаться по ледникам.

Вот через этот-то перевал Ванновским было отправлено письмо в Дарваз капитану Февралеву, следовавшему с экспедицией генерала Баева; однако письмо это доставлено по назначению не было и возвращено Ванновскому на обратном его пути в Фергану.

29 августа, приказав привести неоседланных лошадей из табуна, Ванновский вместе со своим переводчиком Саид-Мансуром и джигитом Шарипом отправился верхами к таджикскому посту, выставленному афганцами.

На неоседланных лошадях отправились Ванновский и его спутники потому, что местами приходилось переправляться вплавь через реку Бартанг, а местами проходить по балконам и карнизам, где бы непременно пришлось расседлывать лошадей, что сильно бы замедляло быстроту движения.

Подъехав к таджикам, Ванновский начал вести с ними переговоры и расспрашивать об афганцах. Здесь он узнал все, что только ему было нужно. Таджики выразили ему свою готовность служить русским и клялись не поднимать оружия на своих друзей — подданных Белого Царя. Ванновский убеждал таджиков подчиниться требованию афганцев и ломать балконы и лестницы, уверяя их, что это только принесет ему пользу.

Вдруг из-за камня выросла фигура афганца в красном мундире, он ловким движением отдал честь русскому офицеру ружьем, взял его на караул и стал приближаться.

Ванновский ответил ему, взяв руку под козырек, и переменял тему разговора с таджиками. Вдали показались еще афганцы, которые могли при желании перестрелять русского офицера и двух джигитов в одно мгновение.

Между тем Ванновский окончил свои переговоры и медленно направился к своей позиции. Афганцы не стреляли. Однако на случай их неприятных действий были приняты меры предосторожности, и, приказав населению заготовить лепешек в кале, Ванновский отправил туда двух стрелков и усилил таджикские караулы.

20. СТОЛКНОВЕНИЯ С АФГАНЦАМИ. НАЗАД В ФЕРГАНУ

Настало 30 августа — день тезоименитства императора Александра III, — и Ванновский, желая ознаменовать этот высокаторжественный день, приказал зарезать лишних баранов, чтобы угостить казаков и туземцев. Спирта в партии уже не было, пришлось обойтись и без него. В 10 часов начальник партии хотел прочесть молитвы и со своим маленьким отрядом помолиться за здоровье Его Величества. Все приняли парадный вид, подчистились и выстроились перед палатками. Думая установить мирные отношения с афганцами, Ванновский написал их офицеру письмо с приглашением на обед, который должен был скрепить дружественные отношения между русскими и афганцами. Со спокойным сердцем, предвкушая удачу, что все окончится миром, а главное — инструкция будет соблюдена, Ванновский лежал в своей палатке на складной кровати, наслаждаясь прохладным воздухом наступающего ясного дня в ожидании, когда ему доложат, что партия готова для прочтения молитвы. Вдруг вдалеке послышался выстрел. Глухо так прозвучал он и смолк где-то в ущелье. Вот еще один уже громче и яснее долетел до позиции. Ванновский вскочил и вышел из палатки.

По тревоге, поданной начальником партии, все в одну минуту были в сборе, а вниз немедленно были посланы джигиты разузнать, в чем дело.

В это время вернулся джигит Сеид-Мансур, отправленный к афганцам с пригласительным письмом, и сообщил, что они наступают и открыли огонь по нашему посту, а вскоре из высланного разезда поступило донесение, что неприятель стрелял с довольно большой дистанции и что к нему подошло подкрепление, состоящее из пяти пеших и десяти конных человек; таким образом, афганцев насчитывалось теперь до тридцати. Таджиков они также побуждали стрелять по нашим разездам, и те, не прицеливаясь, давали выстрелы в воздух.

Ввиду такого действия афганцев патрулю было приказано в случае возобновления ими огня отвечать на выстрелы и отходить к позиции, с которой бы можно было обстреливать два пути наступления противника: один, тянущийся по горе, а другой, идущий бродом через Бартанг. Однако выстрелов со стороны разезда не последовало, и было получено донесение, что к афганцам спешит гарнизон из Кала-и-Бар-Пянджа, который ожидается ими к вечеру.

Положение партии становилось серьезным, у казаков имелось всего по 80 патронов, об отступлении нечего было и думать, а в случае прибытия новых сил к афганцам оставалось только отсиживаться, и, быть может, довольно продолжительное время.

Немедленно же Ванновский отправил письмо в Оршор подпоручику Рукину, прибывшему туда с пехотой, в котором, описывая действия афганцев, сообщал: «Отступать не буду; может быть, придется долго отсиживаться; немедленно присоединяйтесь ко мне, так как у меня небольшой запас патронов. Лошадей с собой советую не брать — они затруднят Ваше движение, все тяжести лучше с места нести на руках при помощи таджиков, сами же двигайтесь пешком».

Вскоре после отправки письма афганцы открыли огонь, и они стали со стрельбою наступать на выставленный партией пост. На десятый выстрел афганцев пост стал отвечать огнем. В это время часть неприятеля, наступая снизу, начала стрелять по кишлаку и по бивуаку партии, а другая же часть его, продолжая наступление, отделила от себя половину людей, которые стали обходить позицию по скалам. Заметя обходное движение, пост начал отходить, спускаясь с занятой им высоты; для прикрытия отступления его начальник партии приказал двум линейцам под наблюдением штабс-капитана Бржезицкого открыть огонь по афганцам, показавшимся как по нижнему, так и по верхнему путям, а сам с семью казаками и двумя джигитами направился к лежащей впереди пашен рощице и занял опушку ее.

По выходе из селения движение Ванновского было замечено афганцами с нижней дороги, и они усилили стрельбу по его цепи.

Пули их ложились довольно удачно, давая частью перелеты, частью недолеты, и ударялись в землю в нескольких шагах от цепи и у самых ног спешивших к роще казаков.

Положив цепь по опушке шагах в 500 от селения и укрыв ее частью за грудами собранной гальки, а частью за невысокой каменной стенкой вышиной в $1\frac{1}{2}$ фута, начальник партии открыл огонь по наступавшим афганцам.

Люди были распределены так: правая половина цепи под наблюдением сотника Репина должна была обстреливать афганцев, находившихся на горе, когда они подойдут к спуску, и вообще Репину иметь наблюдением за правым флангом. Левая под наблю-

дением самого Ванновского обстреливала как находившихся сверху, так и под горою.

Первоначально прицел был взят на 700 шагов (берданки) для стрельбы по горе и 600 для стрельбы по нижней дороге, затем он был установлен на 550 шагов для кавалерийских карабинов (у джигитов), затем 500 и 450 — для казаков и наконец уменьшен еще на 50 шагов.

Под прикрытием этого огня и выстрелов линейцев с калы пост благополучно спустился и присоединился к партии.

Оказалось, что против него находилось 40 человек афганцев, причем 20 наступали и стреляли с фронта и частью обходя по откосу горы, а другие 20 человек стреляли из караульной башни и из-за камней нижней дороги. Перед собою афганцы гнали таджиков, не принимавших участия в стрельбе, и как бы маскировались ими.

Кроме того, казаки доносили, что около полусотни афганцев в красных мундирах втянулись с проводником в ущелье к урочищу Вавзутш, которые были видны также и с позиции, столько же афганцев осталось на левом берегу Бартанга в виде резерва против входа в ущелье, которым идет тропа к селению Багу, находящемуся в четырех верстах за позицией вверх по течению реки.

Афганцы, прекрасно укрываясь за камнями, стреляли по кале, занятой линейцами, по казакам и по месту, где находились партионные лошади, и пристрелялись довольно хорошо, так что пули их с противоположной горы ложились очень близко от людей и лошадей, рикошетировали, наполняя воздух обычным визгливым пением, но благодаря хорошему закрытию не причиняли вреда.

Не смолкая, поддерживали афганцы довольно частый огонь с 12 часов дня до наступления темноты, партия же ввиду экономии патронов отвечала им реже и преимущественно лишь тогда, когда афганские стрелки уж очень откровенно показывались из-за камней.

По присоединении поста Ванновский обошел цепь и приказал людям по возможности беречь патроны, открывая огонь лишь тогда, когда афганцы покажутся на продолжительное время из-за закрытий, или в случае их новой попытки пройти по спуску с горы.

Отдав эти распоряжения и передав сотнику Репину командование цепью, он направился назад к кале, откуда наблюдение за общим ходом боя было удобнее. По кале афганцы пристрелялись также довольно хорошо, несмотря на значительное расстояние, отделяющее их от цели. Зато и с нашей стороны из трехлинейных винтовок оттуда стреляли сперва с прицелом на 1200 шагов, а затем вверх по горе на 1100, а вниз по карнизу на 900 шагов. По наблюдению в бинокль была видна пыль, поднимаемая падающими пулями, увлекающими за собою целую массу осколков камней, за которыми прятался противник, и, судя по ней, можно было вы-

вести весьма благоприятное заключение о меткости новых ружей¹. Между тем стрельба была весьма затруднена тем обстоятельством, что противник показывался из-за закрытий на очень короткое время, и, только когда огонь с нашей позиции ослабевал, афганцы пытались продвигаться вперед. В эти-то моменты с калы открывался огонь, и при этом каждый раз сам начальник партии назначал цель. Оба стрелка, как Шахов, так и Фефелкин (2-го Туркестанского линейного батальона), проявили необыкновенную меткость по движущейся и показывающейся цели. По первому же выстрелу упал один афганец, по третьему свалился другой. Кроме того, на карнизе было убито несколько человек и много ранено. Этот результат вполне доказывал на практике возможность стрельбы из трехлинейных ружей по одиночным людям на дистанции от 900 до 1100 шагов и вполне подтверждал их меткость.

Видя вред, наносимый нашими стрелками, благодаря бездымному пороху, афганцы сделались осторожнее и несколько ослабили огонь, но спустя некоторое время снова попытались сразу броситься к спуску. Дружные залпы казаков, а затем частый огонь их и меткие выстрелы с калы заставили неприятеля искать спасения за камнями, причем он опять потерял нескольких человек.

Было уже 4 часа пополудни. С нашей стороны стрельба почти совсем прекратилась, только изредка раздавался то в одном, то в другом конце цепи одинокий сухой выстрел.

Афганцы же не жалели свинца, осыпая пулями кала, кишлак и виднеющиеся из-за деревьев палатки и коновязи.

Надо отдать справедливость как офицерам, так и нижним чинам, что все они вели себя под огнем примерно для солдата. Необыкновенное хладнокровие царило между маленькой русской партией, против которых выступал противник в 5 раз сильнее ее. Начальник партии прекрасно управлял огнем, а казаки и линейцы напрасно патронов не тратили, отражая каждую попытку противника продвинуться вперед. Без пищи и питья в продолжение всего дня продержались они на позиции и, выражая полную готовность и на дальнейшую защиту ее до последней капли крови, заканчивали выстрелами день Тезоименитства своего Государя.

Ввиду того что затеянная афганцами драка легко могла превратиться в крупный инцидент и сильно повредить ведущимся переговорам между Россией и Англией и даже повлечь за собою совсем нежелательные осложнения, Ванновский решил ночью, воспользовавшись темнотою, пройти к селению Багу навстречу отряду подпоручика Рукина, соединившись с которым ждать дальнейших приказаний от начальника Памирских отрядов.

Пройти с позиции нужно было незаметно от неприятеля и притом по возможности поспешно, чтобы противник не мог пре-

¹ В 1893 году впервые на практике были испытаны новые магазинные ружья образца 1891 года.

дупредить партию и ранее ее занять это селение. Между тем являлось большое осложнение. Население при первых же выстрелах поголовно бежало из кишлаков, угоняя скот в горы, и таким образом, не было никакой возможности увести лошадей, так как по пути к Багу два раза приходилось их переправлять при помощи саначей (гупсаров), чего без таджиков сделать было немыслимо. Таким образом, невозможно было захватить громоздких вьюков.

Укрыв все это в надежных местах и угнав табун лошадей в ущелье, без шума неся все, что возможно, на руках при помощи трех аксакалов и четырех таджиков, подходил отряд к селению Багу после целого дня упорной защиты своей позиции.

Подобное решение Ванновского истекало из следующих соображений. Во-первых, партия оставалась без съестных запасов, так как жители, уходя в горы, захватили с собою муку, не успев после напечь лепешек, и угнали скот.

Патронов из 80 штук на винтовку было выпущено от 15—36, а всего до 280, при этом о потере афганцев было известно, что убито их 6 человек¹, которые, конечно, немедленно были пополнены свежими силами, подошедшими из Кала-и-Бар-Пянджа. Прибытие подпоручика Рукина можно было ожидать на восьмые, а то и на девятые сутки, в течение которых пришлось бы запереться в кале и отсиживаться, прокармливаясь лошадиным мясом, но патронов для отражения атаки не могло хватить. Кроме того, со стороны афганцев надо было ожидать ночного нападения на позицию. При численности их в 130 человек, ночью, при недостатке патронов позиции не удалось бы удержать ни в каком случае, а если бы партия заперлась в кале, то путь отступления ей был бы отрезан. Оставалось единственное средство, к которому и прибегнул Ванновский.

Кроме того, при данном отношении сил сторон можно было бы не допустить противника спуститься с гор и дебушировать по карнизу, но в случае занятия им селения все выгоды до удобства закрытия переходили на его сторону и преимущество нашего оружия на расстоянии менее 100 шагов было бы бесполезно. Не допустить же афганцев спуститься к селению, к чему они стремились в продолжение 30 августа, можно было лишь днем, так как ночью пришлось бы для этого разделиться на две части: одною удерживать противника, не допуская его до занятия селения, а другою загородить путь по карнизу, чего можно бы было достичь даже и ночью, но первая при превосходстве противника численностью неминуемо бы погибла, и партия была бы уничтожена, разбитая по частям.

Кроме того, инструкция да и подтверждение ее в приказе командующего войсками, предписывавшие Ванновскому избегать

¹ Убитых оказалось не 6, а 18 человек; сведения эти доставил полковник Генерального штаба Пестич, ездивший на Памир в 1898 году.

столкновений с афганцами, говорили в пользу задуманного им движения. Три часа еще продержалась на позиции партия, не прекращая редкого огня, между тем как со стороны афганцев он, время от времени меняясь, переходил из редкого в частый.

Уже совершенно стемнело, когда начальник партии отдал приказание отойти с позиции к ставке, и, собрав людей, он поблагодарил их за молодецкое поведение в течение проведенного дня под пулями.

Тяжело было Ванновскому принять намеченное решение, тяжело было и приказать исполнить его молодцам, доблестно защищавшим в течение $7\frac{1}{2}$ часа позицию, но оставить там людей без патронов, без провианта, отрезанными совершенно от подкрепления, — на это он не мог, да и не имел права решиться.

Переправившись через реку на неоседланных лошадях и угнав их затем в ущелье, партия двинулась к селению Багу.

Вот когда досадовали все чины партии, что не было с ними товарищей, отозванных Повало-Швайковским, и пулеметов, которые были признаны лишними генералом. Будь они, не пришлось бы теперь идти пешком, неся на себе вьюки, отыскивая выход из долины, запертой со всех сторон неприятелем.

Дойдя к 10 часам вечера до селения Багу, находящегося в четырех верстах от позиции афганцев, партия остановилась на ночлег, но не разводила огня.

Несмотря, однако, на переутомление людей, сторожевая служба неслась чинами партии с полным рвением и аккуратностью, в особенности линейцы себя показали. На долю двух охотников — Шахова и Фефелкина выпала самая тяжелая служба. Ежедневно они ходили в секреты, посылались на разведки и, как пехотинцы, были гораздо полезнее казаков в этих тущобах Рошана, где верховая езда являлась положительно невозможной. Тяжелую долю солдатиков разделяли и офицеры. Сам начальник партии и тот отбывал очередь в секрете, чтобы сберечь силы солдат.

Было это в ночь на 2 августа на бивуаке у Багу. В секрете находились штабс-капитан Ванновский и рядовой Фефелкин. Тяжело проведенные дни и ряд бессонных ночей надломили силы как начальника партии, так и солдата, но оба они бодрствовали всю ночь, не смыкая глаз. Перед рассветом, когда темнота усиливается и холод начинает пронизывать даже сквозь полушубок, на смену секрету явился Шахов. Ванновский в сопровождении Фефелкина направился к бивуаку. Все спало, лошади лежали на земле, и только бивуачный часовой, перемогая дремоту, бродил между спящими людьми.

— Ну, ложись спать, братец, — сказал Ванновский Фефелкину, когда тот приготовил складную постель своего начальника, — а я сейчас вернусь, только обойду бивуак.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, я уж лучше вас обожду, а как улягитесь, то и я пойду отдыхать, — возразил солдат.

Ванновский вышел, а Фефелкин присел на край кровати начальника партии с полным намерением укутать потеплее любимого офицера, разделявшего с солдатами все невзгоды тяжелой рекогносцировки.

Время шло; Ванновский не возвращался. Зевнул Фефелкин, поставил ружье возле себя, протянул немного ноги, болевшие уже вторую неделю, — и ему вдруг сделалось как-то особенно тепло и удобно. Палатка, сальный огарок — все как будто наклонилось набок и покатилося вниз. Чудно, подумал Фефелкин и продолжал следить за огарком. Вдруг свет его потух — и в палатке сделалось совершенно темно.

Светало, когда Фефелкин открыл глаза. Что за чудо? Вместо неба, под которым за последнее время привык спать он, над ним покачивалось полотнище палатки. Он широко раскрыл глаза, не понимая, что это случилось с ним такое. «Господи, да что это?» — придя в себя, проговорил Фефелкин и вскочил с кровати.

На него нашел столбняк — теперь он не верил глазам своим, и то, что он видел, казалось ему сном, и притом самым невероятным. Он, бледный, с испуганными глазами, смотрел на спящего на земле около кровати офицера, закутавшегося в бурку и тулуп.

Сладко спал начальник партии и не видел, как над ним стоял растерявшийся, смущенный солдат, не зная, что ему делать.

Придя после обхода бивуака в палатку, Ванновский увидел Фефелкина с винтовкой в руках в полулежащей позе на своей кровати, голова его свесилась на одеяло, — очевидно, солдат, крепко спал. Не трогая Фефелкина, Ванновский несколько мгновений постоял над солдатом и, убедившись, что тот спит, как убитый, положил кошму на землю, взял подушку, укутался в бурку, покрылся тулупом и крепко уснул под храпенье спящего на его постели солдата.

Тем временем афганцы, заметя движение Ванновского и, вероятно, приняв его за обход, поспешно отошли к Кали-и-Вамару, оставив раненых в селении Суджане¹.

Получив эти сведения 31 августа перед рассветом, были посланы два джигита в селение Имц, а вслед за ними двинулась снова туда и партия, захватив с собою стекшихся к ней таджиков.

В Имце все было найдено в целости; табун охранялся таджиками, а тюки также, за малым исключением, были все налицо. Опять началась переправа лошадей и тюков через Бартанг, а к Суджану, то есть вниз по Бартангу, было решено предпринять рекогносцировку с производством съемки этой части долины только в том случае, если афганцы не повторят своей попытки переродить путь. Отсюда же Рукину начальник партии сообщил о решении своем идти через перевал Шид-Ак-ба в Дарваз и просил его на подкрепление уже не спешить, так как надобность в том

¹ Смертельно раненных.

миновала, но, во всяком случае, сохранить связь с ним на случай приказаний снова двигаться далее по Рошану.

Прибыв в селение Багу 3-го партия простояла там до 8 сентября, и в это время подошел туда и отряд Рукина, состоящий из восьми пехотинцев, вооруженных трехлинейными ружьями, и шести казачков, который и был оставлен в Багу, обильно снабжаемый провиантом и фуражом местными жителями, умолявшими русских не покидать Рошана.

— Лишь только вы уйдете, как афганцы перережут нас и разорят все наши селения, — говорили они, — и мы будем принуждены бежать в Дарваз, где у нас нет ни крова, ни полей, где мы чужие и обречены на голодную смерть.

И действительно, с уходом населения опустел бы Рошан и превратился бы он в каменную пустыню, совершенно непригодную для населения, как большинство долин Памира, и приобретение его по договору с Англией в разоренном виде не принесло бы никакой пользы. Вот что главным образом заставило Ванновского оставить в Багу Рукина, так как он должен был отправиться в Дарваз и по пути обрекогносцировать перевал Обуди — лучший путь к Кала-и-Вамару.

Однако движение это немного замедлялось, так как с афганцами снова началась переписка и Ибадулла-хан письмом просил Ванновского не уводить с собою население и не приводить его к присяге на подданство России, говоря, что в противном случае он не отвечает за своих подчиненных, которые требуют мести за убитых товарищей и могут причинить вред русскому отряду. Кроме того, Ибадулла-хан винил совершенно афганского капитана, затеявшего перестрелку с русскими 30 августа, и просил Ванновского не осложнять миролюбивых отношений между Россией и Афганистаном, прося выслать для переговоров русского офицера. Сейчас же для этой цели был командирован Бржезицкий в селение Имц для ведения переговоров с афганским офицером, высланным из Кала-и-Вамара, но это не привело ни к чему, так как афганцы требовали от русских абсолютного очищения Рошана, на что Бржезицкий, конечно, ответил отказом. Предвидя неизбежное столкновение с афганцами, раз бы он продвинулся далее по Пянджу, и боясь опять невольно нарушить инструкцию, особенно напиравшую на то, чтобы избежать стычек, и наконец, считая задачу в Рошане выполненною, Ванновский намеревался исполнить вторую часть своей задачи — обрекогносцировать долину Язгулема и реки Ванча.

Незадолго до выступления партии в лагерь, расположенный при Багу, прибыл пришелец из Рошана, прибывший сюда через Кала-и-Бар-Пяндж и Кала-и-Вамар. Этот таджик сообщил, что 50 русских спустились из Дарваза в устье реки Язгулема. Очевидно, это была экспедиция генерала Баева.

Относительно афганцев были получены сведения, что они заперлись в Кала-и-Вамаре, выставили караул из 10 человек в узкой

теснине Янги-Арыка, восточнее селения Суджана, приказав не пропускать русских. «Так как, — говорили они, — если мы пропустим русских на широкое место¹, то всем нам пришел конец» и что к Кала-и-Вамару стягиваются свежие силы из Кала-и-Бар-Пянджа и к 3 сентября их прибыло 70 человек, да ожидается еще около ста.

Кроме того, таджики говорили, что население Шугнана очень раздражено против афганцев и там ожидают с нетерпением прихода русского отряда для того, чтобы подняться на Афганистан, а что население Кала-и-Вамара и окрестных селений угнано афганцами в Кала-и-Бар-Пяндж.

Также небезынтересны были сведения, получаемые от приходивших со стороны афганцев людей. По словам их, афганцы поражены нашим бездымным порохом и дальнобойностью трехлинейных винтовок. «Кроме тех, которых мы видим, стреляют откуда-то еще невидимые стрелки, точно заколдованы они», — говорили афганцы, а потому стреляли по палатке Ванновского, думая, не оттуда ли направлены незаметные для них и меткие выстрелы русских линейцев.

Объясняли же пришельцы отступление афганцев тем, что 30-го вечером капитан Азам-хан получил письмо из Бадашхана, после чего и отошел. Очевидно, что в письме этом было разрешение Ванновскому на свободный проход через Кала-и-Вамар, полученное от Ша-Сеид-Джарнейлы.

Оставив в Багу пост под начальством подпоручика Рукина, Ванновский направился на север, намереваясь прямо перевалить Язгулемский хребет и выйти в Дарваз. По слухам, через этот кряж имелся перевал, но какой он, возможен ли для вьючного обоза — не было известно, даже названия ему у таджиков не имелось. Несмотря на это, Ванновский решился идти через него и с громадными усилиями достиг цели.

Местами людям приходилось вырубать в ледяных стенах шанцевым инструментом ступени и идти по ним, взбираясь на обледенелую гору, и с невероятными усилиями протаскивали вьюки они и проводили лошадей по скользкой ледяной тропе. Этот перевал нанесен на карту и впоследствии назван перевалом Ванновского в честь смелого офицера, отважившегося с вьючными лошадьми пойти дорогой, по которой даже опытные таджики проходили только пешком, и то не без опаски. Они не без удивления отнеслись к смелому решению русского начальника.

И действительно, было чему удивляться. Из шанцевого инструмента в партии уцелело только 2 больших топора и малые лопатки, затем в дело пошли шашки и железные приколы для коновязей. Работали все без исключения, начиная от офицеров до последнего керекеша, с полудня до заката солнца. При значитель-

¹ От Янги-Арыка до Кала-и-Вамара долина Бартанга сильно расширяется.

ной высоте на льду было весьма тяжело работать, голова сильно болела, а у некоторых носом шла кровь. Лошади также испытывали эту горную болезнь, стоя на льду без корма. Таким образом партия поднялась на перевал, но спуск был еще круче и ужаснее. Он представлял собою голую массу льда, по которому пришлось фестонами прорубать тропу и по ней проводить лошадей. Многие из животных скользили по льду и, срываясь, катились вниз, а одна лошадь, сорвавшись, попала в щель и убилась на месте.

Спустившись в долину Язгулема, люди вздохнули свободнее, да и лошадям нашелся подножный корм на первой же ночевке, к которой подошла партия уже в полной темноте.

11 сентября по пути к селению Андербах показалась группа всадников, состоящая из 60 вооруженных людей. Оказалось, что это язгулемские жители, приняв партию за афганцев, намеревались дать ей отпор, но, узнав, что идут русские, выехали навстречу с приветствием. Однако, несмотря на заверения их старшины о симпатии всего населения к русским, в отношении прочих к чинам партии было заметно полное недоверие.

Как и в Рошане, население долины Язгулема представляет собою оседлых таджиков, но племя свободолюбивое, не скрывающее своих стремлений к независимости, в противоположность рошанцам, искавшим покровительства России.

«Вокруг нас горы, — говорят язгулемцы, — никто нам не хозяин и не повелитель; сами афганцы боялись нас, а бухарцы и подавно; эмир же далеко от нас».

Население Язгулема очень неохотно исполняло требование партии относительно снабжения ее фуражом и продовольствием, и отсутствие китайской или афганской монеты затрудняло дело, так как от русских денег таджики совершенно отказывались. Наконец, нашлась десятирублевая китайская ямба, которая была уплачена за доставленные $2\frac{1}{2}$ пуда ячменя и 80 снопов клеверу, и, несмотря на эту щедрую плату, население было недовольно, так как ямбу, как говорили таджики, нужно было идти менять в Кала-и-Хумб.

Наутро бивак был разбужен страшным гамом. Оказалось, что все население долины, поголовно вооруженное, стеклось к бивуаку и окружило его, угрожая оружием.

Немедленно же команда была вызвана в ружье и приняты меры для отражения нападения.

Язгулемцы были вооружены мултуками, а конные саблями, и всего насчитывалось в толпе до 200 человек.

Как объяснил Амиляндар (старшина), это волнение было вызвано нежеланием населения, чтобы партия стояла и проходила по их земле, так как это очень тяжело отзывается на средствах населения, уничтожая его скудные запасы.

Амиляндар выезжал к толпе, чтобы урезонить жителей, но те бросились на него, били и нанесли сабельный удар по ноге.

Несмотря на видимое участие Амиляндара к русским, было основание не доверять ему уже потому, что, как оказалось, этот старшина был в сношениях с афганцами через имцского ишана, с которым переписывался, давая сведения о русских, да, кроме того, он задержал письмо, посланное Ванновским подполковнику Февралеву.

С заряженными ружьями выступила партия с бивуака и направилась к селению, у которого ее встретила новая вооруженная толпа, между тем как находившаяся позади партии напирала на нее вплотную, так что пришлось сзади спешить посаженных на лошадей пехотинцев, которые, примкнув штыки, отходили, держа ружья на руку. В селении Джалин опять новая толпа загородила дорогу, и лишь энергичное движение вперед заставило язгулемцев дать Ванновскому дорогу. Здесь было объявлено населению, что если толпа последует за партией, то по ней будет открыт огонь. Это предостережение, видимо, смутило таджиков, и они мало-помалу отстали и скрылись в ущелье. Через два дня партия подходила к Кала-и-Ванчу, голодная, измученная, в изорванной одежде, с ногами, замотанными в воловь шкуры, так как от сапог и следа не осталось.

Прибытием в Кала-и-Ванч заканчивалась задача, возложенная на рекогносцировочную партию. Линия, обследованная со стороны Дарваза капитаном Кузнецовым, была связана с обрекогносцированной Ванновским, — теперь можно было и отдохнуть.

Запасшись свежими силами в Кала-и-Ванче, партия направилась вниз по реке Ванчу, затем по Пянджу и через Кара-Тегин спустилась в долину Алая, перевалила Тенгиз-Бай и по Исфайрамскому ущелью спустилась в Ферганскую долину 1 октября, пройдя таким образом более 976 верст, составив подробную маршрутную съемку всего пройденного пути. Штабс-капитан Ванновский может быть справедливо назван первым русским исследователем Рошана и единственным европейцем, прошедшим по этому ханству вдоль всей долины реки Бартанга и Язгулема.

21. ОПЯТЬ ПОХОД НА ПАМИР. ШУГНАН. ПИСЬМО КАДАМИНА. ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Наступила вторая зима на Памирском посту, и снова небольшая семья русских воинов, охранявших свою родину с «крыши мира», была обречена на однообразную, тяжелую жизнь в суровом климате Памира в течение долгих зимних месяцев.

Необыкновенно спокойно в воздухе, как будто все уснуло навеки, скованное жестоким памирским морозом. На метеорологической будке термометр показывает 38° ниже нуля.

Все спит. Перед рассветом темнота как будто еще более сгустилась, и тишина, царившая в укреплении, стала еще мрачнее, еще зловещее.

Вот где-то вдали, в одном из окружающих ущелий, завыл голодный волк, что-то жалобное слышится в его продолжительном вое и кажется, что плачет, стонет он, жалуясь на судьбу свою, забросившую его в эту, Богом проклятую, страну на вечный холод и голод; но не находит сочувствия себе голодный зверь, и только эхо, подхватывая его стоны, разносит их по ущельям.

Иногда сквозь царящую тишину слышатся медленные шаги часового, расхаживающего по фасу укрепления; но от кого караулит он пост? Кругом огромные сугробы снега образовали неприступную крепость, и ни одно живое существо не проберется через эти снежные завалы.

Светает. Одна за другою начинают золотиться седые вершины, озаряемые холодными лучами зимнего солнца, и представляются эти ледяные великаны памирцам во всем блеске своего величия, как бы улыбаются, приветствуя их с добрым утром.

Прогремел барабан зорю, и все оживилось. По всей крепости забегали солдатики в своих серых полушубках или овчинных тулупах с киргизскими шапками на головах, придававшими им какой-то особенно лихой разбойничий вид. Часть их отправилась с капями за терескеном, этим неизбежным памирским топливом, а некоторые хлопочут около офицерских самоваров, неистово раздувая сапогами плохой, сыроватый уголь. Чайники с солдатским кипяточком и с засыпанной заваркой кирпичного чаю давно уже согреты, и в землянках идет чаепитие.

Но вот раздалась из казармы звуки военного оркестра, приятно лаская слух суетящихся шаджанцев, — и здесь, на Памире, сумели русские воины устроить отрядный оркестр. Семнадцать музыкантов на духовых инструментах с турецким барабаном под управлением отрядного адъютанта поручика Осетинского прекрасно исполняют не только марши, но даже целые попури из различных опер, разнообразя тем скучные зимние вечера.

Около барбета, вокруг пулеметов Максима, столпилась группа солдат, и внимательно слушают они объяснения артиллерийского офицера капитана Баньковского, читающего им наставление для стрельбы из этих орудий.

Заведующий хозяйством хлопочет около цейхгауза, выдавая перед обедом спирт, который ежедневно отпускался нижним чинам в присутствии ротного командира.

Наступило обеденное время, и барабан пробил сбор, и один за другим потянулись в столовую офицеры отряда. Вот и доктор явился в китайской меховой шапке, в такой же тужурке и высоких сапогах, похожий скорее в этом костюме на эскимоса, чем на военного врача. Еще вваливается в низенькую дверь папахы, закутанная в огромную волчью шубу, из которой вылезает заведующий хозяйством, а затем собираются и остальные офицеры. Наконец и начальник отряда в киичьей дохе и огромной папахе

появляется в столовой и, обменявшись со всеми приветствиями, занимает свое место.

Начинается оживленная беседа на всевозможные темы, и долго, долго сидят шаджанцы за столом, покуривая трубки и попивая горячий душистый глинтвейн.

Когда погода не бывает уж очень сурова, то в 2 часа с музыкой гарнизон отправляется на прогулку в окрестности Шаджана и к обеду возвращается в укрепление. Опять сигнал, затем обед, и долгие, бесконечные разговоры в офицерском собрании под звуки солдатских песен, долетающих из землянок и продолжающихся до поверки.

Прогремел барабан вечернюю зорю, стройно пропета молитва, и снова все тихо, все как будто замерло, притаилось, и только шаги часового да грустное завывание волков раздаются над уснувшей «крышей мира». А луна с необъятной высоты льет свой серебристый свет, играя на штыке часового и озаряя сонные снеговые вершины памирских великанов.

И так каждый Божий день.

Наступил май 1894 года, и афганцы, подстрекаемые Англией, начали действовать энергичнее и открыто выдвинули свои войска в Шугнан и Рошан, производя постоянные рекогносцировки вверх по рекам Гунту и Шах-Даре. Бедное население ханств Шугнана и Рошана, не говоря уже о том, что снабжало их провиантом и фуражом, подвергалось постоянному грабежу и насилию со стороны афганских солдат, распорядившихся над таджиками так, как им вздумалось. Ни мольбы, ни жалобы не приводили ни к чему, афганское начальство, недовольное таджиками за службу русскому правительству во время Памирского похода 1892 года и за отношение их к России, не только не препятствовало своим солдатам творить самые возмутительные насилия над поработленным населением, но даже поощряло это, — ему не приходилось заботиться при таком положении дел о провианте и фураже своих рекогносцировочных отрядов.

Измученное население Шугнана не раз обращалось к русскому правительству за помощью, умоляя его принять шугнанцев под свое покровительство.

Теперь, видя действительно безотрадное положение таджиков, а также появление афганцев в долинах рек Шах-Дары и Гунта и очевидное намерение их начать враждебные действия с Россией, русское правительство решило принять надлежащие меры.

Из Н. Маргелана в мае 1894 года выступил снова отряд на Памир в составе 2-го Туркестанского линейного батальона, конногорной батареи и 6-го казачьего полка Оренбургского войска и, кроме того, отряд, состоящий из выборных людей из линейных батальонов Ферганской области под командой капитана Генерального штаба Скерского для замены зимовавшего на Памирском посту отряда капитана Зайцева.

Отряд капитана Скерского продвинулся на Памир к Памирскому посту, а резервный отряд, отделив от себя часть казаков сменному отряду, остался в долине Большого Алая впредь до распоряжения.

В июне прибыл на Памир и генерал-майор Ионов в качестве начальника отрядов, расположенных на Памире.

Тревожные слухи о движении афганцев к русским границам, жалобы населения и грозящая опасность¹ Памирскому отряду, остающемуся на зимовку в укреплении, раз афганцы стянут большое количество войск в Шугнана и Рошана, заставили генерала Ионова предпринять две большие рекогносцировки вниз по рекам Гунту и Шах-Даре, то есть через весь Шугнан до слияния этих рек и впадения их в реку Пяндж. Кроме того, был послан в ту же сторону небольшой разъезд из семи казаков при офицере². Обеим рекогносцировочным партиям предписывалось по возможности избегать враждебных действий с афганцами, а в случае таковых с их стороны обеспечить свой отряд от нападения.

По реке Гунту выступила партия под начальством Генерального штаба подполковника Юденича, а по Шах-Даре партия капитана Генерального штаба Скерского 19 июля на перевал Кой-Тезек³.

В состав отряда капитана Скерского, или, как его называли, Шах-Даринский отряд, входили кроме начальника отряда и военный инженер капитан Серебrenников, 20 казаков при офицере и 12 пехотинцев для охраны транспорта, состоявшего из 40 вьючных лошадей и четырех верблюдов, с запасом продовольствия на 30 дней.

По знакомым путям, пройденным еще в 1892 году, капитан Скерский прибыл 22 июля со своим отрядом к границе Шугнана, перевалив Кой-Тезек. Между озерами Сасык-куль (Чокур-куль) навстречу русским выехал сын последнего правителя Шах-Дары Абдулла-хана шугнанец Азиз-хан (Абдулла-хан свергнут афганцами в 1884 году). Он радостно приветствовал русский отряд и выражал свои надежды на то, что Белый Царь не оттолкнет протягиваемой к нему за помощью руки угнетенных таджиков.

По словам шугнанца, в настоящее время на реке Шах-Даре афганцы не держат постоянного гарнизона и только время от

¹ В 1893 году министр иностранных дел просил военного министра разрешить движение русских отрядов за Мургаб в пределы Шугнана и Рошана лишь «для обеспечения безопасности собственного отряда», для того чтобы не подать повода афганцам для движения их к Дарвазу.

² Капитан Александрович.

³ По переходе через перевал отряды при дальнейшем следовании должны были иметь между собою связь посредством туземного населения. Для постоянного же сообщения с Памирским постом по приказанию генерал-майора Ионова были выставлены временные казачьи посты: 1) на Кара-Су из 3 казаков; 2) у равата Баш-Гумбез из 4 казаков; 3) у Сасык-куля «или где удобнее» из 4 казаков; 4) у перевала Кой-Тезек из 5 казаков. Эти пикеты составляли непрерывную цепь с постом от места соединения обоих путей, по которым направлялись партии, то есть от перевала Кой-Тезек. Посты поверялись офицерами Памирского отряда.

времени их разъезды рекогносцируют вверх по ней, доходя до селения Барвоз, то есть по всей населенной части долины названной реки. Гораздо же реже их разъезды поднимаются до Сеиджа и выше, до развалин селения Яушан-Куза, где по приказанию афганцев выставлен таджиками караул, который время от времени и поверяется афганскими войсками.

Азиз-хан очень жаловался на афганцев за их поборы и притеснение населения, и без того бедного, от которого безжалостно отбираются афганцами скот, деньги и даже одежда. «Таксыр¹, — говорил Азиз-хан начальнику отряда, — все жители Шах-Дары с нетерпением ждут прихода русских и готовы служить вам всеми своими силами, ничего они не пожалеют, ни последнего имущества своего, ни жен, ни детей, ни собственной жизни, спаси их, возьми под свою защиту».

В подтверждение этих слов Азиз-хан передал капитану два письма — одно от таджиков Шах-Дары, а другое от жителей всего Шугнана. Привожу оба письма в переводе их с подлинников.

1) Начальнику отряда².

«Начальнику отряда и всем офицерам желаю всего лучшего. Уведомляем вас, что все жители Шах-Дары желают быть под покровительством Его Императорского Величества Государя Императора Всероссийского. У жителей Шах-Дары было собрание с Мирза-Вафою во главе, на котором и решено было отдаться под покровительство Русских. Все время ждем вас, но вы не приходите. По какой причине? — Мы этого не знаем.

Мы бедны, и без вас находимся как без рук. Если вы придете еще не скоро, то нам нечем будет питаться. По приезде Али-бая жителей стали сильно обижать, а именно: афганцы поносят нас, бьют, берут рупии (деньги) и проч. Если будет добрая воля ваша не оставить нас в таком положении, то покорнейше просим прийти поскорее, теперь же мы все почти сходим с ума от отчаяния. Если же вы прибудете еще не скоро, то помогите уплатить нам 2000 рупий, которые афганцы требуют с нас; мы положительно ничего не имеем.

Просьба населения Шах-Дары.

Остаемся покорными слугами.

Курван-бек, Айран-ша, Мурза-Вафа, Муза-Фар».

2) Начальнику отряда.

«Начальнику отряда и всем гг. офицерам желаем всего хорошего и молим Бога день и ночь за их здоровье. Уведомляем вас от всего населения Шугнана, что ждем с нетерпением вашего прихода к нам. Положение наше крайне стесненное по следующей причине:

¹ Таксыр — ваше высокоблагородие.

² Перевод писем сделан отрядным переводчиком Урманбековым.

афганцы узнали, что мы имеем сообщение с вами и что обо всем даем вам знать относительно их. Поэтому покорнейше просим вас не оставить нас в таком печальном положении и прийти к нам на помощь. Если же вы в скором времени нам помочь не успеете, то наших старшин заберут афганцы.

Шугнаны только и ждут вашего прихода. Если ваши сердца не сокрушатся, глядя на наши страдания, то да будет воля ваша. Затем желаем всего лучшего и остаемся в ожидании вашего прихода ваши покорные слуги: Халифа Кадамин, Мирза-Вафа, Курван-бек, Муза-Фар, Айран-Ша, Ак-Сакал-Худой-Яр».

К вечеру того же дня начальником отряда была получена записка от капитана Александровича, что ввиду дурных слухов он будет ждать у Яушан-Куза, у устья реки, вытекающей из Турунтын-Куля. Записка помечена 21 мая, но места, откуда она была послана, не указано.

Относительно предстоящего пути вниз по долине Шах-Дары Азизхан рассказывал разные ужасы, рисуя картины переходов по головоломым карнизам, и заметил, что в четырех местах придется протаскивать вьюки на руках, так как завьюченная лошадь не может пройти в этих местах. Его обещание, что местные таджики, привыкшие к подобному способу переправы поклажи, перенесут весь обоз отряда на руках, облегчал разрешение этого вопроса.

Движение по Шугнану представляло особенное затруднение отрядам ввиду того что, во-первых, Шугнан до сего времени был совершенно неизвестен европейским путешественникам, а потому имевшиеся карты, составленные на основании расспросных сведений, часто неверных, не могли быть точными руководителями отряду, вследствие чего сообщения туземцев имели здесь особенное значение, тем более что неправильные указания не составляли их интереса.

Итак, маленький русский отряд вступал в неизвестную дотоле страну, готовый бороться со всеми преградами суровой природы Шугнана.

Шугнан до 1894 года не был доступен европейским путешественникам, несмотря на все их старания. С одной стороны, это обстоятельство объяснялось враждебным отношением афганцев к европейцам, а с другой стороны, весьма тяжелыми путями сообщения по этому ханству. Только доктору Регелю удалось пробраться до озера Шива, но смелый путешественник сошел с ума, и свои наблюдения и исследования, не успев изложить на бумаге, унес в могилу. В 1883 году экспедиция Иванова и топографа Бендерского дошла лишь до первой деревни Шугнана — Саардым.

Не буду останавливаться на подробном очерке этого ханства, так как, во-первых, хочу скорее познакомить читателя с описанием военных действий, разыгравшихся в пределах его, а во-вторых, один из моих сотоварищей по походу, побывав во всех дебрях

Шугнана, в прекрасной статье своей, помещенной в «Военном сборнике», дал обстоятельное и весьма подробное описание этой интересной страны¹, а ограничусь самыми краткими географическими определениями Шугнанского ханства.

Шугнанское ханство лежит между 37°51' и 38°5' северной широты и 41° и 42°20' восточной долготы (от Пулкова)². Границами Шугнана служат на севере ханство Рошан, на западе Бадахшан, на юго-западе Горан и на юге Вахан³. В этих границах насчитывается 13 000 кв. верст, из которых только самое незначительное количество, а именно некоторые части долин рек Гунта, Шах-Дары и Пянджа населено таджиками, все же остальное пространство представляет собою малодоступные и местами совсем непроходимые горы.

Начинаясь у слияния рек Гунта с Шах-Дарой, тянется горный хребет под названием Шугнанский, постепенно понижаясь и расширяясь к востоку и служащий как бы стеною между долинами, лежащими параллельно одна к другой, на севере реки Гунта и на юге Шах-Дары.

Населен Шугнан таджиками, исповедующими ислам по шиитскому толкованию. Наружный вид таджика поражает красотой своего типа; высокий красивый лоб, пропорциональный с горбиною нос, дугообразные сросшиеся над переносицей брови, черные борода и усы (волосы таджики бреют, хотя многие носят и длинные вьющиеся кудри, подражая афганцам), при смуглом цвете лица и весьма пропорциональном сложении ставят таджика на первое место по красоте среди среднеазиатского населения. Женщины также красивы и появляются с открытыми лицами среди мужского общества. Население занимается преимущественно скотоводством и земледелием, обрабатывая свои узкие полоски удобной земли в долинах, где работы их еще осложняются тем, что в силу недостатка летом атмосферной влаги поля исключительно поливные. Ютятся таджики, как и сарты, в кишлаках (селениях) по саклям, похожим скорее на грязные сараи, чем на жилища. Богатых таджиков нет, все более или менее обладают одинаковыми средствами и существуют на то, что дает им земля, да приплод от баранов и козлов. Зато таджики прекрасные охотники и бьют в большом количестве кииков и архаров. Из местных производств, и то только для своего обихода, выделяется гончарное, ввиду

¹ См. «Военный сборник» 1895 года, № 11 и 12 «Очерк Шугнана», военного инженера А. Серебrenникова.

² «Очерк Шугнана».

³ Точной границы не установлено, но граничную линию следует принимать на севере по вершинам Рошанского хребта (водораздел бассейнов Бартанга и Гунта пересекает реку Пяндж у урочища Ялдербент по отрогу хребта Гиндукуша, огибает с запада озеро Шива, опять пересекает реку Пяндж ниже впадения ее в Арахт, идет на вершины Ваханских гор и, следуя на восток и через перевалы Мас, Кой-Тезек, западной оконечности оз. Яшиль-куль к перевалу Ляангар-Дара в Гошанских горах. «Очерк Шугнана»).

обилия здесь огнеупорной глины; этими работами занимаются преимущественно женщины. Таджики народ честный, работающий и религиозный.

Вот каких жалких, угнетенных бедняков шли теперь русские вырвать из-под ужасного ига афганцев, и немудрено, что население Шугнана смотрело на нас как на своих спасителей.

20 июля, совершив переход в 35 верст, отряд перевалил через Кок-Бай, у подножия которого и остановился. Хотя и невелик был переход, но постоянные подъемы на высокие отроги, отделяющие три горных ручья Уч-Кал, и крутые спуски с них сильно подорвали выючных лошадей, которые еле-еле дотащились к би-вуаку к семи часам вечера.

Перевал Кок-Бай с северной стороны почти незаметен, хотя высота его определена в 14 000 футов, и только ряд озер и болот, как условные признаки, указывают его местонахождение.

Свьючившись с рассветом, напутствуемый легким ветерком, отряд двинулся к Яушан-Кузу.

Здесь путь сильно напоминал памирские дороги, особенно в одном месте спуск был совершенно сходен с Кизиль-Артским спуском к Бор-Да-Ба. Такие же огромные скалы громоздятся с обеих сторон, тот же мрак, царящий в ущелье, и несмолкаемый шум ревущей горной речки.

Подъезжая к речке Яушан-Куз, отряд был встречен толпою шугнанцев с Курман-датхой во главе.

Лица их сияли от радости, они подбегали к лошадям офицеров, падали на колени, целовали им ноги, колена и руки, выражая на своем певучем наречии целый поток благодарностей во имя Аллаха и Пророка.

Для офицеров была выставлена юрта и для всего отряда припасено много баранов и других съестных припасов, за которые таджики ни за что не хотели брать платы. Много усилий стоило капитану Скерскому убедить их принять деньги, и только после очень долгих переговоров они согласились и приняли уплату за все.

Главным представителем населения был Азиз-хан, очевидно пользовавшийся необыкновенным влиянием среди своих соплеменников. Встретили отряд 25 таджиков и 15 киргизов¹, большинство же, как оказалось, ввиду недавнего появления афганцев, прятались в горах и ущельях.

Капитана Александровича, несмотря на полученную записку, в которой он назначал свое соединение с отрядом Яушан-Куз, не было, и поэтому к озеру Турунтай-куль были посланы джигиты.

О положении дел на низовьях Шах-Дары можно было судить из письма, полученного Курман-датхой и Муза-Фаром, главными

¹ Караул, выставленный афганцами.

представителями населения Шугнана от Кадамина, находившегося на низовьях Шах-Дары. Считаю не лишним поместить его письмо.

«Многоуважаемые друзья Курван-Бек и Муза-Фар.

Желаю вам всего хорошего, афганцы узнали, что вы имеете дело с русскими, а потому и продолжайте держаться стороны России. Сообщаю Вам, что Боба-ша-хан¹ с кавалерией прибыл в Шугнан и начал нас притеснять. О моих, а также и ваших делах афганцам известно. Со своей стороны вы дайте нам знать о приходе русских, чему мы будем очень рады. Если русские где-нибудь уже находятся, то сообщите нам. Вы люди — представители². О месте нахождения и движения русских дайте знать немедленно нам, потому что мы боимся. Если же есть хорошие слухи, то пришлите Одисхана, уведомляю вас, то Алимбая³ освободили, в чем и удостоверяю приложением своей именной печати.

Халифа Кадамин».

Сюда же было получено известие, что посланный генералом Ионовым джигит с письмом к бадахшанскому губернатору Саид-Мансур задержан афганцами на Гунте и находится в Харыке под караулом, а письмо генерала отправлено к губернатору.

Тяжелым оказался Шахдаринскому отряду 28-верстный переход от Баба-Абдал-Мазара до Сеиджа; пять раз горная тропа, усеянная острыми осколками скал, за которые ежеминутно задевали вьюки и сваливались, спускалась в реку, и столько же раз приходилось переходить ее вброд. Кто знает, что такое горная речонка, даже самая маленькая, тот поймет, что должны были вынести люди, переправляя 40 лошадей и 4 верблюда через кипящую широкую Шах-Дару. Теперь эта река клокотала в своих каменных берегах и напоминала собою исполинское чудовище, готовое сразу проглотить небольшую кучку людей, отважившихся бороться с ее стихийной силой.

Лошади фыркали, храпели и не шли в реку. Вьюки подмокали, развьючивались и сносились сильным течением ее.

Солдаты и казаки положительно выбивались из сил, и, если бы не таджики, привыкшие к своим рекам, ни одного бы вьюка не удалось отряду переправить на ту сторону. К счастью, время года для переправы было самое подходящее. В разгар лета, когда снег уже совершенно стаял в горах, реки в Шугнани и на Памире сильно мелеют, и тогда переправа делается возможною, весной же и осенью, во время выпадения дождей и таяния снегов, даже и таджики не рискуют пускаться на подобное предприятие и предпочитают делать огромные обходы, чем попытаться переправ-

¹ Боба-ша-хан — помощник файзабадского губернатора Ша-Сеида.

² Вероятно, этим автор письма хотел сказать, что Курван-Беку и Муза-Фару как представителям шугнанского населения местные таджики поверят и поднимутся на афганцев.

³ Алимбай был послан с письмом в Бадахшан к афганскому генералу.

ляться вброд. Правда, у них существует способ переправы на гупсарах, о котором я уже говорил раньше, но этот способ также не всегда удобен; во время сильной воды гупсар получает очень быстрое движение и плывущий на нем человек может быть разбит о камни или просто захлебнуться водою, если гупсар благодаря своей неустойчивости перевернется вместе с пловцом несколько раз.

Не менее ужасным препятствием для движения отряда служили узкие, еле проходимые карнизы, по которым завьюченная лошадь ни в каком случае проходить не могла, так что каждый раз при переходе через подобный карниз приходилось развьючивать ее и, поддерживая на арканах, положительно протаскивать по скользкому, с сильным уклоном к реке граниту.

Представьте себе узкое ущелье с несущейся по нем горной рекой, берегами которой служат отвесные каменные громады. Кипящие воды реки с шумом ударяются о мрачный гранит, разбиваются в мелкие брызги и, пенясь, со стоном отскакивают назад и снова с тою же силою стремятся вперед, сворачивая на пути своим огромные камни. Вот по одному из таких берегов тянется как бы высеченная рукою человека узкая, еле проходимая тропа, сплошь заваленная осколками камней, сорвавшихся с окружающих высот. Тропа эта то опускается к самой реке, то вдруг круто поднимается вверх и совершенно пропадает.

Вот в таких-то местах человек, постоянно борющийся с природою, настроил балконы. Взломав часть скалы, к ней прилаживались деревянные балки из местного малорослого тальника, клался хворост, снова наваливались балки, камни и все это засыпалось землею.

Но в некоторых местах встречались карнизы, устроенные самою природою. Саженой на пятнадцать над рекою выдвинулся пласт и висит над пропастью, служа продолжением пробитой тропы, по такому-то куску гранита, как по балкону, проходят и лошади, и люди. Ни перил, ни даже возвышения нет по краю его, голый камень — и только. Вот по какой дороге пришлось проходить отряду 26 и 27 июля.

В одном месте балкон, когда по нему проходили лошади, завьюченные патронными ящиками, со страшным треском подломился, и несчастное животное, увлекая при падении своим свой тяжелый выюк, разбиваясь о камни, упало в реку. Мелькнули раза два голова и ноги его над поверхностью пенящейся реки, и все скрылось в ее быстрых, холодных водах.

Один из ящиков с патронами удалось с необычайными усилиями добыть из воды, другой же при падении ударился об острую скалу, разбился, и патроны веером посыпались в рассвирепевшую реку. Кроме патронов отряд потерял восемь копов с ячменем.

Обвал карниза сильно задержал движение, пришлось восстанавливать рухнувший путь, в чем таджики оказали существенную

помощь. Менее чем через час по балкону уже продвигалась остальная часть обоза, но лошади теперь проводились расседанными. Поздно вечером прибыл наконец транспорт к месту ночевки и, несмотря на раннее выступление отряда, сделал за этот переход всего 10 верст.

Вообще горная часть Памира, прилегающая к Шугнану, отличается неприступностью и суровостью природы. Спуски и подъемы крайне круты и неудобны и представляют собою огромное препятствие путешественнику. Но невозможно умолчать о тех великолепных видах, которые на каждом шагу встречаются среди горных тущоб Шугнана. Там природа, несмотря на свой мертвый колорит, отличается замечательным разнообразием. Громадные обломки скал громоздятся друг над другом, а среди них, шумя и разлетаясь в миллионы брызг, падает с невероятной высоты горный поток. Темная, голая скала, на которой гнездится узкий, чуть заметный карниз, местами дополненный балконами, мрачно смотрит на движущихся солдат своею огромною массою, и каким ничтожеством кажется человек, ползущий по ним, в сравнении с этой величественно дикой природой.

Одним из живописнейших мест в Шугнанае является спуск к ущелью Кара-Донге, где узкая дорожка, извиваясь между камнями, то круто спускается, то поднимается над довольно глубокою пропастью, на дне которой красиво зеленеют кустарники дикого тальника.

Между тем сведения об афганцах начали поступать; таджики, прибывшие с низовой реки, привезли слух, что ввиду движения русских по Шах-Даре, Гунту, Бартангу и из Дарваза афганцы выслали по 100 человек пехоты на Шах-Дару, Гунт и в крепость Кала-и-Вамар на Пяндже. Таджики уверяли, что им даже известно, под чьим начальством находятся посланные войска; так, например, командиром отряда афганцев, высланного против нашего отряда, называли капитана Галяндыра, а на Гунт будто шел Баба-Ша-хан, помощник файзабадского губернатора.

Часов в двенадцать дня внимание капитана Скерского было обращено на толпу таджиков, среди которых находился связанный и избитый человек в красном мундире, оказавшийся конюхом афганского генерала Ша-Сеида.

На допросе афганец не давал никаких ответов относительно расположения афганских отрядов и на вопрос, зачем он ездил в Шах-Дару, ответил, что был послан своим начальником для сбора податей.

Как поясняли таджики, афганец этот очень часто наезжает к ним в кишлаки и попросту занимается грабежом на самом законном основании, так как подобное развлечение ему каждый раз официально разрешалось, когда приходило время получения им жалованья.

Теперь, снабженный подобным разрешением, Ниязмат, как звали афганца, не зная ничего о движении русских, приехал в долину Шах-Дары за обычной наживой, но был схвачен таджиками, жестоко избит ими и доставлен в отряд.

Правда, что лишний человек при ограниченных запасах провизии являлся большою обузою для отряда, но капитан Скерский решил задержать Ниязмата ввиду следующего соображения: джигит Саид-Мансур¹, посланный с письмом от генерала Ионина к бадахшанскому губернатору, был задержан и находится в настоящее время под караулом в Кала-и-Бар-Пяндже², поэтому задержание Ниязмата могло послужить поводом к освобождению нашего джигита, задержанного афганцами.

К пяти часам дня в отряд явился таджик с письмом от афганских военачальников, письмо было адресовано «начальнику русского отряда».

Вот его содержание³.

«Как нам известно, вы из данных вам Богом владений вступили в наши, а именно в Яушан-Куз. В настоящее время вы двигаетесь к нам. Отчего о своем движении вы не сообщили нам, мы бы встретили вас и приняли бы с большою радостью. Теперь же нам известно, что вы идете к нам, и мы тоже выступили, чтобы принять вас и вступить в переговоры с вами. Если бы кто из вас и один пришел в наши владения, то мы оказали бы ему содействие. Если успеем, то в пятницу желали бы встретить вас в Яушан-Кузе⁴. Желание же наше встретить вас в четверг. В настоящее время мы находимся в крепости Рош-Кала. Просим вас, не разрушайте. С нами есть кавалерия. Больше нечего объяснять.

Мир-Азам-хан⁵, капитан Полтан Абдулла-хан,
начальник Шугнана Баба-Ша-хан.

1312 года 18/VI Сафар».

Привезший письмо таджик был немедленно же допрошен, и помимо этого собраны сведения через местных жителей о крепости Рош-Кала.

Оказалось, что афганцы только сегодня прибыли туда в количестве 100 человек пехоты и человек 30 конных и крайне были удивлены, узнав о движении русского отряда далеко за Яушан-Куз. По-видимому, письмом своим, в котором они назначали для переговоров Яушан-Куз, они намекали на отступление русских к этому пункту.

¹ Саид-Мансур был в 1893 году джигитом и проводником у С.П. Ванновского.

² Афганская крепость на берегу реки Пянджа в Шугнани.

³ С подлинного перевода отрядного переводчика Урманбекова.

⁴ Не успели. Очевидно, киргизы и таджики давали им ложные сведения о нашем движении.

⁵ Он же по прозванию Гаяндыр.

Крепость Рош-Кала расположена в 20 верстах от бивуака, и, как сообщил киргиз, выше и ниже ее через Шах-Дару имеются мостовые переправы.

Насколько можно составить было себе представление о местоположении этой крепости со слов киргизов, она, по-видимому, командует над окружающими высотами и находится на весьма выгодной позиции. Кроме того, таджики уверяли, что с афганцами очень мало запасов провианта и фуража, а что в кишлаках все припрятано и испуганное население, разбежавшись по горам, угнало с собою весь скот.

Это последнее обстоятельство, а также довольно миролюбивый тон письма подавали надежду капитану Скерскому на то, что ему удастся посредством мирных переговоров убедить афганцев отступить к Дашту.

Однако чрезвычайно малое количество людей в отряде, тогда когда против него выступала сила вчетверо большая, заставляло начальника партии действовать весьма осмотрительно, тем более что афганским уверениям особенной в дружеских отношениях веры придавать было нельзя, и он, вызвав запиской капитана Александровича для соединения с собою, решил действовать по следующему плану. Для прикрытия обоза оставить часть партии, а с остальными направиться к крепости Рош-Кала для переговоров с афганцами. Обозу же, пройдя трудным карнизом, под которым ночевал отряд, протащив на руках вьюки, следовать к урочищу Вяз-Дара. При приближении отряда к селению Барвоз на него наехал афганский разъезд, который немедленно же скрылся при виде русских. Не желая выпускать из виду афганцев, начальник отряда с капитаном Серебренниковым и хорунжим Рябовым в сопровождении пяти казаков и нескольких таджиков погнались по следам разъезда, а остальные нижние чины были возвращены для усиления охраны транспорта. Дорога от Вяз-Дары сначала пролегла по двум ущельям, а затем шла карнизами над самым берегом Шах-Дары и, спустившись круто к реке через мост, выходила к крепости, занятой афганцами.

Сильное напряжение господствовало над участниками разъезда, каждый загадочно всматривался в мрачно глядевшую с противоположного берега афганскую крепость. Тишина господствовала полная.

Разъезд медленно поднимался на самую вершину карниза и лишь только достиг самой высокой части его и весь стал на виду неприятеля, как с противоположного берега раздался протяжный звук сигнального рожка, как-то жалобно простонал он и еще не успели смолкнуть звуки вторящего ему эха, как целый ряд белых дымок выскочил с противоположного берега, рой пуль просвистал над головами наших офицеров и казаков, а вслед за ним грянул дружный залп афганцев, разнесенный эхом по Шах-Даринскому ущелью. Затем начался довольно частый одиночный огонь. Аф-

ганцы стреляли шагов с 800 и, видимо, хорошо пристрелялись, так как их пули ложились на самую середину дороги и задели нескольких лошадей. Было 3 часа 45 минут дня, когда афганцы дали первый залп, а к 4 часам 30 минутам они мало-помалу прекратили огонь, видя, что наши, засев за камни, не отвечали им на выстрелы.

Такая встреча вместо мирных переговоров и вопреки любезному тону письма озадачила начальника отряда, и он нашел нужным приберечь патроны для более подходящего момента, кроме того, скрытые за камнями афганцы не представляли для ружейного огня удобной цели.

Отойдя к урочищу Вяз-Дара, начальник отряда с военным инженером Серебrenниковым занялись исследованием окружающей местности для выбора позиции, а бивуак усиленно охранялся цепью часовых. Накануне прибыл вызванный капитаном Скерским капитан Александрович с семьей казаками, так что силы отряда увеличились на восемь человек, а для горной войны в трущобах Шугнана это, казалось бы, незначительное прибавление равнялось подкреплению в целый эскадрон при войне в обыкновенной местности.

Между тем с Памирского поста 22 июля было выслано подкрепление Шах-Даринскому и Гунтскому отрядам, состоящее из 60 человек пехоты 4-го Туркестанского линейного батальона и 12 человек казаков при 32 ракетах и пулемете Максима, снабженное запасом на 30 дней под общую команду капитана Эттингена. Этот резерв должен был остановиться на озере Сасык-Куле и, в случае требования одной из рекогносцировочных партий немедленно продвигнуться до соединения с ними, разделив свои силы на две части.

Одновременно с известием о выступлении на Кой-Тезек резерва было получено предписание генерала Ионовы остановиться и ждать дальнейших распоряжений на том месте, где партия будет застигнута посланным казаком.

Это распоряжение исходило из соглашения министра иностранных дел с военным министром, чтобы рекогносцировочные партии не высылались в пределы Шугнана и Рошана, дабы не дать повода афганцам двинуться к Дарвазу, но это предписание опоздало и было доставлено капитану Скерскому на другой лишь день после описанной встречи его афганским огнем.

В ночь с 28 на 29 июля таджики принесли снова тревожные вести. Прибывший из-за Пянджа таджик уверял, что к афганцам в Рош-Калу идут подкрепления из Кала-и-Бар-Пянджа и что афганцы, зная нашу малочисленность и отсутствие резерва¹, решили покончить с маленьким русским отрядом.

¹ Резерв только выступил 22 июля с Памирского поста и, следовательно, немедленной помощи дать бы не мог, разве лишь через полторы недели при самом усиленном марше, мог прибыть на выручку, то есть его нужно было уведомить об опасности, это также занимало 3 дня minimum.

Немедленно же были приняты меры для отражения нападения. С рассветом 29 августа капитан Серебренников приступил к укреплению выбранной накануне позиции. При помощи таджиков и нижних чинов были вырыты ложементы и приспособлена к обороне на верхушке горы, под которой расположился бивуаком отряд, каменная сакля, устроены были блиндажи, бойницы из мешков с запасами и проч.

Укрепление позиции осложнялось необыкновенною тяжестью работы. Каменный грунт трудно поддавался шанцу, и местами просто приходилось для валов наносить крупные камни, которые обкладывались снаружи мешками с запасами, так как в противном случае пули, ударяясь о камень, давали осколки, причинявшие также немало вреда.

Все работы были очень быстро выполнены, и отряд находился в ежеминутной готовности к немедленному занятию позиции для отражения противника.

Отряд находился в ежеминутном ожидании наступления противника и, зная превосходство его в силах, решил упорно сопротивляться, не отступая с занятой позиции. Киргизы и таджики то и дело прибывали с новыми вестями, и к вечеру было получено донесение, что к афганцам не только не прибыло подкрепления, но что и гарнизон, занимавший Рош-Калу, отделил от себя часть, отправившуюся на Гунт в подкрепление отряду, действовавшему против подполковника Юденича, который был будто бы встречен афганцами, и последние, потерпев поражение, отступили к Вудыр-Гудыру. Мосты через реку Шах-Дару выше и ниже крепости оказались сломанными, и, очевидно, афганцы на время оставили свое намерение атаковать нашу позицию.

Между тем высланные лазутчики, преимущественно таджики, привезли новое известие, а именно, что афганцы решили соединить оба свои отряда и с прибытием подкрепления, высланного из крепости Кала-и-Бар-Пяндж, напасть сначала на отряд подполковника Юденича, а потом и на укрепившийся около Вяз-Дары.

Такое решение афганцев было бы самым правильным в их положении и весьма опасным для отряда Юденича, не ожидавшего такого быстрого подкрепления к афганцам, находившихся против него, а потому капитану Скерскому оставалось поспешить на помощь Гунтскому отряду. Однако прежде чем решиться на выполнение этого плана, совершенно не предусмотренного полученной инструкцией, Скерский с раннего утра 30 июля направил в сторону афганской крепости две сильные разведочные партии под начальством капитана Серебренникова по горной тропе и хорунжего Рябова по дороге вдоль реки, на которой отряд был встречен выстрелами 28 июля.

На глазах обеих партий афганцы торопливо очистили крепость и стали спускаться вниз по реке Шах-Даре.

Таким образом, донесение лазутчиков подтверждалось, афганцы, по-видимому, шли на соединение со своим Гунтским отрядом.

Не успел еще отряд капитана Скерского собраться для выступления, как прибыло новое донесение от разъездов, что афганцы, перейдя реку верстах в десяти ниже Рош-Калы, продвинулись по правому берегу вверх версты на три и расположились бивуаком в 12 верстах от занятой позиции. Таким образом, слух, пущенный ими о выступлении их на помощь Гунтскому отряду, был ложным, и их движение было попросту демонстрацией, вовлекшей в заблуждение начальника отряда. Теперь пришлось опять быть на чеку.

Однако афганцы не предприняли никаких наступательных движений, и к вечеру того же дня посланный ими таджик привез письмо.

«Владению, правителям и всем подданным Русского Царя.

Мы не скрываемся. В четверг несколько ваших человек показались на перевале, против которого у нас на постах были поставлены вооруженные люди из наших жителей, которые и сделали несколько выстрелов. Когда же мы узнали, что они стреляли без нашего разрешения, то приказали уйти им.

Вы из своих владений выступили к нам, о чем мы донесли своему начальству и получили следующий ответ: дать дорогу через владения, данные нам Богом, узнать, какая мысль и какие намерения у них и вообще чего хотят они?

Наше начальство писало нам, чтобы русские владения мы считали, как и свои. В настоящее же время должно состояться соединение между вашими и нашими владениями, данными нам от Бога. Теперь вы выступили и хорошо сделали. По соединении владений наши должны свободно ходить к вам. Вы сообщите нам, каковы ваши мысли и намерения. Чего вы желаете? Сообщите, нам хотелось бы узнать. Если же ваше мнение противоположно нашему, то мы своевременно донесем своему начальству, и в таком случае мы вам не дадим воли в афганских владениях и загородим дорогу. Мир-Азам, Баба-Ша-хан, Абдулла-хан, Абду-Джан-бар¹».

На это письмо капитан Скерский не счел нужным отвечать афганцам, так как видел в этой переписке одну лишь проволочку с целью выигрыша времени со стороны афганцев, да, кроме того, доводы, приводимые в письме, что 28-го по разъезду стреляли таджики, не выдерживают ни малейшей критики. Уж достаточно того, что залпы были открыты по сигналу, поданному не иначе как с ведома начальства, наконец нельзя и предположить, чтобы из таджикских ружей мог быть открыт огонь на 800 шагов и пули попадали бы на самую середину карниза. Наконец, если бы выстрелы афганцев были только недоразумением, то несомненно, что они тогда же поспешили бы объяснить это, а не стали предпри-

¹ Перевод сделан отрядным переводчиком Урманбековым.

нимать различных военных хитростей, ставивших отряд в ложное положение.

Наконец, таджик, привезший письмо, сообщил, что афганцам прекрасно известно о малочисленности отряда и отсутствии резервов, а потому они намерены покончить с отрядом. Таджик заявил также, что он послан, чтобы высмотреть подступ к позиции.

Ввиду этого, конечно, он был задержан, а афганские начальники уведомяны о том, что их письмо отправлено к начальнику памирских отрядов.

Положение маленькой партии становилось серьезным. К афганцам спешило подкрепление, и каждый день ожидалось нападение со стороны неприятеля. Поэтому начальник отряда послал конных таджиков к перевалу Кой-Тезек, прося капитана Эттингена немедленно выслать подкрепление из 30 человек пехоты и 3 казаков и для облегчения движения отправил к кишлаку Сеиджу 20 вьючных лошадей.

Теперь во что бы то ни стало маленькому отряду русских необходимо было держаться на занятой позиции, так как очищение долины реки Шах-Дары становилось невозможным без подрыва русского престижа в Средней Азии, да, наконец, и местное население, оставленное без защиты, жестоко было бы наказано афганцами за службу русским войскам.

Слухи о подкреплении, высланном из Кала-и-Бар-Пянджа становились все упорнее и упорнее, и между таджиками замечалось неподдельное беспокойство за судьбу отряда, тесно связанную и с их собственной участью.

22. АФГАНСКИЕ ПИСЬМА. КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД В ОПАСНОСТИ

Зная малочисленность русского отряда, афганские начальники сделались неимоверно нахальны, и письма их из прилично сдержанных приняли вдруг дерзкий, вызывающий тон. «Чего вы хотите, — писали афганцы в своих длинных посланиях, — провести границу? Или пришли вы забрать край, ваше желание нам неизвестно... наши войска отчаянные и часто, не слушая своего начальства, сами вступают в бой, — как бы они не причинили вам вреда. Что вы делаете, а еще представители Великой державы?» и тому подобными фразами были переполнены афганские письма.

Не было и сомнения в том, что афганцы не могли не знать о движении партии вниз по Шах-Даре и цели этого движения, так как Ионов в письме своем уведомлял о том фаязабадского генерала, который, как было видно из предыдущего письма афганцев, писал «дать дорогу через владения, данные нам Богом», и все их стремление заключалось лишь в выигрыше времени для получения подкрепления и затем, по прибытии свежих войск, немедленного нападения на русский отряд.

Вступать же в переговоры с афганцами после того, когда приглашенные для переговоров русские офицеры были встречены огнем, стало уже невозможным, а потому капитан Скерский выяснил все это в весьма сдержанном письме своим к афганским начальникам, объяснив им, что молчание на их письма вызвано их же враждебными действиями против русских.

«О том, что нам нужно, — писал начальник отряда, — известно вашему фэйзабадскому генералу из письма, которое три недели тому назад было отправлено ему нашим генералом». Затем следовало объяснение причины задержания посланных афганцев, а именно в силу того, что киргиз Алимбай и отрядный джигит Мансур-Сеид-Исаков еще не освобождены афганцами и находятся под караулом, но лишь будут получены сведения, что оба наши посланные благополучно вернулись на Памирский пост, афганские люди немедленно будут выпущены на свободу. «Что же касается до ваших опасений, как бы ваши солдаты нам не нанесли каких-нибудь неприятностей, то для этого у вас есть прекрасное средство, отойдите к Кала-и-Бар-Пянджу, где они, вероятно, помещаются в казармах и более находятся под присмотром, чем здесь».

Это письмо было отправлено с таджиком в афганский лагерь.

4 августа в одиннадцать часов утра, когда в отряде готовились к обеду, из разезда прискакал казак. «Афганцы наступают», — крикнул он. В один миг весь отряд всколыхнулся, и в течение пяти минут был собран пасшийся отрядный табун, занята позиция пехотой, и казаки выехали вперед.

Такая быстрота и готовность к бою маленького отряда поразили афганцев, намеревавшихся напасть врасплох на позицию, и они, видя врага лицом к лицу, готового дать им отпор, отступили.

Потребность в подкреплении становилась чувствительнее с каждым часом. Люди в продолжение целой недели несли разведывательную и сторожевую службу, причем каждую ночь более половины чинов уходило в наряды, а потому отряд положительно выбивался из сил. Кроме того, нравственное состояние отряда было подорвано новыми слухами о прибытии подкреплений к афганцам, якобы предпринимающим обход позиции. Между тем из кишлаков, лежащих на низовьях Шах-Дары, целыми вереницами тянулись таджики к отряду вместе со своим жалким скарбом, стадами баранов и козлов.

Они побросали свои неубранные поля и спешили под защиту русских от нашествия афганских войск. С непритворною горечью рассказывали несчастные, как афганцы жгут их сакли и жестоко собираются наказать жителей Шах-Дары за сочувствие, оказанное ими русским.

Жалкий вид несчастных беглецов, невозможность помочь им за неимением ни средств, ни достаточных сил, неизвестность, когда подойдет подкрепление, очень тяжело действовали на людей с сильно возбужденными нервами.

Во избежание распространения преувеличенных слухов о наступлении афганцев начальником отряда было приказано не допускать таджиков в район отряда, а отвести им место в некотором расстоянии от позиции, однако в виду бивуачных часовых.

В лагере афганцев как-будто все притихло, и ночью, несмотря на усиленные наблюдения разведчиков, не было обнаружено никакого движения с их стороны и не заметно попыток к ночному нападению.

Тихо на позиции. Одна треть измученных солдатиков и казаков спят в полной амуниции под открытым небом возле составленных в сошки ружей, перед которыми мерными шагами расхаживает часовой. Время от времени останавливается он, прислушивается, беспокойно всматриваясь в темную даль ущелья, и снова начинает ходить взад и вперед.

Луны нет на небе, и только миллиарды звезд, мерцая, светят с беспредельной высоты темного, бесконечного неба.

Вот вдали виднеются несколько мигающих точек, то потухающих, то снова загорающихся желтовато-красным огоньком, это — афганские костры, тщательно поддерживаемые афганцами до самого рассвета.

Вдруг раздался шорох. Часовой вздрогнул и замер на месте. Шорох все приближался и приближался, уже слышны были то-ропливые шаги нескольких человек.

— Кто идет? — беспокойно окликнул часовой.

Несколько человек из спавших солдат подняли головы, некоторые вскочили на ноги.

— Кто идет? — повторил часовой и сделал несколько шагов вперед.

— Свои, — раздалось из темноты, — таджика с письмом¹ ведем. — С этими словами из-под горы вышло двое солдат, среди которых покорно шел туземец в большой чалме, делавшей его в темноте каким-то особенно огромным и страшным.

— Веди его к начальнику отряда, — скомандовал появившийся дежурный по отряду; все четверо снова исчезли в темноте, а часовой по-прежнему стал медленно расхаживать перед составленными ружьями.

Наступило 5 августа. Вершины угрюмых снежных великанов озолотились первым лучом проснувшегося светила, легкий ветерок пронесся по ущелью и поднял целый вихрь пыли на позиции.

В лагере афганцев замечалось движение, и высланные разъезды донесли, что неприятель начал наступление.

К десяти часам афганцами был занят кряж гор, пролегающий параллельно нашей позиции находящийся в 4500 шагах от нее,

¹ Письмо оказалось от подполковника Юденича из Ривака, которым он уведомлял Скерского, что заперт афганцами и ждет подкрепления с Памирского поста.

но они ограничились пока этим и не предпринимали дальнейшего наступления.

Около двух часов было получено письмо от афганских начальников, в котором они предлагали Скерскому вступить с ними в переговоры, убеждая его не слушать шугнанцев и шахдаринцев, так как они-де «мошенники и черти» и только хотят завести ссору между двумя государствами. Что же касается джигита Мансура, то он жив и находится в Файзабаде при джарнейле в ожидании ответа. «Нам не приказано воевать, — писали афганцы, — и мы вас встретили пулями потому, что вы не дали нам знать, что вы идете, — так не делают». Под письмом были приложены печати: Магомет-Исса, Гулям-Сеид-Мугамед, Абду-Джап-Бар и Мир-Азам.

Видя теперь в переписке возможность выигрыша времени, но не считая себя вправе вступать в переговоры с афганцами, начальник партии на письмо афганцев ответил письменно. Он постарался объяснить в нем афганцам, что ни он, ни они не уполномочены на переговоры, которые уже ведутся письменно между нашим и афганским генералами. Затем он выразил крайнее удивление, что афганцы, которым, как и они сами пишут, «не приказано воевать с русскими», двигаются на нас, встречают нас огнем и проч. и что во избежание столкновения между двумя государствами самое лучшее, если афганцы отодвинутся к Дашту.

Как бы в ответ на письмо афганца спустились в ущелье, находившееся в расстоянии 3000 шагов от позиции, и, по-видимому, намеревались воспользоваться темнотою для нападения.

В 7 часов вечера один из казачьих разъездов, желая выследить засевших в ущелье афганцев, неосторожно выдвинулся за рощу по берегу реки, очутившись таким образом в тылу занятой позиции афганцами. Немедленно же от неприятельского отряда отделился взвод кавалерии и на рысях пошел наперерез казакам, которым таким образом грозила опасность был отрезанными от своего отряда.

На позиции все были сильно озабочены, видя критическое положение разъезда, тем более что казаки, по-видимому, не замечали знаков, подаваемых им начальником партии.

Видя безвыходное положение разъезда и неминуемую его гибель, в случае столкновения, так как число афганцев в пять раз превышало численность казаков, капитан Скерский решил не допустить готовившегося столкновения.

— 2200! — скомандовал начальник отряда, мигом определив расстояние. Лязгнули затворы, и все замерло в ожидании.

— Пли!

Дружный залп, как на смотровом учении, грянул на позиции и эхом пронесся по ущельям, а действие его ошеломило скакавшую кавалерию.

Несколько человек упало на землю, некоторые лошади, видимо задетые пулями, завертелись на месте, скидывались на дыбы, и все потом бросились обратно к ущелью.

Вслед скачущим афганцам раздали еще два залпа с позиции с прицелами 2400 и 2700 шагов, да и злополучный разъезд, услыша выстрелы и видя отступление скакавшего на него взвода, провозжал его огнем.

Убедившись в дальнобойности русских трехлинейных винтовок, афганцы уже не решались появляться в сфере нашего огня и продолжали держаться в ущелье.

Тяжелая ночь предстояла рекогносцировочному отряду, находившемуся в полной готовности к бою, истощенному и измученному рядом бессонных ночей, проводимых на позиции. Подкрепления все не прибывало, и известия о высылке его с Кой-Тезека не было получено. Афганцы же настойчиво оставались в ущелье.

23. СТЫЧКИ С АФГАНЦАМИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ФЕРГАНУ

Посадив пехоту по два человека на лошадь, по знакомой уже читателю горной дороге, пересеченной в нескольких местах рекой Шах-Дарой, по головоломным карнизам, не щадя сил своих, спешил на выручку товарищей подпоручик Уфимцев с 30 пехотинцами и 3 казаками¹. Выступая с первыми проблесками рассвета и останавливаясь лишь с наступлением полной темноты, двигался этот отряд к урочищу Вяз-Дара. Непременно должен был Уфимцев поспеть к 5 августа на помощь шахдаринцам, но этот убийственный путь, несмотря на все усилия его, все-таки замедлял движение. За два последних перехода встретили его киргизы с двадцатью высланными лошадьми из Вяз-Дары и передали Уфимцеву записку капитана Скерского, просившего его поспешить с помощью.

Взволнованный офицер недолго колебался, он передал нижним чинам о важности их немедленного прибытия на помощь товарищам и, не отдыхая, заменив утомленных лошадей свежими, отряд двинулся дальше.

Два перехода за один мах сделали солдаты, пройдя таким образом более 65 верст в 16 часов и к 10 часам подошли к позиции.

Весть о прибывшем подкреплении мигом облетела всех в русском отряде, солдаты приободрились, воспряли духом, и позиция, укрепленная капитаном Серебренниковым, при достаточном количестве защитников сделалась, если не совсем неуязвимою, то, во всяком случае, солидною преградой для наступавшего противника. Теперь, даже и при ночном нападении афганцев, являлась полная возможность отстоять ее.

¹ Подпоручик Уфимцев находился в составе отряда капитана Эттингена, высланного на Кой-Тезек.

Ночь прошла спокойно, и с наступлением утра капитан Скерский, не видя более необходимости держать захваченных афганцев, являвшихся большою помехою в отряде в смысле отвлечения людей для окарауливания их, приказал отпустить Ниязмата и других пленных на свободу, причем Ниязмату словесно поручил передать афганскому начальнику о прибывшем подкреплении (Ниязмат не знал количества прибывших), и что ввиду избежания столкновения советуется ему отойти вниз по Шах-Даре.

Вскоре после отъезда пленных, конечно передавших слова капитана, афганцы как бы в ответ на предложение Скерского снова предприняли наступательное движение, во время которого удалось определить их численность; в афганском отряде, по-видимому, было 2 роты пехоты в составе 130 человек и 28 всадников, которые, выйдя из ущелья, в своих красных мундирах выделяли всевозможные эволюции в виду нашего отряда, не предпринимая, однако, серьезного наступления.

Проманеврировав таким образом несколько времени, они снова скрылись в ущелье.

К полудню опять из афганского лагеря прибыл таджик с письмом, в котором афганцы требовали, чтобы русский отряд отступил на один переход, пока не окончатся переговоры между генералами.

В ответ на это письмо Скерский еще раз письменно заявил начальнику афганского отряда, что вступать с ним в переговоры не может по той простой причине, что ни он, ни афганец на это не уполномочены, а что с занятой позиции русские не отступят ни на шаг и что пребывание в сфере нашего ружейного огня афганских войск он будет считать за неприязненные действия и будет встречать выстрелами всякую попытку к приближению их к занятой нами позиции. «Пока вы не отойдете к Дашту, я буду смотреть на вас, как на врагов, и сообразно с этим буду и действовать», — писал капитан.

Всю ночь ожидал отряд нападения, но напрасно, и только с рассветом разъезды сообщили, что афганцы предпринимает обход левого фланга позиции по ущелью Вяз-Дары.

Чтобы помешать им в этом намерении, с позиции был послан разъезд из 15 казаков под командою хорунжего Рябова к месту, где накануне были сосредоточены главные силы противника.

Подойдя на довольно близкое расстояние к афганскому лагерю и не будучи замеченным, разъезд остановился на некоторое время и снова показался в виду афганцев.

Появление разъезда, а в особенности двух молодых казаков¹, которые подскакали к неприятельскому бивуаку на 100 шагов, вызвало у афганцев тревогу. По уряднику Каширину и казаку Терехову было сделано несколько десятков выстрелов, к счастью

¹ Урядник Каширин и казак Терехов взялись пересчитать численность афганцев, не принимавших участия в обходе.

не задевших смелых оренбуржцев, которые, отвечая афганцам на скаку, уже приближались к ожидавшему их разъезду. На выстрелы афганцев хорунжий Рябов с шестисот шагов дал три залпа, причинив противнику значительный вред.

Но самым важным обстоятельством было то, что цель, ради достижения которой был выслан разъезд, осуществилась, так как карабкавшиеся на склоны гор левого берега реки Шах-Дары афганцы, имевшие намерение обойти нас по ущелью Вяз-Даре, услышав внизу перестрелку, поспешили на выстрелы и таким образом обходное движение их было приостановлено, что и дало возможность более основательно подготовиться для отражения обхода.

Рекогносцировка Рябова была произведена в 11 часов, а в 2 часа афганцы снова начали свое дело. Около пяти часов они бегом из обходной колонны начали спускаться к нашей позиции и повели правильную атаку.

Подпустив наступающего неприятеля на 2000 шагов, отряд встретил его несколькими дружными залпами. Афганцы залегли за камнями и стали осыпать позицию частым одиночным огнем, длившимся около 20 минут, затем поднялись и, быстро перебежав расстояние в 500 шагов, опять скрылись за осколками гранита.

Во время этих перебежек из ложементов было сделано по бегущей цепи с прицелом 1600 шагов пять залпов, положивших нескольких афганцев, и затем до наступления темноты продолжалась перестрелка редким огнем.

Афганские пули то и дело ударялись о брустверы укреплений и рикошетировали, с визгом увлекая за собою мелкие осколки камней. Однако, видя превосходство наших трехлинейных ружей над своими, афганцы не решились продолжать наступления, и, когда сумерки сгустились до того, что стрельба становилась уже невозможной, они отошли к своим главным силам. Утомленным солдатам и на этот раз не удалось отдохнуть.

Нет-нет да и раздастся выстрел из неприятельского лагеря, расположенного у кишлака Видвейн, прожужжит пуля, сделает рикошет и умчится в темноту, затянув свою обычную песню.

К полночи выстрелы стали учащаться, заставляя наших быть все время настороже. Оказалось, что к афганцам подошло подкрепление и с провиантом из Кала-и-Бар-Пянджа прибыл Баба-Ша-хан.

С утра 8 августа афганцы приступили к постройке укрепления в 2400 шагах от нашей позиции на скате, по которому поднимались они, чтобы обойти отряд.

Так как в числе строивших укрепление было много таджиков, силой принужденных служить своим истязателям, капитан Скерский не открывал огня по афганцам, во избежание напрасного кровопролития ни в чем не повинных работников.

До четырех часов длилась постройка и затем была прекращена.

К семи часам стало подходить новое подкрепление к афганцам, состоящее из кавалерии и пехоты, но, несмотря на это, они ничего не предпринимали, так что отряду в первый раз удалось провести мало-мальски спокойную ночь¹.

Наутро в афганском лагере поднялась суматоха, которая сначала была принята за подготовку к наступлению, но затем очень скоро на позиции убедились, что афганцы выючили лошадей и собирались в поход.

Не утерпели и тут афганцы и, сделав несколько выстрелов по отряду, стали медленно отступать вниз по Шах-Даре, вскоре после чего начальник отряда получил письмо от афганцев, объяснившее их внезапное отступление.

«Могущественным Правителям и Начальникам русских.

В понедельник мы получили ваш пакет. Уходите отсюда назад. Вы так с нами обращались, что мы считаем вас врагами. Если вы отсюда отступите, то между нами может быть восстановлен мир.

Согласно вашего письма мы сегодня отступаем с занятой нами позиции и будем ждать того времени, когда высшее начальство ваше и наше покончат переговоры, и тогда уже будем действовать согласно с результатами последних.

Просим и вас поступить таким же образом. Мы несколько раз просили вас уходить и предупреждали о грозящей с нашей стороны вам опасности, и если что-либо теперь случится, то вините самих себя.

Мы отступаем теперь. Вы же не наступайте. Отступили мы сегодня для того, чтобы не породить недоразумений между двумя государствами. На земле нет ни для кого спасения от афганского войска — спастись можно только на небе! Если придут сюда наши молодые катаганы², то живые не найдут своих одежд, а мертвые — саванов.

Мир-Азам-Гаяндыр, капитан, Абду-Джабар, Гулям-Мухамед, Магомед-Иса, Мастон (очевидно, англичанин)».

На это письмо начальник отряда воздержался ответом, так как не доверял афганцам в их обещании отступить к Дашту и ожидал о том официального донесения от разъездов, следивших за отступлением противника.

Как ожидал Скерский, так и случилось, афганцы и не думали отступать к Дашту, а остановились в 5 верстах от позиции у крепости Рош-Кала. Ввиду этого осложнения и что к афганцам может подойти новое подкрепление из Кала-и-Бар-Пянджа при форсированном движении в один день, положение отряда становилось опять серьезным, а тут еще выяснилось, что в тылу позиции находятся перевалы Мац, Вранг и Житхорф, не исследованные

¹ Вечером было получено опять письмо от афганцев, в котором они, требуя от русских отступления, угрожали уничтожить весь отряд.

² Катаганы — воинственное племя Бадахшана, из которого вербуются солдаты в афганскую гвардию.

дотолу и не бывшие намеченными на картах и, очевидно, прекрасно известные афганцам, через которые они легко могли из Вахана зайти в тыл позиции.

Открытие это было сделано значительно позднее выбора позиции, при подробных расспросах таджиков, которые сбивались в своих показаниях, вероятно, благодаря неправильному произношению русскими названий дорог, ущелий и перевалов, а затем подтвердилось предостережением начальника Памирских отрядов. С тридцатью человеками сначала, а потом и с семьюдесятью нельзя бы было и думать прикрыть свой тыл на протяжении 87 верст в случае обходного наступления афганцев через эти перевалы. Перевал Житхорф находился в шести верстах от позиции в тылу, но он не представлял собою опасности, так как для вьючного пути не пригоден, да, наконец, предпринимая обход через него из Вахана, афганцы никак не могли бы рассчитывать на довольствие местными средствами, так как долина Шах-Дары бедная, а хлеба еще нигде не вызревали.

Через перевал Мац от Юшан-Куза до Зута из Вахана два дня хода, а через перевал Вранг движение исключительно пешеходное. За этими обоими перевалами должен был следить со своими кибитками Курбан-Бек-датха и в случае движения через них афганцев немедленно дать знать в отряд.

Тогда в один день рекогносцировочный отряд мог бы отступить к Сеиджу, где и занять неприступную позицию, на которой и удерживать до прибытия нового подкрепления. Теперь же киргизы доставили сведения, что Курбан-Бек-датха откочевал за Кой-Тезек.

Это известие ошеломило начальника отряда, тыл его позиции, таким образом, был не только не обеспечен, но даже отряд не мог быть за сутки предупрежден в случае наступления оттуда афганцев.

Положение из серьезного делалось критическим, и вот, как раз в это время, прибыло известие, что сам генерал Ионов спешит во главе отряда на помощь шахдаринцам, запасы которых истощались, и провианта оставалось не более как на 3 дня¹.

Нельзя не удивляться неумимости отряда капитана Скерского, энергии и распорядительности самого начальника партии и гг. офицеров. Ведь с 24 июля по 5 августа в отряде было всего лишь 27 казаков и 12 пехотинцев против четверо превосходного числа неприятеля. С 5-го по 6-е подкрепление подпоручика Уфимцева добавило 30 пехотинцев и трех казаков, зато и афганцы стали сильнее тревожить отряд, не давая ему ни днем ни ночью покоя и получая в свою очередь тоже подкрепления.

Весть о приближении генерала Ионова была с восторгом встречена шахдаринцами, и теперь все, несмотря на труды и лишения, перенесенные за последнее время, жаждали наступления афганцев,

¹ Спеша на помощь, подпоручик Уфимцев потерял много лошадей и вьюков, кроме того, часть провианта была им оставлена на пути и на освободившихся лошадей посажены люди.

намереваясь дать им хороший урок за дерзкое намерение вступить в бой с русскими войсками.

10 августа начальник партии получил письмо от командующего войсками в Шугнани Тимур-Ша-Кумайдана, весьма любезное и совершенно непохожее на предыдущие письма афганских офицеров. В письме этом Кумайдан¹ уведомляет Скерского, что он запретил начальнику Шах-Даринского отряда вести переписку с русскими и предпринимать что-либо до получения ответа из Файзабада.

19 августа, накануне прибытия на Вяз-Дару генерала Ионова, шедшего на Шах-Дару по тяжелому пути по прямой линии от Яушан-Куза, афганцы оставили свои позиции и ушли в пределы Афганистана, отозванные Абдурахман-ханом, а Шугнан и Рошан остались навсегда освобожденными от афганского ига.

Отступление афганцев подтвердилось донесением жителей Хоруга, селения, находящегося близ слияния рек Гунта и Шах-Дары с Пянджем.

*«Начальнику русского отряда от хоругских жителей.
Донесение.»*

Уведомляем вас, что здесь спокойно. Афганцы в пятницу прошли через Хоруг, сели на лодки и переправились за Пяндж. Притесняемые афганцами, мы принуждены были прятаться по горам и ущельям. Теперь же мы при вашей помощи воспрянули духом и начинаем выходить в свои селения. Семьи же наши пока остаются в горах. Все жители ждут приказаний ваших и с радостью готовы служить вам.

1312 года. Сафара 28-го, пятница.

(Печати жителей)».

После получения этого донесения генерал Ионов со всеми партиями двинулся к Хоругу и соединился с отрядом подполковника Юденича.

Партия, отправившаяся по Гунту, все время находилась у селения Ривака, задержанная также афганцами, укрепившимися на неприступной позиции и выставившими против подполковника Юденича 2 орудия. Однако на Гунте дело обошлось без стрельбы. Продвинуться вперед Юденичу не было никакой возможности, и оба отряда, как афганский, так и русский, спокойно стояли друг против друга.

Афганцы частенько подходили к русскому бивуаку — подойдут на 300 шагов, постоят немного и уйдут обратно. Иногда и подполковник Юденич выезжал вперед к демаркационной линии, куда выезжал и афганский начальник, поговорят немного оба офицера,

¹ Кумайдан — командующий войсками.

обменяются комплиментами и разъедутся в разные стороны. И так каждый день до самого 19 августа, покада афганцы, получив приказание возвращаться в Афганистан¹, не снялись с позиции и не ушли, оставя русским довольно сильно укрепленную позицию с артиллерийскими окопами, а подполковник Юденич продвинулся к Хоругу, где и соединился с Шах-Даринским отрядом.

В Хоруге вздохнули измученные солдаты и простояли там до 15 сентября. В это время соединенный отряд частью своих сил произвел две рекогносцировки: одну вниз по реке Пянджу до крепости Кала-и-Вамар в Рошане, которая и была занята русским гарнизоном, а другую вверх по той же реке до аметистовых копей.

В 20-х числах сентября все рекогносцировочные партии и отряды были уже на Памирском посту, а с 30 сентября по 2 октября сначала сменный, а затем резервный выступили обратно в Фергану, оставив на Памирском посту новый отряд под начальством капитана Скерского.

С этого времени афганцы уже не появлялись в наших владениях. Шугнан и Рошан были очищены от них навсегда, а эмир Абдурахман обязался не переступать русской границы.

Памирским походом заканчивается окончательное завоевание Средней Азии, в память чего в 1896 году отчеканена медаль для ношения на владимирско-георгиевской ленте, с лицевой стороны которой изображены вензеля Николая I, Александра II, Александра III, Николая II, а с левой имеется надпись «За походы в Средней Азии в 1853—1895 гг.». Этот поход является одним из самых тяжелых походов в смысле климатических условий и борьбы с суровой природою, выпавших на долю Памирских отрядов, а также служит красноречивым доказательством того, что нет такой преграды, через которую бы не перешел русский воин.

¹ Это объясняется тем, что на Гунте афганцами командовал весьма интеллигентный офицер, вполне понимавший свои обязанности.

СОДЕРЖАНИЕ

А.А. МАЙЕР. НАБРОСКИ И ОЧЕРКИ АХАЛ-ТЕКИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ	3
Предисловие	5
1. На биваке	7
2. Переход в степи	9
3. Укрепление Бендессен и охотники	14
4. Правофланговая Кала	36
5. В горах Копет-Дага	52
6. Ночь в Эгян-Батыр-Кала	85
7. Осада и штурм Геок-Тепе	122
Б.Л. ТАГЕЕВ. РУССКИЕ НАД ИНДИЕЙ	163
От автора	165
Введение. Россия, Англия и Афганистан	167
1. Живой мертвец	172
2. Объявление похода. Сборы. Выступление	178
3. Ляангарское ущелье. Скобелевский домик. Рассказ капитана	183
4. Ольгин луг. Киргизская тамаша	188
5. Кизиль-Артское ущелье. Казачьи проделки	199
6. Смерть Тилли-добровольца. Ночная рекогносцировка	208
7. Ужасный переход. Местная легенда. Стычка с афганцами	216
8. Беседа с пленными. Афганец вместо архара	233
9. Стоянка на Яшиль-куле. Охота на киика	238
10. Импровизованная баня. Встреча с китайцами. Крепость Ак-Таш. Озеро Виктория	250
11. Обрато на Мургаб. Пленный. Афганцы и их войска	261
12. Освобождение пленных. Рекогносцировка. Перевал Ионова	274
13. Постройка зимних помещений. Выступление на Шар-куль	280
14. Хорунжий Лосев. Неприятный сюрприз	284
15. Ранг-Кульское укрепление. Афганский майор	289
16. Памирские киргизы	292
17. Вступление в Маргелан. Что ожидало Лосева	299
18. Рождественские праздники. Похороны в укреплении. Весна	303
19. Рекогносцировка Ванновского. Встреча с афганцами	306
20. Столкновения с афганцами. Назад в Фергану	314
21. Опять поход на Памир. Шугнан. Письмо Кадамина. Тяжелые переходы	324
22. Афганские письма. Казачий разъезд в опасности	340
23. Стычки с афганцами. Возвращение в Фергану	344

Майер А.А.

НАБРОСКИ И ОЧЕРКИ АХАЛ-ТЕКИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Тагеев Б.Л.

РУССКИЕ НАД ИНДИЕЙ

Лицензия ЛР № 020872 от 13 мая 1994 г.

Главный редактор редакции *Н.П. Синицын*

Редактор *В.В. Амельченко*

Художественный редактор *Е.В. Поляков*

Корректоры *Г.В. Казнина, Т.В. Бережная*

Компьютерная верстка *Т.Н. Абдулаева*

Технический редактор *М.В. Федорова*

Сдано в набор 03.02.98. Подписано в печать 26.03.98. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура Таймс. Формат 60х90/16. Печ. л. 22. Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 24,14.

Изд. № С/98/350. Тираж 5000 экз.

Заказ № 113.

Воениздат, 103160, Москва, К-160.

Отпечатано в ОАО «Астра семь»
121019, Москва, Филипповский пер., 13



КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕД
РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КН
КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДК

«МНОГО ПРИМЕРОВ ВИДИМ МЫ ИЗ СТОЛКНОВЕНИЙ С АФГАНЦАМИ, А ТАКЖЕ ИЗ ИСТОРИИ ВОЙНЫ АФГАНИСТАНА С АНГЛИЕЙ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ, ЧТО АФГАНЦЫ НЕ БЕРЕГУТ СВОЕЙ ЖИЗНИ, И ВСЕ ЛИШЬ ГОРЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ НЕ СТРАТЕГИ И ЕЩЕ НЕ ПРИВЫКЛИ К ВОЙНЕ С ЕВРОПЕЙЦАМИ...

АФГАНЦЫ РЕДКО ВЕДУТ НАСТУПАТЕЛЬНУЮ ВОЙНУ И ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ, И ЛИШЬ ТОЛЬКО ДЕЛО КОСНЕТСЯ ЗАЩИТЫ ИХ ДОРОГОГО ОТЕЧЕСТВА, ОНИ ВСЕ ДО ОДНОГО УМРУТ ЗА НЕГО И НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОПРОСИТ ПОЩАДЫ...»

Борис ТАГЕЕВ



ПОЛУДЕННЫЕ
ЭКСПЕДИЦИИ

